



Михаил Одесский
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ



Российский
государственный гуманитарный
университет



Михаил Одесский
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Статьи о поэтике

Москва
2011

УДК 82-1
ББК 83
О 41

Художник *Михаил Гуров*

ISBN 978-5-7281-1202-0

© М.П. Одесский, 2011
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2011

Содержание

<i>Предисловие</i>	7
--------------------------	---

Эпистолярная поэтика любви

Графиня и князь	15
Графиня С. Ферзен – князю А.Б. Куракину (1776–1777)	66

Поэтика культуры

«Человек болеющий» в древнерусской литературе	147
«Начало славян» и Пятикнижие. Библейский контекст языческих преданий в «Повести временных лет»	185
Призрак «Третьего Рима». Судьба формулы	194
Москва – град святого Петра. Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв.	219
Столичное / провинциальное в русской агиографии	239
Концепт «скандал / соблазн» в русской культуре	249

Поэтика оккультизма

Об «откровенном» и «прикровенном». София в комедиях В.И. Лукина	263
Вампирическая топика в ранней прозе А.К. Толстого	275

Достоевский и четвертое измерение	317
Алексей Кручёных и миф: возвращение древних богов	325
Борьба магов. Необычайные похождения Гурджиева в романе Эренбурга	338
Москва Плутоническая	351
«Физиологический коллективизм» А.А. Богданова. Наука – политика – вампирический миф	367
Вампирическая топика и современный антисемитизм	378

Поэтика литературы versus поэтика СМИ

Русские газеты и «Незнакомка» А.А. Блока. Убийство Гапона	389
Что произошло 11 сентября? Из газетного комментария к роману «Двенадцать стульев»	401
Авангард и советская пресса. Случай Даниила Хармса	410

Экспертиза поэтики

Современное гуманитарное знание и статус научного слова. Нетеоретические маргиналии	431
«Жизнь Иисуса» Ренана. Исторические метаморфозы книги	448
Историк и герой (С.М. Соловьев и Петр I)	477
«...Краткий дискурс в нынешний день представим». Г.О. Винокур о языковой политике Петровской эпохи	487
Лингвист и тоталитаризм. Вокруг полемики Г.О. Винокура и А.М. Селищева	496
Ю.Н. Тынянов и проблема «барокко и авангард»	505
К вопросу о литературоведческом методе Л. Шпитцера	517

Предисловие

В сборник включена статья «Достоевский и четвертое измерение», в которой комментируется знаменитый монолог Ивана Карамазова. Бунтарь-интеллектуал рассуждает о том, что вмещается и что не вмещается в представления человека о мире, другими словами, что соответствует геометрии Эвклида с тремя привычными измерениями и что выходит за ее пределы. Четвертое измерение – не только геометрический термин, но и символ нарушения привычного, символ умозрительной реальности, которая угадывается за пределами (в скважинах) обыденности.

Эта книга – о поэтике русской литературы и вместе с тем о ее «четвертом измерении», о той области, к которой методы поэтики обыкновенно не прилагались.

* * *

Термин «поэтика», как известно, восходит к заглавию классического трактата Аристотеля и буквально означает «поэтическое искусство». Причем смысловое ударение приходится на второе слово, т. е. искусство, мастерство, почти ремесло. Отсюда – современное употребление термина: поэтика – (1) литературоведческая дисциплина, которая изучает систему средств выражения в литературном произведении (в отличие от идейного содержания)¹, а также (2) сама система средств выражения².

В российской науке XX в. поэтика функционировала в качестве боевого лозунга. «Поэтика» – демонстративное заглавие сборников, которые издавали боевитые сторонники формального метода. Они, апеллируя к «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского и критикуя предшественников за подчинение

литературоведения соседним дисциплинам – социологии или психологии, требовали переключить исследовательское внимание на искусство слова. Соответственно «Теория литературы. Поэтика» (1925) – демонстративное заглавие учебника Б.В. Томашевского.

В пору господства официальной марксистской науки термин (как и формальный метод) подвергался гонениям и запретам. Потому заглавие опубликованной в 1936 г. монографии О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» воспринималось как дерзкое напоминание о формализме. Напротив того, в 1960–1980-е годы, когда стал допустимым отказ от официальной унификации, имена и идеи формалистов были возвращены в научный оборот. Именно тогда выступают их авторитетные сторонники и продолжатели, что закономерно эмблематизировалось реабилитацией термина «поэтика». При посмертном переиздании трудов В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, Ю.Н. Тынянова³ слово «поэтика» включается в заглавие даже в том случае, если оно отсутствовало в первых изданиях. В.Я. Пропп печатает «Поэтику фольклора», Е.М. Мелетинский – «Поэтику мифа», В.П. Григорьев – «Поэтику слова» и т. д.

Однако, как это ни парадоксально, наибольшую известность тогда обрели сочинения, авторы которых хотя и озаглавливали их «Поэтиками», но были далеки от симпатий к формалистам. Имеются в виду «Поэтика романов Достоевского» М.М. Бахтина (в первом издании 1929 г. книга именовалась «Проблемы творчества Достоевского» и лишь во втором издании 1963 г. получила хрестоматийное заглавие) и «Поэтика сюжета и жанра» О.М. Фрейденберг. Общее в этих двух «культовых» трудах заключается в том, что и Бахтин, и Фрейденберг через систему средств выражения изучали мировоззренческие, культурологические проблемы. Отсюда – новый логический ход.

Поскольку филологические методы (при поддержке семиотики) получили широкое применение в культурологии, то представляется продуктивным называть поэтикой систему средств выражения не только применительно к литературному тексту, к филологическим категориям вроде «литературное направление», «сюжет», «жанр»⁴ и т. п., но и к широкому спектру памятников культуры⁵. Отсюда – заглавие и метафора «четвертое измерение».

Сборник состоит из пяти разделов.

Первый раздел – «Эпистолярная поэтика любви» (своего рода книга в книге) – включает оригинальный перевод французских писем, в которых шведская графиня С. Ферзен признавалась в любви к князю А.Б. Куракину, российскому государственному деятелю XVIII – начала XIX в.

Однако публикация перевода – отнюдь не самоцель. В этом документе замечательны не только отражение дипломатических и матримониальных хитросплетений, культурных и масонских связей петербургского и стокгольмского дворов в Век Разума, не только виртуозное владение правилами эпистолярного жанра, но и функционирование «поэтики любви», так сказать, в обыденной жизни. Дело в том, что письма графини Ферзен – при всем запечатленном хаосе обыденной жизни и непредсказуемом развитии любовного романа – одновременно подчинены логической схеме, которую соблазнительно обозначить филологическим термином «сюжет». И приходится размышлять, какова природа этой специфической «сюжетности» любви: сущностная логичность страсти, ясность мышления, свойственная Веку Разума, или рационализирующее восприятие исследователя.

Второй раздел, «Поэтика культуры», открывается статьей, в которой анализируется, по аналогии с «поэтикой любви», «поэтика болезни», т. е. система средств выражения переживаний и представлений человека, попавшего в обыденную, но экстремальную ситуацию.

Вместе с тем материал статьи, как и всего второго раздела, совершенно другой. Это литература Древней Руси, а точнее (учитывая, что древнерусская литература принципиально неотделима от культуры), культура Древней Руси, культура средневекового типа, радикально отличающаяся от культуры Века Разума.

Кроме того, в статьях второго раздела изучаются другие средства выражения. Это регулярно воспроизводимые литературные топосы⁶, они же – в несколько другом ракурсе – формулы, мифы, концепты (в данном контексте без терминологической дифференциации). Или же идеологемы: как в классической лингвистике фонема – абстрактная единица, которая реализуется в звуках и противопоставляется им как конкретным единицам, так идеологема – абстрактная единица (максимально освобожденная

от оценочности, от включенности в конкретную идеологию), которая реализуется в исторических идеологиях и противопоставляется им как конкретным единицам.

Топосы, обретая при воспроизведении новые смыслы, манифестируют постоянство культуры и одновременно ее изменчивость, что подразумевает хронологическое расширение материала, определяя установку на сопоставление культуры Древней Руси и Новой России. Необходимо также отметить, что особое внимание уделено топосам, описывающим – вслед за трудами В.Н. Топорова⁷ – объекты пространства, их базовые оппозиции и т. д.

Материал третьего раздела, «Поэтика оккультизма», составляют статьи о системе средств выражения оккультизма, где предпочтение отдано не «откровенным», но «прикровенным» текстам. Не «откровенно» мистическим, но литературным, «приоткрывающим» «посвященным» в код – высший («четвертый») смысловой уровень.

В качестве материала здесь фигурируют литературные произведения, преимущественно созданные в XIX – первой трети XX в. Для этого хронологического промежутка под оккультизмом, по удачной формуле Н.А. Богомолова, продуктивно понимать (отказавшись от поисков «безупречно точной терминологии») «самые различные явления, от эзотерических концепций космической и человеческой истории до вегетарианства и вообще систем правильного питания, от Элевсинских мистерий до полтергейста, от алхимии до расплывчатой убежденности, что все в мире должно быть хорошо и правильно...»⁸. При анализе текстов акцент сделан не на «послании», а на «поэтике» – на цитатах или топосах, которые сигнализируют об актуальном диалоге с оккультизмом (масонство, спиритизм, учение Г.И. Гурджиева).

Исследование топосов обнаруживает также парадоксальное схождение оккультных текстов с массовой литературой (паралитературой), по-видимому, имеющее статус не индивидуальных поисков отдельных авторов, но некоей генеральной закономерности. И самое удивительное: длительное функционирование топосов иногда оборачивается их превращением из факта литературы в социальный проект, как это произошло, например, с вампирической топикой, которая конденсировалась у утописта

А.А. Богданова в идею «физиологического коллективизма» – всеобщего переливания крови, связующего граждан СССР.

Для Века Разума универсальна эпистолярная поэтика, для трагического XX в. – поэтика прессы. В статьях четвертого раздела («Поэтика литературы versus поэтика СМИ») литература XX в. рассматривается на фоне четвертой власти Нового времени. Действительно, еще в первом десятилетии прошлого столетия текст СМИ пронизывает русскую литературу, причем в полярных проявлениях – от массовой литературы до элитарной. А в тоталитарном социуме газеты (позднее – электронные СМИ) превратились в носитель своеобразной «публичной культуры», которая включает «искусство, музыку, литературу, кино, драму, публичные чтения, радио и многое другое»⁹. Власть транслирует обязательную информацию в первоочередной «Правде», которая затем репродуцируется во всех СМИ и во всех видах искусства, затем – на «кухнях» и т. д. В качестве экстремальной формы восприятия послания и поэтики прессы неожиданно функционирует русский авангард 1930-х годов (случай Хармса).

Финальный пятый раздел – «Экспертиза поэтики» – объединяет статьи о теоретиках поэтики и культуры, об их дискуссиях, о рецепции их идей от историка С.М. Соловьева и Э. Ренана до А.М. Селищева и Ю.Н. Тынянова.

Раздел завершается статьей о Лео Шпитцере, методологическая концепция которого предстает реакцией не только на проблемы науки, но и на мировоззренческие коллизии времени. Вместе с тем эта статья (опубликована в 1988 г.) – самая ранняя из вошедших в сборник. Такого рода «обратное» построение было для автора формой самоотчета о жизни, жизни в филологии.

¹ См., напр.: Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

² Протт В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 25.

³ См.: Виноградов В.В. Поэтика русской литературы / Ред. М.П. Алексеев, А.П. Чудаков. М., 1976; Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / Изд. подг. Н.А. Жирмунская. Л., 1977; Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подг. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М., 1977.

-
- ⁴ Такова, напр., монография автора настоящей книги, опубликованная в издательстве РГГУ: *Одесский М.П.* Поэтика русской драмы: вторая половина XVII – первая треть XVIII в. М., 2004.
- ⁵ Ср. функционально близкое использование терминов «дискурс», «семиотика», «текст».
- ⁶ См. применительно к древнерусской литературе: *Ключевский В.О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871; *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902: ср. также общую постановку вопроса: *Curtius E.R.* Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1954.
- ⁷ См.: *Топоров В.Н.* Пространство и текст // Из работ московского семиотического круга / Сост. Т.М. Николаевой. М., 1997, а также многочисленные работы о петербургском тексте русской культуры.
- ⁸ *Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 6–7.
- ⁹ *Brooks J.* Thank you, comrade Stalin!: Soviet public culture from Revolution to Cold War. Princeton; New Jersey, 2000. P. XIII–XIV. См. анализ концепции: *Одесский М.П.* [Рецензия] // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 470–473. Рец. на кн.: *Brooks J.* Thank you, comrade Stalin!: Soviet public culture from Revolution to Cold War. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 2000.

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПОЭТИКА
ЛЮБВИ

Графиня и князь

Любовный роман графини Софии Ферзен и князя Александра Куракина нашел выражение в подборке из сорока писем – ее ему. Написанные по-французски, они были впервые опубликованы на языке оригинала в восьмом томе авторитетного издания – «Архива князя Ф.А. Куракина» (1898). Ответы не сохранились.

По мнению первых публикаторов, письма Софии «привлекают читателя и глубиной привязанности графини к любимому человеку, и тонким анализом чувства, и его красноречивым изложением. Притом в них нет ничего такого, что могло бы скомпрометировать память героини в глазах потомства: она устояла перед красавцем-князем, слывшим одним из самых искусных обольстителей прошлого века, и это служит немалою рекомендацию ее нравственных свойств, если принять во внимание крайнюю испорченность тогдашнего высшего общества. Почему князь Куракин не мог жениться на графине Ферзен, одной из самых богатых и красивых невест того времени, для нас остается загадкой, но какую тоскою, какими страданиями веет от пачки ее писем, набросанных трепетною рукою на пожелтевших листках едва заметными буквами...»¹.

Образ добродетельной Софии перекликается с образом тоскующего князя, биографический очерк о котором завершается на надрывной ноте: «Князь Куракин не был женат: всю свою жизнь он провел в служении отечеству; неутомимостью и рвением приобрел признательность двух монархов: Павла I, Александра I»².

Справедливо, однако, – никак не ставя под сомнение ни нравственное совершенство графини, ни причины безбрачия

князя, – указать на факты другого рода: и амурные приключения Софии после встречи с русским возлюбленным, и 70 незаконно-рожденных детей Куракина³.

Как бы то ни было, графиня и князь жили ярко и играли – в духе Века Галантности – «на века».

Параллельные жизнеописания

Графиня Эва София фон Ферзен родилась в 1757 г. Отец Фридрих Аксель при шведском короле Адольфе Фредерике принадлежал к партии «шляп», которая составляла оппозицию правящим «колпакам», противилась постоянному вмешательству России во внутренние дела Швеции и ориентировалась на Францию. Король Густав III (1771–1792), любимец философ-энциклопедистов (см. сочувственное упоминание о нем в VI главе повести Вольтера «Царевна вавилонская»), во многом реализовал программу «шляп», однако в отличие от безвольного отца он стремился укрепить «вертикаль» и в 1772 г. совершил бескровный переворот, установив сильную монаршую власть. Аксель фон Ферзен оказался в двойственном положении: с одной стороны, получил от нового короля чин фельдмаршала, с другой – далеко не входил в круг доверенных лиц короля. Мать графини Хедвига Катерина происходила из рода Делагарди, потомков знаменитого полководца начала XVII в. (воевавшего в России в годы Смуты и чтимого Густавом III).

София фон Ферзен, даровитая и привлекательная, была заметной фигурой стокгольмской светской жизни. В 1773 г. младший брат короля – Фредерик Адольф – просил ее руки, но получил отказ. В 1774 г. София фон Ферзен (вместе с матерью) входила в делегацию, которая сопровождала из Германии принцессу Хедвигу Елизавету Шарлотту, предназначенную в жены другому брату Густава III – герцогу Карлу Зюдерманландскому, наследнику престола (до рождения Густава Адольфа, сына короля). София стала фрейлиной новой герцогини. Двух незаурядных женщин связала тесная дружба на грани экзальтированной влюбленности. Долгие годы герцогиня вела французский дневник в форме писем к Софии. Хедвига Шарлотта тосковала при шведском дворе,

и сердечные отношения с фрейлиной были для нее отдушиной: «Ты – мой единственный друг на свете», «Все мое сердце принадлежит тебе»⁴. В 1776 г. София фон Ферзен вышла замуж за графа Карла Адольфа Пипера (1750–1795), который приходился внуком первому министру Карла XII (после Полтавской битвы попавшему в плен и умершему в России).

Князь Александр Борисович Куракин был несколькими годами старше Софии. Он родился в 1752 г. Куракины – знатный и богатый княжеский род. Прадед Борис Иванович Куракин – соратник императора Петра I: воин (участник Полтавского сражения), дипломат, мемуарист, просвещенный и независимый человек. Дед Александр Борисович повторил удачную дипломатическую карьеру отца, в совершенстве владел европейскими языками, не чуждался сочинительства (в качестве посла во Франции покровительствовал юному поэту Василию Тредиаковскому). Женился на Александре Ивановне Паниной, сестре военачальника Петра Ивановича Панина и дипломата Никиты Ивановича Панина (эксперта по Скандинавским государствам). Отец Борис-Леонтий (1733–1764) – сенатор, президент Камер-коллегии и Коллегии экономии – также был женат на знатной даме, Елене Степановне Апраксиной (1735–1769), дочери елизаветинского фельдмаршала. Княгиня Куракина, по свидетельству Екатерины II, «очень красивая»⁵, выступала героиней придворных галантных анекдотов. Злоязычный современник вспоминал: «Княгиня Куракина, одна из отличных природных щеголих, темноволосая и белолицая, живая и остроумная красавица, известна была в свете как любовница генерала (П.И. Шувалова, влиятельнейшего сановника елизаветинского правления. – М. О.), а на самом деле его адъютанта (Г.Г. Орлова. – М. О.). Генерал был столь рассеян, что не ревновал; по несчастью, он застал его. Адъютант был выгнан и, верно, был бы сослан навсегда в Сибирь, если бы невидимая рука не спасла его от гибели. Это была великая княгиня (Екатерина Алексеевна, будущая императрица. – М. О.). Слух о сем происшествии достиг ушей ее в том уединении, которое она избрала себе еще до кончины императрицы Елизаветы. Что было говорено о сем прекрасном несчастливце, уверяло ее, что он достоин ее покровительства; притом же княгиня Куракина была так известна, что можно всякий раз, завязав глаза, принять в любовники того, который был у

нее»⁶. Борис-Леонтий Куракин был высоко ценим Екатериной II, но безвременно скончался в возрасте тридцати двух лет, а вскоре ушла из жизни его темпераментная супруга.

Воспитание Александра и других осиротевших детей перешло к Паниным. Никита Иванович Панин к тому времени стал одним из самых влиятельных людей России. Воспитатель (с 1760 г.) великого князя Павла Петровича, он участвовал в перевороте, совершенном Екатериной, и получил Коллегию иностранных дел. Юный князь Александр Борисович рос вместе с великим князем. Совместное воспитание стало основой для многолетней дружбы, хотя само по себе было трудным испытанием. Современный биограф Павла I констатировал: «Кажется, друг детских игр Александр Куракин (тогда тоже еще десятилетний отрок) для того и нужен Павлу, чтобы репетировать над ним власть непредсказуемую и пугающую...»⁷ Затем Куракин учился в европейских университетах (Киль, Лейден). Планировались выгодные брачные партии (Варвара Шереметева, Елизавета Головкина), которые, впрочем, расстроились⁸. Открывалась «наследственная» дипломатическая стезя.

София, став графиней Пипер, продолжала блистать при дворе и поставлять пищу для сплетен: толковали о ее романе с Акселем Аминоффом и другими. Еще при жизни мужа она сошлась с бароном Эвертом Таубе, одним из соратников Густава III, и когда в 1799 г. Таубе скоростижно умер на курорте в Карлсбаде (завещав состояние – в обход наследников – Софии), графиню заподозрили в отравлении любовника⁹. Вероятно, такие подозрения подогревались общим недоброжелательством, вызванным политическим влиянием Софии и ее старшего брата Ханса Акселя фон Ферзена (в прошлом фаворита французской королевы Марии Антуанетты).

В начале XIX в. Швеция переживала смутные времена. После катастрофических военно-дипломатических провалов Густав IV Адольф, сын Густава III, оказался настолько непопулярен, что в 1809 г. утратил трон в результате военного переворота, а новым королем сейм избрал – под именем Карла XIII – герцога Зюдерманландского. Однако Карл XIII не имел законных детей (от Хедвиги Шарлотты), и возник государственной важности вопрос о престолонаследии. Выбор пал на датского генерала

принца Карла Аугуста (в войне 1808–1809 гг. он сражался против Швеции), но тот в 1810 г. скоропостижно умер от апоплексического удара. Неожиданная смерть наследника спровоцировала беспорядки в Стокгольме, Софию Пипер и ее брата, известных преданностью семье Густава III, обвинили в отравлении Карла Аугуста. 20 июня Ферзен был растерзан толпой. Карл XIII, появившись на улицах столицы, едва успокоил бунтовщиков. София бежала, нарядившись молочницей. Вскоре, впрочем, кризис миновал: в августе 1810 г. новым наследником объявили наполеоновского маршала Бернадотта (который после смерти Карла XIII станет королем, основателем правящей донныне династии). Софию – после красноречивого выступления в суде – оправдал военный трибунал. 5 ноября сестру и брата (посмертно) полностью оправдали, и было подтверждено, что кончина Карла Аугуста стала следствием недуга. Последние годы София Пипер мирно провела в имении и умерла в 1816 г.

Удачная карьера князя Куракина приостановилась в 1782 г. Он пострадал как доверенное лицо великого князя Павла Петровича. Екатерина II, используя в качестве предлога его причастность к критике действий Г.А. Потемкина, повелела Куракину, покинув столицу, проживать в деревне. По сообщению осведомленного Ш. Массона, он «в особенности вел уединенную и философскую жизнь, занимаясь науками, искусствами или воспитанием детей; он был всеми почитаем и уважаем»¹⁰. Поэт и мемуарист И.М. Долгоруков оставил менее идиллическое описание образа жизни опального вельможи, его дел и развлечений: «...он принужден бы скрываться в своих пензенских и саратовских вотчинах и вел жизнь самую потаенную. Определясь в вице-губернаторы в Пензу, я скоро попал в близкое с ним знакомство; ибо он поставщик и откупщик, следовательно, в том и другом упражнении имел нужду в моем покровительстве, к которому прибегал весьма часто, не разбирая ни чинов, ни этикетов, и я, из уважения к особе великого князя и зная их дружественную связь, старался оказывать ему всяческие услуги, иногда и с большой ответственностью, за что князь казался мне человеком, преданным до гроба. Куча писем его ко мне в то время была свидетельством того, что, для выгод и корысти своей, князь способен был написать все что угодно, не щадя самых сильнейших выражений дружества. По

счастью, я на это никогда не полагался <...> Впрочем, мне всегда приятно будет вспомнить время моего знакомства с князем. Он так выучен был придворному тону, что, не любя меня нимало, умел казаться искреннейшим мне другом. Мы часто угощали его у себя и угощались у него превосходно. Чего не происходило в честь нашу в поместьях Павловском и Надежине! Мы ему давали театры, а он нас забавлял балами, на которых, собравши всю свою дворню, разыгрывал при ней роль немецкого принца и мечтал, что он при Дворе. Любил пирушки и давал нам, мужчинам, такие обеды, за которыми сидя мы часто воображали, что мы не у князя, а у откупщика собраны в богатую гостиницу, и тут хозяин и гости бывали часто так пьяны, что не умели ни дверей сыскать, ни без помощи слуг сесть в свою карету. <...> Хоть весь город бывал свидетелем такого подлого соблазна, но, для лишнего рубля дохода, чего не сделает любостяжатель, хотя бы он был потомок ста поколений рыцарских?»¹¹

В 1796 г. – после восшествия Павла I на престол – князь получил пост вице-канцлера (заместителя министра иностранных дел). По словам исследователя, «сразу по возвращении в свет князь Куракин вернулся в тесный круг ближайших лиц нового императора и императрицы. Примечательно, что бал во время коронации Павла I в Грановитой палате Кремля был открыт императрицей менуэтом с князем Александром Борисовичем Куракиным, одновременно с высочайшим расположением это говорило о том, что князь сохранил способность прекрасно танцевать»¹². Фавор Куракина кого-то превратил в панегиристов, кого-то – в непримиримых критиков. Соперничавший с ним в дружбе с императором Ф.В. Ростопчин называл Куракина «дураком и пьяницей»¹³.

В 1798 г. переменчивый император удалил давнего друга. Согласно свидетельству Ф.Г. Головкина, скептического наблюдателя обычаев павловского двора, «Куракин был близким другом Павла с самого детства, но он оставался в милости лишь благодаря лести и потому, что Павел привык его видеть и что он не возбуждал беспокойства в других. Он любил блистать, не в силу своих заслуг и внушаемого им доверия, а своими бриллиантами и своим золотом, и стремился к высоким местам лишь как к удобному случаю, чтобы постоянно выставлять их напоказ. Он достиг всего и не воспользовался ничем, – даже изгнанием в виде антракта, – чтобы

побудить своего государя к более достойному образу мыслей. Находя опору в своем брате Алексее, которого мы в скором времени встречаем генерал-прокурором и Андреевским кавалером, он мнил себя почти что властителем государства, где последний гатчинец пользовался большим доверием, чем он; даже союз, заключенный этими господами с г-жой Нелидовой и императрицей, не спас их от общей всем при Павле I судьбы – немилости»¹⁴.

В феврале 1801 г. Куракин опять «мобилизован и призван» на службу. В марте 1801 г. Павла I убили, однако Куракин и при Александре I сохранил высокое положение: в 1806 г. – посол в Вене; в 1807 г. – один из авторов Тильзитского мира, увенчавшего неудачную войну с Наполеоном; в 1808–1812 гг. – посол в Париже. По собственному желанию уйдя в отставку, Куракин лечился в Европе и скончался в 1818 г. в Веймаре. Князя похоронили в Павловске – резиденции вдовствующей императрицы, а в 1819 г. над могилой был установлен его барельеф с надписью «Другу супруга моего».

Князь Александр Борисович Куракин по семейной традиции соединял с государственной службой культурные интересы: сохранились его мемуарные сочинения, он, по-видимому, перевел на французский язык жизнеописание Н.И. Панина, составленное Д.И. Фонвизиним¹⁵, вообще слыл «всегдашним Покровителем муз, умеющим ценить стихотворческие произведения»¹⁶, в 1776 г. был избран членом Шведской академии, в 1798 г. – Российской.

Два жизненных пути – шведской графини Софии и русского князя Александра, знатных, богатых, даровитых, образованных, изведавших фавор и опалу, – пересеклись в 1776 г.

Дипломатия I, или Семейные заботы

В октябре 1776 г. князь Александр Куракин отправился в Стокгольм с ответственным поручением.

Инструкция Коллегии иностранных дел за подписью Н.И. Панина предписывала:

Ее Императорское Величество, для большего засвидетельствования дружеских своих сентиментов и атенции его шведскому вели-

честву, вознамерилась отправить в Стокгольм нарочную персону с обещанием о благополучно совершившемся бракосочетании любезнейшего сына Ее, Государя Цесаревича. К сему Ее Величеству угодно было избрать вас, г. камер-юнкера, и высочайше повелеть Коллегии иностранных дел снабдить вас при отправлении туда потребным наставлением, которое и дается вам в соответствующих пунктах:

1. По приезде вашем в Стокгольм, имеее вы адресоваться, во-первых, к находящемуся тамо поверенному в делах посольства секретарю Рикманну, поступая во всем по чинимым от него объяснениям, как в представлении себя шведскому министерству и в испрошении себе аудиенции, так и в учреждении, в бытность при стокгольмском Дворе, ваших поведений сходно с достоинством порученной вам комиссии, и не удаляясь от тамошнего этикета, а чтоб и поверенный в делах вам потребные уведомления подавал и показывал во всем вспоможение, о том отправляется указ от Коллегии иностранных дел, с которого при сем для известия вашего прилагается копия.

2. При первом свидании вашем с шведским министерством и по сообщению ему копий с приложенных при сем, купно с оными, грамот Ее Императорского Величества и Их Императорских Высочеств к его величеству королю, когда, по вашему испрошению, назначена будет у его величества аудиенция, имеее вы на оной поднести означенные грамоты, препроводя пристойною речью на французском языке согласно с намерением отправления вашего.

3. Как вы и всей королевской фамилии представлены будете, то надлежит вам как вдовствующей королеве, так и герцогу Судерманландскому с герцогинею, и принцессе от стороны Ее Императорского Величества сделать приличное и с настоящею вашею комиссиею сходственное приветствие, уверяя их об имеющей к ним Ее Императорского Величества дружбе.

4. По получении как у короля, так и у всей его фамилии аудиенции, имеее Вы обо всем обстоятельно донести ко Двору Ее Императорского Величества, адресуя реляцию вашу в Коллегию иностранных дел.

5. Если во время пребывания вашего в Стокгольме, или же на дороге отзываться к Вам будут о нынешнем положении полити-

ческих дел, то надобно вам стараться убраться от всяких по оным изъяснений. <...>¹⁷

Дипломатической миссии предшествовала династическая драма¹⁸. В 1773 г. великий князь Павел Петрович женился на принцессе Гессен-Дармштадтской Вильгельмине, после перехода в православие Наталии Алексеевны (к этому было также приурочено прекращение полномочий Панина как воспитателя наследника престола). Однако в апреле 1776 г. великая княгиня при родах умерла, муж был безутешен. Екатерина II увидела в происшедшем угрозу пресечения династии и энергично взялась за корректировку. Цесаревичу намекнули, что жена была ему неверна, и убедили в необходимости нового брака. В июне 1776 г. Павел Петрович со свитой (в которую входил Куракин) посетил Германию. Там состоялось знакомство с виртембергской принцессой Софией Доротеей, в августе он уже сопровождал невесту при въезде в Царское Село, а в сентябре совершилось бракосочетание Павла Петровича. Новую великую княгиню назвали Марией Федоровной, второй брак оказался счастливым: в 1777 г. родится первенец (будущий император Александр I), потом другие дети.

В октябре 1776 г. Куракин – друг цесаревича, участник его матримониальных забот, доверенное лицо Панина – спешно поехал в Швецию, дабы официально поделиться радостным известием с венценосным родственником Екатерины и Павла Густавом III (король Адольф Фредерик был родным братом Иоганны Елизаветы, матери императрицы, Густав – двоюродным братом Екатерины). Вскоре камер-юнкер прибыл в административный центр шведской Финляндии город Або (теперь Турку), где был сердечно принят на самом высоком уровне.

«Я не могу довольно хвалиться всеми ласками и учтивостями, в Финляндии мне оказанными, – писал Куракин дядюшке Панину, – все начальники, городские и земские, старались во всем мне способствовать, нужды дорожные были ими заранее предвидены, и все свои распоряжения учредили они выгоднейшим для меня образом. Повелением правительства на всей дороге лошади были выставлены, ночлеги ночные везде назначены и изготовлены. В городах же лучшие купеческие дома для меня отведены»¹⁹.

10 ноября (по европейскому стилю) Куракин морским путем – через Ботнический залив – добрался до Стокгольма, а 14 ноября уже получил возможность торжественно известить членов королевской семьи Густава III, королеву Софию Магдалену, герцога Карла Зюдерманландского о счастливом событии, которое случилось в Петербурге.

Куракин докладывал императрице: «Я имел счастье поднести его величеству королю грамоты Вашего Императорского Величества и Их Императорских Высочеств, препроводя их прилично, по случаю моей присылки, речью. Король в своем ответе изъявил, что он с великою чувствительностью сей новый знак дружбы Вашего Императорского Величества приемлет, что по ближнему своему родству с вами, всемилостивейшая Государыня, по союзу между обеими державами и по собственному расположению своей души участвует весьма в новом браке Его Императорского Высочества, происшествии столь радостном для всего голстинского дома, и что он уверен, что оное к утверждению в будущие времена настоящего блаженства России послужит. Потом вступил сей государь со мною в разговор о разных посторонних вещах, осведомясь сначала подробно о высочайшем здоровье и о месте пребывания Вашего Императорского Величества»²⁰.

Как видно из реляции от 22 ноября, Куракин вскоре «закрыл» церемониальный список, получив доступ к вдовствующей королеве Лувисе Ульрике (сестре прусского короля Фридриха II) и к принцессе Софии Альбертине, сестре короля. Достоин упоминания, что королева-мать оказала особую честь русскому дипломату, согласившись выслушать его, несмотря на свое недомогание: «Многие из сенаторов, разговаривая со мной о том, что Ее Величество вдовствующая королева с толиким нетерпением решиться изволила принять меня в своей спальне, и не быв еще в состоянии от болезни своей с постели встать, дали мне с некоторым умыслом почувствовать, что в сем приеме явствует единственно великое ее желание получать всегда утвердительные известия о благополучии Высочайшего Дома Вашего Императорского Величества»²¹.

Реляция венчалась акцентированием личных успехов, которые, впрочем, скромно списывались на счет уважения к Российской империи и государыне: «Пользуясь сим случаем, приемлю также

смелость, всемилостивейшая Государыня, донести Вам, что меня осыпают здесь отличиями и ласками. Его величество король не только позволил мне всякое утро к его Двору ездить, когда он для одних подданных своих выходит изволит, но, по его приказу, приглашаем я через день к приватным его ужинам, на которых бывает он не государем, но просто хозяином, упражняющимся старанием угостить своих гостей. Предметы частых его со мной разговоров не иные суть, как победами приобретенная слава, по человеколюбию и по покровительству наукам основанные разные учреждения для воспитания и для художеств и блаженство, Россиюю вкушаемое под скипетром Вашего Императорского Величества. Я пребываю с наиглубочайшим уважением Вашего Императорского Величества всеподданнейший князь А. Куракин»²².

Закономерно, что если семейные радости цесаревича претворялись в мотивировку дипломатического визита, то сметливые придворные встраивали подобные акции в собственные планы. София, обсуждая с герцогиней Зюдерманландской способы снова заполучить Куракина в Швецию, политесно предложила ей родить наследника, чтобы возник повод для государственных торжеств. И королевскому дому хорошо, и София увидит возлюбленного: «Я молила ее подарить миру принца или принцессу, надеясь, что, может быть, Вас назначат поздравить ее со счастливым событием и Вы приедете. Это – единственная возможность когда-либо увидеть Вас, или другой подобный повод; я убеждена, что Швеция никогда не испытает счастья получить Вас» (письмо № 34). Однако Хедвига Шарлотта не смогла ничем помочь ни собственному семейству, ни чувствительной фаворитке. Высокородная чета осталась бездетной.

Дипломатия II, или Высокая политика

Цель была достигнута. Однако дипломатическая миссия Куракина отнюдь не сводилась к сообщению о семейных радостях великого князя. Потому инструкция, выданная в Коллегии иностранных дел, включала еще 6-й, дополнительный, пункт: «Какие вы можете иногда сделать новые примечания во время вашего пути в рассуждении внутренних военных распоряжений

шведского Двора, также и расположения по земле духов, по причине переменившейся формы правления, словом, о всем том, что здешнюю атенцию заслуживать может, о том имеете вы донести по прибытии вашем сюда особливую реляциею, наблюдая, однако ж, всячески, чтобы чинимыми Вами по пути разведываниями не навлечь на себя и малейшего подозрения»²³.

Отношения России и Швеции были, несмотря на демонстративный политес, далеки от сердечных.

С середины XVI в. в Северо-Восточной Европе велся «длинный ряд войн, в основном между Швецией, Данией, Польшей и Россией. По временам заключался мир, но он никогда не продолжался особенно долго»²⁴. Ситуация, в рамках которой развивались события 1770-х годов, сложилась как следствие Северной войны и Ништадтского мира 1721 г. 1) Швеция лишилась значительных территорий. 2) Власть короля была поставлена под жесткий контроль сословий («чинов»). 3) Новый государственный строй официально гарантировался державами-победительницами. Россия активно пользовалась своим правом, вмешиваясь во внутреннюю политику Швеции и финансируя партию «колпаков». В Швеции для одних это означало привлекательный конституционный порядок («вольность»), для других (к числу которых принадлежал Густав III еще в бытность принцем) – упадок государственности, напоминающий кризис в Польше XVIII в. и чреватый аналогичными последствиями: дальнейшей утратой территорий, окончательной потерей независимости и т. п. Такого рода соображения определили курс Густава III (переворот 1772 г.) – курс на усиление монаршей власти и активизацию внешней политики. Естественно, Россия негативно приняла политику молодого короля. Следует также учитывать, что Швеция традиционно поддерживала союзнические отношения с Турцией (основанные на общей враждебности к России), и переворот Густава III, произведенный в разгар русско-турецкой войны, тревожил императрицу.

Куракин на протяжении всего визита не упускал из виду задачи по сбору информации о шведском военном могуществе и о генеральных намерениях густавианского двора. В той же реляции, где он столь тепло отзывался о высшем обществе Финляндии, дипломат представил справку о состоянии шведской армии в этой пограничной области: «Земля сама по себе от своих гор и озеров

крепка. Сии укрепления естественные, по-видимому, обеспечивают правительство и отводят его от употребления в сей граничной области оборонительных мер, требующих на свое содержание великого иждивения и непрерывного присмотра. Войск в Финляндии, сколько удалось мне узнать, весьма мало, а солдаты, коих я видел, разве одною памятью древних побед своих предков в неприятелей страх вселить могут. Они не щеголяют ни своею внешностью, ни военною осанкою, ни опрятностью своей одежды»²⁵.

22 ноября Куракин отправил Панину подробный аналитический обзор, основанный на «разговорах» с королем и со «знатнейшими особами из дворянства»²⁶.

Общее состояние умов (по Куракину):

Ближнее соседство наших двух государств, древнее их между собою соперничество и, наконец, нами, победоносным нашим оружием и внутренним благим устройством, в политической системе Европы одержанный перевес вкоренили в их души вреднейшие против нас расположения; оные с ними вместе рождаются, воспитанием утверждаются и никаким возможным способом отвращены или перемены быть не могут. Всякий швед напоен против России завистью <...> К сему же прибавлю, что здесь, от первого до последнего, обладаемы все страхом от непрестанных подозрений внутреннего неудовольствия Ее Императорского Величества и намерения Ее дать им, при первом случае, действием гнев свой почувствовать за последнюю в форме правительства учиненную перемену, оскорбившую и уничтожившую всю до сего времени состоявшую вольность их под правительством и гарантию нашего Двора. Сии семена ненависти и страха против нас, истребляющие даже до тени доброго согласия между обеими землями, рачительно во всем государстве рассеиваются наставлениями Франции и вероломным против верности к своему отечеству старанием ее закупленных сторонников.

Планы короля:

Живое воображение его величества, толикими иллюзиями питаемое и соответствующими его самолюбию, также и алчности, бессмертным в потомстве себя учинить, по уверению многих, его

прямо знающих, не иными мыслями занимается, как дойти приведением финансов и военных сил Швеции в лучший порядок для того, чтоб из оной сделать державу, совершенно активную и на всякий случай готовую не токмо к достаточной обороне самой себя, но и к действительному наступлению. Сей государь, утешаясь подобным будущим положением, коего исполнение столь отдаленно и почти невозможно от естественных препятствий, надеется поставить себя и государство свое в почтение у своих соседей <...> Сколько слышу и сколько мне самому кажется, то вряд почесть можно опасным и продолжительным желание его шведского величества сделаться для окрестных государств почтенным, предприимчивым и опасным соседом, в рассуждение владычествующей в нем склонности к забавам, к наружной пышности, к непостоянству и ко всякой новизне в своих предприятиях. Таковым признают сего государя и его подданные; они не ослепляются обольщениями, обещаниями и наружным блеском, коими он их подчинить себе думает.

Противники короля:

Франциею управляемые шведы, известные под именованием Шляп, сетуют против Двора и считают быть проступком королевским обманутыми. Главный их древний предводитель фельдмаршал Ферзен удалил себя от всех дел, оставил службу, не таит своих жалоб и не однажды оказывал благонамеренным расположение свое приступить к мерам, совсем опровергающим прежнее его поведение, которым, как сказывают, никогда не хотел он лишить свое отечество достоинства древней вольности <...> Остальные три государственные чина, как духовенство, мещанство и крестьяне, не скрывают, сколь они чувствуют потерю прежних своих преимуществ. Сии сожаления вящим бы подкреплением служили благонамеренной партии, отличенной именем Шапок (в современной терминологии «колпаков». – *М. О.*) и всегда в пределах благодарности против России за покровительство и благодеяние Ее Императорского Величества содержавшейся, ежели бы бывшие оной начальники возмogli отважиться к большей смелости в оказании своих собственных правил и во внушении публике достаточных наставлений для упорства против самодержавных

предприятий. Но то несчастье, что ропщущих, недовольных, любящих вольность много, а отважных, смелых, предприимчивых, истинно благонамеренных мало, или совсем нет.

Характеристика короля:

Острота и просвещение блистают в его разговорах. <...> Из речей же его величества мог я довольно приметить, что почтение его к России происходит от одного страха, слова его преисполнены ласкательствами, сердце ненавистью, недоброхотством и страхом; однако подобные движения в его душе существуют еще сильнее против Дании, которую почитает совсем расстроеною и тем никак не в состоянии военному от него наступлению противиться, если бы датский Двор не был оборонен тесным союзом и согласием с Ее Императорским Величеством. <...> Я должен еще признаться вашему сиятельству, что острота и сладость речей его величества короля не воспретили мне приметить, что он весьма привязан ко всяким мелочам и что он не столько истинною великих душ славою обладаем, но единою слабостию к безделочным наружностям пышности и величества; в сем заключении утвердился отменным удовольствием, им вкушаемым в описании мне разных церемоний, позорищ и тому подобных вещей, не стоящих занимать память и речи великого мужа.

Через неделю (в письме Панину от 29 ноября) Куракин детально реферировал приватный разговор с Густавом III, происходивший – почти как аллегория политики XVIII столетия – на маскараде, «в скрытном одеянии»: «В бывшем на прошедших днях маскараде его величество король, находясь в скрытном одеянии и ходя со мною весьма долго, наконец отвел меня в угол, посадил подле себя и начал с большим огнем разговор о своем прошедшем и настоящем положении в рассуждении России. <...> Его величество открыл мне надежду свою о неразрушимом продолжении своего дружелюбного союза с Ее Императорским Величеством, утверждаясь на том, что от просвещенного проницания нашей всемиловитвейшей Государыни искренность его преданности к высочайшей ее особе скрыться не может, и к тому же, что России никакой нет пользы обширные свои границы к северу распро-

странять на счет Швеции <...> Быв оба в закрытых масках, не мог я по лицу его величества приметить, сколько сии речи в сердце его действовали, только по голосу его рассуждаю, что он весьма смущен был: иногда говорил он с великим жаром, а иногда с некоторою робостью, с остановками, выбирая слова и потупив глаза»²⁷.

Заинтересованностью короля в доверительных встречах (их содержание споро доводилось до сведения императрицы) Куракин аргументировал целесообразность продления своего пребывания в Швеции: несмотря на завершение официальной «матримониальной» части, ему на самом высоком уровне намекнули о желательности посещения Грипсхольма – королевского замка, где Густав III хотел еще раз повидать дипломата и только там вручить отпускные грамоты²⁸.

24 декабря Куракин отправился в Грипсхольм. Придворные выказывали подчеркнутую предупредительность. Барон Эренсвэрд доброжелательно сообщал ему (во французском письме): «Король изволит вставать в первом часу – самое подходящее время, чтобы общаться с Его Величеством. Правда, после церемонии будет церковная служба, но обыкновенно она очень кратка, и мы, пока она длится, успеем нанести визиты дамам»²⁹.

Густав III принял дипломата и «более часа весьма милостиво» беседовал с ним наедине «не о посторонних вещах, но о существовании настоящем Швеции, – о новой введенной им форме правительства, о положении его государства в рассуждении России и особливо» о «любви и адмирации» в отношении Екатерины II.

Это было последнее свидание. Грамоты, наконец, получены, впрочем, дипломат не рвался покинуть Швецию. Нечто (точнее – некто, о чем далее) его удерживало. Куракин даже осмелился просить о другой дипломатической должности, позволившей бы остаться (или быстро вернуться): «...его величеству угодно было много раз, между прочим и после отпускной моей аудиенции, изъявлять мне, что он весьма желает меня у своего Двора видеть уполномоченным от Ее Императорского Величества посланником, и что он уверен, зная искреннее расположение моей души ко всему тому, от чего слава и польза моего отечества зависит, что от моих стараний и трудов основалось бы наилучшее согласие и желаемый союз между обоими государствами»³⁰. Однако пожелание Куракина не было удовлетворено.

Надо отметить, что почти сразу за миссией Куракина – летом 1777 г. – Густав III посетил Петербург, где пытался обаять опасную родственницу и «дружить» против Дании. Интрига не удалась: императрица сохранила настороженность, да и не собиралась она отказываться от традиционного союза. В 1788 г. Густав III, воспользовавшись новой войной России с Турцией, атаковал могущественного соседа. Упорные сражения шли на море и на суше, король и герцог Зюдерманландский лично принимали участие в боевых действиях, но Верельский мир, заключенный в 1790 г., лишь подтвердил *status quo*. Единственное завоевание короля касалось не территорий, а вопросов чести: Россия отказалась от вмешательства во внутренние дела Швеции. Война с Российской империей потребовала мобилизации всех сил державы, Густав III снова корректировал порядок управления (провозглашение так называемого Акта единения и безопасности), арестовал оппозиционеров (в том числе престарелого фельдмаршала Ферзена). Против короля составил обширный заговор, и в 1792 г. он был смертельно ранен на бале-маскараде.

Масонство I, или В поисках посвящения

В рамках дипломатической миссии Куракин выполнял еще одно задание, которое исходило от Паниных, не только государственных деятелей, приближенных великого князя, но и представителей российского масонства.

При Екатерине II масонство получило широкое распространение в России: прагматичная и скептическая, императрица лично относилась к мистическим исканиям подданных с равнодушным недоброжелательством, однако на первых порах не демонстрировала никакой враждебности и тем более не устраивала гонений. К тому же во главе вольных каменщиков находился «свой» И.П. Елагин, в чьей лояльности и безоговорочной преданности сомневаться не приходилось.

В сентябре 1776 г. различные системы, популярные в России, объединились в великую провинциальную, или национальную, ложу под управлением Елагина и Петра Панина. Хотя единство вскоре было снова утрачено, но масонские работы явно переживали расцвет.

Отечественные вольные каменщики, поднимаясь по степеням посвящения, натолкнулись на непреодолимое препятствие: их мастера, которые сами не достигли высоких степеней, не могли стать духовными вождями. Закономерно для России XVIII в.: посвящения решили искать в Европе. «Но куда именно должно было обратиться? – размышлял историк масонства М.Н. Лонгинов. – Естественнее всего, казалось бы, отнестись к Лондонской ложе-матери, бывшей родоначальницей Елагинских лож. Но они отделились уже от первоначального устройства <...> Итак, следовало искать другого руководства»³¹. Например, в ложах Швеции, славившихся древностью и чистотою правил. Да и Никите Панину с его балтийской компетентностью было симпатично это направление.

Шведское масонство имело высоких покровителей: «В развитии и организации шведской системы принимал выдающееся участие король Густав III и брат его герцог Карл Зюдерманландский <...> Союз получил большое распространение, влияние его распространялось даже на государственную жизнь Швеции»³². Шведская система была строгой и закрытой, культивировался рыцарский дух избранности, «так, например, посвящаемый в VI-ую степень должен был иметь в своей родословной не менее четырех поколений дворян»³³.

Высокое положение масонского руководства определяло статус переговоров и самого переговорщика: речь шла не о секретных, конспиративных контактах, но о престижнейшем уровне, что дополнительно способствовало успехам Куракина в обществе. И София, намереваясь утаить от родных интимные беседы с русским другом, маскировала их именно разговорами о ложах: «Когда все удалились, мать начала допрашивать меня о нашем разговоре в дверях; я сказала, что Вы беседовали со мной о Грипсхольме, о франкмасонских ложах, по крайней мере, здесь ей было не за что брюзжать на меня» (письмо № 23).

Переговоры, казалось бы, прошли счастливо. По словам публикатора куракинского архива, «шведские вольные каменщики охотно откликнулись на зов своих русских братьев, и сам герцог Карл Зюдерманландский, брат шведского короля, посвятил князя Куракина в таинства шведского масонства, снабдив его кроме того конституциями экоских, т. е. шотландских, национальных лож, а

также “клеянодами”, или символическими масонскими знаками и инструментами...»³⁴. Чуть позже – в рамках петербургского визита – Густав III даже посетил собрание российских масонов.

В исторической перспективе, однако, масонские достижения Куракина не столь впечатляют. Екатерина II перестала сносить наличие рядом с великим князем слаженной масонской организации и «оккультную» зависимость петербургских каменщиков от Карла Зюдерманландского – принца если не враждебной, то и не дружественной державы. «Свой» Елагин первым оценил изменившуюся ситуацию: его, похоже, насторожили «властолюбивые побуждения шведской великой ложи. Как бы то ни было, он не участвовал в дальнейшем ведении этого дела и не вступал в союз со Швецией»³⁵.

Масоны-«павловцы» оказались менее ухватчивыми. И в 1780 г. Г.П. Гагарин – доверенное лицо Павла Петровича, приятель Куракина, которому тот передал добытые в Швеции орденские полномочия, – получил предписание перебраться на службу в Москву. Пришлось, отказавшись от шведского проекта, налаживать связи с другим высокородным «вольным каменщиком» – Фердинандом Брауншвейгским, но это только переполнило чашу терпения императрицы.

Очевидно, масонский эпизод сыграл свою роль в удалении Куракина от великого князя, последовавшем в 1782 г. По крайней мере Екатерина II, отправив Куракина в ссылку, нанесла вдогонку литературный удар, где метила в его масонские занятия.

Опальный князь был прозрачно изображен (под именем А А А) и осмеян в юмористическом цикле «Были и небылицы» (1783 г.), который императрица анонимно (от лица некоего благонаправленного юноши) напечатала в журнале Е.Р. Дашковой «Собеседник любителей российского слова». А А А образует комическую пару с И И И (И.И. Шуваловым, в прошлом могущественным фаворитом Елизаветы Петровны): И И И «более плачет, нежели смеется», А А А «более смеется, нежели плачет».

Специальный объект издевательств венценосного литератора – давняя масонская поездка Куракина. Вначале в рубрике «Ведомости» сообщается: «Друг мой А А А, который более смеется, нежели плачет, услан за Масонскими делами во Швецию, где, сказывают, по касающемуся до того, толсто смыслят; привезет ли он более прежнего, никак неизвестно. Многие сомневаются, чтоб

привез что либо, разве новой какой градус или степень в замену посланных денег; в таком случае лоскуток прибудет или убудет, или на ковре, а может быть на стол рака, или каракатицу вновь вымышленным знаком узрим, в богатом доме чего нету?»³⁶

Затем юный рассказчик «Былей и небылиц» помещает якобы дружеское послание к А А А, в котором просматриваются намеки и на панацею, и вообще на алхимические амбиции масонов, и на их ритуалы:

Друг мой любезный А А А!

После отъезда твоего в Швецию за Масонскими делами я осиротел, аки вдовец после смерти третьей жены своей. Желая тебе щастливаго успеха в твоём искательстве, желание же мое безкорыстно. Буде привезешь лекарство от всех болезней, то не имел ни единой, не будет мне в том никакого барыша. Души для меня были бы забавны, послушал бы я охотно их рассказов; они же очень вместительны, говорят, будто их несколько миллионов на булавошном конце могут обращаться; что бы для нас с тобою очень хорошо было, по причине тесноты нашей светлицы, в которой мы с тобою с трудом поворотиться можем. Мешков я отложил покупать до времени. Купцы мне сказывают, что оттуда везут железо, а про золото на бирже ничего еще не слышно. Буде снова навезешь произведения и чинов, то готов с тобою по-прежнему играть в жмурки, я всегда любил сию игру, она потеха забавна в долгия вечера. Между нами сказать, не навези ты нам долгих речей, буде можно. В прочем пребываю__ __³⁷.

Став императором, Павел вернул на службу Куракина и других «своих» масонов (Н.В. Репнин, Г.П. Гагарин). Историк Г.В. Вернадский даже отважился на рискованное обобщение. По его мнению, еще в пору куракинской поездки в Стокгольм «масонская организация должна была, вероятно, составить как бы священную охрану с в о е г о государя-цесаревича, защищая его от всех возможных случайностей придворной интриги»³⁸. И, соответственно, «во всем “Павловском государстве” (которое, конечно, продолжало жить и при Александре под налетом первоначального либерализма) определенно сказались намеченные в русском масонстве XVIII в. принципы духовно-политической жизни»³⁹.

Кстати, благодаря новым обстоятельствам Куракин невольно (или вольно) отомстил гонительнице-императрице на литературном поприще. Император Павел дозволил ему снять копию с интимных «Записок» покойной Екатерины; затем в куракинской библиотеке к рукописи получил доступ А.И. Тургенев; «Записки» стали распространяться в рукописях (с текстом ознакомился Пушкин); в конечном счете ученый-архивист П.И. Бартенев под величайшим секретом доставил «Записки» в Лондон А.И. Герцену, который их впервые и передал печати⁴⁰.

С культурологической точки зрения занимательно задаться вопросом, что привлекало Куракина в масонстве. По-видимому, политические соображения (принадлежность к ложам людей его круга, близких наследнику престола), служение добродетели в духе просветительской программы (в преклонном возрасте он выступал инициатором филантропических проектов) и, наверное, пассаистский рыцарский миф. Во второй половине XVIII в. российское дворянство постепенно сформировало сословное сознание – не просто государевых слуг, но людей, древность рода которых гарантирует чувство их собственного достоинства независимо от милости или немилости актуального монарха. Здесь шведское масонство было очень кстати. Как уже говорилось, оно имело характер закрытого аристократического клуба и, разумеется, значило, что генеалогия Куракина – при передаче ему грамот и «клеюнов» – была проверена и сочтена подобающей⁴¹.

Масонство II, или Интермедия с призраком

При изучении мотивов вступления Куракина в масонскую ложу не рассматривалась тяга к оккультному знанию. Однако создается впечатление (может, ложное), что ему – при трезвом, расчетливом складе ума – подобные интересы были чужды.

В воспоминаниях баронессы Генриетты Оберкирх (друга детства великой княгини Марии Федоровны) изложен любопытный анекдот, где Куракин в полном согласии с екатерининской характеристикой «более смеется, нежели плачет» и выступает антиподом цесаревича (которого сопровождал в европейском

турне) в тот момент, когда тот убежденно повествует о пугающем, таинственном видении.

«29 июня (10 июля) 1782 года прослушав оперу в брюссельском театре, путешественники сели ужинать; великая княгиня, утомившись переездом в тот же день из Рента, удалилась в свои покои. Присутствовали цесаревич, баронесса Оберкирх, князь де-Линь, князь Александр Куракин и несколько других приглашенных лиц. Разговор перешел на предчувствия, сны, предзнаменования; каждый рассказал что-либо из своей жизни, подкрепив свое повествование теми или иными доказательствами. Великий князь не сказал ни слова; тогда князь де-Линь обратился к нему с вопросом, разве ему нечего рассказать, или в России нет ничего чудесного.

Великий князь покачал головой.

– Куракин знает, – сказал он, – что и мне было бы возможно рассказать не меньше других. Но я стараюсь удалить подобные мысли: они меня когда-то достаточно мучили.

Никто не возражал. Великий князь посмотрел на своего друга и продолжал с оттенком грусти:

– Не правда ли, Куракин, что со мной приключилось кое-что очень странное?

– Даже столь странное, государь, что при всем уважении к вашим словам я могу лишь приписать этот факт игре вашего воображения.

– Нет, это правда, сущая правда, и если г-жа Оберкирх даст слово никогда не говорить об этом моей жене, я расскажу вам, в чем было дело. Но я также попрошу вас, господа, сохранить эту дипломатическую тайну, – прибавил он улыбаясь, – потому что я вовсе не желаю, чтобы по Европе разошлась история о привидении, рассказанная мною, да еще о себе.

Все дали слово. Тогда великий князь начал свой рассказ.

– Однажды вечером или, скорее, ночью я, в сопровождении Куракина и двух слуг, шел по улицам Петербурга. Мы провели вечер у меня, разговаривали и курили, и нам пришла мысль выйти из дворца инкогнито, чтобы прогуляться по городу при лунном свете. Погода не была холодная, дни удлинялись; это было в лучшую пору нашей весны, столь бледной в сравнении с этим временем года на юге. Мы были веселы, мы вовсе не думали о чем-либо религиозном

или даже серьезном, и Куракин так и сыпал шутками насчет тех немногих прохожих, которые встречались с нами. Я шел впереди, предшествуемый, однако, слугою; за мной, в нескольких шагах, следовал Куракин, а сзади в некотором расстоянии шел другой слуга. Луна светила так ярко, что было бы возможно читать, тени ложились длинные и густые. При повороте в одну из улиц я заметил в углублении одних дверей высокого и худого человека, завернутого в плащ, вроде испанского, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, поджидал кого-то, и, как только мы миновали его, он вышел из своего убежища и подошел ко мне с левой стороны, не говоря ни слова. Невозможно было разглядеть черты его лица; только шаги его по тротуару издавали странный звук, как будто камень ударялся о камень. Я был сначала изумлен этой встречей; затем мне показалось, что я ощущаю охлаждение в левом боку, к которому прикасался незнакомец. Я почувствовал охватившую меня всего дрожь и, обернувшись к Куракину, сказал:

– Мы имеем странного спутника!

– Какого спутника? – спросил он.

– Вот того, который идет у меня слева и который, как мне кажется, производит достаточный шум.

Куракин в изумлении раскрывал глаза и уверял меня, что никого нет с левой стороны.

– Как? Ты не видишь человека в плаще, идущего с левой стороны, вот между стеною и мною?

– Ваше высочество сами соприкасаетесь со стеною, и нет места для другого лица между вами и стеною.

Я протянул руку, действительно, я почувствовал камень, а все-таки человек был тут и продолжал идти со мной в ногу, причем шаги его издавали по-прежнему звук, подобный удару молота. Тогда я начал рассматривать его внимательно и заметил из-под упомянутой мной шляпы особенной формы такой блестящий взгляд, какого не видел ни прежде, ни после. Взгляд его, обращенный ко мне, очаровывал меня; я не мог избежать действия его лучей.

– Ах, – сказал я Куракину, – я не могу передать, что я чувствую, но что-то странное.

Я дрожал не от страха, но от холода. Какое-то странное чувство постепенно охватывало меня и проникало в сердце. Кровь

застывала в жилах. Вдруг глухой и грустный голос раздался из-под плаща, закрывавшего рот моего спутника, и назвал меня моим именем:

– Павел!

Я невольно отвечал, подстрекаемый какой-то неведомой силой:

– Что тебе нужно?

– Павел! – повторил он.

На этот раз голос имел ласковый, но еще более грустный оттенок. Я ничего не отвечал и ждал; он снова назвал меня по имени, а затем вдруг остановился. Я вынужден был сделать то же самое.

– Павел, бедный Павел, бедный князь!

Я обратился к Куракину, который также остановился.

– Слышишь? – сказал я ему.

– Ничего, государь, решительно ничего. А вы?

Что касается до меня, то я слышал; этот плачевный голос еще раздавался в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие над собою и спросил таинственного незнакомца, кто он и чего он от меня желает.

– Бедный Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души.

Он пошел снова, глядя на меня все тем же пронизательным взором, который как бы отделялся от его головы. И как прежде я был должен остановиться, следуя его примеру, так теперь я вынужден был следовать за ним. Он перестал говорить, и я не чувствовал потребности обратиться к нему с речью. Я шел за ним, потому что теперь он давал направление нашему пути; это продолжалось еще более часу, в молчании, и я не могу вспомнить, по каким местам мы проходили. Куракин и слуги удивлялись.

– Посмотрите на него, – прервал свой рассказ великий князь, указывая на Куракина, – он улыбается, он все еще воображает, что все это я видел во сне.

– Наконец, – продолжал далее Павел Петрович, – мы подошли к большой площади между мостом через Неву и зданием сената.

Незнакомец прямо подошел к одному месту этой площади, к которому я, конечно, последовал за ним, и там он снова остановился.

– Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и еще в другом месте.

Затем его шляпа сама собой приподнялась, как будто бы он прикоснулся к ней; тогда мне удалось свободно разглядеть его лицо. Я невольно отодвинулся, увидав орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку моего прадеда Петра Великого. Ранее чем я пришел в себя от удивления и страха, он уже исчез. В этом самом месте императрица сооружает знаменитый памятник, который изображает царя Петра на коне и вскоре сделается удивлением всей Европы. Громадная гранитная скала образует основание этого памятника. Не я указал моей матери на это место, предугаданное заранее призраком. Мне страшно, что я боюсь, вопреки князю Куракину, который хочет меня уверить, что это был сон, виденный мною во время прогулки по улицам. Я сохранил воспоминание о малейшей подробности этого видения и продолжаю утверждать, что это было видение. Иной раз мне кажется, что все это еще совершается передо мной. Я возвратился во дворец, изнеможенный, как бы после долгого пути и с буквально отмороженным левым боком. Потребовалось несколько часов времени, чтобы отогреть меня в теплой постели, прикрытого одеялами. Надеюсь, что рассказ мой обстоятелен и что я не даром задержал вас.

– Знаете ли вы, государь, что эта история значит? – сказал князь де-Линь.

– Она значит, что я умру в молодых годах.

– Извините, если я не разделяю вашего мнения, – возразил князь де-Линь. – Она несомненно доказывает две вещи: во-первых, что не следует гулять ночью, когда хочется спать, и, во-вторых, не следует прикасаться к стенам, едва оттаявшим, в таком климате, как у вас, государь. Другого заключения я из этого вывести не могу; что же касается вашего знаменитого прадеда, то призрак его, извините меня, существовал лишь в вашем воображении. Я уверен, что одежда ваша была запачкана пылью от домовых стен с левой стороны. Не правда ли, князь? – закончил де-Линь, повернувшись к князю Куракину»⁴².

Куракин явно далек от завороченности таинственным, но при этом он вполне мог осознавать оккультный смысл имени сво-

ей Софии. Тем более что она часто повторяла его, имея обыкновение называть себя в третьем лице: «София любит Вас, дорожит Вами» (письмо № 3), «несчастливая София!» (письмо № 10), «думайте о Вашей Софии, она ни на миг не забывает Вас...» (письмо № 19), «...блестящих придворных развлечений мечтаете о Вашей Софии...» (письмо № 22), «унесите в сердце воспоминание о Софии» (письмо № 30) и т. д.

София, Премудрость Божия – важный символ оккультизма вообще и масонства в частности⁴³, и посвященность Куракина в этот код более чем правдоподобна.

Просвещение I, или Век Разума

Визит Куракина в Швецию можно интерпретировать на разных уровнях. Это, во-первых, поездка дипломата, связанная с перемещением из своей державы – через опасные пространства Финляндии – в чужое, почти враждебное (в политическом аспекте) государство. Во-вторых, это перемещение из профанного пространства российского масонства, одержимого ощущением недостаточности знания, в сакральное пространство духовного центра. И, в-третьих, это посещение «своих» – поверх национальных барьеров. Приятель Куракина, князь А.И. Лобанов-Ростовский, просит передать привет светским знакомым в Стокгольме (Юлленкруне, Риббину), не сомневаясь, что российский дипломат окажется в привычной среде: «Зная усердие шведов, я надеюсь, что вы развлечетесь в Стокгольме, я даже рискую сказать, что убежден в этом. Шведская нация, исполненная уважения ко всем иностранцам, не упустит возможности оценить приятные свойства, которыми Вы наделены»⁴⁴.

Российские и шведские дворяне друг другу свои, они говорят на одном языке – французском и на одном категориальном языке, используя универсальный дискурс просветительской философии. Куракин, реферируя воззрения Густава III и подозревая короля в лицемерии, докладывал Панину: «Когда речь о Швеции доходила, всегда при мне старался о ней отзываться, как о вольной республике, и о себе самом, как только о первом члене вольного правительства»⁴⁵. Все гармонично: Панину – участнику

екатерининского переворота 1762 г., низвергнувшего «самовластие» (согласно официальному манифесту) – объясняют, что шведский переворот 1772 г. должен был укрепить статус шведского королевства как «вольной республики».

Ситуация абсурдная, но показательная. Просвещенные монархи и их соратники, причем решительные, способные энергично «власть употребить», официально толкуют «вольность» в качестве аксиоматической ценности.

Просветительская идеология выразилась в позитивном отношении к слову «патриот», которое, первоначально обозначая в новых европейских языках земляка, постепенно было осложнено признаком любви к отечеству, а в XVIII в. сверх того приобрело конкретные политические коннотации.

К примеру, политическое положение в Великобритании 1730-х определялось борьбой так называемых придворных и патриотов. «Придворная» партия возглавлялась всемогущим премьер-министром Р. Уолполом, пользовавшимся поддержкой королевской четы, а «патриотами» себя называли вожди парламентской оппозиции. Позднее для лидеров американской революции патриот – тот, кто восстал против тирании английского короля. Как гласит агрессивный афоризм Томаса Джефферсона, «дерево свободы должно время от времени освежаться кровью патриотов и тиранов»⁴⁶.

В шведском королевстве тираноборческое толкование патриотизма, по-видимому, еще не актуализировалось, и по английской модели слово «патриот» подразумевало верность стране, а «придворный» – верность государю. Однако Густав III в речи к сословиям на открытии риксдага 8 мая 1786 г. выступил с декларацией о своих «патриотических намерениях»⁴⁷.

Так же понимал патриотизм подданный российского монарха, осознавая этот термин в качестве позитивно окрашенного: «Угнетенная вольность и обманом введенная самодержавная власть занимают еще шведов, находят место в их рассуждениях и от того довольно основательную подают надежду со временем число и предприимчивость благонамеренных патриотов к разрушению настоящей королевской власти умножить»⁴⁸.

Впоследствии – согласно общей логике столетия «безумна и мудра» – Куракин явно ужаснулся революционному примене-

нию просветительской идеологии. И.М. Долгоруков вспоминал: «Во время службы моей в Пензе, революция французская была в самой пушней своей силе; она не нравилась князю Куракину, а я, как энтузиаст, пленялся софизмами гг. философов и неравнодушен был к их успехам. Тогда во Франции брошены титулы, наряды, ордена: я, находя это очень покойным, перенял моду не чесаться и не пудриться: отличительная наружная черта республиканца в Париже; по ней судил меня слишком бегло князь Куракин и утвердился в тех мыслях, что я якобинец, как будто бы помада и пудра или цвет шапки делают человека и образуют его характер»⁴⁹. Брат Софии – непосредственный свидетель первых шагов Французской революции – с омерзением писал: «Великое множество юношей, именуя себя патриотами или якобинцами, обрезали волосы и напоминают английских грумов, не пудрятся, – вот французы»⁵⁰. И Густав III уже иначе относился к пропаганде просветителей, отдав последние годы жизни подготовке крестового похода против революции.

Это в 1790-х, а пока, в 1770-х годах, стокгольмский двор, желая выразить благоволение к Куракину, удостоил его чести стать членом Королевской академии наук (которой Густав III постоянно уделял серьезное внимание).

Куракин, увидев в королевском жесте отнюдь не политическую формальность, счел себя обязанным в благодарственной французской речи изложить свою концепцию Просвещения, неразрывной связи просвещенной монархии с программой покровительства наукам и продемонстрировал готовность подтвердить почетный титул реальными деяниями:

Господа, я вполне ощущаю честь, которой удостоился, будучи принят в ваше сообщество. Это – одно из самых лестных званий, которое я мог получить. Признаю, что желал этого; однако, в то же время, должен открыться: я, оценивая себя беспристрастно, не надеялся получить его.

Никогда, Господа, светоч философии не горел столь сильно и чисто, как у вас. Этот светоч позволяет вам просветить дух соотечественников. Демонстрируя пользу наук, представляя науки легкими и приятными, вы указываете соотечественникам их долг и благо и снабжаете действенными средствами, дабы исполнить первое и

уметь оценить второе. Вы делаете больше, Господа. Теоретическое совершенство наук не есть единственная цель ваших усилий, забот и штудий. Вы искали и вы обрели большую славу. Ваши труды направляются любовью к человечеству. Вы не обходите вниманием первейшую и полезнейшую из всех наук. Вы развиваете богатства земледелия, вы открываете здесь новые возможности и вы заставляете любить его изучение. Воодушевленные этой благотворной перспективой, вы сумели сделать ваши занятия дорогими для всех тех, кто достоин познавать и любить натуру. Общие аплодисменты, хвалы и славнейшие успехи увенчали ваши труды, а трудности возникают перед вами лишь для того, чтобы снова манить к их преодолению.

Вы, Господа, заслуженно приобрели любовь и признание всех истинных граждан, а также высокое уважение, которым вы пользуетесь в литературном мире. В течение длительного времени мой слабый голос – в согласии с другими – воздавал вам справедливую дань восхищения. Вы не можете усомниться, Господа, что я считаю истинной честью для себя быть среди вас. Мои сердечные чувства, желание оказаться достойным места, которое вы соблаговолили присудить мне, и надежда со временем оправдать ваше доверие – все это я предлагаю вам. Я делаю это без всяких опасений. Снисходительность, которую вы столь великодушно показали, позволяет мне твердо надеяться на то, что я никогда не буду отлучен от нее.

Я не могу удержаться, Господа, и свидетельствую, что поражен оказанной честью еще и потому, что, став членом вашей академии, я оказываюсь под замечательным покровительством, которым вас удостоил великий король. Это – король, который соединяет со свойствами монарха добродетель философа, который умножает достоинства диадемы благородством просвещенного ума и благотворного сердца, который воспитал себя при помощи наук и который в них находит дражайшие наслаждения.

Я счастлив жить под властью Государыни, которая известна как благодетельница своей империи. Ее любовь к порядку и общему благу, множество ее мудрых установлений, награды, которыми она оделяет литераторов, убежище, которое находят у ее престола, – благодаря всем этим великим ее свойствам, я по возвращению на родину смогу постоянно предлагать новые сюжеты, достойные вашего внимания и рассмотрения.

С усердием, неуклонно возрастающим, я намереваюсь показать вам, Господа, свою признательность, которой я одушевлен. Я буду счастлив, если вы соизволите принять эти слабые доказательства моих стараний и привязанности к вашей академии. Дерзаю надеяться, что вы сделаете это, ибо вами движет великий интерес к прогрессу наук и к блаженству народов всех стран⁵¹.

Достоин внимания, что Куракин в своей торжественной речи акцентировал практическую пользу наук. С этим перекликаются и его планомерная забота о развитии «богатств земледелия» в России (с 1776 г. – член Вольного экономического общества, жертвователю средств на знаменитые конкурсы общества и т. п.) и шире – будущая коммерческая деятельность (в пору ссылки) и т. д.

Просвещение II, или Век Галантности

Эпоха Просвещения – не только выверенная система политического баланса, не только рациональная философия и масонство, но также атмосфера праздника и флирта.

Двор Густава III веселился – посреди веселья делалось дело. На маскараде король атакует Куракина, пытаюсь разъяснить свою политическую программу⁵². На балу – спустя 15 лет – Густав III будет убит. В опере графиня София, слушая Орфея, скорбит о несчастной любви (письмо № 33), в опере же она негодует, почему Куракин занят не ею, а австрийским посланником Кауницем (письмо № 4).

Король – неутомимый сценарист придворных зрелищ. Он, например, увлекался организацией специальной «рыцарской» забавы – «карусели», игровой имитации средневековых турниров (ср. аристократизм и рыцарский миф шведского масонства). В письме № 39 София с удовольствием повествует явно понимающему Куракину: «Карусель закончилась, неизвестного рыцаря не нашлось. Конюшенный Королевы барон Ролам выиграл главный приз, он же получил специальный приз Королевы. Золотыми медалями награждены те рыцари, что одолели своих противников, большая их часть – из группы Короля. Его Величество одолел Герцога».

Другие представители венценосного семейства не отставали от Густава III. По словам Софии, «...мы живем праздниками и репетициями; каждый второй день у Герцога репетируют праздник, который он даст Королю 5 февраля, сюжет – *Брак сына императора с племянницей того*. Роль императора исполнит барон Карл Спарре, императорского сына – юный ... племянницы – мадам Адельсвэрд. Это основные роли, кроме того, есть группа китайцев и группа татар. Пока все не очень устроено, но сегодня вечером будет очередная репетиция. Вчера во Фредриксхофе (резиденция Королевы-матери. – М. О.) с большой помпой праздновали свадьбу мадмуазель Эренсвэрд. Позавчера Король устроил для Герцога праздник, очень удавшийся, который представлял *Лагерь в Сконе*. Галерея была украшена еловыми ветвями, вдоль стен установили шатры, освещенные фонарями, лавочки со всякой всячиной, множество прогуливающих солдат и крестьян, так что места было мало. Король, который во время бала-маскарада участвовал в крестьянской кадрили, играл здесь ту же роль; другую группу составили солдаты с их женами. Когда Герцог прибыл, солдаты пели и танцевали, крестьяне тоже, а распорядитель предложил показать ему свою труппу. Французская труппа, которая Вам известна, исполнила две пьесы: *Говорящая картина* и *Игры любви и случая*. Комедия закончилась, и мы отправились ужинать в еловые беседки; после ужина танцевали до 4 часов утра. Забыла отметить, что Королева-мать также присутствовала на празднике; она удивила этим Короля, который ничего подобного не ждал» (письмо № 36).

Кроме того, стокгольмское общество молодо и влюблено. София ревнует Куракина к Шарлотте Де Геер, а несколькими годами раньше Шарлотта – тогда еще незамужняя Шарлотта Дю Риез – состояла в страстной переписке (на французском языке) с Густавом, тогда еще наследником престола. Густав: «Да, Вы – моя госпожа, Вы – госпожа моего сердца и моей воли, вся моя жизнь. О, Вы – самая чарующая из женщин, Вы не можете видеть моего отчаяния и моей досады на то, что не могу найти Вас в тот момент, когда восстановление моего здоровья, устранение лишних глаз и легкая и удобная возможность встретиться дали бы мне самые обещающие надежды испытать наслаждение в Ваших объятиях. Ведь Вы – первая и единственная женщина, которая

мне полюбилась и которую моя жена столь сильно осуждает»; «Ах, отчего должно быть так, что Вы и я связаны с людьми, чей нрав столь сильно отличается от нашего, отчего не дозволено обменяться, ведь тогда, по крайней мере, было бы двое счастливых вместо четверых несчастных, какие мы теперь. Ах, с каким восторгом я забыл бы печали в Ваших объятиях...»⁵³ Шарлотта: «Ах, если бы я могла говорить с Вами, обнимать Вас, даже целовать следы Ваших ног – мой любимый и нежный любовник и повелитель, простите, мой принц, Вашей печальной и верной возлюбленной эти, возможно, слишком нежные выражения, но я не в силах сдерживать чувств своего сердца»⁵⁴.

В подобной же взвинченной манере герцогиня Зюдерманландская формулирует свою экзальтированную дружбу к Софии: «Если бы у меня был любовник, он не мог бы быть мне ближе, чем моя дорогая София». А София, в свою очередь, при всей привязанности к герцогине нежно отзывается об «очаровательной» Аугусте Левенъельм, любовнице герцога и матери его незаконных детей (письмо № 38).

Шведские историки, подчеркивая противоречивый характер густавианского правления, вместе с тем вспоминают его ностальгически: «С кончиной Густава III изменилась и Швеция. Исчезли обаяние, радость, легкомыслие и, наверное, можно добавить – какое-то величие»⁵⁵; «Жизнь в Швеции становилась спокойнее. И скучнее»⁵⁶.

Эпистолярный роман I, или Фрагменты речи влюбленной

Многотрудная деятельность Куракина-дипломата при дворе Густава III также причудливо переплелась с куртуазными похождениями, запечатленными в любовных письмах Софии Ферзен к своему русскому избраннику.

Первое письмо датировано 2 декабря 1776 г. (Куракин в Стокгольме более двух недель). Финальное – сороковое – помечено 9 июня 1777 г. и отправлено в Петербург, куда пять месяцев как уехал князь. Казалось бы, корпус писем, фиксируя естественный ход жизни и непредсказуемое развитие любовного романа, в луч-

шем случае демонстрирует тематическое единство, но уж никак не образует стройный сюжет. Но это – парадоксальным образом – не так: сюжет выстроился. По-видимому, не столько из-за сущностной логичности любовных отношений, сколько из-за рационального духа эпохи, манифестированного в отшлифованном универсальном языке общения и в отчетливой манере мыслить⁵⁷.

Первое письмо функционирует в качестве пролога, сразу декларируя пламенную страсть: «Вы требовали знака преданности – вот он. Самое большее, что я могу Вам дать, – мое письмо; я, впрочем, не скрываю, что письмо доставляет мне удовольствие, потому что это – возможность объявить о моих чувствах, в которых Вы, по-видимому, сомневаетесь. Однако мои старания показать их должны в любом случае убедить Вас в том, что я с удовольствием обнаружила Ваши чувства ко мне. <...> Ах! мой князь, как я счастлива, что люблю Вас и могу сказать Вам это! да, я люблю Вас всем сердцем, Ваше отсутствие или какие бы то ни было препятствия бессильны перед моими чувствами: эти чувства – счастье, и для меня великое наслаждение изобразить Вам, что происходит в моем сердце. Оно полно нежностью – и как это дорого мне!» Соответственно, сороковое письмо превращается в эпилог: «Ах, небо! почему я не могу забыть Вас или, по крайней мере, почему не могу быть бесчувственной, как Вы! Я вначале намеревалась, добавив эти страницы, тем самым показать признательность за память, выраженную в Вашем письме, о котором я упоминала выше. Но я не смогла отказать себе в естественной потребности упрекнуть Вас; следует ли Вам удивляться? Ваше молчание убивает меня, делает мое существование ненавистным, потому что для меня жить значит любить Вас... Но я слишком много говорю Вам о своей привязанности, это может наскучить Вам; вначале я собиралась промолчать, да, я изменю слог, дабы угодить Вам и выудить маленький ответ, который оставил бы меня вполне довольной». Финал, правда, не «закрытый», а «открытый», который не завершает, но оставляет проблемной природу «опасных связей».

Сюжет предполагает столкновение, конфликт. Стокгольмские любовники борются (1) с внешним противником – всевидящим светским обществом; (2) с собой; (3) с роковой разлукой.

(1). София помолвлена с графом Пипером, свадьба неумолимо приближается, и это не ставится под сомнение ни ею, ни

им. Отсюда страх общественных пересудов, заявленный в письме-прологе: «С тех пор как я познакомилась с Вами, я имею честь проводить приятнейшие мгновения в Вашем очаровательном обществе, несмотря на ужасное стеснение, в котором я непрерывно пребываю, – за мною все наблюдают и я постоянно не одна». Вообще страх выступает лейтмотивом всей переписки: «Я постоянно стеснена! Я постоянно под наблюдением; даже сейчас этот негодяй Ностиц позади меня! Когда Вы слишком близко подошли, я оказалась в сложном положении; я опасуюсь, не заметил ли чего Риббинг, он всякий момент следит за нами, это крайне осложняет мое положение» (письмо № 8).

Встречи проходят в экстремальной обстановке: «Разговор, который пришлось вести с Герцогом, помешал мне пойти в комнату, где я рассчитывала найти Вас. Я, однако, сгорала от нетерпения; за столом я старалась не смотреть на Вас; в моем взоре, вопреки всем моим попыткам, могли прочесть беспокойство. После ужина, когда все сели играть, я намеренно приблизилась к Вам, надеясь, что Ваш разговор с губернатором закончится, но напрасно: я не знаю, намеренно ли, но Вы повернулись ко мне спиной. Я все время смотрела на Вас, подошел Герцог, я, ожидая всякий миг, что Вы заговорите со мной, избегала вступать с ним в разговор, мои ответы были кратки, и я ежесекундно была готова прервать беседу. Все, что я говорила, было настолько бессвязно, что он засмеялся и атаковал меня, гадая, какова причина моей рассеянности. Он отошел, поняв, что его общество стесняет меня, и даже прямо это сказал; я долгое время оставалась одна и имела возможность наблюдать за Вашим разговором, который становился все более оживленным. Удаляясь, Вы довершили мое беспокойство тем, что подали руку моей кухне. Зачем Вы это делали? Вы хотели, чтоб я завидовала?» (письмо № 9); «...каким образом мы сможем уединиться, когда внимание почти всего общества обращено на нас? Что скажут, если Вы и я разом исчезнем? Что подумают обо мне? Кроме того, в зале Биржи нет лож, нам пришлось бы спуститься по лестнице, а внизу – в поисках комнаты – мы бы бродили туда и обратно, рискуя встретить знакомых. Кроме того, Вы также знаете, что я обязана сопровождать Герцогиню, она ни на миг не оставляет меня, а если ей сказать, что я хочу снять маску, она, естественно, предложит свою ложу, и я не смогу объяснить,

почему хочу воспользоваться другой. Вы видите, с какими трудностями я сталкиваюсь...» (письмо № 12); «Как я страдала, когда Вы явились! Мать постоянно следила за мной, а Вы, не замечая ее ярости, говорили со мной шепотом, говорили о тысяче предметов, что должно было умножить ее подозрения; наконец, я не знаю, основательно ли мое беспокойство, но мне кажется, что Вы никогда не были столь свободны в Вашем обращении, по крайней мере, Ваши взгляды, жесты, одним словом – все должно было еще более разгневать ее. Ради Бога, ах! чего мне стоит молить Вас об этом, однако я должна: в дальнейшем не посещайте нас так часто и не оставайтесь так надолго. Завтра, если Вы любите меня, Вы сюда не придете. Ах! о чем я прошу Вас? И какого знака любви требую? Но так должно» (письмо № 13); «Прошлый вечер, Вы знаете, мне совсем не понравился, Вы прекрасно понимаете почему, но Вам нравится увеличивать мои муки. Я наблюдаю, с великим удивлением, что Ваша манера общаться со мной слишком свободна, а Вы, напротив, обижаетесь, когда я кланяюсь Вам так же, как всем. А смешные предложения – вроде завтра увести меня от Кауница! Могу ли я принять подобное предложение на глазах Ваших людей и моих! Разве это не должно быть тайной! или Вы полагаете, что в этом нет надобности, и Ваше предложение естественно! Да и вообще, эта идея шокирует меня. Нет, я благодарна Провидению, которое наделило меня осмотрительностью в такой мере, что хватает на Вас и на меня; Вы же совершенно вне себя» (письмо № 28).

Заключение брака, превратившее графиню Ферзен в графиню Пипер, мягко говоря, не облегчило ситуацию. От графини и князя требуется великое лингвистическое мастерство, умелая дифференциация слов, произносимых наедине и произносимых в обществе: «За удовольствием, которое я испытала вчера, проведя с Вами время, последовали многие печали. Когда все удалились, мать начала допрашивать меня о нашем разговоре в дверях; я сказала, что Вы беседовали со мной о Грипсхольме, о франк-масонских ложах, по крайней мере, здесь ей было не за что брюзжать на меня. Она сказала, что очень удивлена Вашей фамильярностью в отношениях со мной и что она многожды слышала, как Вы, обращаясь ко мне, называете меня “дорогая графиня”; она находит это выражение слишком вольным. Я делала все возможное, доказывая, что Вы так называете всех женщин, а не только меня; это

не помогло, она подчеркнуто выразила удивление и сказала, что она надеется, я впредь не допущу подобной свободы в обращении с собой. Я уверила ее, как Вы можете догадаться, что не допущу; одновременно я спросила, что, по ее мнению, должно сделать, дабы Вы больше так не именовали меня, а кроме того, сказала, что мне кажется, будет благоразумно не говорить Вам ничего и не замечать ничего. Однако я просила бы Вас, мой дорогой друг, бдительно использовать это имя; избегайте вообще обращаться ко мне, ибо если Вы назовете меня другим именем, она предположит, что я просила Вас о том, а я ведь уверила ее, что не следует этого делать» (письмо № 23).

Любая неосторожность чревата катастрофой, например история неаккуратно доставленного куракинского подарка, браслетов. Ферзены недоумевают, София маневрирует: «Вы прислали мне браслеты? Мы поднимались из-за стола, когда матушке доставили шкатулку, а мне – пакет. Я показала ей содержимое, ведь мать при том присутствовала; мы принялись гадать, но безуспешно, клянусь, я никак не ожидала, что подарок – от Вас. Мать сказала, что это – от мадам Спарре, и приказала отослать браслеты обратно. Очень благодарна Вам. Боже! какую награду я получила! Не говорите никому, что браслеты прислали Вы, и запретите продавцу, у которого Вы покупали, сообщать, кому он продал их, ибо точно будет произведено расследование» (письмо № 20). Так и случилось: «Матушка, как и все, полагает, что браслеты получены от Вас; Мернеры открыли тайну при помощи камергера Де Геера. Они говорят, что Вы купили браслеты вместе с сувениром, который оставили для графини Де Геер. Печать, которой Вы воспользовались, содержала букву “R”, что позволяет заподозрить русского». Мать опрашивает стокгольмских ювелиров, дабы узнать, «у них ли куплены браслеты и кем куплены, ибо она не успокоится, не установив имя покупателя. А до тех пор она запретила мне их носить и приказала пользоваться теми, что подарил Пипер, в довершение же всего она велела, чтобы, когда Вы вернетесь и придете к нам, я встретила Вас без митенок, чтобы показать, насколько мне безразлично, Вы подарили браслеты или нет. Она сама еще не уверена на этот счет...» Фраза заканчивается неожиданно, Вызывая восхищение отвагой Софии: «...а мне Ваши браслеты, хотя я не ношу их, все равно дороги» (письмо № 21).

Муж-ревнивец также мешает возлюбленным (кто бы мог подумать!): «Позже граф Адольф подошел ко мне и попросил разрешения утром посетить меня. Я не могла отказать ему. Он появился в 10 часов и сразу же ушел. Боже, как он изменился! Судите сами, мой дорогой друг, бледный, белки – желтые, лоб и уши тоже. Великий Боже, как он мучил меня. Он сидел на софе, на которой Вы говорили, что мы будем вместе, и я, мой более чем дорогой друг, думала только о Вас, о моих былых радостях. Монстр, о котором я говорю и которого впредь буду всегда так называть, устроил жестокую сцену, упрекая меня за отношения с Вами. Он сказал, что Вы – причина его недуга, что он заболел из-за причиняемых Вами беспокойств, что он осведомлен о Вашем образе жизни, о том, что Вы были со мной все время, наконец, что он ликовал, узнав о Вашем отъезде. Ах! дорогой возлюбленный, почему Вы не могли видеть его, когда он беседовал со мной! Он возбудил во мне своим присутствием такой же ужас, какую Вы возбуждали любовь» (письмо № 32). Забавно, что София реагирует на вмешательство мужа хладнокровнее, чем на подозрения матушки и родственников. Хотя, может, это версия для Куракина.

Внешнюю блокаду приходится прорывать.

Во-первых, в ход пущен тайный – альтернативный – язык. Знаки – под пытливым взором «аргусов» передаются с ловкостью секретных агентов, с риском вызвать гнев и недоумение высокопоставленных особ: «...лучше передайте письмо на балу; я постараюсь, чтобы такая возможность представилась. Моим кавалером будет Герцог Карл, и когда я увижу Вас, то приложу руку к голове, это будет условный знак» (письмо № 13). В опере устраивается тончайший спектакль в спектакле, адресованный слугам возлюбленного, которые вольно или невольно передадут телепатическое послание хозяину: «В опере я видела господ, которые Вас сопровождают, и не могла отказать себе в удовольствии на протяжении всего спектакля смотреть на них. Один из них явно принадлежит Вам, потому что его прическа такая же, как у Вас, а все, что Вам принадлежит, меня интересует; они без сомнения заметили, что я уставилась на них, по правде сказать, мое к ним внимание было весьма заметным; я все это делала намеренно, полагая, что, может быть, они полюбостытствуют узнать, кто я такая, начнут Вас расспрашивать и объяснят Вам причину их любопытства. Я по-

думала, что это будет надежным средством дать знать, что взоры были адресованы Вам» (письмо № 5). Свидания обставляются с семиотической экстравагантностью: «Поднимайтесь ничего не опасаясь, я буду ждать Вас на лестнице; но Вам необходимо переодеться: будьте в сером, сапоги, шляпа не слишком роскошная и не слишком приметная. Не заговаривайте ни с кем на лестнице, и они ни о чем не будут спрашивать. Кроме того, если кто-то из не в меру любопытных слуг спросит, к кому Вы, отвечайте, что – к моему брату, и Вас пропустят. Но обязательно переоденьтесь, мой дорогой друг, ради всего святого – это главное. <...> в понедельник, в 11, пройдите перед моими окнами, и если увидите белый платок, это знак того, что Вы можете прийти, если платка нет, это знак препятствия. Боже! как я желаю, чтобы все получилось!» (письмо № 16).

Во-вторых, организован интимный обмен фетишами. Локон: «Вот – локон, который я обещала, Вы также мне обещали свой, посмотрим, как Вы держите слово» (письмо № 19); «Я собиралась упрекнуть Вас за то, что Вы забыли о локоне, который обещали; однако я все получила с уверениями в признательности за вчерашний день» (письмо № 20); «Я не хочу посылать Вам локон и прошу Вас не заставлять меня делать это. Я бы сама хотела послать его, но мне некому довериться, чтобы Вам его передали; это сразу станет известно всем» (письмо № 26). Памятные вещицы (ближе к моменту расставания): «Я тружусь для Вас, мой дорогой друг, я делаю рисунок; Вы сказали мне в прошлый раз, что Вам бы хотелось этого; надеюсь, что у меня получится, по крайней мере, приложу все усилия. Что я обещала Вам, еще не закончено; это – сердечко, которое я хочу, чтобы Вы носили на черной ленте на шее; на оборотной стороне – девиз, он же первые буквы моего имени» (письмо № 28). Пересечение интимного и официального каналов коммуникации ведет к провалам (новелла с браслетами).

Более сложный вариант передачи дорогих предметов – трагедия собственного сочинения, которую Куракин представил Софии. Она польщена и одновременно выступает литературным критиком: «Но перейдем, наконец, к Вашей трагедии, она написана не может быть лучше; с точки зрения элоквенции, впрочем, автора, по-видимому, приходится обвинить в чрезмерной рассу-

дочности...» (письмо № 6). В отсутствие возлюбленного произведения искусства – литература, опера, живопись – приобретают характер субститута: «Я поднялась в 8 часов, чтобы видеть, как Вы уезжаете, а Вы уехали только днем. Все это время я сидела у окна, читая “Английские ночи” – мое теперешнее чтение. В тот миг, когда Вы проехали мимо, Боже! почему Вы не могли видеть меня и быть – в тот миг, когда Вас провозили мимо, – свидетелем глубочайшей грусти, в которую была погружена Ваша несчастная подруга!» (письмо № 31); «Вчера, в опере, я живо вспомнила все мои муки: я воображала себя Орфеем; я так увлеклась его участью!» (письмо № 33); «...вчера я была у Лундберга, чтобы закончить свой портрет, и надежда видеть Ваш была основным стимулом моего визита. Позируя, я так расположилась напротив Вашего портрета, чтобы иметь возможность смотреть на его отражение в зеркале. Боже, как Вы похожи на нем! Это – Вы сами. Портрет настолько поразил меня, что, увидев его, я издала крик радости и сказала, что никогда еще картина не удавалась лучше <...> там было много портретов, но я не могла оторвать взгляда, который был прикован к Вашему. Ах, мое сердце в это время витало близ Вас! Никогда после нашего расставания не чувствовала я подобного блаженства. Боже, какое счастливое сходство! Я должна после Пасхи снова присутствовать у Лундберга на нескольких сеансах. Какое наслаждение! Я пойду одна, я смогу выбрать удобное положение и видеть Вас, дабы растрогаться воспоминаниями о том, кого нежно люблю и кого отчаялась увидеть снова» (письмо № 38). Наконец, фетиш уничтожают, если возлюбленный достоин кары: «...браслеты – ваш подарок – я только что отдала мадмуазель Спарре, причем с наслаждением. Я хочу избавиться от всего, что напоминает мне о Вашей нежности. Я забуду Вас, и Вы получите верный знак – мое молчание. Я думаю, что этим обяжу Вас, ибо мой сувенир должен так же быть Вам в тягость» (письмо № 37).

В-третьих, официальное общение отрицается интимностью свидания, которое тщательно готовится и потом эмоционально переживается: «Вот мой план: если матушка ужинает дома, Вы придете в шесть вечера и останетесь до семи, не дольше; если она будет приглашена во Фредриксхоф, тогда Вы сможете прийти в полвосьмого или в восемь и остаться до 10–11; но я не могу заранее узнать день, когда Королева-мать вызовет ее, и если придется

ждать этого долго, я Вам сообщу и мы будем вынуждены перейти к первому плану. Вы знаете, мой дорогой, на каких условиях мы договорились, и помните, что Вы дали слово не отступать от этого. Я полагаюсь на Вас полностью, без боязни, мой дорогой друг; Вы не захотите обесчестить меня и силой добиться того, чему я противлюсь. Ах! с каким нетерпением я жду момента, когда мы будем одни!» (письмо № 15); «Я не знаю, в каком часу закончатся мои визиты, но предполагаю, что в 6. Приходите в этот час, если хотите, ко мне, никто не будет задавать вопросы, поднимитесь по лестнице прямо к моей комнате; однако если увидите во дворе чью-либо карету, значит, мать еще не ушла, и Вы поднимайтесь по той лестнице, по которой я провела Вас в прошлый раз; если я еще не вернулась, горничная откроет дверь, – я сказала ей, что ожидаю гостя, не называя Вашего имени, – войдите, ничего не говоря, и ждите меня там. Но Вы можете оставаться только до 7 часов, и, считайте, я не помню, как низко Вы цените такие краткие встречи; прежде всего, не разговаривайте с горничной, коль не хотите причинить мне неприятности. Впрочем, если кареты во дворе не будет, все равно лучше подняться по малой лестнице; Вы будете идти один, ибо я или горничная будем ожидать Вас в дверях моей комнаты. Вот все, что я могу сделать для Вас; решайте, довольно Вам этого или нет...» (письмо № 25); «С нетерпением жду Вашего письма, чтобы узнать, счастливо ли вернулись Вы к себе; моя прическа была так растрепана! я была вынуждена припудриться, я прибегла к румянам, чтобы скрыть, как я действительно разругалась, этот цвет – следствие Ваших объятий и того возбуждения, в которое я впадаю с Вами» (письмо № 19).

(2) Другая сила, с которой сталкиваются любовники, – внутренняя конфликтность страсти, что дарует экстаз, но не покой. В этом противостоянии они попеременно то союзники, то противники. И трудно разобрать, с кем ведется борьба – с внешней силой, с собой, с возлюбленным.

Ю.М. Лотман в хрестоматийных комментариях к «Евгению Онегину» отмечал: «В дворянском быту “падение” девушки до свадьбы равносильно гибели, а адюльтер замужней дамы – явление практически легализованное...»⁵⁸ Графиня и князь, избегая недоброжелательного внимания и разделяя представления своего времени о различии обязанностей незамужней девушки и жен-

щины, составили поразительный план. Уже во втором письме (3 декабря) любовники уговорились. Для Софии единственный способ уступить настойчивому русскому, соединившись с ним, – это ускорить брак с Пипером, что развяжет ей руки и освободит от докучливого присмотра родственников: «Я горжусь тем, что привязана к Вам на всю жизнь (чувство, о котором я не устаю повторять), не знаю почему, но я трепещу в ожидании того мгновения, когда Вы потребуете все во имя Вашей любви. Вы убеждаете меня понимать брак как *двери, за которыми я обрету убежище от всех бедствий, где мое счастье будет зависеть только от моего желания*. Мое желание! ах! поверьте, что его главный предмет – Вы, но жестокий и ревнивый муж будет угнетать такую чувствительную и слабую душу, как моя. Я вижу свое будущее, я предвижу, что буду не так свободна, как ныне» (письмо № 2). В результате София Ферзен энергично приближает день замужества, а ответственность за это возлагает на нетерпеливого любовника, приобретая право жалеть себя, жертвовать счастьем и в то же время ожидать чувственных открытий: «Я разделяю нетерпение, с которым Вы ждете моего освобождения. Если бы только ценой тому не была моя несчастная судьба – союз, столь противный, не может показаться мне желанным, что бы ни достигалось этой ценой; да, каково бы ни было мое желание видеть нас счастливыми, оно не может одолеть ужаса, который я ощущаю при мысли оказаться в объятиях ненавидимого супруга. Подумайте о жертве, которую я должна принести, поставьте себя на мое место, почувствуйте, чего мне должно стоить мое решение; лишь надежда на Вашу нежную компенсацию помогает мне выдержать этот смертельный удар. Я не буду отныне называть желанием низкое наслаждение; я соглашаюсь, дабы Вы были счастливы, я тоже буду счастлива, потому что поступлю по сердечной склонности, исполняя Ваши требования. Вы довольны? или снова будете обвинять меня в том, что я ускользаю от ответа; неужели, по Вашему мнению, что-нибудь помешает мне объявить Вам о том блаженстве, которое я вкушу в Ваших объятиях?» (письмо № 7); «Вы умоляете меня ускорить момент заключения союза с Пипером. Какая жестокость, что это – условие нашего с Вами счастья! ах! я слишком дорого плачу за счастье на одно мгновение! оно будет недолгим, ибо Вы вскоре должны будете оставить меня, а мне предстоит вечная мука

принадлежать тому, кто внушает только отвращение; но нет другого способа удовлетворить нашу страсть, и я решила торопить события. Я не могу в данный момент точно назвать день, мой отец еще не может решиться; но как только я узнаю, Вам будет сообщено; однако до Рождества это невозможно. Моя свадьба состоится только после возвращения Двора из Грипсхольма. А вскоре после того, ах! какое счастье думать об этом! я буду Ваша; да, любовь тогда укажет способы, которыми сейчас я не могла бы с уверенностью пользоваться, дабы избавиться от аргусов, неотступно следящих за моими маневрами. Двое самых опасных – сестра и ее муж. Что касается Пипера, он слишком глуп, чтобы помешать дурачить себя; это будет легко, кто хочет – тот всегда достигает цели» (письмо № 9).

Подобная стратегия позволяет, не отрываясь от подготовки к браку, устраивать ревнивые интермедии. Письмо № 10 – шедевр манипулятивной психологии, где упреки в измене перемежаются с напоминаниями о принесенных жертвах и с трогательными признаниями в непреходящей любви: «Когда любят благородно, то не требуют взаимности, я должна быть счастлива тем, что проникла в Ваши чувства; я не укоряю Вас, мой князь, сопротивление, которое Вы встретили во мне, нежелание уступить Вашей страсти, эта добродетель, которой я гордилась, эти препятствия, которые стесняли Вас, – все это должно было отвратить от меня. Вы избрали лучший способ, теперь Вам легче достичь Вашу цель; Вы будете, возможно, любимы, но, отважусь сказать, не так, как мною, чувства, в которых я открылась Вам, не сравнятся ни с чем. Я не собираюсь – бесполезным повторением признаний – злоупотреблять Вашим терпением; я живо чувствую утрату, но не буду похищать Вас у своей соперницы; да и каким оружием могу я сразиться с ней? Никаким».

Даже о подписании брачного контракта София исхитряется сообщить мимоходом, утопив эту информацию в любовных заверениях и рассуждениях о добродетели: «Я сама не своя от радости, Вы снова уверяете меня в своей верности, в своей любви, в том, что носите в сердце мой образ. Разве этого недостаточно, чтобы я чувствовала себя счастливой? Ах! да, я не могу быть счастлива более, чем я есть. Вчера Вы показались мне недовольным, когда я говорила о контракте. Зачем надо было уведомлять Вас

до того, как он подписан? К чему бы это повело? Что хорошего было бы в том, что Вы знаете об этом? Вы все равно не смогли бы ничему помешать. Ах! если бы Вы были свидетелем слез, которые я проливала в тот момент! Я так рыдала, что отец пришел в изумление. Мне было трудно решиться подписать контракт. Вы непрестанно являлись в моем воображении; то мне казалось, что Вы препятствуете мне, что чувства, в которых я клялась Вам, не позволяют подписать договор с другим; то мне казалось, что Вы понуждаете меня подписать, ведь это – единственный способ осуществить наши общие желания. Вот я подписала этот жестокий контракт и с содроганием вспоминаю это, но с еще большим ужасом думаю о том, что придется исполнять его. В моем теперешнем расположении, когда я люблю Вас, мне так тяжело принадлежать другому; однако, повторю снова, это не мешает мне быть столь твердой, сколь возможно. Я обещала Вам торопиться, я сдержу слово в той мере, в какой это зависит от меня» (письмо № 12); «До моей свадьбы Вам не на что надеяться; после – на все» (там же).

Итогами развития собственно любовного сюжета становятся замужество Софии, сохранение напряженной эмоциональности отношений с Куракиным и контроль над супругом: «Я пользуюсь отсутствием мужа, чтобы писать Вам; он с графом Карлом Ферзенем (дядя Софии. – М. О.) на охоте; его нет уже девять дней. Вероятно, Вы, более чем дорогой друг, удивлены, но я, будучи замужем только месяц, брошена и предоставлена презрению и стыду. Раз меня так скоро покидают, это должно доказывать, сколь мало я наделена достоинствами, впрочем, мои огорчения отнюдь не сильны, хотя они были бы таковыми, если бы в аналогичной ситуации Вы вели себя сходным образом, но Вы, я уверена, не способны на подобное. Отсутствие мужа всех удивляет, но это борьба со мной. Судите по такой черточке. Я могла по крайней мере рассчитывать, что буду в срок уведомена о его возвращении; но нет, граф Карл сообщил жене с позавчерашней почтой день своего приезда, а мой муж не стал писать мне. Если бы я могла истолковать это как проявление безразличия, меня бы утешило такое сходство в нашем образе мышления; но увы! я не могу успокаивать себя такой мыслью, потому что когда он со мной, то не спускает с меня глаз. Его советы, его заботы, его настойчивость,

его подозрения – все говорит мне, что его сердце не только не безразлично, но исполнено страстью ко мне. Мое безразличие, моя холодность, которые я напрасно стремлюсь скрыть, не ускользают от него; вздохи, что часто – пока я уверяю его в своей нежности – помимо моей воли вырываются у меня, вызывают мучительные упреки. Я вооружаюсь терпением, ночной мрак прячет от него слезы, которые я проливаю при воспоминании о Вас. Однако несмотря на все старания мое безразличие и мой похищенный покой открыты его ревнивому взгляду» (письмо № 38). София сетует возлюбленному на холодность мужа – таковы правила дискурса, установленные ею.

(3) В январе 1777 г. Куракин, выполнив официальные поручения, должен покинуть Швецию. Причем без ясных планов по возвращению, ведь ни рождение ребенка в семье Герцога Зюдерманландского, ни назначение на пост российского посланника в Стокгольме не состоялись. Любовники разлучились, их отныне разделяет расстояние между северными столицами.

София начала горевать заранее. В письме от 24 декабря она предчувствует отъезд возлюбленного: «Как будет жесток тот последний миг, который мы проведем вместе. Если бы я могла не знать срок! но нет, обещайте, что известите меня заранее: я целиком отдамся горю утраты. Не думайте, что я когда-нибудь забуду Вас, мое удаление, как я уже говорила, каждый миг представляет повод размышлять о Вас. Чем мой жестокий муж усерднее, тем чаще я вспоминаю Вашу нежность, иногда я воображаю, что это не он, а Вы, но к чему тешить себя иллюзиями? Ах! но почему Ваш дядя не может оставить Вас здесь еще на несколько месяцев? Ах! как я несчастлива тем, что должна торопить ваш отъезд! Зачем я узнала Вас? И зачем Вы внушили мне чувство, подобным которому я никогда более не опьянусь? Ваш отъезд разрушит мою жизнь. Да, я не могу существовать без Вас; вчера снова Ваше посещение ясно уверило меня в этом» (письмо № 20). Симптоматично, что уезжающий Куракин немедленно попадает в положение подсудимого: «Когда Вы вернетесь к себе, Ваш дядя, может быть, захочет женить Вас; Вы не сможете противиться, Вы разделите жизнь с той, кто достойна любви, кто, может быть, любима. Что станет с Софией? Ах! дорогой любовник, эта картина так живо рису-

ется моему воображению, что кажется сбывшейся реальностью. Может, в тот момент, когда я пишу, Вы уже что-нибудь знаете об этом, Вы скрытничаете; пожалуйста, поделитесь со мной Вашими подозрениями» (там же). Обвинение построено столь убедительно, что забываешь: Куракин не женат и не женится, напротив того, София замужем.

Письма в разлуке – их немало, приблизительно четвертая часть корпуса – так же динамичны, как и предыдущие. Князь отнюдь не женился и не собирался жениться, однако София агрессивно интерпретирует отсутствие его регулярных ответов как знак предательства (при условии, что он, естественно, не пишет на адрес замужней женщины). Письмо № 37 – новый этюд о ревности и мужском коварстве: «Я ощущаю Ваше забвение так же остро, как некогда ощущала Вашу нежность. Я не заслужила той участи, которую Вы уготовили мне, и никогда не подозревала Ваши клятвы в неискренности, а ведь (теперь я в этом не сомневаюсь) Вы никогда не любили меня. Как! возможно ли, чтобы Ваше сердце (если оно чувствовало все то, в чем Вы с таким удовольствием уверяли меня) было способно на протяжении одного месяца перейти от нежнейшей любви к столь жестокому забвению? Чувства, которые Вы внушили, я еще испытываю, вопреки собственному желанию. Я еще нежно люблю, мой князь, сувенир, который Вы дали мне, но в надежде на то, что Ваше поведение плюс занятия, при помощи которых я пытаюсь отвлечься, позволят мне возненавидеть его. Этот сувенир будет отослан Вам, как только я буду достаточно сильной, чтобы расстаться с ним. Увы! я слишком хорошо предвидела участь, которую Вы уготовили мне, уезжая отсюда; тщетно я предписывала себе строжайшие запреты и сто раз повторяла, что если потеряла Вашу любовь, то, значит, недостойна сохранить ее».

Итак, письма Софии подчинены сквозному сюжету: любовники преодолевают препятствия – общественную враждебность, себя, разлуку. Однако развивается этот сюжет специфически. Здесь не столько тяготение к кульминации и развязке, сколько постоянное чередование ситуаций напряжения и «разрядки», вплоть до «открытого» эпилога (письмо № 40).

Эпистолярный роман II,
или «Блистательный покров»

Письма Софии Ферзен – удивительный литературный памятник, но не уникальный для XVIII в. Это было время образцовых женских писем. Не случайно в 1805 г. литератор Л.-С. Оже издал под одной обложкой французскую классику жанра: письма «прекрасной черкешенки» Аиссе, маркизы де Виллар, графини де Лафайет, госпожи де Тансен⁵⁹.

София Ферзен занимает почетное место в этом ряду. Французский язык ее писем манифестирует свойственное веку Просвещения стремление к снятию противопоставления «национальное–универсальное». София Ферзен – шведская аристократка, которая по отцу принадлежит к немецкому дворянскому роду, по матери – к французскому, а служит шведской Герцогине, по рождению немецкой принцессе. Герцог Карл Зюдерманландский, как и сам король, – дети немецкого принца Адольфа Фредрика и Лувисы Ульрики, сестры Фридриха Прусского. Немецкая принцесса Ангальт-Цербстская под именем Екатерины Великой занимает российский престол. Потому естественно, что князь Куракин обязан (согласно официальной инструкции!) приветствовать членов шведской королевской семьи французскими речами, и София ведет с ним любовную переписку на этом языке (как и принц Густав с Шарлоттой Дю Риез). «Ферзены были большими французами, чем все, и это – в стране, тесно связанной с Францией в течение более чем двух столетий. Ферзен Старший сражался во французской армии во время войны за Австрийское наследство. Графиня, урожденная Делгарди, происходила из семьи гасконских кальвинистов, бежавших в Швецию при Франциске I. От своих предков она получила удивительные черные глаза, которые она передала детям. Ферзены говорили и писали на чистейшем французском языке...»⁶⁰

Женское письмо – письмо эпохи Просвещения по преимуществу. Чувственные всплески регулярно перемежаются с добродетельным торможением: по ироничному замечанию Э. Ауэрбаха, «добродетель всегда касается только одного предмета – сексуальной жизни, “нормальна” она или беспорядочна, и потому само представление о добродетели насквозь, от начала до конца, пропи-

тано эротикой...»⁶¹. Женское письмо эмоционально в рассудочности и рассудочно в эмоциональности. Накал страстей не затемняет ясность изложения. В последней части эпистолярной повести София, слезно жалуясь на тоску и на забывчивость возлюбленного, одновременно не без ехидства реферирует новости придворной жизни. Любовные страдания не приводят к унынию, наоборот, обнаруживают доверие к мирозданию и привязанность к мелочам бытия, пестроте светских событий. Это с одной стороны.

С другой – искренность в такого рода тексте неотличима от намеренной взвинченности, от игры и – в пределе – от манипулирования партнером. Чувства-то под контролем. Можно сказать, что именно просветительская версия наилучшим образом соответствует двойственности любовного дискурса в интерпретации Р. Барта: «...описание любовного дискурса заменяется его симуляцией, и этому дискурсу предоставляется его фундаментальное лицо, а именно я – с тем, чтобы показать акт высказывания, а не анализ. Предлагается, если угодно, портрет; но портрет этот не психологический, а структуральный; в нем должно прочитываться некое место речи – место человека, который про себя (любовно) говорит перед лицом другого (любимого), не говорящего»⁶².

Письма Софии функционируют идеально (в качестве канала информации) и материально – в качестве «пожелтевших листков», которыми можно дорожить и которые можно ненавидеть, хранить или уничтожить. В самом начале общения – в прологе – София выкупает чувственную искренность посланий непременным требованием их отсылки: «Извините, если я напомню Вам то, что Вы вчера обещали мне относительно этого письма; простите мое беспокойство, оно слишком естественно! Ваше слово – надежная гарантия для меня, на которое я полагаюсь» (послание № 1). Предосудительное идеальное содержание должно остаться в сознании влюбленного вне материального носителя.

Будучи в гневе, София приказывает уничтожить письма: «Сожгите все мои письма, я часто пеняю себе за то, что отправляла их, хотя с самого начала опасалась, что Вы найдете им дурное применение и пожертвуете ради развлечения новой красавицы, которую, без сомнения, предадите так же, как меня. Как не родиться такому подозрению! я считаю Вас способным на самые черные поступки, с тех пор как Вы показали вашу неверность и презрен-

ные чувства. У меня нет слов, чтобы умолить Вас: если у Вас осталась жалость ко мне, сожгите мои письма (раз Вы не любите)» (письмо № 37). Впрочем, приказ сжечь означает, что София уже смирилась с фактом материального отчуждения «листочков», а финальная оговорка («сожгите мои письма (раз Вы не любите)») обнаруживает: этот факт не неприятен ей.

Кстати, весьма сомнительно, что Куракин подчинился бы повелению возлюбленной. Он был фанатиком архивообразования: «Его переписка сохраняется в красных сафьянных тисненых переплетах, разделенная князем по годам и лицам. Переплетал князь письма почти сразу – в том же году, разбивая иногда по месяцам, поскольку со временем уже невозможно было переплести все в один том. Некоторые бумаги, пришедшие позже либо отправленные кому-то для переписывания, затем переплетались, что называется, вдогонку – по достижении этими “забытыми” бумагами необходимого для переплета объема. Еще Петр Иванович Бартенев, близко знакомый с княже-куракинским архивом, отмечал смекалку князя, который специальным образом перевязывал и затем опечатывал стопы своих бумаг, при котором их можно было переплести, но нельзя было прочитать. При этом часть переписки князь постоянно возил с собой. Также несомненно, что именно князь привел в порядок и переплел переписку своего прадеда князя Б.И. Куракина. Удивительно, но князь сберегал и те письма, которые отправители настоятельно просили не сохранять, “по прочтении разодрать” и т. п. <...>»⁶³.

Письма Софии идеально-материальны, они как будто превращаются в фантом – символ «столетья безумна и мудра» (А.Н. Радищев), когда эмоции волновались и одновременно подчинялись разуму, когда чарующий эпилог «старого режима» приближал человечество к революции.

¹ Архив князя Ф.А. Куракина. Саратов, 1899. Т. 8. С. IX.

² Там же. С. 428.

³ Серков А.И. Русское масонство: 1731–2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 446.

⁴ Цит. по: *Wahlstrom L. Gustavianske studier: Historiska utkast fran tidevarvet 1772–1809.* Stockholm, 1914. S. 78; любезно указано М. Юнгреном.

- ⁵ *Екатерина II. Сочинения / Сост., примеч. В.К. Былинин, М.П. Одесский. М., 1990. С. 313.*
- ⁶ *Рюльер К.К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 65–66. Об участии княгини Куракиной в дворцовых интригах и политике см.: Крючкова М.А. Мемуары Екатерины II и их время. М., 2009. С. 215.*
- ⁷ *Песков А. Павел I. М., 2005. С. 243.*
- ⁸ *Дружинин П.А. Неизвестные письма русских писателей князю Александру Борисовичу Куракину (1752–1818). М., 2002. С. 20–22.*
- ⁹ *Kettina F. Hans-Axel de Fersen. P., 2001. P. 341–345.*
- ¹⁰ *Массон Ш. Секретные записки о России. М., 1996. С. 126.*
- ¹¹ *Долгоруков И.М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. Ковров, 1997. С. 430–432.*
- ¹² *Дружинин П.А. Указ. соч. С. 42.*
- ¹³ *Песков А. Указ. соч. С. 47.*
- ¹⁴ *Головкин Ф. Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания. М., 2003. С. 157.*
- ¹⁵ *Дружинин П.А. Указ. соч. С. 453–467.*
- ¹⁶ *Выражение П.И. Голенищева-Кутузова, цит. по: Дружинин П.А. Указ. соч. С. 137.*
- ¹⁷ *Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 257–258.*
- ¹⁸ *См. подробнее: Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754–1796): Историческое исследование. СПб., 2001; Шильдер Н.К. Император Павел I: Историко-библиографический очерк. М., 1997.*
- ¹⁹ *Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 268.*
- ²⁰ *Там же. С. 278–279.*
- ²¹ *Там же. С. 290.*
- ²² *Там же. С. 290–291.*
- ²³ *Там же. С. 258.*
- ²⁴ *Энглунд П. Полтава: Рассказ о гибели одной армии. М., 1995. С. 24.*
- ²⁵ *Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 269–270.*
- ²⁶ *Там же. С. 283–289.*
- ²⁷ *Там же. С. 295–298.*
- ²⁸ *Там же. С. 315.*
- ²⁹ *Там же. С. 311.*
- ³⁰ *Там же. С. 323.*
- ³¹ *Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000. С. 123.*

- ³² Соколовская Т. Массонские системы // Массонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. Т. 2. С. 76; ср. в романе В.К. Кюхельбекера «Последний Колонна» (1845 г.): «...в Швеции массонские мистические ложи и поныне еще входят в состав государственного управления, между тем как это обветшалое учреждение в других странах просвещенного мира давно уже стало посмешищем людей мыслящих...» (Кюхельбекер В.К. Последний Колонна // Кюхельбекер В.К. Соч. / Подг. текста В.Д. Рак, Н.М. Романов. Л., 1989. С. 394).
- ³³ Соколовская Т. Указ. соч. С. 75.
- ³⁴ Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. VIII.
- ³⁵ Пытин А.Н. Массонство в России. М., 1997. С. 142.
- ³⁶ Екатерина II. Сочинения. С. 63.
- ³⁷ Там же. С. 64–65.
- ³⁸ Вернадский Г.В. Русское массонство в царствование Екатерины II. СПб., 1999. С. 296.
- ³⁹ Там же. С. 318.
- ⁴⁰ См.: Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. М., 1973; Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989.
- ⁴¹ Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 301; ср. ироническое замечание И.М. Долгорукова о «потомке ста поколений рыцарских».
- ⁴² Записки баронессы Оберкирх, изданные в 1853 г. в Париже, цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 141–144.
- ⁴³ См. подробнее: Одесский М.П. Об «откровенном» и «прикровенном»: София в комедиях В.И. Лукина // Мистика. Символ. Герметизм / Литературное обозрение. 1994. № 3/4.
- ⁴⁴ Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 272.
- ⁴⁵ Там же. С. 288–289.
- ⁴⁶ Jefferson Th. A Letter to W.S. Smith // The American Th. Age of Reason. М., 1977. P. 124.
- ⁴⁷ Цит. по: Ленцрут Э. Великая роль: Король Густав III, играющий самого себя. М., 1999. С. 177.
- ⁴⁸ Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 286–287.
- ⁴⁹ Долгоруков И.М. Указ. соч. С. 431.
- ⁵⁰ Цит. по: Kermina F. Op. cit. P. 124.
- ⁵¹ Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 321–322.
- ⁵² Там же. С. 295–298.

- ⁵³ Цит. по: *Леннрут Э.* Указ. соч. С. 29–30.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ *Платен К.Х., фон.* Курт фон Стединк (1746–1837) – космополит, воин и дипломат при Людовике XVI, Густаве III и Екатерине Великой. М., 1999. С. 252.
- ⁵⁶ *Леннрут Э.* Указ. соч. С. 411.
- ⁵⁷ См. характеристику писем С. Ферзен: *Одесский М.П.* «Швеция более не будет иметь счастья видеть Вас»: Циркумбалтийский диалог культур в письмах графини С. Ферзен князю А.Б. Куракину // На меже меж Голосом и Эхом: Сб. ст. в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007.
- ⁵⁸ *Лотман Ю.М.* Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 219.
- ⁵⁹ *Заборов П.Р.* Мадемуазель Аиссе и ее письма // Аиссе. Письма к госпоже Каландрини. Л., 1985. С. 181–185.
- ⁶⁰ *Kertina F.* Op. cit. P. 12–13.
- ⁶¹ *Ауэрбах Э.* Мимесис. М., 1976. С. 401.
- ⁶² *Барт Р.* Фрагменты речи влюбленного. М., 1999. С. 81.
- ⁶³ *Дружинин П.А.* Указ. соч. С. 78.

Графиня С. Ферзен – князю А.Б. Куракину
(1776–1777)

1. «...Мое письмо...»

<Понедельник, 2 декабря 1776 г.>

Вы требовали знака преданности – вот он. Самое большее, что я могу Вам дать, – мое письмо; я, впрочем, не скрываю, что письмо доставляет мне удовольствие, потому что это – возможность объявить о моих чувствах, в которых Вы, по-видимому, сомневаетесь. Однако мои старания показать их должны в любом случае убедить Вас в том, что я с удовольствием обнаружила Ваши чувства ко мне. С тех пор как я познакомилась с Вами, я имею честь проводить приятнейшие мгновения в Вашем очаровательном обществе, несмотря на ужасное стеснение, в котором я непрерывно пребываю, – все наблюдают за мною и я постоянно не одна. Но когда я предоставлена себе, я испытываю ни с чем не сравнимое удовлетворение, думая только о Вас. Это счастье выпадает мне часто, и я ни за что от него не откажусь. Ах! мой князь, как я счастлива, что люблю Вас и могу сказать Вам это! да, я люблю Вас всем сердцем, Ваше отсутствие или какие бы то ни было препятствия бессильны перед моими чувствами: эти чувства – счастье, и для меня великое наслаждение изобразить Вам, что происходит в моем сердце. Оно полно нежностью – и как это дорого мне!

Извините, если я напомню Вам то, что Вы вчера обещали мне относительно этого письма; простите мое беспокойство, оно слишком естественно! Ваше слово – надежная гарантия для меня, на которое я полагаюсь. Впрочем, не вижу здесь жертвы с Вашей стороны: если у меня неостанет эпистолярного таланта сделать

письма интересными, то Ваш интерес ко мне заставит принять их снисходительно. Я постараюсь искренне изобразить состояние моего сердца; я не могу обрисовать то, что происходит в нем; я отваживаюсь еще добавить, что оно живо желает обнаружить в Вашем сердце чувства, равные тем, которыми я с Вами делюсь (вчера Вы выразили неудовольствие, когда я отважилась сказать, что сегодня не буду говорить об этом, но вот я принуждена это поведать). Не сомневайтесь, это дорого обойдется мне, я страдаю больше Вашего, но долг обязывает; осмотрительность должна руководить моими действиями – это необходимо, чтобы не подтвердить те подозрения, которые уже возникли относительно наших взаимных чувств; мои глаза выскажут то, на что не отваживаются уста; мои глаза поведают то, что я сейчас с таким наслаждением позволяю Вам узнать. Я обещаю, что вечером представится возможность передать Вам это письмо, и я сгораю от нетерпения получить Ваше; я тешу себя мечтами о высшем наслаждении, с которым я прочту его.

2. «...Позволено ли мне желать счастья, кроме того, которое я должна испытывать с мужем?»

Вторник, 3 декабря

Самое признательное сердце, самая чувствительная душа – вот кто в этот миг пишет Вам. Никогда ничто не трогало меня так, как чтение Вашего очаровательного письма. Ваши настоятельные жалобы на то, что мы не можем часто общаться, видеться, – это совершенно сходно с моими чувствами и это околдовывает меня. Я искренне открою Вам то, что сокрыто в сердце; оно живо чувствует всю признательность, которая Вам причитается, да, я никогда не предстану неблагодарной и не собираюсь вводить Вас в заблуждение. Я горжусь тем, что привязана к Вам на всю жизнь (чувство, о котором я не устаю повторять), не знаю почему, но я трепещу в ожидании того мгновения, когда Вы потребуете все во имя Вашей любви. Вы убеждаете меня понимать брак *как двери, за которыми я обрету убежище от всех бедствий, где мое счастье будет зависеть только от моего желания.* Мое желание! ах! поверьте, что его главный предмет – Вы, но жестокий и ревнивый

муж будет угнетать такую чувствительную и слабую душу, как моя. Я вижу свое будущее, я предвижу, что буду не так свободна, как ныне. Моя привязанность к Вам прекратится лишь вместе с жизнью, да, мое сердце – Ваше, Вы единовластно располагаете им, Вы составляете его счастье. Ах! почему несправедливая судьба запрещает мне составить Ваше счастье, почему не Вам буду я принадлежать всю жизнь? впрочем, я слишком много говорю об этом, и, может быть, Вы не считаете меня способной на такое? Я должна бы краснеть от подобных признаний, но моя великая слабость к Вам не позволяет молчать; Вы клялись в вечной верности, но могу ли я полагаться на Вас? Разлука – жестокое испытание для всех, особенно для тех, кто любим так, как Вы; в моем уединении я снова и снова думаю о Вас, все мои помыслы – о Вашем счастье, все мои заботы – о Вас, но увы! мне суждено отчаиваться в объятиях другого. Жестокая судьба, отняв мою свободу, влечет меня к тому, кто с каждым днем становится мне более ненавистным! Я раньше давала понять, что опасаясь скорого стеснения свободы, я имела в виду прибытие сестры и ее мужа. Это новые аргусы... они постоянно следят за мной. Ах! я начинаю верить, что никогда не достигну желанного мига. Как! желанного! что я делаю? позволено ли мне желать счастья, кроме того, которое я должна испытывать с мужем? Нет, я ничего не желаю, и если чувство, которое Вы питаете ко мне, не есть нежная любовь, оно – низко. Дайте совет: я жду Вашего ответа, который убедит меня в том, что Ваше чувство отнюдь не питается надеждой на грязное наслаждение и что оно – высокое. Ваш ответ определит мое поведение. Не надейтесь на мою слабость, но полагайтесь на чувство долга, которое (я обещаю) мне не изменит. Мое сердце – только Ваше, но время работает против меня, подумайте об этом. Вот ответ, которого Вы требовали. Сдержите слово; продолжайте, однако, радовать меня Вашим обществом, от этого зависит мое счастье, и если я чуть-чуть интересна для вас, это должно быть Вам дорого.

3. «Круг здешнего хорошего общества
слишком тесен...»

Среда, 4 декабря

Я восхищена тем, как точно Вы держите слово. Вчера я получила верный знак Вашей искренности: на вопрос, находится ли в возвращенном Вами конверте также мое письмо, Вы ответили «да». Каково было мое удивление, когда, открыв конверт, я не увидела письма! Вы, значит, начинаете обманывать меня? Вот результат того, что я поверила Вашему слову. Я думала, Вы как честный человек не нарушите его, я полагалась на Ваше слово. Боже! я упрекаю себя за доверчивость! А чтобы не разгневаться еще больше, я признаю, что виновата сама: уверения в нежности, которые содержит это письмо, столь дороги Вам, что Вы (по Вашим словам) не можете расстаться с ним. Однако мне кажется, что Вам должно быть дорого и желание доставить мне удовольствие; мое удовольствие заключается в том, чтобы Вы, получая письма, сразу же возвращали их, я этого требую и не успокоюсь, пока этот пункт не будет выполнен. Прошу Вас поверить, я не сомневаюсь ни в Вашей скромности, ни в Вашем благородстве; я не сомневаюсь ни в чем, но по причине Вашей могучей страсти – в будущем, в разлуке – Вы можете злоупотребить этим залогом моего чувства; итак, я требую свое письмо, хотя оно (по Вашим словам) столь ценно для Вас. Я не заслужила упреков относительно воскресного дня, я сделала все, что должно, а, напротив того, Вас я упрекнуть вправе. Вы обвиняете меня в жестокости за то, что я избегала возможности поговорить с Вами, я не защищаюсь; заявляю, что сделала это по необходимости. Если бы Вы знали, чего мне это стоило; да, дорогой друг, видеть Вас и не любить Вас – невозможно, великий Боже! опасаться сказать Вам это – мучение, но я подчиняюсь закону. Ах! если бы Вы любили меня так, как уверяете, Вы бы заботились обо мне, а Вы ничего не делаете, чтобы развеять подозрения, которые – справедливо или нет – бросают тень на мою репутацию. Она Вам совершенно не важна – Вам лишь бы свободно следовать сердечной склонности; Вам не важно, что Вы жертвуете той, кто, внушая Вам нежность, похоже, не внушает уважения, а ведь только это может сделать меня совершенно счастливой. Напрасно я повторяю Вам об осторожности, Вы доказы-

ваете мне, что она не ко времени, Вы тщетно стараетесь убедить меня, будто со всех сторон непрестанно нас не окружают сердца, исполненные злобы. Круг здешнего хорошего общества слишком тесен, чтобы не заниматься самыми ничтожными событиями; кроме того, Вы – знатный иностранец, и все Ваши действия находятся под строгим наблюдением. Каждую секунду за Вами следят, и я каждый миг пребываю в живейшем беспокойстве. Мое смущение, когда Вы общаетесь со мной, легко заметить; оно не ускользает от общего внимания, и все враждебно ко мне. Вчера Вы, бросив всех, принялись беседовать со мной, я Вас не упрекаю; мое чувство, мое сердце откликнулись на Вашу настойчивость, но все наблюдали за нашим – слишком продолжительным – разговором; глаза всех были прикованы ко мне, все шептались, все подозревали меня. Молю Вас, не заставляйте меня так бояться, и если Вы не в силах избегать меня, позвольте мне избегать Вас и не упрекайте меня в холодности. Если мой покой дорог Вам, Вы должны быть сдержанны на людях; вечером я буду избегать Вас, я не запрещаю Вам беседовать со мной, но запрещаю вести продолжительный разговор. Помните, что София любит Вас, дорожит Вами, что Ваша привязанность не противна ей, что Ваше сердце и ее – единое целое; одним словом: Ваша любовь – ее счастье; но она требует от Вашей любви великой сдержанности; впредь, мой дорогой друг, единственный способ доказать Вашу страсть – это обращаться со мной на людях должным образом; помните об этом всегда, когда мы будем вместе. Ответ на Ваше требование находится во вчерашнем письме, которое я присоединяю к нынешнему. Я сегодня одна, поэтому отважилась позволить Вашему посланнику подняться ко мне, он передал комплименты от графини Де Геер, которую ни в чем не подозревает. А я боюсь всех, мне кажется, что несчастья должны преследовать меня повсюду; я рождена для них, и, сколько себя помню, они всегда настигали меня. Во имя Господа, не доверяйте графине Де Геер, она – очень опасная женщина; имейте в виду, что она предлагает свои услуги ради собственной выгоды, а не ради дружбы со мной. Заявляю Вам, что я не связана с ней узами дружбы или взаимной доверенности и никогда не желала этого. Было бы ошибкой полагаться на нее; особенно в том, что касается меня, и я порву с Вами, если узнаю о чем-нибудь подобном. Все маневры, которые она предпринимает, мне известны; она

хвалится тем, что посвящена в наши отношения. Риббинг на днях мне сказала, что сомневается в степени этой посвященности, но в обществе графини мы ведем себя слишком таинственно; поэтому в будущем я приложу усилия, чтобы избегать Де Геер, – хотя бы докажу тем самым, что ничего не опасуюсь. Не говорите ей, что я осведомлена о портрете, я делаю вид, что ничего не знаю, и, молю, будьте бдительны; по крайней мере знайте, какова истинная цена доверительных отношений, которых Вы удостоили ее. Поразмыслите об этом, ибо я немедленно буду информирована обо всем, и в таком случае между нами все будет кончено. Я могла бы привести тысячу примеров, доказывающих, сколь мало эта женщина стоит Вашей доверенности, но не хочу делать этого. Наведите справки под рукой о ее интригах, о которых едва ли кто не осведомлен и... но я боюсь, что Ваш посланец не придет, потому что уже шесть часов. Я сгораю от нетерпения, когда же он придет; ах! я думаю о Вас и мечтаю увидеть – хотя бы на миг! этим вечером я доставила себе удовольствие, позволив Вашему посланцу подняться ко мне, но! Вы, в свою очередь, должны пойти навстречу мне в том, что я требовала от Вас. До свиданья, дорогой друг, мое сердце, наконец я вся – Ваши.

4. «Ах! зачем я узнала Вас!..»

Четверг, 5 декабря

Если бы я могла любить Вас больше, чем уже люблю, Ваше вчерашнее поведение побудило бы меня к этому. Оно доказало мне Вашу привязанность, что усугубило блаженство, которое я и без того ожидаю от нашей чарующей связи. Вернувшись этим утром к себе, я думала о Вас, стоило закрыть глаза, Вы представляли в моих воспоминаниях; воображение, как только я закрывала глаза, предлагало Ваш чарующий лик, я Вас заключала в объятия более тысячи раз. Какое счастье! но какое жестокое пробуждение при мысли о том, что осуществление блаженства навсегда заказано! я ощущаю безнадежность всякий раз, когда думаю, что должно отказаться от всякой надежды такого рода. Ах! зачем я узнала Вас! Почему не вышла замуж этой осенью! я уже пребывала бы в удалении, не знала бы Вас; Вы, может быть, наслаждались бы достоинствами моей

очаровательной кухни, к которой Вы, кажется, равнодушны и которая не была бы с Вами столь строга, как вынуждена быть я. Но не будем говорить о моей сопернице, она, может быть, должна опасаться Вас больше, чем я полагаю; но нет, Вы сами уверили меня, что беспокоиться мне не о чем. Я думаю, что вечером Вы не лишите меня удовольствия видеть Вас в нашем доме, хоть на одно мгновение, если только меня не охватит лихорадка, я смертельно страшусь, что Вы снова вызовете ее; для моей любви, смотрите, надо немного; я думала об этом, когда вчера наблюдала, как Вы танцуете. Примите в расчет, сколь мало времени мы можем проводить вместе, старайтесь воспользоваться им наилучшим образом, не теряя мгновений; мне они так дороги, когда я провожу их с Вами! Неужели Вы будете так жестоки, что сегодня вечером снова окажетесь в ложе Кауница? Подумайте о том удовольствии, которое я испытаю, если Вы от него освободитесь. Вчера самым приятным моментом была наша игра, остаток времени мне понравился постольку, поскольку я принимала несомненные знаки Вашего чувства. Я, мой дорогой друг, до сих пор не брюзжала; исправляю свое упущение. Это касается вчерашнего дня; Вы обещали прийти в шесть часов и опоздали на полчаса, в результате матушка столкнулась с Вами в дверях, и хорошо еще, что она не встретила на лестнице с Вашим слугой; она видела, что ко мне вошли и что кто-то желает поговорить со мной, – я не сомневаюсь, что она подозревает Вас, ведь Вы были у дверей, – однако она ничего не сказала мне. Обещайте, что это было с Вашей стороны маленькой неосторожностью, и будьте, как прежде, более точным. Извините меня, дорогой друг, за упрек; я не знаю, почему я всегда упрекаю Вас; примите это как знак искренней дружбы. Продолжайте дарить меня Вашей дружбой, никто так не достоин ее и так не ценит ее, как я.

5. «...Я еще раз взглянула на Ваши окна...»

9 часов вечера <5 декабря>

Я только что вернулась из оперы и сразу пишу Вам. Я могу позволить себе это с тем большей свободой, что все семейство – при Дворе и, следовательно, я совсем одна. Ну и денек был сегодня! я не видела Вас, не получала никаких новостей! Боже, как я

страдала! Лишь мысль о том, что Вы разделяете мои страдания, помогла выдержать это. Утром я написала письмо (прилагаемое) в надежде, что Вы к нам придете, однако предчувствие заставляло меня опасаться дурных последствий бала. Увы! оно оправдалось; отец, вернувшись из дворца, сообщил, что Вас не будет. Я вначале была поражена до такой степени, что покраснела; это всегда со мной происходит при упоминании Вашего имени. Я ожидала с крайним нетерпением возвращения брата, помня, что Вы приглашали его на обед. Как только он оказался у себя, я пошла в его комнату; моим намерением было узнать новости о Вас, но, поверьте ли, дорогой друг, у меня не хватило отваги; я начинала более двадцати раз и не могла решиться. Я задала тысячу вопросов, но ни один из них не относился к тому, что меня интересовало, – к Вам. Я сделала вид, что не знаю, где он обедал; я полагала, что задам вопрос, он первым упомянет Вас, и это будет благовидным предлогом узнать новости, но напрасно: стоило ему назвать Вас, как я невольно замолчала. Так прошло четверть часа, и я вернулась в свое узилище, где размышляла до пяти. Вы догадываетесь, кто был предметом этих размышлений! Вы, да, Вы один! Я никак не могла отвлечься; я нетерпеливо прислушивалась к шуму каждого экипажа, думая, что это – Ваш; надежда манящая, но обманчивая! Мать отправилась сделать пару визитов, а я осталась дома, сославшись на усталость. Я устроилась возле окна в прихожей, откуда я могла различить два Ваших окна, не знаю, это – окна кабинета или спальни; они освещены, значит, Вы – у себя. Какое удовольствие я вкушала, свободно предаваясь в одиночестве сердечной склонности, что влекла мои взоры к этим двум окнам! Мне казалось, что я вижу Вас, но я не могла решить, больны Вы или нет. Мать вернулась, и в шесть часов пришла мадам Риббинг, чтобы мы вместе пошли в оперу. Перед уходом я еще раз взглянула на Ваши окна, вдруг осознав, что не предполагаю встретить Вас в театре. Брат вошел в нашу ложу, и моя компаньонка задала вопрос о Вас. Я вслушивалась с беспримерным вниманием, но новости были удручающими: брат сообщил, что Вы не выходили из дому! Я была приглашена к графине Спарре, но, будучи не в силах противиться удовольствию свободно пообщаться с Вами, отговорила усталостью и вернулась к себе. Я удовлетворена тем, что этот вечер посвящен Вам; да, дорогой друг, я – Ваша.

В опере я видела господ, которые Вас сопровождают, и не могла отказать себе в удовольствии на протяжении всего спектакля смотреть на них. Один из них явно принадлежит Вам, потому что его прическа такая же, как у Вас, а все, что Ваше, интересует меня; они без сомнения заметили, что я уставилась на них, по правде сказать, мое к ним внимание было весьма заметным; я все это делала намеренно, полагая, что, может быть, они любопытствуют узнать, кто я такая, начнут расспрашивать Вас и объяснят причину своего любопытства. Я подумала, что это будет надежным средством дать знать, что взоры были адресованы Вам. Впрочем, уже поздно, 10 часов; добрый вечер, более чем дорогой друг, я пламенно желаю провести эту ночь так же приятно, как предыдущую, когда я наблюдала за Вами и тем самым уверяла Вас в своей любви.

6. «Добродетель – моя оборона...»

8 декабря, полночь

Я не успокоюсь, пока не отвечу на Ваше письмо; предполагая, что завтра в первую половину дня у меня не будет свободного времени, я занялась этим сейчас, ибо не могу предаваться досугу, не исполнив свой долг по отношению к Вам, дорогой моему сердцу. Ваши сегодняшние упреки касательно моего запаздывания очень чувствительны для меня, а если бы я думала, что Вы оцениваете это как пренебрежение Вами, я расчувствовалась бы вдвойне, однако я надеюсь, Вы примете мои объяснения; может, для Вас это неубедительное извинение, но я – слабая девушка. Вам не в чем упрекнуть меня, ведь я не видела Вас два дня и уже на второй день, на бале-маскараде, нашла возможность передать два письма, показывая, что непрестанно думаю о Вас; напротив того, за время от вторника до субботы своими четырьмя письмами я смогла вырвать у Вас лишь одно. Да, если это доказывает, что я забыла Вас, то что думать о Вашем поведении! Ваше поведение принудило меня осознать различие в наших чувствах, я – уже давно – вижу, что мое чувство сильнее Вашего, или мое понимание любви сильно отличается от Вашего. С каждым днем я начинаю понимать Вас лучше; не скрою, что я постоянно с

болью убеждаюсь в важном различии наших характеров, нашего образа мысли. Когда я принялась изучать Вас, я надеялась приспособиться к Вам, да, я надеялась, что подчинюсь Вам, и в этом видела наше счастье; без полного преобразования я не смогу достичь этой цели. Ах! дорогой друг, если бы Ваша любовь равнялась хоть четверти моей любви! но мои страхи могут заставить Вас удалиться и презирать меня, я прекращаю откровенничать, и мне остается во всем винить одну себя, раз Ваши чувства не возрастают, а ослабевают. Почему я не столь любима Вами, почему я не могу снова вдохновить Вас? Я буду стараться, потому что имею все основания видеть, что недостаточно нравлюсь Вам. Природа одарила меня красивой внешностью, вот и все; приятная манера вести себя, которой я также немного наделена, изменяет мне, как только Вы оказываетесь рядом; я неподвижна, глаза не блистают весельем, а серьезны; я постараюсь исправиться. Как я могу требовать, чтобы Вы любили меня, если я ничего не делаю, чтобы понравиться Вам?

Но перейдем, наконец, к Вашей трагедии, она написана не может быть лучше; с точки зрения элоквенции, впрочем, автора, по-видимому, приходится обвинить в чрезмерной рассудочности, и это одновременно оправдывает его. Кто читает Ваши произведения, тот обязан заранее запастись рассудительностью. Рассудок есть мое оружие, коль он оставил Вас; это верно, мой дорогой друг, я ничего не могу сделать для Вас до моей свадьбы, но затем Вы насладитесь счастьем, Вы сможете видеть меня, что так необходимо для нашего вечного союза. Должна ли я думать, что прологом к жестокой разлуке, которая нас ожидает, будет Ваше забвение? Должна ли я обманываться надеждой, что после расставания не стану Вам безразлична? Но я вижу свое будущее, оно жестоко, я вижу себя оставленной, я вижу себя забытой; вот какое будущее непрестанно предстает перед моим воображением, вот что отчасти удерживает меня, когда я хотела бы уступить Вам и составить Ваше счастье. Не буду обременять Вас упреками, но я не соглашусь на Ваши требования, на любовь вне брачных уз; удовольствуюсь тем, что постараюсь уверить Вас: моя страсть – такая, какая она есть – никогда не заставит меня совершить поступок, недостойный честной женщины. Я полагаю, что это недостойно ни меня, ни Вашей привязанности ко мне;

прекратите Ваши домогательства, я слишком рассудительна, это правда, но моя рассудительность слабеет. Когда любят, то не рассуждают; Вы не устаете убеждать меня в этом, и я чувствую то же самое. Добродетель – моя оборона, если Вы настолько неделикатны, что откажете мне в этом достоинстве и снова дерзните обратиться с подобными предложениями, то имейте в виду: соблазнив меня, Вы станете соучастником преступления, когда я окажусь недостаточно сильна. Я не люблю того, кто предназначен мне в мужья, это правда, но разве честь не требует, чтобы я сохранила себя для него? Я не превращусь – по причине отсутствия любви – в его рабыню. Но какое мнение он составит обо мне? Нет, если Вы любите так, как говорите, Вы должны давать другие советы; вместо того чтобы поддерживать мое самоотречение и отвагу, Вы заставляете меня с трепетом ожидать того мига, когда я должна буду выполнить – с отвращением – свой долг. Ах! я никогда бы не приняла решение, если бы Вы не подталкивали меня к этому. Вы можете сделать со мной все; письмо от четверга покажет Вам мои чувства, покажет, как я надеюсь, что однажды мы будем счастливы. Но какие препятствия мы должны преодолеть! Вы сказали, что заключили бы меня в объятия, если бы не боялись быть неприятным; Ваши опасения оправданы, я бы не извинила Вас. Какая ветреность! это доставило бы мне наслаждение, но я не могу дать согласие. Графиня Де Геер старается показывать Вам знаки приязни, дабы Вы продолжали относиться к ней так, как относитесь. Вспомните, мой друг, мои предсказания и будьте уверены: чем лучше Вы узнаете ее, тем больше будет у Вас оснований для этого чувства. Вы, может, не верите, что у Лундберга я разделила бы Ваше общество с большим удовольствием, чем она, но это было невозможно: мне было тяжело отказываться петь, когда Вы меня просите. Поверьте, я не собиралась демонстрировать неповиновение, это была естественная стеснительность, вызванная нежеланием делать то, что я не умею. Я уже заполнила два листа, и теперь Вам придется читать это. Я всегда останавливаюсь с сожалением; я никогда не перестаю общаться с Вами. Доброй ночи, я не слышала, чтобы Вы вернулись из дворца, однако уже час. Завтра я надеюсь видеть Вас в нашем доме и найти возможность – посредством вашей муфты – передать это письмо.

7. «Вчера на балу я ...
не собиралась танцевать...»

Вторник, 10 декабря

Я одобряю, мой дорогой друг, неискренность, которую Вы демонстрировали с мадам Врангель, – подобное нескромное расспрашивание обо мне не заслуживало никакой откровенности. Усилия, с которыми Вы маскировали сердечные чувства, очаровали меня, продолжайте в том же духе, и мое счастье будет совершенным. Я провижу вопрос, который был задан Вам, и, предполагая, что вечером Вы ужинаете вместе, предсказываю новые, в таком же вкусе. Будьте осторожны, ради Бога, упорно маскируйтесь, но не позволяйте ей поверить, что Вы испытываете к ней какие-то чувства, это заведет слишком далеко и заставит меня бояться; ведь ради этого, несомненно, она и атакует Вас. Вчера на балу я, как Вы знаете, не собиралась танцевать, но у меня не было возможности отказаться, новая кадриль, во время которой я дважды танцевала с Герцогом Карлом (плюс два Ваших контрданса), принудила меня изменить планы. Я много беседовала с ним о Вас, он задавал вопросы. Вначале я спросила его, почему Вас нет на балу, он ответил, что Вы больны; он с помощью тысячи маневров попытался вызнать, каковы наши отношения; но из моих ответов не смог выведать ничего – разве лишь, что мы не очень холодны друг к другу. Разговор трижды прерывался и трижды возвращался к Вам. Я не знаю, в чем причина такого исключительного беспокойства относительно Вас и какова цель его любопытства; но этот столь оживленный разговор мог задеть некую особу, гнев которой я предсказываю Вам. Бал закончился в четыре часа. Король был в дурном настроении и, к счастью, быстро удалился; я не сомневаюсь, что отчасти причина тому – Вы, и, если я не ошибаюсь, Ваша вчерашняя болезнь породила множество сплетен. Сегодня утром я снова обсуждала это с матушкой: она полагает, что Вы поступили дурно, не придя на бал. Матушке передали*** то, что Вы говорили возле чайного столика, а именно, что Вам якобы неудобно прийти на бал после ужина. Это неосторожно, ибо, между нами, это – дырявый кузовок: весь город будет уведомлен о Вашей нерасположенности, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Я разделяю нетерпение, с которым Вы ждете моего освобождения. Если бы только ценой тому не была моя несчастная судьба – столь отвратительный союз не может показаться мне желанным, что бы ни достигалось этой ценой; да, каково бы ни было мое желание видеть нас счастливыми, оно не может одолеть ужаса, который я ощущаю при мысли оказаться в объятиях ненавидимого супруга. Подумайте о жертве, которую я должна принести, поставьте себя на мое место, почувствуйте, чего должно стоить мое решение; лишь надежда на Вашу нежную компенсацию помогает мне выдержать этот смертельный удар. Я не буду отныне называть желанием низкое наслаждение; я соглашаюсь, дабы Вы были счастливы, я тоже буду счастлива, потому что поступлю по сердечной склонности, исполняя Ваши требования. Вы довольны? или снова будете обвинять меня в том, что я ускользаю от ответа; неужели, по Вашему мнению, что-нибудь помешает мне объявить Вам о том блаженстве, которое я вкушу в Ваших объятиях? Однако, дорогой друг, от Вас зависит утвердить меня в тех чувствах, в которых я клянусь Вам с таким удовольствием. Ваше поведение не дает никаких оснований для подозрений; я не напоминаю о Вашем слове, но я желаю видеть, до какой степени точно Вы собираетесь выполнить его. Я хочу напомнить: мое положение, как мы и договаривались, требует, чтобы мои письма – по прочтении – немедленно возвращались мне. Поступайте так, как считаете правильным, мой дорогой друг, Вы слишком благородны, чтобы нарушать Ваши обещания.

8. «Вы хорошо гадаете на картах...»

Тот же день, 7 вечера

Вы отбыли ко Двору, дорогой друг, и у меня не было возможности передать Вам прилагаемое утреннее письмо. Я постоянно стеснена! Я постоянно под наблюдением; даже сейчас этот негодяй Ностиц позади меня! Когда Вы подошли слишком близко, я оказалась в сложной ситуации; я опасаясь, не заметил ли чего Риббинг, он всякий момент следит за нами, это крайне осложняет ситуацию.

Вы хорошо гадаете на картах, вы читаете – наилучшим образом – в грядущем. Эта скорбящая дама будет надежно ком-

пенсирована восьмеркой треф, или же я плохо поняла Ваши предсказания. Я – печальная дама, а вы кроете двойкой.

Лишь в Вашей нежности я нахожу компенсацию тех страданий, которые мне предстоит вынести в роковом будущем. Вы – мое совершенное блаженство, я думаю, как сделать Вас счастливым, это необходимо для нашего общего благополучия. Я к этому стремлюсь с день ото дня большей пылкостью и желанием! Утреннее письмо докажет Вам, что мое нетерпение равно Вашему. Я не отваживаюсь представлять все трудности, которые нас ожидают, необходимо, чтобы Вы помогли придумать, как преодолеть их. Я фантазирую, как это сделать; но нет, мне не следует снова посвящать Вас в свои проекты, мне надо еще ждать целый месяц того благополучного мига, когда я смогу свободно уверить Вас, что вся моя жизнь состоит в нежной любви. Я не отваживаюсь более продлевать свое отсутствие, матушкина компания начинает собираться; с великим сожалением прерываю наше общение, для меня столь чарующее.

До свидания, я тысячекратно обнимаю Вас в мыслях, ибо действительность пока не существует для нас, и прошу Вас верить, что не перестану любить Вас всю жизнь всем сердцем.

9. «...Я сгораю от нетерпения испытать блаженство в Ваших объятиях»

Четверг, 12 декабря

Мне совсем не понравился вечер, который я провела в одном обществе с Вами. Я не испытываю никакого удовольствия в том, чтобы, видя Вас рядом, не иметь возможности перемолвиться с Вами в продолжение всего вечера; Вы же столь жестоки, что отказываетесь пожалеть меня. Я была бы несправедлива, если бы пеняла Вам за то, что было перед ужином. Разговор, который пришлось вести с Герцогом, помешал мне пойти в комнату, где я рассчитывала найти Вас. Я, однако, сгорала от нетерпения; за столом я старалась не смотреть на Вас; в моем зоре, вопреки всем моим попыткам, могли прочесть беспокойство. После ужина, когда все сели играть, я намеренно приблизилась к Вам, надеясь, что Ваш разговор с губернатором закончится, но напрасно: я не

знаю, намеренно ли, но Вы повернулись ко мне спиной. Я все время смотрела на Вас, подошел Герцог, я, ожидая всякий миг, что Вы заговорите со мной, избегала вступать с ним в разговор, мои ответы были кратки, и я ежесекундно готовилась прервать беседу. Моя речь была настолько бессвязна, что он засмеялся и атаковал меня, стараясь угадать, какова причина моей рассеянности. Он отошел, поняв, что его общество стесняет меня, и даже прямо сказал это; я долгое время оставалась одна и имела возможность наблюдать за Вашим разговором, который становился все более оживленным. Удаляясь, Вы довершили мое беспокойство тем, что подали руку моей кухне. Зачем Вы делали это? Вы хотели, чтоб я завидовала? Или еще что-нибудь? Не следует впадать из одной крайности в другую, не следует избегать меня до такой степени, чтобы на людях не сказать ни единого слова, хотя известно, что Вы ходите к нам каждый день. Вчера я оставила Вас и поднялась к себе; причина тому – нетерпеливое желание прочитать Ваше письмо; я услышала, как Вы отбываете, и даже собиралась сойти вниз, чтобы поговорить, но испугалась, что Вы не один и поговорить нам не удастся.

Я намереваюсь ответить на Ваше письмо, но вчерашние события настолько поразили мое сердце, что я не могу противиться естественному движению и выкажу свое недовольство. Я намереваюсь пункт за пунктом ответить Вам, как Вы того требуете; все, что содержится в Вашем письме, более чем интересует меня, и я не оставлю без внимания ни одно слово. Вы начинаете с комплиментов, на которые мне нечего ответить, уверяю Вас, что принимаю их с признательностью. Какое наслаждение для меня узнать от Вас, что Вы с удовольствием занимаетесь мною! Вы пеняете мне, что мои нежные уверения не сопровождаются доказательствами. Ах! если бы от меня зависело их Вам представить! Но Вы знаете, что это невозможно. Виновна ли я, если подозреваю Вас в желании соблазнить меня, когда Вы – в моей ситуации – предлагаете встречу без свидетелей? Как я должна оценить Ваше предложение, кроме как посягательство на то, что для меня священно? Если бы я следовала своей склонности, ах! я бы согласилась на все, чего Вы желаете, но – вопреки моей любви, всей моей страсти – я продолжаю рассуждать, да, Вы хорошо сказали, что у любящих такого не бывает, однако, чувствуя силу любви как это возможно,

я вместе с тем рассуждаю, но одновременно ропщу на жестокий разум, что лишает меня счастья, которое я могла бы испытать с Вами. А благодаря Вам этот желанный момент кажется таким очаровательным! Одно слово в Вашем письме дало особый повод для размышлений, Вы говорите, что *я не ведаю того, от чего отказываюсь...* Ах! София, что ты делаешь и зачем ты согласилась на брак с ненавистным мужем! И почему Вы, со своей стороны, предаете меня жесточайшим пыткам, ведя речи, которые намекают на область таинственного? Да, я много думала и ничего в этом не понимаю. Жестокий друг, если я Вам дорога, не говорите со мной в подобной таинственной манере, Вы не знаете, до какой степени я смущаюсь. Я смутно представляю, что ожидает меня, и очень боюсь, что буду на этот счет просвещена; если бы я боялась, как Вы говорите, уязвить свою добродетель, отдав Вам сердце, я бы не испытывала этого чувства. Я не думаю, что страдаю от недостатка, желание столь сладостно! но следует противиться силе своей страсти, вот чего Вы не понимаете. Страсть есть доказательство не избытка любви, но живости, резвости, которая обыкновенно доказывает изменчивость сердца, и можно утверждать, что столь жестокая страсть непродолжительна. Я не думаю, что Ваша страсть такова, и хочу полностью положиться на Ваши уверения в ее длительности. Я хочу верить, что они искренние, и действительно считаю так.

Я вынуждена сейчас прервать письмо, потому что у меня дела во дворце. По возвращении поспешу продолжить. Я останавливаюсь на Ваших уверениях в постоянстве и Ваших клятвах, что Вы будете счастливейшим из смертных, если сможете верить в совершенную взаимность. Да, можете верить, мой дорогой друг, вся моя жизнь посвящена тому, чтобы доставить Вам удовольствие. Я повторяю это так часто, что Вам пора бы убедиться.

Вы умоляете меня ускорить момент заключения союза с Пипером. Какая жестокость, что это условие нашего с Вами счастья! ах! я слишком дорого плачу за мгновенное счастье! оно будет недолгим, ибо Вы вскоре должны оставить меня, а мне предстоит вечная мука принадлежать тому, кто внушает только отвращение; но нет другого способа удовлетворить нашу страсть, и я решила торопить события. Я не могу в данный момент точно назвать день, мой отец еще не может решиться; но как только я

узнаю, Вам будет сообщено; однако до Рождества это невозможно. Моя свадьба состоится только после возвращения Двора из Грипсхольма. А вскоре после того, ах! какое счастье думать об этом! я буду Ваша; да, любовь тогда укажет способы, которыми сейчас я не могла бы с уверенностью пользоваться, дабы избавиться от аргусов, неотступно следящих за моими маневрами. Двое самых опасных – сестра и ее муж. Что касается Пипера, он слишком глуп, чтобы помешать дурачить себя; это будет легко, кто хочет – тот всегда достигает цели. Вы опять скажете, что моя цель – отказаться от Вас, и Вы не верите, что я разделяю Ваше нетерпение. Я не знаю того счастья, которым Вы так прельщаете меня, но разве есть что-нибудь выше, чем желание подарить Вам блаженство? А Вы часто уверяете меня, что, лишь уступив Вашим настояниям, я составлю Ваше блаженство. Ах! сможете ли Вы тогда ощутить такое же волшебство, какого я ожидаю; мы горим одним пламенем и мы – одно целое. Подчиняя меня своей воле, помните, что Вы обещали любить еще больше, это возможно, ибо Ваша страсть пока не такова, как мне бы хотелось. Простите мне подозрения на этот счет; нет, Вашему чувству невозможно сравняться с моим; в Вашем сердце это не первая страсть, в моем – первая; но сегодня у меня нет времени входить в детали. Я могла бы предложить еще тысячу пунктов, отвечая на Ваше письмо, но время не ждет, пора идти к обеду, а после у меня не будет ни единого мига. Отрадно видеть, что Вы справедливо одобряете мой отказ – в нынешней ситуации. Рассчитывайте на то, что после моего замужества Ваши желания будут увенчаны; я сгораю от нетерпения испытать блаженство в Ваших объятиях. Ах! дорогой друг, как этот миг далек и как я желаю его! Ничто не сравнится с моим нетерпением. Новое препятствие! у меня нет друга, который бы сочувствовал мне, и не на кого положиться; следовательно, нам негде встречаться, но я уже говорила Вам: любовь обеспечит нам возможность. Опасения оказаться в Ваших глазах не столь достойной любви, как мне бы хотелось, слишком основательны; отдайте мне должное, дорогой друг, я осознаю это. Почему Вы просите прощения за пространность Вашего письма? Почему Вы страшитесь, что у меня не хватит терпения прочесть письмо, когда мне интересно все, что касается Вас, и дорого все, что исходит от Вас? Как мог родиться такой страх? Я сержусь лишь оттого, что

не имею времени ответить на Ваше письмо так, как я бы желала. Меня этим утром прерывали более двадцати раз; финал Вашего письма окрыляет; когда я читала его, мне казалось, что Вы рядом; я соучаствую во всех чувствах, которые Вы в этот момент испытываете, и я прихожу в отчаяние единственно потому, что не могу сейчас же насладиться тем счастьем, которое Вы постоянно предлагаете с таким очарованием. Продолжайте любить меня так же пламенно, если это представимо, до обетованного срока свершения нашего блаженства; я его тороплю настолько, насколько могу. Я постоянно воображаю Вас, когда предпринимаю все, что приближает блаженные миги. Не называйте Пипера счастливым, он никогда не сможет стать им; Вы заслуживаете этого имени, Вы один, потому что лишь Вас я люблю в целом мире. Я надеюсь доказать Вам в своих объятиях силу моей страсти, ничто не может ни сравниться с ней, ни уменьшить ее, она возрастает с каждым днем и будет вечной, как и, согласно Вашим уверениям, Ваша страсть. Вы довольны мной? Есть ли в моих чувствах или в том, как я их живописую, что-нибудь вызывающее недовольство? прикажите, этого достаточно; Ваша воля – мой закон. Вот один, для начала, которому я подчиняюсь; я желаю быть всегда достойной Вас; ради этого я прилагаю все усилия. Нравиться Вам так, как я бы хотела, нет, я чувствую, что не имею возможности, лишь мои чувства, их искренность, в чем однажды я смогу уверить Вас, – вот что позволит мне достичь этого счастья.

10. «...Вы подталкиваете меня
к самым ужасным мыслям на Ваш счет
и к самому жестокому презрению»

Понедельник, 16 декабря

Простите, мой князь, свободу, с которой я похитила Ваше внимание, оно сосредоточено на интереснейших предметах, а я обращаю его на чтение этого письма. Вот уже два дня, как я борюсь с желанием написать Вам, но в итоге я решилась, будучи подвигнута многими мотивами: первый – напомнить Вам о слове, данном относительно моих писем; я до сих пор напрасно жду его исполнения; Вы об этом не говорите, я многократно напоминала,

но интерес, который я вызываю у Вас, видимо, не настолько велик, чтобы Вы спешили обеспечить мое спокойствие; это самый важный мотив, мой князь. Не видя более возможности воздействовать на Ваши чувства, я решила воспользоваться оружием, которое Вы сами предоставили мне. Я отправляю Вам в приложении Ваши письменные заверения, предполагая, что Вы не захотите нарушить их; слово благородного человека священно. Решайте, должна я верить или нет, и предоставьте доказательство того, что Вы уважаете Ваше слово. Вы, может быть, удивлены, почему я сегодня так настойчиво требую исполнения Вашего обещания; я сообразила, что приближается Ваш отъезд в Грипсхольм, и мне уже заранее рисуется моя судьба, я не могу быть уверена, что если те, кто, как Вы говорили, расспрашивали Вас обо мне, не ограничатся вопросами и захотят доказательств, то Вы предоставите им сильнейшие доказательства – мои уверения в привязанности. Нет, верните их до Вашего отбытия, все, включая это последнее. Упорствуя в отказе, Вы подталкиваете меня к самым ужасным мыслям на Ваш счет и к самому жестокому презрению. Я не говорю Вам о своем беспокойстве; подозрения, увы! слишком основательны, то, что я видела вчера вечером, просветило меня и подтвердило жестокие сомнения. Известно, что когда чувства ушли, то друг на друга и не смотрят; я многократно имела несчастье наблюдать это; но почему я говорю «несчастье»? Разве так называется возможность быть просвещенной касательно того, что столь существенно в счастье? Когда любят благородно, то не требуют взаимности, я должна быть счастлива тем, что проникла в Ваши чувства; я не укоряю Вас, мой князь, сопротивление, которое Вы встретили во мне, и нежелание уступить Вашей страсти, эта добродетель, которой я гордилась, эти препятствия, которые стесняли Вас, – все это должно было отвлечь от меня. Вы избрали лучший способ, теперь Вам легче достичь Вашей цели; Вы будете, возможно, любимы, но, отважусь сказать, не так, как мною, чувства, в которых я открылась Вам, не сравнятся ни с чем. Я не собираюсь бесполезным повторением признаний злоупотреблять Вашим терпением; я живо чувствую утрату, но не буду похищать Вас у соперницы; да и каким оружием могу я сразиться с ней? Никаким. Вы отнесете, может быть, мои подозрения на счет легкомыслия, да, Вы были бы правы, мой князь, если бы они имели основанием только те факты, что я при-

вела, но у меня есть и другие: что доказывает Ваше равнодушие весомей молчания, которое Вы храните? Вы начали с того, что вынудили признать Ваше право писать ко мне, Вы требовали, чтобы я позволила ежедневно продолжать общение, которое казалось Вам очаровательным; я согласилась. В тот миг, когда я думала составить Ваше счастье, уступив домогательствам, в тот миг, когда я предоставила живейшие свидетельства моей нежности, Вы перестали писать. Сознаюсь, что ожидала больше усердия с Вашей стороны, что после своего последнего письма ожидала получить заверения в признательности; напротив, Вы заставили меня – Вашим молчанием – винить себя в излишней уступчивости, да, я упрекаю себя в этом. Несчастливая София! что ты делаешь? Почему ты так доверчива? Я слишком полагалась на Вашу искренность, я пренебрегла долгом, уступая Вашим желаниям; но я, благодаря своей осмотрительности, не совершила никаких поступков, недостойных честной девушки. Я угадываю Ваши намерения; признайтесь, что Ваша цель – соблазнить меня, ослепить до такой степени, чтобы я забыла свой долг по отношению к себе и сдалась на Вашу милость. Вы надеялись на мою слабость и ставили добродетель ни во что. Когда же Вы осознали ее непреклонность, Ваша страсть уменьшилась; вот какое мнение, я полагаю, было бы справедливо составить о Вас. Я могу упрекнуть себя только в том, что должна была стараться узнать Вас, прежде чем открывать чувства. Теперь, если Вас удерживает рядом со мной лишь страх нарушить обязательства, я, в свою очередь, обяываю Вас, я обяываю Вас быть свободным, у Вас нет обязательств и у меня нет обязательств, лучше самой предложить это, чем требовать от Вас имитировать чувство, которое Вы в глубине души не испытываете. Не бойтесь и освободите себя от Вашей привязанности, ведь я вижу, что стесняю Вас, когда мы где-то оказываемся вместе; я Вам также обещаю избегать подобных ситуаций, это будет знаком моей привязанности, потому что я не могу отрицать, что она – все такая же. Я люблю Вас вопреки Вам, вопреки себе, но это ни к чему не обяывает Вас; я только что сказала Вам, мой князь, что Вы свободны от всех обязательств, я не отрекаюсь от своих слов, я столько счастья Вам желаю, сколько можно вообразить, Вы с полным правом насладитесь им в рождественские праздники. Что до меня, я пронесу в сердце через всю жизнь совершенную при-

знательность к Вам за те чувства, которые Вы показали. Я желаю Вам счастья, желаю искренне, я уверяю Вас в этом; я ничего не жду от Вас, и в моей пустыне, далеко от Вас, я не буду испытывать тщетной надежды остаться в Ваших воспоминаниях. Я не требую, мой князь, другого ответа на это письмо, кроме того, что Вы вернете как можно скорее письма, которые сейчас все равно превратились в бесполезный залог моей нежности. Я слишком злоупотребила Вашей любезностью, вынуждая читать это письмо, и не требую, чтобы Вы утруждали себя ответом. Это последнее письмо, которое я отправляю, о чем сожалею. Дай Вам Бог, мой князь, когда-нибудь снова почувствовав страсть, встретить взаимность, подобную моей, душу столь же чувствительную, как моя, сердце, которое было бы так же проникнуто самыми живыми и искренними чувствами, как мое. Вот мои пожелания, которые в этот момент имею честь подарить Вам.

11. «Воображение рисует картину Вашей неверности...»

Вторник, 17 декабря

Если бы я не имела чести видеть Вас вчера вечером, а лишь читала бы Ваше письмо, оно снова убедило бы меня в том, что в Вас осталась нежность ко мне; однако, повторю снова, Ваши взоры, обращенные на ту, что поколебала счастье, которое я испытывала, ложно считая себя единственной обладательницей Вашего сердца, эти взоры, говорю я, невольно убеждают меня в Вашем расчете. Еще доказательство: вчера у моей матушки Вы сказали, что совершенно сбиты с толку тем, что с Вами не разговаривают, что Вас избегают, хотя, как мне кажется, Вам, наоборот, стараются с великим удовольствием отвечать; во время последнего контрданса, который Вы танцевали с Королевой, я снова наблюдала с крайним беспокойством, как Вы обменивались взорами. Вы мне говорите, что если на Вас смотрят, это не Ваша вина; но когда Вы отвечаете тем же, в этом равно нет Вашей вины? Вы желаете, чтобы я была слепа, я, мой князь, постараюсь. Что я не сделаю ради Вас? Я пожертвую всем, что имею, дабы составить Ваше блаженство. Разве это не в моей власти?

Неужели Вы настолько несправедливы, что подозреваете меня в желании жестоко стеснить Вас и заставить избегать бесед с предметом моих опасений? Вы несправедливы в отношении к моим убеждениям, если полагаете, что я захочу так мучить Вас. И наконец, чего бы я добилась, требуя от Вас подобных жертв? В моем присутствии Вы, исполняя обещание, естественно, подчинитесь настояниям, но, когда я буду отсутствовать, вернете себе то, от чего отказались. Время, когда я не вижу Вас, всегда больше того, когда я наслаждаюсь Вашим обществом. Какое я испытала бы блаженство, если бы уверения, содержащиеся во вчерашнем письме, были искренними! Ваше сердце, которое занято мной одной, которое верно мне, которое готово на все ради доказательства любви! Мое чуть не остановилось от радости, когда я читала Ваши уверения. Да, мое сердце хотело бы предаться сладкой иллюзии и поверить в Вашу искренность, но, увы! надолго это не получается. Извините мои страхи, они утомляют Вас, надоедают Вам и все больше отворачивают от меня. Я хотела бы сказать, что они напрасны; да, мое сердце не требует лучшего, оно горит Вами, несмотря на то, что встречает в Вашем сердце другие чувства. На всем свете я могу любить только Вас, и как я могла унизиться настолько, что страсть сама по себе будет моим блаженством? Вы разрушили, жестокий друг, то счастье, очарование которого так искусно живописали, и снова предали несчастьям, что непрестанно преследуют меня. У меня остались лишь они, а не радость удовлетворения. Ах! как Вы убеждали меня в Вашей нежности! Тем больше сожаления, что теперь Вы разделяете нежность с другою! Да, этот страх никак не исчезает; я ищу способ рассеять его, но напрасно, я продолжаю надеяться только тогда, когда я не с Вами. Я полагаюсь на Ваше благородство, я надеюсь на него, Вы слишком благородны, чтобы я обманулась в представлениях о Вас. Мои опасения проистекают из избытка любви, и мой долг – укротить их. Пусть я опять почувствую себя виноватой пред Вами, мой более чем дорогой друг, я забуду прошлое, но я трепещу, представляя Ваши занятия в Грипсхольме. Воображение рисует картину Вашей неверности, извинения, которые Вы вчера представили, – с учетом Вашего молчания – не успокаивают меня; поразмыслите и Вы увидите, что я не виновата; пара слов – и я была бы спокойна. Как Вы

заставите поверить, что на протяжении четырех дней у Вас было секунды для меня? Но я убеждаю себя в том, что Вы, будучи слишком заняты, не можете думать обо мне, и это вполне согласуется с моими опасениями. Итак! да, Ваши извинения убедительны, и я каждый раз соглашаюсь принять их. Бесспорно, существуют занятия более существенные, чем забота о друзьях, занятия настолько важные, что друзьям невозможно пожертвовать даже минутки; я не подумала об этом. Я виновата в том, что упрекаю Вас за столь естественное молчание, и прошу меня простить. Финал Вашего вчерашнего письма, дорогой друг, разрывает мне сердце, Вы не желаете постичь, что моя цель – помочь Вам отречься от нашей любви. Если Вы уверяете, что она дорога Вам, разве могу я лишиться Вас того, от чего Вы не отреклись? Питая те чувства, которые я здесь свидетельствую перед Вами, разве могу я иметь более приятную цель, чем сохранение Вашей нежности? Разве это не величайшее удовлетворение для сердца, любящего быть связанным столь сладостными обязательствами с предметом, который ему так дорог? Нет, в мои намерения не входил разрыв, хотя Вы уличаете меня в этом; я ожидаю разрыва со страхом, а не удовольствием, я даже не могу сделать вид, что ожидаю его с безразличием. К счастью, Вы обольщаете меня надеждой, я предаюсь ей с наслаждением, и Ваши клятвы слишком дороги для меня, чтобы я вспоминала об утраченном блаженстве.

12. «До моей свадьбы Вам не на что надеяться...»

Четверг, 19 декабря

Ваше вчерашнее письмо, дорогой друг, снова сделало меня счастливейшей из женщин. Ваше поведение околдовало меня и убедило в том, что я была виновата, подозревая Вас в недостатке нежности. Вы вернули мне любовь, дорогой друг; я снова наслаждаюсь счастьем, которое считала навсегда утраченным. Какое блаженство! Я сама не своя от радости, Вы снова уверяете меня в верности, в любви, в том, что носите в сердце мой образ. Разве этого недостаточно, чтобы я чувствовала себя счастливой? Ах! да, я не могу быть счастлива более, чем я есть. Вчера Вы показались мне недовольным, когда я говорила о контракте. Зачем надо было

уведомлять Вас до того, как он подписан? К чему бы это повело? Что хорошего было бы в том, что Вы знаете об этом? Вы все равно не смогли бы ничему помешать. Ах! если бы Вы были свидетелем слез, которые я проливала в тот момент! Я так рыдала, что отец пришел в изумление. Мне было трудно решиться подписать контракт. Вы непрестанно являлись в моем воображении; то мне казалось, что Вы препятствуете мне, что чувства, в которых я клялась Вам, не позволяют подписать договор с другим; то мне казалось, что Вы понуждаете меня подписать, ведь это единственный способ осуществить наши общие желания. Вот я подписала этот жестокий контракт и с содроганием вспоминаю это, но с еще большим ужасом думаю о том, что придется исполнять его. В моем теперешнем расположении, когда я люблю Вас, мне так тяжело принадлежать другому; однако, повторю снова, это не мешает мне быть столь твердой, сколь возможно. Я обещала Вам торопиться, я сдержу слово в той мере, в какой это зависит от меня.

Вы решительно требуете ответа на последний пункт Вашего письма; я ответила Вам во время встречи при Дворе, но Герцогиня, прервавшая нашу беседу, помешала мне подробно изложить всю невозможность Вашего плана. Во-первых, мой дорогой друг, каким образом мы сможем уединиться, когда внимание почти всего общества обращено на нас? Что скажут, если Вы и я разом исчезнем? Что подумают обо мне? Кроме того, в зале Биржи нет лож, нам пришлось бы спуститься по лестнице, а вниз – в поисках комнаты – мы бы бродили туда и обратно, рискуя встретить знакомых. Кроме того, Вы также знаете, что я обязана сопровождать Герцогиню, она ни на миг не оставляет меня, а если ей сказать, что я хочу снять маску, она, естественно, предложит свою ложу, и я не смогу объяснить, почему хочу воспользоваться другой. Вы видите, с какими трудностями я сталкиваюсь; кроме того, Вы знаете мою щепетильность в этом вопросе, я ведь отказываю Вам в подобной просьбе не первый раз. Вы разрываете мне сердце, когда убеждаете сердечно уступить по любви то, что подобает уступить в браке. Как трудно отказать Вам в том, на что сердце согласно! Но я уже отказала, мой дорогой друг, и буду следовать этому первому решению. Не скрою, что в какой-то момент я почти поддалась, так велика была моя слабость; это было бы легко, отец и брат отбыли в Гриспсхольм, никто не проведал

бы, приходил ли кто ко мне, а мать располагается с другой стороны и ничего бы не узнала; кроме того, нам помогло бы темное время. Но зачем сообщать Вам этот план, если одновременно я запрещаю им воспользоваться? Я не могу отрицать, что в тот момент, когда составила его, я с великим наслаждением мечтала о счастье, которое сулят Ваши объятия. Письмо от 12 декабря показало мое стремление приблизить столь желанное время, но вы сами разрушили этот замечательный план. Ваше равнодушие в тот момент, когда я никак не ожидала этого, подозрения, что другая нравится Вам больше меня, развеяли мои приготовления к реализации наших желаний. Я была слаба; когда я сейчас размышляю об этом, то понимаю, что только Вам обязана спасением от ошибки, в которую меня влекла слепая страсть; вот, мой дорогой друг, что я хочу сказать. До моей свадьбы Вам не на что надеяться; после – на все. Вы обещали, что не будете настаивать на Ваших желаниях; сдержите слово, Вы знаете, как Вы будете неправы и виноваты, если будете упорствовать. Подумайте о моей слабости и моем долге; поддержите мою добродетель, которая колеблется; это будет новым доказательством Вашей любви.

13. «...Не посещайте нас так часто
и не оставайтесь так надолго...»

Четверг вечером, 19 декабря

Я потеряла надежду, мой дорогой друг; этот день был для меня самым ужасным с тех пор, как я узнала Вас. Матушка сразу после обеда затеяла разговор о Вас, в самых строгих выражениях заявив, что если раньше наши отношения не казались ей предосудительными, то ныне она никак иначе не может истолковать Ваши постоянные визиты; дескать, никто не будет довольствоваться ложной надеждой, я же с подозрительным наслаждением принимаю Ваши настойчивые ухаживания, но, впрочем, она надеется, что не отвечаю на них; она решилась поговорить со мной, потому что Ваши ежедневные знаки внимания шокируют весь город, и мне следует быть благоразумной и осторожной; она узнала, что даже Пипер питает некие подозрения, она не удивлена и во всем винит меня; я должна подумать о том,

как отстраниться от Вас, как выказать Вам равнодушие и тем самым ублажить того, кому должна вскоре принести в жертву все. Примите также в рассмотрение, мой дорогой, что речь была произнесена с совершенной страстностью и со всей авторитарностью, на которую способна мать, действительно разгневанная на дочь. Я вздохнула о Вас и о себе. Как я страдала, когда Вы явились! Мать постоянно следила за мной, а Вы, не замечая ее ярости, говорили со мной шепотом, говорили о тысяче предметов, что должно было умножить ее подозрения; наконец, я не знаю, основательно ли мое беспокойство, но мне кажется, что Вы никогда не были столь свободны в Вашем обращении, по крайней мере Ваши взгляды, жесты, одним словом – все должно было еще более разгневать ее. Ради Бога, ах! чего мне стоит молить Вас об этом, однако я должна: в дальнейшем не посещайте нас так часто и не оставайтесь так надолго. Завтра, если Вы любите меня, Вы сюда не придете. Ах! о чем я прошу Вас? И какого знака любви требую? Но так должно. Я совершенно убеждена, что завтра с раннего утра меня ожидают ужасные упреки за любовь к Вам. Ах! как меня гнетет принуждение тех, кто противостоит нам! Уезжайте, мой дорогой, в Грипсхольм как можно скорее; я страдаю от невозможности встречаться с Вами. Лыщу себя надеждой, что Вы будете думать обо мне; оставайтесь там как можно дольше. Я не хочу видеть Вас в таком обществе, как сегодняшнее. Это не удовольствие, но пытка.

Я в данный момент занята организацией посылки письма и надеюсь, что Вы – в одиночестве (как Вы сказали мне). Посыльный посвящен в тайну, но, прошу Вас, ничего не передавайте для меня. Вы можете завтра в шесть вечера отправить вестника, если это необходимо, но лучше передайте письмо на балу; я постараюсь, чтобы такая возможность представилась. Моим кавалером будет Герцог Карл, и когда я увижу Вас, то приложу руку к голове, это будет условный знак.

Ради Бога, не приходите завтра, если Вы не хотите сделать меня несчастной; насколько я была счастлива этим утром, настолько мне плохо вечером. Ваша любовь – единственное, что поддерживает меня. До свидания, я вся принадлежу Вам и люблю Вас всем сердцем.

14. «...Встреча будет непродолжительной...»

Пятница, 20 декабря

Я не располагаю временем, мой дорогой друг, говорю только, что Ваше письмо получено, что мое нетерпение видеть Вас равно Вашему, что в данный момент я даже не могу точно сказать, когда состоится наша встреча. Отец отбывает в воскресенье, брат – завтра; надеюсь, что вскоре увидимся. Ночью это невозможно; прежде всего дверь заперта, старый слуга, который наблюдает за ней, – непреодолимое препятствие, но я найду другой способ, завтра я передам Вам весточку на пикнике, воспользовавшись муфтой.

Я не могу отправить Вам того слугу, о котором Вы говорите, он не посвящен в тайну и просто отнес вчерашнее письмо. Я запретила ему говорить, кто направил его к Вам, и вообще говорить, что я доверила ему какое-либо поручение. Поверьте мне, лучше не полагаться на этого слугу, тем более что он состоит не при мне, а при моем младшем брате.

Могу я положиться на Вашу скромность, соглашаясь встретиться с Вами с глаза на глаз? Предупреждаю, встреча будет непродолжительной, потому что даже горничная не должна ничего заметить. Я придумала, как удалить ее. Я вынуждена быть максимально осторожной, чтобы избежать предательства! Я рассчитываю на Ваше обещание быть скромным, пусть Вам будет стыдно, если Вы обманете меня; нет, Вы не способны на это. Наша встреча будет невиннейшей, Вы умерите страсть, Вы последуете моему примеру, Вы не дадите мне повод краснеть за проявленную слабость. Вы обещаете? Я рассчитываю на Вас; одним словом, Вы убедите меня в Вашей привязанности Вашей скромностью.

До завтра, мой дорогой, я думаю о том, как нам увидиться. Вечером я отправлюсь – в добрый час – на бал; я обещала родителям. Боже! как утром маман упрекала меня за то, что вечером я подала Вам чай! Утром по Вашей вине, я вышла от нее, заливаясь слезами, я даже (на одно мгновение) прокляла нашу любовь, я любила Вас меньше обычного; но тем самым я совершила преступление, наступило ужасное раскаяние, я почувствовала, что, отрекаясь от Вас, от Вашей любви, я лишаю себя блаженства; да, оно состоит в том, чтобы испытывать нежность к Вам, что я делаю, буду делать так же пламенно всю жизнь.

Боже! я не заметила, что все уже собрались; я должна присоединиться к ним, мать снова пребывает в дурном настроении. Будьте завтра на высоте; мне неудобно просить Вас, но это совершенно необходимо.

15. «... Вы не захотите обесчестить меня...»

Суббота, 21 декабря

Этим утром я ленилась; я только что поднялась. 11 часов, в нашем распоряжении одно мгновение, и потом я отдаю себя матушке, однако я не могу манкировать вчерашним обещанием написать Вам. Но я по-прежнему не могу назвать день нашего свидания. Отец, как я вчера сообщила Вам, отбывает завтра. А когда отправляетесь Вы? Я устроюсь наверху. Я воспользуюсь моментом, когда матушки не будет, хотя предвижу, что это непросто: она очень редко покидает дом. Вот мой план: если матушка ужинает дома, Вы придете в шесть вечера и останетесь до семи, не позднее; если она будет приглашена во Фредриксхоф, тогда Вы сможете прийти в полвосьмого или в восемь и остаться до 10–11; но я не могу заранее узнать день, когда Королева-мать вызовет ее, и если придется ждать этого долго, я Вам сообщу и мы будем вынуждены перейти к первому плану.

Вы знаете, мой дорогой, на каких условиях мы договорились, и помните, что Вы дали слово не отступать от этого. Я полагаюсь на Вас, мой дорогой друг, полностью, без боязни; Вы не захотите обесчестить меня и силой добиться того, чему я противлюсь.

Ах! с каким нетерпением я жду момента, когда мы будем одни! В воскресенье я не буду писать Вам; я ужинаю с Герцогиней и проведу у нее вторую половину дня. Не думайте, что я осуждаю Вас за вчерашнюю присылку вестника, но в следующий раз пусть он не вздумает явиться в своей ливрее или, по меньшей мере, пусть будет в сером, а не так, как он обыкновенно ходит.

Время для себя кончилось, теперь время – для матушки. Вы можете, если располагаете временем, ответить на письмо и вечером передать его, если ужинаете у нас; в таком случае, послав ко мне в 5, успеете получить ответ: может, я найду способ повидаться и сообщу Вам. Вечером остерегайтесь беседовать со мной продолжительное время, ибо папа, маман – все шпионят за нами. Господи!

какое притеснение! однако благодарю Провидение, в моем сердце заключены обетования, которые делают жизнь волшебной.

16. «...Надо извлечь пользу из понедельника...»

Суббота, 21 декабря, 5 вечера

Я отвергаю все Ваши проекты, потому что вижу их явную неисполнимость. Как можете Вы хотеть прийти ко мне в 11? Трудность ведь заключается не в том, чтобы прийти, а в том, чтобы уйти, – ворота открываются в восемь утра, иногда в 9, а Вы осведомлены о бдительности цербера-привратника, – нет, я не могу позволить Вам осуществить этот проект. Проект, повторяю вам, неосуществим, мы слишком рискуем со всех сторон. Вы отбываете во вторник, мой дорогой друг, значит, как Вы говорите, надо извлечь пользу из понедельника, итак! нанесите визит матушке между 4 и 5, задержитесь ненадолго, ибо вежливость требует, чтобы Вы, отбывая в Грипсхольм, спросили, нет ли у нее каких-либо поручений; кроме того, это замаскирует наше предприятие, в противном случае матушка, сопоставив то, что Вы не пришли и что я отсутствую, может что-нибудь заподозрить! Вы задержитесь ненадолго у нас, потом в 6 часов приходите. Поднимайтесь ничего не опасаясь, я буду ждать Вас на лестнице; но Вам необходимо переодеться: будьте в сером, сапоги, шляпа – не слишком роскошная и не слишком приметная. Не заговаривайте ни с кем на лестнице, и они ни о чем не будут спрашивать. Кроме того, если кто-то из не в меру любопытных слуг спросит, к кому Вы, отвечайте, что к моему брату, и Вас пропустят. Но обязательно переоденьтесь, мой дорогой друг, ради всего святого – это главное.

Вы сможете остаться у меня только до 7 часов: в нашем распоряжении, как Вы видите, немного времени, но лучше так, чем не приходиться вовсе, а другого способа я не вижу. Я подумала, что если у матушки возникнет желание делать визиты или отправиться на какой-нибудь прием во второй половине дня – здесь я ничего не могу предвидеть, – то мой план расстроится. Она располагает мной, и я не могу отказаться составить ей компанию; в понедельник, в 11, пройдите перед окнами, и если увидите белый платок, это знак, что Вы можете прийти, если платка нет, это – знак пре-

пятствия. Боже! как я желаю, чтобы все получилось! Я подумала, что сегодня вечером у меня не будет удобного случая передать Вам это письмо, поэтому лучше пусть придет Ваш слуга.

Я не могу решиться посвятить кого-либо в нашу тайну, я считаю это слишком неосторожным; я держусь на расстоянии от всех, кто меня окружает, на этот счет не беспокойтесь. Я еще подумала, что будет слишком рискованно, если Вы подниметесь по обычной лестнице; Вы можете встретить какого-нибудь визитера, в этот час такое может случиться. Я Вас научу еще одному способу: войдя в вестибюль, поднимитесь по лестнице на три пролета, потом возьмите налево, Вы окажетесь в небольшом помещении, ждите меня там, но когда увидите, сделайте вид, что не знаете, не заговаривайте со мной, но идите следом, мы поднимемся по другой лестнице. Прошу Вас не заговаривать со мной; в том случае если нас встретят, пусть думают, что я не знаю Вас и что Вы идете к повару, который живет наверху этой маленькой лестницы. Этот план – лучший. Давайте, мой дорогой друг, вместе помолимся о его осуществлении. Не забудьте прийти проверить знак в окне. Я буду занята, как я полагаю, у Герцогини; завтра, в обед и ужин, я не увижу Вас. Однако сегодня вечером Вы приглашены к нам, мне кажется, инициатива исходит от папа.

Я лишена удовольствия мечтать о свидании, но Вы можете мечтать об исполнении Вашего обещания: скромность – Ваш проводник, не заставляйте меня краснеть за мою слабость, но, напротив, дайте повод рукоплескать себе за то, что следую своей склонности, дайте основание желать – еще чаще – будущего, удовольствия быть с Вами. Вы понимаете, что я хочу сказать, и судите сами по той доверчивости, с которой я наедине предаюсь Вам, в Вашу власть, насколько я полагаюсь на Вашу скромность, Ваше слово, в общем – на Ваше благородство.

17. «Развлекайтесь и думайте о понедельник»

Воскресенье, 22 декабря, утро

С нетерпением жду Вашего слугу. Я закончила, как видите, письмо вчера, но я предвидела, что у меня не будет возможности передать его. Боже! как Вы вчера смутили меня, подав руку, я опа-

салась, что мать будет упрекать меня, но, к великому удивлению, она ничего не говорила о Вас и вообще была вчера в прекрасном настроении, и это повлияло на ее манеру обходиться со мною.

У меня дурные новости для Вас, дорогой друг, о моем браке. Я сообщу их в понедельник, ибо сейчас не располагаю временем. Очень сожалею, что сегодня не могу быть с Вами в Нюкельвике. Какой был бы очаровательный день! Который мы целиком провели бы вместе! Я знаю, что Юлленкруна хотела моего приезда; она – очаровательная женщина, а за этот план я люблю ее еще больше. Она многократно давала мне понять, что желает доставить нам удовольствие быть вместе. Развлекайтесь и думайте о понедельнике.

18. «Приходите точно в назначенный час...»

[Воскресенье, 22 декабря]

Я придерживаюсь вчерашнего плана. Приходите в 6 часов, одетый так, как я писала во вчерашнем письме; поверните налево, когда окажетесь в вестибюле у лестницы, там найдете меня: ничего не бойтесь, я приняла надежные меры. Приходите точно в назначенный час и не забудьте навестить матушку до 5 часов, иначе нас могут заподозрить. Повторяю снова, не бойтесь ни за себя, ни за меня, Вы знаете мою осторожность, что Вам достаточно; я не собираюсь выставлять Вас напоказ и больше Вашего не хочу, чтобы это случилось.

19. «...Моя прическа была так растрепана!»

Вторник, утро, 24 декабря

Мне только что доставили из Грипсхольма письмо от брата, в конверт вложено письмо для Вас. Я не знаю его содержания, брат ничего не сообщил мне, но я полагаю, что он торопит Ваш отъезд отсюда. Жена кузена не могла смириться с тем, что Вы – со мной, и сделала все от нее зависящее, чтобы похитить Вас; кроме того, это удалось ей легко, потому что Вас с великим нетерпением ждут у Короля. Я понимаю ее, все должны испытывать подобные чувства, когда их ожидает удовольствие видеть Вас. Я ставлю себя

на ее место и могу угадать то удовольствие, которое предстоит Вашим знакомым, ожидающим Вас в Грипсхольме, когда Вы там появитесь, но они все равно не ценят это так, как я. Ах! я также должна находиться с Вами там, а не прощаться здесь! Расставание очень чувствительно для меня. Итак, прощайте.

Время Вашего отсутствия, мой дорогой друг, покажется мне долгим и невыносимым! Думайте о Вашей Софии, она ни на миг не забывает Вас; но, ради Бога, не пишите мне; Вы знаете, мой дорогой, я соглашаюсь на все, что позволяет осмотрительность, но этот ход слишком рискованный, я же не должна думать, что Вы подвергнете меня опасности из-за пустяков. По крайней мере, обещайте остаться в Грипсхольме дольше, чем Вы говорили мне. Иначе что подумают о подобной спешке? Вы проводите там два дня... меня начинают подозревать... начинают говорить: он не решается оставить ее надолго, она требует этого. Примите мои соображения, я сама очень страдаю: не видеть Вас – великое лишение. Почему несчастья всегда так преследуют нас?

Вчерашнее свидание снова не устроило Вас; я заметила, что в течение того времени, когда мы были вместе, Вы казались недовольны и не отрицали это; я не видела в Вас ни счастья, ни удовлетворения, ни удовольствия. Я спросила, довольны ли Вы, в ответ ни единого слова; мне горестно отметить это. Да, моя душа полна чувством, в тот момент, когда я делаю все для Вашего удовольствия, который доставляет такое удовольствие мне, Вы непрестанно упрекаете меня за то, что я не желаю дать Вам то самое, что Вы не единожды клялись не требовать. Вы постоянно упрекали меня в том, что я не люблю Вас, Вы пронзили мне сердце. Небо – свидетель, что я люблю Вас сильно и пламенно, ах! как в жизни не любила никого. Я никого не могу любить так сильно; но что я могла еще сделать вчера, доказывая Вам свою нежность? Разве это зависит от меня, разве могу я согласиться на большее? Юная неопытная девушка – разве может она знать, есть опасность или нет? Я вижу опасность повсюду, каждый миг я опасаясь, что Вы нарушите слово. Извините за эти подозрения, они несправедливы, но они должны представляться Вам вполне естественными. Мне нарисовали картину тех опасностей, которые подстерегают девушку, как легко ее обмануть, моя осторожность обусловлена силой Ваших чувств – разве я заслуживаю осуждения? Я не могу

выразить то удовольствие, которое вчера Вы позволили мне испытать, не знаю, почему я в тот миг не умерла в Ваших объятиях. Не думаю, что с Пипером возможно нечто подобное, я приписываю это своей любви к Вам. Увы! как выясняется, для Вас это было не так; несмотря на мои старания, Вы все время повторяли, жестокий, что я подарила Вам блаженство лишь наполовину; это не зависело от меня. Если бы я могла пойти навстречу Вашему желанию! даря блаженство Вам, разве я вдвойне не дарила бы его себе?

С нетерпением жду письма, чтобы узнать, счастливо ли вернулись Вы к себе; моя прическа была так растрепана! я была вынуждена припудриться, я прибегла к румянам, чтобы скрыть, как я действительно разругалась, этот цвет – следствие Ваших объятий и того возбуждения, в которое я впадаю с Вами. Мне ничего не сказали. Когда я спустилась, у нас был Х***; он с удивлением спросил, почему Вы перед отъездом не нанесли нам визит. Я также изобразила недоумение. Он выражал готовность передать весточку, потому что ужинает с Вами, но я отказалась. Если бы я высказала все, что чувствую в этот миг, я говорила бы не переставая. Я воображаю Вас; недовольство, которое Вы демонстрировали при свидании, действует сильнее, чем любовь, да, в этот миг я – в расстроенных чувствах, я воображаю Вас, и меня лишает покоя страх дать повод для Вашей холодности; после вчерашней встречи моя душа пребывает в смятении, мое сердце проникнуто великой печалью.

Вот локон, который я обещала, Вы также обещали свой, посмотрим, как Вы держите слово. Я отваживаюсь дать Вам поручение; это поручение – письмо для мадемуазель Экеблад. Я его получила вчера по почте, письмо – от ее матери; скажите мадемуазель Экеблад, что я переслала письмо Вам, и извините меня за причиненные хлопоты. Я не запечатаю конверт, пока не получу Ваше письмо, – на тот случай, если вдруг я должна буду ответить на какие-либо вопросы.

Я снова с великим удовольствием думаю о вчерашнем свидании, эти моменты, ах! да, слишком сладкие, всегда в моей памяти. Какое счастье обнимать Вас! мне кажется, это была иллюзия. Блаженство пролетело так быстро! После Вашего ухода прошло только 7 часов, еще немного – и мать послала бы искать меня; так что я пришла вовремя. Звонит 10 часов; вскоре я получу новости

от Вас. Боже! с каким нетерпением я жду их! Может, они еще более увеличат страх доставить Вам неудовольствие, который я испытываю со вчерашнего дня, но, может, Ваше слово умиротворит меня, Ваше слово, выражающее довольство тем, что Вы сделали меня счастливой; я хорошо знаю, что довольство не может быть полным, но если Вы справедливы ко мне, Вы должны признать, что сделать его полным не в моей власти. Я жду Вашего письма, которое докажет или великую несправедливость по отношению ко мне, или Вашу любовь, и Вы или разорвете мне сердце первым, или успокоите ту бурю, что вчера вызвали.

20. «Это жестокое расставание
будет стоить мне жизни...»

Вторник, 11 часов, 24 декабря

Я была погружена в печаль, а Вы перенесли меня в живейшую радость. Все в Вашем письме гласит, что я ошибалась и что я была причиной не недовольства, но глубокого удовлетворения. Какое наслаждение получить эти Ваши уверения, выраженные в самых нежных словах! но Вы добавляете ко всем этим выражениям нежности и признательности чувство страха, которое я и так давно испытываю: Ваш отъезд, великий Боже! Вы навсегда лишаете меня всего, что дорого мне в жизни; великий князь и Ваш дядюшка желают видеть Вас, это естественно; они уже давно лишены этого удовольствия. Но они не ведают, в какую печаль ввергают меня своим настоятельным желанием вернуть Вас! Это жестокое расставание будет стоить мне жизни; я не могу вынести даже мысли об этом. Почему я не свободна! Я бы пожертвовала всем, чтобы быть с Вами. Но какую надежду могу я испытывать в подобной ситуации! Разве могу я обманываться и верить, что судьба отдаст меня Вам? Нет, Ваш дядюшка, Вы сами, все были бы против. Но не будем обсуждать эту невероятную возможность. Осознавая, что возможность столь мала, я становлюсь лишь более несчастной.

Вы просите позволения писать мне во время Вашего пребывания в Грипсхольме; нет, я не могу согласиться. Заклинаю нашей любовью, дружбой, наконец, всем, что дорого Вам, не делать этого;

я жестока даже настолько, что запрещаю совершенно. Если Вы не подчинитесь, это для меня будет безошибочным знаком отсутствия Вашей привязанности. Любое Ваше письмо будет именно таким знаком, и уверяю Вас, что не отвечу ни на одно. Я осознаю, что поступаю несправедливо, запрещая Вам показывать знаки Вашей памяти, я упрекаю себя за это, но это совершенно необходимо.

Все замечают, что Ваш посланец приходит к нам домой слишком часто. Я боюсь, что кто-нибудь научит мать, и она сама увидит его. Она видела, что этот посланец прислуживает за Вашим столом; подозрения, которые она и без того питает, позволят ей открыть нашу тайну. Не отправляйте его по утрам, равным образом – днем, только вечерние сумерки могут нам помочь, потому что тогда будет трудно опознать его. Поверьте: я так робею, что краснею, стоит мне увидеть его! Да, этот человек смущает меня, я боюсь его, я имею все основания, особенно после вчерашнего дня, краснеть в его присутствии. Я представляю, что его неблагоприятные мысли обо мне подтверждаются; кстати, Вы уверены в его скромности? Прикажите ему хранить тайну о том, что до сих пор происходило; но вот он опять...

Я собиралась упрекнуть Вас за то, что Вы забыли о локоне, который обещали; однако я все получила с уверениями в признательности за вчерашний день. Нет, Вы ничего не должны мне, я не сделаю Вас счастливым, ибо должна предупредить, что всегда буду такой, какую Вы видели меня вчера. Я полагаю, что Вы благородны и не хотите нарушить слово; но можете ли Вы не хотеть нарушить его? Напрасно Вы пытаетесь убедить меня в том, что Ваш опыт предписывает максимальную сдержанность и хранит меня от той опасности, которую я стремлюсь избежать; вчера Вы были столь пламенны, что я сомневаюсь, сможете ли Вы в дальнейшем умерить свой пыл. Отныне я не соглашусь видеть Вас, если Вы не пообещаете, мой дорогой друг, что не будете настаивать сами знаете на чем и что подчинитесь моей воле с большей готовностью, чем вчера. Я боготворю Вас, клянусь со всей искренностью; я должна заверить, что вчерашний отказ стоил мне очень дорого. Я не следовала сердечной склонности, я чувствовала, что причиняю Вам боль, рядом с Вами я всегда ощущаю невыносимую тяжесть условностей, которые должна соблюдать; но я до сих пор выдерживала это с твердостью и с твердостью выдержу в течение

всего того времени, которое осталось нам; я не могу изменить свое поведение. Как будет жесток тот последний миг, который мы проведем вместе. Если бы я могла не знать срок! но нет, обещайте, что известите меня заранее: я целиком отдамся горю утраты.

Не думайте, что я когда-нибудь забуду Вас, мое удаление, как я уже говорила, каждый миг представляет повод размышлять о Вас. Чем жестокий муж усерднее, тем чаще я вспоминаю Вашу нежность, иногда я воображаю, что это не он, а Вы, но к чему тешить себя иллюзиями? Ах! но почему дядя не может оставить Вас здесь еще на несколько месяцев? Ах! как я несчастлива тем, что должна торопить Ваш отъезд! Зачем я узнала Вас? И зачем Вы внушили мне чувство, подобным которому я никогда более не опьянюсь? Ваш отъезд разрушит мою жизнь. Да, я не могу существовать без Вас; вчера снова Ваше посещение ясно уверило меня в этом. Когда Вы вернетесь к себе, дядя, может быть, захочет женить Вас; Вы не сможете противиться, Вы разделите жизнь с той, кто достойна любви, кто, может быть, любима. Что станет с Софией? Ах! дорогой возлюбленный, эта картина так живо рисуется воображению, что кажется сбывшейся реальностью. Может, в тот момент, когда я пишу, Вы уже что-нибудь знаете об этом, Вы скрытничаете; пожалуйста, поделитесь со мной Вашими подозрениями.

Я не могу принять, чтобы в будущем мы поддерживали переписку. Вы думаете, что ревнивец позволит свободно общаться с тем, в любви к кому меня и так подозревают? Нет, Вы ошибаетесь, я получу новости о Вас без ваших сообщений; это не Нолькен, у меня другие источники. Сообщите, жестокий, когда Вы уезжаете? и когда – со временем – вернетесь? Как Вы утешите меня в моей утрате? Ибо я сомневаюсь, что снова увижу Вас. Я часто хожу к Лундбергу любоваться на Ваш портрет; почему его нет у меня! я бы перенесла его в свое изгнание.

Не забудьте, что должны присылать Вашего посланца только вечером, всегда ровно в 5, и не пишете, пока Вы в Грипсхольме, если не хотите причинить мне неудобства. Думайте обо мне, помните, что я каждый миг занята мыслями о Вас. Если бы это зависело от меня, я бы увиделась с Вами сегодня вечером; я бы сделала все ради этого, но, Боже, в каких я стесненных обстоятельствах! Может случиться, что мать выйдет из дома, но не подозревайте меня ни в чем. Вы должны поверить, что я наслаждаюсь нашими свиданиями

по крайней мере так же, как Вы. Оставайтесь в Грипсхольме как можно дольше – по соображениям осторожности.

Пипер очень болен, опасаются за его жизнь. Ах! если бы мои моления исполнились! Прощайте, прощайте – как ужасно, что я должна сказать это.

Вы прислали мне браслеты? Мы поднимались из-за стола, когда матушке доставили шкатулку, а мне – пакет. Я показала ей содержимое, ведь мать при том присутствовала; мы принялись гадать, но безуспешно, клянусь, я никак не ожидала, что подарок – от Вас. Мать сказала, что это – от мадам Спарре, и приказала отослать браслеты обратно. Очень благодарна Вам. Боже! какую награду я получила! Не говорите никому, что браслеты прислали Вы, и запретите продавцу, у которого Вы покупали, сообщать, кому он продал их, ибо точно будет произведено расследование. У меня больше нет времени; оставшееся время я бы хотела использовать на то, чтобы увидеться с Вами.

21. «...Браслеты получены от Вас...»

Понедельник, 30 декабря

Я только что получила письмо, которое сестра передала от Вас, и, соответственно, уведомлена о Вашем возвращении в город. Не могу не засвидетельствовать, что испытала при этом наслаждение. Я вначале поднялась к себе под тем предлогом, что должна прочитать письмо, а на самом деле чтобы пообщаться с Вами. Я обнадеедила себя тем, что завтра утром, может быть, получу новости о Вас и что смогу – при той же okazji – передать Вам это письмо. Вы думаете обо мне в Грипсхольме? Нет, наверное не так часто, как я о Вас. Боже! как часто я желала Вас и сожалела, что Вы далеко! Много времени должно пройти, чтобы я полностью осознала всю горечь своего положения. С вечера субботы я не переставала глядеть в окно, откуда я могла видеть окна Вашего кабинета, мечтая, что, когда Вы вернетесь, я увижу там свет; напрасно! сегодня я с сожалением удалилась, убедившись, что всюду темно.

Я все время упрекаю себя за то, что Ваше промедление – результат моих постоянных просьб задержаться в Грипсхольме. Когда суббота прошла, я, однако, решила, что послушание – не

единственная причина Вашего продолжительного отсутствия, я обвиняла Короля и весь Двор за то, что они никак не отважатся лишить себя Вашего любезного общества. Я жду и страдаю.

Матушка, как и все, полагает, что браслеты получены от Вас; Мернеры открыли тайну при помощи камергера Де Геера. Они говорят, что Вы купили браслеты вместе с сувениром, который оставили для графини Де Геер. Печать, которой Вы воспользовались, содержала букву «R», что позволяет заподозрить русского. Мать сказала, что завтра пошлет к Pauli, и к Souter, и в другие места узнать, у них ли куплены браслеты и кем куплены, ибо она не успокоится, не установив имя покупателя. А до тех пор она запретила мне носить их и приказала пользоваться теми, что подарил Пипер, в довершение же всего она велела, чтобы, когда Вы вернетесь и придете к нам, я встретила Вас без митенок, чтобы показать, насколько мне безразлично, Вы подарили браслеты или нет. Она сама еще не уверена на этот счет, а мне Ваши браслеты, хотя я не ношу их, все равно дороги. Я очень высоко ценю этот знак Вашей дружбы и, когда я одна, никто не может помешать носить их. Не заговаривайте со мной о наших браслетах, помните, мать постоянно наблюдает за тем, что мы говорим и делаем.

Прощайте, я не рискую отсутствовать дольше, общество собирается, 7 часов. С невыразимой радостью я мечтаю о завтрашнем дне, когда смогу насладиться свиданием с Вами. Ах! почему я не могу вкусить эту радость до вечерней встречи! Я переполнена великим счастьем, следует, однако, сдерживаться, чтобы не накликать беду. Спокойной ночи, дорогой друг; как я жду завтрашнего дня.

22. «Вы уезжаете через десять дней»

Вторник, 31 декабря

Ваше вчерашнее письмо породило во мне смешанное чувство наслаждения и боли. Я была за столом, когда его принесли; к счастью, письмо предусмотрительно передали мне после окончания ужина. Я не имела времени прочесть его, потому посылаю Вам свое, которое написала, будучи извещена о Вашем прибытии. Вы, дорогой друг, посреди блестящих придворных развлечений

все-таки мечтаете о Вашей Софии; Вы желаете меня, Вы заняты только мной, я – несмотря на старания наших дам (как передают) понравиться Вам – остаюсь предметом Ваших помышлений. Ах! почему я не могу показать Вам свою признательность! Какой бы она ни была сильной, она не сравнится с Вашей нежностью, Вы дали мне верные знаки, я не могу усомниться в ней.

Но, великий Боже! какую же новость узнала я из Вашего письма! Вы уезжаете через десять дней. Какое зло Вы приготовили! Зачем Ваш дядя так торопит отъезд? Какая жестокость! Но могу ли я осуждать его? Его нетерпеливое желание увидеть Вас кажется мне таким естественным! Почему я не наделена его властью? Этот жестокий отъезд сокрушает мое сердце; напрасно Вы пытаетесь обмануть меня надеждой на скорое возвращение, я не обманываюсь, я боюсь, что Королю откажут: Ваш дядюшка и великий князь, которые привязаны к Вам, никогда не согласятся; в тот момент, когда я пишу, Вы, может быть, сами убедились в этом. Вы придумали этот проект, только чтобы поддержать мою слабую надежду. Наконец, зачем мне знать, что Вы здесь, если меня здесь не будет! Ужасное положение – положение замужней женщины – не позволяет мне жить в столице; значит, я отказываюсь. Наконец, я дала слово одному человеку, который отсутствует, у меня нет времени детально объяснить Вам это, я... а вот Ваш слуга принес письмо.

Я еще не виделась с матерью, потому не могу ничего сказать о сегодняшнем вечере. Я знаю, что она ужинает дома, и, может быть, Вас пригласят. Если она не пригласит Вас, можете прийти в 6 часов; но, разумеется, на секунду.

Утром мать никуда не отправляется, обязанность совершать визиты возложена на меня с тетушкой; это займет целый вечер. Днем мать не принимает; и я, следовательно, также не увижу Вас послезавтра. Но если Вы хотите что-либо сообщить, пришлите слугу в первой половине дня. Если Вас устраивает мой план на вечер и если Вы не будете приглашены к нам на ужин, тогда обменяемся хоть одним словечком; сегодня поднимайтесь по лестнице прямо к моей комнате. Не беспокойтесь, никто не увидит Вас, но не приходите раньше шести часов.

23. «...Вы беседовали со мной
о... франкмасонских ложах...»

Среда, 1 января [1777]

За удовольствием, которое я испытала вчера, проведя с Вами время, последовали многие печали. Когда все удалились, мать начала допрашивать меня о нашем разговоре в дверях; я сказала, что Вы беседовали со мной о Грипсхольме, о франкмасонских ложах, по крайней мере, здесь ей было не за что брюзжать на меня. Она сказала, что очень удивлена Вашей фамильярностью в отношениях со мной и что она многожды слышала, как Вы, обращаясь ко мне, называете меня «дорогая графиня»; она находит это слишком вольным. Я делала все возможное, доказывая, что Вы называете так всех женщин, а не только меня; это не помогло, она подчеркнуто выразила удивление и сказала, что надеется, я впредь не допущу подобной свободы в обращении с собой. Я уверила ее, как Вы можете догадаться, что не допущу; одновременно я спросила, что, по ее мнению, должно сделать, дабы Вы больше не именовали меня так, а кроме того сказала, что мне кажется, будет благоразумно не говорить Вам ничего и не замечать ничего. Однако я просила бы Вас, мой дорогой друг, бдительно использовать это имя; избегайте вообще обращаться ко мне, ибо если Вы назовете меня другим именем, она предположит, что я просила Вас о том, а я ведь уверила ее, что не следует этого делать.

Сколько я вчера пролила слез, когда вернулась к себе в одиночестве! Я ненавидела свою любовь, я проклинала себя сотню раз за то, что не могу противиться ей. Также Вы вчера после ужина ни на один миг не оставляли меня, не думаете ли Вы, что мать не обратила внимание на это? Ах! она только и делает, что наблюдает за нами, и хотя не говорит ничего определенного, я полагаю, что это – главная претензия ко мне. Вы сделаете меня самой несчастной на земле, если не будете в каждый миг нашего общения сохранять бдительность: Ваши обращения, Ваши выражения, Ваши жесты, Ваши взгляды – все значимо для тех, кто окружает меня. И, естественно, будет дурно истолковано. Не можете ли Вы быть сдержаннее? Разве это высокая цена, чтобы оградить мой покой? Рассмотрите Ваше поведение, сравните с моим, и Вы увидите различие; вместе с тем я люблю так же сильно, как Вы,

но более деликатно. Вам – только бы наслаждаться, для меня же наслаждение – чувствовать, как во мне день ото дня растет чувство к Вам, вот что такое любовь, Вы же не знаете этого счастья; для Вас оно заключено в том, в чем я должна отказать. Повторяю то, что сказала вчера касательно Вашего письма. Вы не дорожите мигами, которые мы можем провести вместе; что я должна думать о подобном ответе? Ах, в Вашем письме я открыла манеру мыслить, отличную от той, которую могла бы похвалить. Я возвращаю Вам это письмо, которое слишком мучительно для меня, чтобы сохранять его, я не обещаю Вам нового свидания. Сегодня это невозможно, но даже если бы возможность представилась, мне было бы больно; в моей душе еще царит хлад, порожденный чтением Вашего несчастного письма; стоит мне взглянуть на него, как оно сокрушает сердце. Я плохо начала год, потому что не вижу Вас. Завтра, когда Вы придете, будьте благоразумны; во имя Господа, постарайтесь; представьте, что после Вашего ухода я стану мишенью для попреков тех, кто окружает меня, кто догадывается о наших отношениях.

Я опасуюсь недуга, который преследует меня несколько дней. Вчера ужасно болела голова, сегодня я чувствую себя настолько плохо, что едва рискую выходить. Я приняла лекарства по собственному предписанию, надеюсь, это исцелит меня. Клянусь, только этого не хватало для довершения наших бед; но я не хочу думать ни о чем и надеюсь, что все обойдется. Если завтра Вы захотите отправить послание, сделайте это в 11 часов, не позже. Я не знаю почему, но сегодня все, что я говорю, не нравится мне, чего-то недостает; я чувствую пустоту в сердце, которое прежде было целиком полно Вами. Я говорю себе тысячу раз, что Вы – все мое блаженство, и однако этого недовольно. То ли осадок от вчерашнего, от Вашего письма, то ли я нездорова. Я заканчиваю, это общение не очень чарует меня, сегодня в глубине души мне больно, и чем дальше я продлеваю общение, тем сильнее возрастет боль. Какой знак! но я снова вхожу в материю, которая далеко уведет меня. Я опять в постели и не поднимусь раньше полудня, надеюсь, завтра я буду чувствовать себя лучше, надежда видеть Вас – существенная составляющая этого.

24. «...Свидание в 11 часов
невозможно для меня»

Среда, 1 января [1777]

Мой отказ вызвал Ваши тягчайшие обвинения, но я не могу поступить иначе. Я никогда не соглашусь посвятить горничную в нашу тайну. Настояния бесполезны, не предпринимайте никаких попыток с этой стороны, если не желаете порвать со мной. Вы совсем несправедливо объясняете мой отказ недостатком страсти, в конце концов, пишете все, что сердце диктует Вам в этой связи; свидание в 11 часов невозможно для меня. Мгновение, которое Вы могли бы провести со мной, не удовлетворит Вас, теперь это ясно. Сегодня не посылайте более Вашего слугу, потому что горничная ушла и Ваше письмо получить некому. Вы вправе отказаться от меня, если хотите, подчините (как Вы говорите) мысль сердцу, но сегодня свидания не будет.

25. «Приходите в этот час...»

Среда, 1 января

Итак! вопреки моему желанию отказать Вам в свидании, я сдаюсь; но не после ужина, я не могу согласиться на это. Меня не устраивает, чтобы при свидании присутствовал третий; мне не нравится идея посвятить горничную в тайну, и я никогда не соглашусь на это, какова бы ни была сила моей любви, Ваш план не устраивает меня.

Я не знаю, в который час закончатся мои визиты, но предполагаю, что в 6. Приходите в этот час, если хотите, ко мне, никто не будет задавать вопросы, поднимитесь по лестнице прямо к моей комнате; однако если увидите во дворе чью-либо карету, значит, мать еще не ушла, и Вы поднимайтесь по той лестнице, по которой я провела вас в прошлый раз; если я еще не вернулась, горничная откроет дверь, – я сказала ей, что ожидаю гостя, не называя Вашего имени, – войдите, ничего не говоря, и ждите меня там. Но Вы можете оставаться только до 7 часов и считайте, я не помню, как низко Вы цените такие краткие встречи; прежде всего, не разговаривайте с горничной, коль не хотите причинить мне

неприятности. Впрочем, если карет во дворе не будет, все равно лучше подняться по малой лестнице; Вы будете идти один, ибо я или горничная будем ожидать Вас в дверях моей комнаты. Вот все, что я могу сделать для Вас; решайте, довольно этого Вам или нет, но не присылайте мне ответ.

Я сразу написала это письмо, опасаясь, что Вы еще раз пришлете ко мне. Должна поблагодарить Вас за сувенир, он очень нравится мне, я буду хранить его всю жизнь, и не для того, чтобы вспоминать о Вас, – я не нуждаюсь во вспомогательных средствах, чтобы мечтать о Вас, сердце говорит мне, что Вы всегда будете дороги ему, – рука, давшая этот сувенир, удваивает его цену. Все, что написано выше, запечатлено внутри моего сердца. У меня нет ни времени, ни возможности выразить Вам свою признательность; она слишком сильна, чтобы ее выразить.

Долг обязывает меня проводить каждое утро у матушки, это – час; от Вас, мой дорогой друг, зависит, принять или нет мое предложение, сформулированное в начале письма. Я не собираюсь тысячу раз искать способы передать ответ Вашему слуге, вокруг слишком много свидетелей. Болезнь прошла, я чувствую себя лучше; не забывайте, если придете, пунктуально следовать моим указаниям; можете прийти полшестого, поднимитесь по малой лестнице и я или горничная будем ждать Вас у дверей. Но если Вы не испытываете желания прийти в тот час, который я указала, если это кажется Вам принуждением или не доставляет удовольствия, Вы, не боясь обидеть меня, можете чувствовать себя свободным от обязательств.

26. «Я не хочу посылать Вам локон...»

Четверг, 2 января

Вчерашний вечер был самым приятным из тех, что я провела с Вами. После Вашего ухода, дорогой друг, радость, которую я испытала, видя Вас, развеялась, осталось сожаление от того, что я не могу быть с Вами, однако целый час я наслаждалась Вашей беседой. Карл Спарре и я создали длинную диссертацию, во-первых, о чувстве, во-вторых, о рассудке; он, как и я, желал говорить о Вас, но по другой причине, он – чтобы дразнить меня, я – чтобы сле-

довать естественной склонности сердца, которое занято только Вами. Мы говорили о Вашем избрании в Академию; он повторил свою речь и много смеялся, говоря, что следовало бы добавить еще период о Вашем рассудке. Мы были одни и, следовательно, могли высказать все то, что лежит на сердце. Мы, соперничая друг с другом, единодушно воздавали Вам хвалу; Вы заслужили это во всех отношениях.

Я долго обдумывала проект с сувениром, о котором мы говорили. Я не хочу посылать Вам локон и прошу Вас не заставлять меня делать это. Я бы сама хотела послать его, но мне некому довериться, чтобы Вам его передали; это сразу станет известно всем. Неужели Вы также думаете, что никто не заметит моего вензеля, которым Вы отметите сувенир? Ради Бога, будьте осмотрительны и откажитесь от этой идеи. Я дам Вам нечто и потребую, чтобы Вы носили эту вещь столько, сколько Вы будете думать обо мне; это – недорогая вещь, и никто не обратит внимание на нее. Вечером я буду иметь удовольствие видеть Вас, но умоляю, не надо беседовать со мной продолжительное время. Завтра можете прислать слугу, если Вам есть что сказать, но обязательно в 11 часов. Вы забыли о моих возражениях, что видно из Вашего письма; нет, я не могу согласиться на свидание в тот час, в который Вы хотите.

27. «Ночь, ах! нет, я не могу согласиться...»

Пятница, 3 января

Сегодня меня раздирала страшная борьба; я желаю видеть Вас завтра и не вижу возможности этого. Отваживаюсь молить Вас, во имя всего самого дорогого в мире, отправиться завтра в Тюресо на обед, но не оставаться там на ужин. Постарайтесь вернуться к 6 часам. В данный момент я не могу сказать Вам ничего определенного – вот почему: Карл Пипер планирует прибыть сюда во второй половине дня со своими занятиями и пить у нас чай. Это станет препятствием для меня, потому что я не смогу отсутствовать во второй половине дня. В 7 часов собирается общество матушки, и я тем более не смогу удалиться. Ночь, ах! нет, я не могу согласиться, я много думала об этом, я тысячу раз воображала, что это – последний знак моей любви, который я могла бы

представить, но я не могу решиться. Однако я клянусь, что после вчерашней встречи думала об этом всю ночь, не смыкая глаз; я мечтала; я отчасти колебалась, клянусь. Впрочем, я постараюсь, насколько это возможно, отговорить Пипера от его плана. А поддаваясь ночному проекту, я слишком подвергаю себя опасности; Вы также подвергаете себя опасности, которую не предвидите. Великий Боже! как я только не упрекала себя! ради Вас я отказалась от пути добродетели, который некогда был так дорог мне, я пытаюсь удовлетворить страсть, которая никогда не должна была родиться в моем сердце. Упреки, которые со временем я обрушу на себя за свои поступки, будут жестоки; я более недостойна тех похвал, которые снова расточают мне, расточают незаслуженно. Я чувствую свою вину и, однако, с каждым днем усугубляю ее. Ах! жестокая любовь! но я не должна удручать Вас, довольно того, что удручена я. Одну себя я должна проклинать за слабость, Вы здесь ни при чем.

Завтра, в 10 часов, Ваш человек, если он придет, получит инструкции на день; вечером, я надеюсь, благоразумие будет Вашим вожатым. Имейте в виду, что, отказавшись от благоразумия, Вы сделаете меня несчастнейшим из созданий. Сегодня не присылайте более Вашего слугу, я должна быть у матушки.

28. «...Это – сердечко, я хочу,
чтобы Вы носили его на черной ленте...»

Суббота, 4 января

Целый день не видеть Вас! Какая ужасная перспектива! особенно когда отказываешь себе в удовольствии, которое и без того ненадолго, но надо подчиниться. Однако снова не могу обойтись без брюзжания. Прошлый вечер, Вы знаете, мне совсем не понравился, Вы прекрасно понимаете почему, но Вам нравится увеличивать мои муки. Я наблюдаю с великим удивлением, что Ваша манера общаться со мной слишком свободна, а Вы, напротив, обижаетесь, когда я кланяюсь Вам так же, как всем.

А смешные предложения – вроде завтра увести меня от Кауница! Могу ли я принять подобное предложение на глазах Ваших людей и моих! Разве это не должно быть тайной! или Вы

полагаете, что в этом нет надобности, и Ваше предложение естественно! Да и вообще, эта идея шокирует меня. Нет, я благодарна Провидению, которое наделило меня осмотрительностью в такой мере, что хватает на Вас и на меня; Вы же совершенно вне себя.

Мне никак не намекали на то, что мы странно расположились за столом, но меня снова расспрашивали о браслетах. Я ответила, что Вы рыцарственно приняли ситуацию, что Вы были довольны и Вас ничто не оскорбило. Б. сообщил нам, что Вы отбываете в среду, и мать очень удивилась, почему Вы так медлите, хотя явно были вынуждены в спешке оставить Гриспхольм.

Завтра не посылайте Вашего слугу ко мне, ибо я пойду в церковь и это займет все утро. У нас не будет возможности на протяжении всего дня быть с глазу на глаз. Я подумаю о понедельник и надеюсь, что судьба будет благоприятствовать нам.

Я тружусь для Вас, мой дорогой друг, я делаю рисунок; Вы сказали мне в прошлый раз, что Вам бы хотелось этого; надеюсь, что у меня получится, по крайней мере приложу все усилия. Что я обещала Вам, еще не закончено; это – сердечко, я хочу, чтобы Вы носили его на черной ленте; на оборотной стороне – девиз, он же – первые буквы моего имени.

Прощайте до свидания; насчет завтра – вспоминайте о нравах, которые я непрестанно твержу Вам.

29. «Великий Боже! это – последний раз!»

Понедельник, утро, 6 января

Вечером я буду иметь удовольствие провести пару часов с Вами. Мать в 7 часов отправляется в Фредриксхоф, но я также ухожу в это время, я приглашена на ужин в один буржуазный дом, однако я вернусь к 8 часам. Приходите, горничная встретит Вас внизу у дверей, которые будут открыты, Вы можете остаться до 11 часов; если это устраивает Вас, договорились. Я буду очень скромной, по крайней мере так же, как Вы вчера. Прощайте до свидания; будьте точно в 8 часов. Великий Боже! это – последний раз! Вот уже Ваш человек, не буду заставлять его ждать; я прочту Ваше письмо, когда он уйдет.

30. «Я посылаю Вам сердце...»

Понедельник, 11 вечера

Вы только что ушли, более чем дорогой друг, Вы оставили меня сожалеть о столь сладком, сколь жестоком мгновении, которое я провела с Вами. Мне должно смиренно готовиться наблюдать Ваш отъезд, и завтра – последний день. Подумайте о том, что Вы обещали, берегите Вашу несчастную Софию, которая слишком удручена. Я должна сказать слова прощания, жестокого прощания, такова на этот раз тема моего письма. Увы! все наслаждение, которое я черпала в любви к Вам, все очарование, которое мне доставляла моя страсть, не оправдывают жестокость этого мига. Как было сладко любить Вас, имея возможность каждую секунду сказать Вам это, давать Вам знаки моей любви и принимать Вашей! Какое счастье видеть, что Вы чувствуете ко мне! Какое блаженство получать уверения Вашей сильнейшей нежности!.. Но как это мгновение жестоко! Это мгновение, которого я так трепетала, приближается, у меня только один день, я должна смириться. Будущее, в котором я удалена от Вас, представляет ужасное зрелище. Боже, Ваше отсутствие будет столь долгим и непереносимым! Я воспользуюсь единственным средством, которое расставание сохранило мне, я буду писать, более чем дорогой друг, Вы обещали сообщить адрес, надеюсь, что Вы сдержите слово. Я трепещу, моя судьба – жестока, в глубине моей души – сильнейшая грусть, в этот момент глаза, а не сердце, следят за рукой, которая выводит буквы. Почему Вас нет здесь, почему Вы не видите моих слез! Почему Вы не можете посмотреть на состояние моего сердца, принять мои вздохи? Мне кажется, я привязана к жизни только теми узами, что связывают меня с Вами; только благодаря им, жизнь еще дорога мне. Пока Вы были здесь, рядом со мной, я не помышляла о тех муках, что причинит Ваше отсутствие; эти муки теперь возобновились. Мой единственный друг, я чувствую утрату, которая предстоит, и я не чувствую никакой надежды. Какая жестокая судьба!

Я посылаю Вам сердце; оно получилось очень дурно, но оно изготовлено юношей-ювелиром, знакомым Хедвиги; я ведь не отважилась никому довериться. Девиз, который окружает сердце, Вам не разгадать: *Чувствительная и верная (Sensible et fidele)*; это

одновременно первые буквы моего имени. Я стыжусь послать Вам собаку, она плохо вышла, я чуть не порвала рисунок, так она плохо получилась. Вы будете снисходительны, по крайней мере, с этой надеждой я Вам посылаю ее. Я никогда не рисовала животных, а только пейзажи; потому у меня ничего не получилось, когда я попыталась сделать это. Однако когда я буду у себя в моей пустыне, я воспользуюсь возможностью показать, что имею (пусть не высшей степени) талант рисовальщика; я не принадлежу к числу самых посредственных.

Прощайте, прощайте, я не хотела бы завершать это столь дорогое общение. Боже, как я страдаю! В это мгновение, мой дорогой друг, я отчаялась. Унесите в сердце воспоминание о Софии, думайте о верности, которую она доказала Вам, о том, в чем Вы поклялись ей. Прощайте, я не могу закончить. Не видеть Вас снова, не обмениваться немногими словами, великий Боже, сколько мук я уготовила себе! Жестокий возлюбленный, зачем Вы оставили меня? или зачем Вы внушили мне такую привязанность? Ах! можете ли Вы страдать от разлуки так, как я? Мне остается только уверить Вас, что какова бы ни была моя участь, Вы пребудете в сердце вплоть до последнего мига моей жизни.

31. «Вы отбыли, мой дорогой друг...»

[Среда], 8 января, утро

Вы отбыли, мой дорогой друг, Вы предали меня ужаснейшей и жесточайшей грусти. Больше не вкушать мне того удовольствия, которое заключено в Вашем облике. Какая участь! какое будущее! Я впадаю в отчаяние, размышляя об этом. Но нет ли у меня аргумента в пользу утешения? Ваша любовь; ах! да, это – мое счастье. Однако не только ради того, чтобы сохранить ее, я хочу жить и подавать Вам о себе знаки. Жизнь прекрасна, когда она посвящена Вам; Ваша верность делает ее сладкой и приятной. Боже! вчера, в то мгновение, когда Вы целовали мне руку, я пожалела Вашу, подумав, что это в последний раз, – что я тогда почувствовала в глубине сердца! Вы его похитили в то мгновение, а оно последовало Вам в слишком естественном порыве. Нет, Вы не покинули меня, точнее – хотя Вы меня покинули, я не смирилась с этим, я сле-

дую за Вами, моя душа, мое сердце сопровождают Вас, они будут следовать за Вами повсюду. Это сердце однажды соединилось с Вашим, ничто не сможет разъединить их, только – смерть; да, мое сердце – Ваше, Вы нераздельно царите там, Вами исчерпывается все дорогое, что там есть. Занятая единственно Вами, я думаю, что узнала любовь лишь с того мига, когда люблю Вас; сохраните для меня Вашу нежность, Вашу дружбу, я всегда пребуду достойна их, я унесу самые дорогие о них воспоминания. Вспоминайте, что это сердце чувствительно и верно и что оно пребудет по отношению к Вам и первым, и вторым всю мою дальнейшую жизнь.

Довольно говорить о печалях, Вы разделяете их, на что Вы позволили мне надеяться. Не сомкнув глаз этой ночью, сколько я размышляла о Вас, о себе! Я проливала потоки слез и сейчас снова рыдаю. Я поднялась в 8 часов, чтобы видеть, как Вы уезжаете, а Вы уехали только днем. Все это время я сидела у окна, читая «Английские ночи» – мое теперешнее чтение. В тот миг, когда Вы проехали мимо, Боже! почему Вы не могли видеть меня и быть – в тот миг, когда Вас везли мимо – свидетелем глубочайшей грусти, в которую была погружена Ваша несчастная подруга! Каким ужасным был этот день! А требовалось, вопреки себе, прикидываться веселой; о Вас будут говорить, нежный друг, с какой мукой мне придется скрывать муки. Я нетерпеливо жду пятницы, чтобы отправить письмо; каждую неделю Вы будете получать новости обо мне, Вы требуете их – такова причина удовлетворить мое собственное желание. Я трепещу, думая о Ваших письмах. Помогите, Господи, чтобы тот, кто передаст их, соблюдал благоразумную осторожность и никто в доме ничего не прознал. Мать спрашивает меня.

32. « Великий Боже, как он мучил меня »

[Четверг], 9 января, утро

Вчера на протяжении всего дня я не могла улучшить ни одной секунды для себя. Вы знаете, что мы должны были ужинать у Цинцендорфа, я там невозможным образом скучала. Почему Вас нет здесь? Рана, которая нанесена сердцу Вашим отъездом, слишком глубока, чтобы постоянно не напоминать о себе. Я играла одну партию в 21; Юлленкруна играл на нашей стороне, он не переставая

говорил о Вас; все глаза были устремлены на меня, но я спасалась тем, что адресовалась моему соседу графу Ностицу. Вы снова сказали бы, что это – результат моей мнительности, что мне болезненно кажется, будто все наблюдают за мной; но нет, это более чем правда. За столом разговор также вращался вокруг Вас, и Карл Спарре, который сидел рядом, не переставая беседовал со мной о том, что для моего сердца самое дорогое в мире, одним словом, о Вас. Я, однако, не отважилась излить свое сердце, я с наслаждением слушала хвалы, которые он в изобилии и совершенно справедливо воздавал Вам, и хотя я добавила нечто к перечню Ваших достоинств, я не отважилась сказать все, что я бы желала. Он задавал тысячу вопросов, пытаюсь узнать, неужели я не испытываю – пусть слабого – чувства к Вам. Ужасная жестокость! я защищалась, я клялась в совершенном безразличии (которое никогда не смогла бы ощутить).

Х*** был у нас во второй половине дня, передавал матушке и мне Ваши комплименты; после ужина он снова сказал, что Вы передавали комплименты всем дамам, но мне в особенности. Какое удовольствие он доставил мне! я не смогла скрыть этого, я спросила его с чрезмерным азартом, правда ли, что Вы называли меня. Только после этого я почувствовала всю неосторожность, которую проявила, задавая вопрос с такой горячностью. Я постаралась принять равнодушный вид, но у меня не получилось; я увидела, что он догадался о моем чувстве, и резко оставила его.

Позже граф Адольф подошел ко мне и попросил разрешения утром посетить меня. Я не могла отказать ему. Он появился в 10 часов и сразу же ушел. Боже, как он изменился! Судите сами, мой дорогой друг: бледный, белки – желтые, лоб и уши тоже. Великий Боже, как он мучил меня. Он сидел на софе, на которой Вы говорили, что мы будем вместе, и я, мой более чем дорогой друг, думала только о Вас, о моих былых радостях. Монстр, о котором я говорю и которого впредь буду всегда так называть, устроил жестокую сцену, упрекая меня за отношения с Вами. Он сказал, что Вы – причина его недуга, что он заболел из-за причиняемых Вами беспокойств, что он осведомлен о Вашем образе жизни, о том, что Вы были со мной все время, наконец, что он ликовал, узнав о Вашем отъезде. Ах! дорогой возлюбленный, почему Вы не могли видеть его, когда он беседовал со мной! Он возбудил во мне своим присутствием такой же ужас, какую Вы возбуждали любовь.

Сейчас время совершать мой скучный туалет; мне некому нравится, раз нет Вас, которому я нравится хотела бы. Наряд не занимает меня, и я совершенно равнодушна к своей наружности. Вечером я иду на «Орфея» – Вы знаете эту оперу – там у меня будет повод думать о Вас. Я запечатаю письмо завтра, я еще не прощаюсь. Ах! если бы Вы думали обо мне столько же, сколько я о Вас! Не проходит минуты, когда бы я не вспоминала о моем дорогом отсутствующем друге. Вы – вся моя любовь, это имя содержит все, что можно сказать: половину меня; да, Вы – моя любовь, точнее не скажешь, Вы всегда останетесь моей любовью, я существую постольку, поскольку боготворю Вас.

33. «...Швеция более не будет иметь счастья
видеть Вас»

Пятница, 10 [января]

Вот наконец столь желанный день, когда я могу отправить это письмо! Какое удовольствие получить возможность поделиться новостями! Отправить это письмо поручено Хедде.

Двор вернулся в город вчера, в 6 часов, и королевская семья присутствовала в опере, занимая свою ложу, кроме Герцога, который находился в своей ложе. Сегодня я должна провести весь день при Герцогине и сопровождать ее на бал-маскарад; я только что получила приказ. Она наверняка не упустит случая поговорить о Вас. Я передам ей Ваши поклоны, но извините, мой дорогой друг, я не исполню Вашей просьбы и не передам привет дамам (Бьельке, Риббинг, Де Геер), клянусь, я слишком стеснительна, чтобы это сделать: я рискую подвергнуться их шуточкам по поводу моих отношений с Вами; наконец, мне не хватает отваги. Юлленкруна и Х*** постоянно говорят о Вас. Я вспоминаю Вас с малышкой Спарре, она рассказала, что Вы поручили меня ее заботам, потребовав, чтобы она точно передавала Вам все, что узнает. Вчера мы были вместе с ней на званом ужине у мадам Шеффер; малышка и я выпили за Ваше здоровье.

Отец пришел ко мне сразу после возвращения, мы говорили о Вас, и я передала ему Ваши комплименты; не было таких похвал, которые он не сказал бы в ответ, одним словом, все сожалеют о

Вас, непрестанно говорят, но убеждены, подобно мне, что Швеция более не будет иметь счастья видеть Вас. Вчера в опере я живо вспомнила все мои муки: я воображала себя Орфеем; я так увлеклась его участью! Рикман сидел напротив меня, и я не могла отвести глаз от него, он, счастливец, сопровождал Вас отсюда несколько станций; не знаю почему, но я убеждена, что это он передает Ваши письма; я интересуюсь им исключительно в этой связи, а также потому что он – Ваш соотечественник. Все русское будет интересовать меня; но пришло время прекратить дорогое общение. В пятницу я буду снова иметь это удовольствие – и затем каждую пятницу, как Вы позволили. Я подписываюсь именем Вашего лучшего друга.

Ставьте на Ваших письмах, сверху страницы, номера, тогда появится возможность установить, не теряются ли они, я буду поступать тем же образом.

34. «...Я сотню раз перечитывала
Ваш инскрипт...»

17 января

Как жестоко Ваше молчание, мой дорогой друг, особенно для сердца, которое занято только вами! Утром, когда я встаю, вечером, ночью, не переставая, я воображаю Вас. Вот уже два дня я не слышу разговоров о Вас; я в крайнем беспокойстве. В прошлый вторник при Дворе я, учитывая, что вокруг множество свидетелей, не решилась приблизиться к Рикману; я планировала расспросить его. В среду, на следующий день, я пришла в ассамблею с единственной целью найти его. Как же я беспокоилась! я полагала, что его уже не будет; однако в 7 часов я увидела, что он пришел. Я приблизилась, но клянусь, трепетала; я была так смущена, боялась, что он и все вокруг догадываются о теме нашей беседы. Я не отважилась спросить его о Вас; я говорила об опере, о тысяче посторонних предметов; он быстро сумел освободить меня от смущения; он рассказал о Вашем отъезде, о том, что получил от Вас новости из Гевле, информировал о всех неприятностях, которые Вы испытали в Упсале, как Вы опрокинулись и оказались на ногах. Я была вся внимание, задавала вопросы с чрезмерным

азартом; он единственный, с кем я отваживаюсь на это. Когда говорят о Вас, я закрываю глаза, я смущена. Во время нашего разговора явились три Грации, я была фраппирована, видя, как они с усмешкой прохаживаются мимо. Я не уверена, что это из-за Вас, но испугалась продолжать беседу, которая была дорога мне постольку, поскольку касалась Вас. Да, более чем дорогой друг, это – единственное утешение, которое осталось мне и которое я могу обрести лишь с мучительным трудом.

Я говорила с Рикманом первый раз, но уверена, что не последний. Он любезен как только возможно, его ответы были так точны и всеобъемлющи, он демонстрировал такое участие в Ваших путевых злоключениях, он сочувствовал Вам с такой искренностью, он, кажется, привязан к Вам – разве все это не поводы нежно любить его? Ах! я предпочитаю его всем, кто здесь, единственно по любви к Вам.

Я непрестанно возношу к Вам мольбы, которым (мне кажется) никто не внимает, однако они совершенно искренни. Злоключения, которые произошли с Вами в дороге, – это дурное предзнаменование; путь сулит Вам новые муки, с Вами случатся еще большие злоключения. Если бы это заставило Вас сожалеть о Швеции! Но нет, Вы покидаете эту страну с легким сердцем: Вы вернетесь к дяде, который нежно любит Вас, в Ваше отечество, где все относятся к Вам так же, ибо невозможно знать Вас и не вспылать нежной любовью, где Вас предпочитают всем другим представителям мужского пола. Любовь не ослепляет меня, мое сердце сделало правильный выбор и не могло сделать лучшего, все мое счастье заключается в том, чтобы верить в Вашу чувствительность к моей привязанности, да, к моей любви.

Я не упрекаю Вас за молчание; я пока не должна ждать никаких новостей, ведь Вы обещали подать о себе знак только на границе. Пусть небо счастливо сопроводит Вас к границе, внимая моим мольбам! Оттуда я жду новостей, знаков Вашей памяти, я имею право претендовать на это: Вы обещали во время последнего свидания, что мы будем вместе; я вспоминаю и горюю об этом. Ах! мой дорогой друг, я бы хотела видеть Вас непрестанно! Я нежно люблю Ваш сувенир, я сотню раз перечитывала Ваш инскрипт, я читаю уверения в Вашей любви и верности; я возношу мольбы, чтобы мне никогда не пришлось пенять этим неверному. Но что я

говорю? Как! могу ли я поверить в Ваше забвение? Нет, Вы на это не способны. Ваше сердце слишком добро, Вы слишком сострадательны, чтобы сделать несчастной ту, кто живет лишь нежной любовью к Вам. Невозможно выразить нетерпение, с которым я жду знаков Вашей памяти; каждый день приносит новое сожаление, заставляя думать, что Вы удаляетесь все более и более. Ах, Боже, почему я не могу следовать за Вами, или почему Вы не можете остаться рядом со мной! А Вам бы так было легче. Трудности путешествия в это время года оправдали бы Вас, но Вы не захотели, и это заставляет меня страдать.

Я бы хотела передать Вам новости; с чего начать? Предполагая, что личность Короля интересует Вас всего более, вначале – о нем. Новости не самые хорошие: Королю досаждают его обычные флюсы, он с понедельника мучается зубной болью, во вторник он так плохо чувствовал себя, что, прежде чем явиться придворным, дважды падал от слабости, а ночью из-за продолжающихся страданий не сомкнул глаз; вчера – ни то ни се, сегодня ему лучше.

Графиня Бьельке, которая – после Короля – интересна Вам больше всех, после возвращения в город не появлялась. Смерть сестры, которая так огорчила ее, – причина этого уединения.

А., кузина Пипера, мучается выбором; однако Д., насколько можно судить, одержит победу над бедным Антоном, с которым соперничает. Обычная веселость покинула Д.; он грустный, пасмурный, одним словом, его не узнать.

Герцогиня – такая же, как всегда; я исполнила Ваше поручение, я просила ее сохранить расположение к Вам, если Вы когда-нибудь вернетесь. Мы непрестанно говорим о Вас; она, подобно мне, убеждена, что Вам не вернуться в качестве посла. Я молила ее подарить миру принца или принцессу, надеясь, что, может быть, Вам поручат поздравить ее со счастливым событием и Вы приедете. Это – единственная возможность когда-либо увидеть Вас или другой подобный повод; я убеждена, что Швеция никогда не испытает счастья залучить Вас. Мать сказала мне на днях, что она поведала Нолькену (в письме, которое передала с Вами), как все наши дамы делали Вам авансы и даже, соперничая друг с другом, старались понравиться Вам, а Вы являли полное безразличие и Ваше сердце было обращено к объекту, чье имя она не называет, но

новости о ком Вы можете сообщить Нолькену. Отец также на днях говорил о постоянстве, которое Вы демонстрировали, каждый день нанося визиты моей матушке, и – повернувшись ко мне, – *вот эта мадемузель была тому единственной причиной*. Мать поддержала разговор, похвалив меня и сказав, что скромное обращение с Вами, а также вежливость, с которой я все делаю, приятно удивили ее; они оба возносили мне обильные хвалы. История с браслетами не забыта. Боже! как я живо ощущаю, что не заслужила их похвал! Я, однако, никак не упрекаю себя за свое поведение; составляя Ваше счастье, я боролась за свое! Отец желает получить от Вас весточку, дабы иметь возможность, отвечая Вам, попросить о протекции для одного юного родственника, который находится у Вас, – для графа Вактмейстера. Отец будет ходатайствовать о Вашей расположенности к нашему родственнику, надеясь, что Вы примете его под свое покровительство. Настырность Ностица возрастает с каждым днем, я ежедневно потчую его чаем.

Не забудьте, мой дорогой друг, что Вы обещали Ваш миниатюрный портрет. Это будет единственным утешением в моем уединении, я все время буду смотреть на него, но он не станет поводом для воспоминаний, – нет, Ваш образ слишком глубоко запечатлен в моем сердце, и ни время, ни разлука никогда не изгладят его, – портрет станет новым доказательством Вашей любви; я буду смотреть на него и размышлять, я не рассталась бы с ним до смерти, и лишь тогда бы его вернули Вам.

Пора заканчивать, я заполнила две страницы; я, может быть, наскучила Вам; извините меня за то удовольствие, которое я испытываю от общения с Вами. Да получите Вы такое же наслаждение, читая мои строки, как я, когда писала их! Увы! моя рука, хотя и водима сердцем, очень неполно способна выразить сердечные чувства.

35. «...Я почувствовала укол ревности...»

24 января

Вы никак не сможете, более чем дорогой друг, пожаловаться на мою пунктуальность. Я не пропустила ни одной пятницы без весточки для Вас; вот уже третье письмо, от Вас же ни одного слова. Я пребываю в сильнейшем беспокойстве, непрестанно убеждая

себя, что Вы не забыли меня. С каждым днем Вы все более и более удаляетесь. Вскоре, ах! да, может, в самый момент, когда я пишу это, мы уже в разных странах, Вы – в своей, Вы видите ее жителей; оставленный Вами здесь друг, может, еще представляет для Вас интерес, но слабый; извините мою подозрительность, если она несправедлива, и припишите ее избытку нежности. Да, мое чувство возрастает день ото дня: тщетно Вы удаляетесь, тщетно я представляю удаленные места, где Вы будете жить, и расстояние между ними и местами, где буду я, тщетно я сотни раз говорю себе, что Вы забудете меня, все тщетно, – я не могу смириться и не обожать Вас. Да, я обожаю Вас и буду обожать всю жизнь; нет слов, которые выразили бы то, что чувствует сердце. Грусть, посеянная Вашим отсутствием, не изменила чувства, которое когда-то было рождено Вашим присутствием. Ах! как часто я сожалею об упущенных мгновениях! Я сотню раз упрекала себя за то, что не пользовалась ими. В начале недели я уже жду пятницу, когда Вы позволяете писать Вам. Я часто впадала в искушение использовать также почту во вторник, но опасаясь злоупотребить Вашим расположением, заставляя Вас помимо других важных дел, которыми Вы несомненно обременены, снова читать мои послания; таким образом, я ограничила себя пятницами, но это – мука, и я не пропущу ни одной без уверений в моей любви. Жестокая любовь! лишив меня сладкого покоя, который я некогда вкушала, она вдобавок похитила того, кто дорог мне всего более в мире, и не оставила никакой надежды, нет, почему я говорю «никакой надежды»? Да, она остается, я способна на все для Вас, и не закончу свои дни, пока не увижу Вас. Небо услышит мои мольбы; видя положение, в котором я очутилась, и муки, которые я испытываю, какая душа откажет мне в милосердии. Продолжайте любить меня, это все, что я прошу, и это самая моя пламенная мольба; если же Вы не можете постоянно любить, если сохранять верность значит для Вас жертвовать собой, обещайте по крайней мере не возненавидеть меня; позвольте мне быть интересной для Вас; в отсутствие Вашей любви, которую заменит холодная дружба, это будет знаком Вашего благоволения, и, только заставив меня расстаться с жизнью, Вы сможете лишить меня первого (любви) и второго (стремления быть интересной Вам).

На празднике в среду я видела первый раз графиню Бьельке. Не могу скрыть, что когда я увидела ее, то почувствовала укол

ревности; мне показалось, что Вы могли предпочесть ее мне. Моя внешность не выдерживает соперничества с ее остроумием, я размышляла о том, что Вы рассказывали, о хвалах, которые Вы возносили ей; я прибавила к этому информацию кузины Лоны о Вашем пребывании в Грипсхольме. Грусть, которую она демонстрирует после Вашего отъезда, то, что она говорит – мне повторили слово в слово, – *дескать, от ее желаний зависело похитить Вас у меня*, эта речь плюс Ваши слова разве не дают основания для некоторого беспокойства? Ах! да, мое беспокойство более чем справедливо! В эпистолярном жанре я решительно проиграю! Мои искренние письма в сравнении с ее остроумными, хотя заученными фразами потеряют цену; никогда я так не желала обладать остроумием и не сожалела, что лишена его. Почему Вы не можете читать в моем сердце! дабы изобразить, что оно включает в себе, мне не надо прибегать к остроумию.

А вот новости. Поговорим о праздниках. В воскресенье Король ужинал у Герцога, который устроил сюрприз с врачом; в среду Королева в первый раз после выздоровления ужинала у Короля. Он придумал организовать для супруги праздник, сюжетом которого стало изображение храма Эскулапа: жрецы и жрицы молили о выздоровлении Королевы в стихотворных хорах, сочиненных графом Оксеншерной, танцевали Грации, Искусства, Музы и Оракул склонялся к нашим просьбам. После этих номеров Мельпомена (мадам Уггла) обратилась к Их Величествам, предложив королевскому вниманию спектакль французской труппы, который Вам известен: акт из «Федры» и балет-праздник Амура. После спектакля Момус пригласил зрителей ужинать, что было воспринято с радостью, так как все очень утомились.

С первой почтой я отправлю Вам стихотворения, которые декламировались во время праздника, а также имена актеров и актрис, принимавших участие в номерах.

Сегодня – Крещение, Королева-мать устраивает праздник; бал-маскарад будет многолюдным, билетов столько, что замок Фредриксхоф не сможет вместить всех приглашенных. Вас там не будет, а потому праздник все равно будет для меня грустным; в одиночестве, как и в самом многолюдном обществе, я ощущаю недостачу. Ничто не радует меня, ничто не нравится; мне недостает Вас, я ищу Вас, того, без кого не могу быть совершенно счастлива.

Как мне быть счастливой, когда я оставлена своей половиной! Счастье других постоянно заставляет меня думать о том, что бы я могла испытывать рядом с Вами.

Каждый день (по крайней мере очень часто) я имею удовольствие видеть кузину А. с ее D.; кажется, между ними полное согласие, да, без сомнений, они любят друг друга и купаются в совершенном счастье. Я завидую, и когда вижу их, то они возвращают мне сладкие воспоминания, которыми я дорожу больше жизни; я взываю к прошлому и не отваживаюсь думать о будущем. Да, сведения, что я сообщила об этой парочке, достоверны, они снова все уладили, но интрижка, хотя и организованная тончайшим образом, не ускользнула от общего внимания.

Поведение маленькой Герцогини образцово, ею восхищаются, все ее любят, что в данной ситуации так необходимо ей. D. относится к ней с великим уважением, но и все. Король не желает включить А. в придворный штат; почему, неизвестно. Однако вскоре ей будет сделано предложение находиться при Дворе, и оно наверняка будет принято.

Король совершенно выздоровел. Оперный театр живет своей жизнью. Мать почти всегда у себя. Ностиц часто посещает ее, даже принят в общество матушки, два раза в неделю ужинает у нас, что вызывает удивление других послов. Младший Кауниц грустен, я опасаюсь, что очаровательная Улла нашла ему замену, по крайней мере создается такое впечатление.

Немедленно дайте знать о себе, я жду новостей с крайним нетерпением. Не забудьте, дорогой друг, об обещании написать моему отцу; он будет польщен. Он часто говорит о Вас такое, что доставляет мне много удовольствия и усиливает мою к нему нежную любовь.

36. «Мы живем праздниками и репетициями...»

31 января

Мое беспокойство относительно Вашего молчания растет с каждым днем. Какая пытка для сердца, в котором только Вы, для которого блаженство – быть любимой Вами, для которого одно Ваше слово – покой и счастье. Жестокий! ах, да, Вы заслужива-

ете этого имени, Вы – жестокий. Как! в течение трех недель ни одного слова! Я же, пребывая в стеснении, поднимаюсь в 7 часов утра или жертвую несколькими часами ночного отдыха, чтобы вкушать сладостные моменты общения с Вами, ибо у меня нет другого времени, учитывая навязчивость зятя, который всегда проводит у нас вторую половину дня, и сестры, которая, когда я пытаюсь сбежать к себе наверх, следует туда за мной, – вопреки всему я верна данному слову; причем это для меня не жертва, а единственно склонность сердца, которой я подчиняюсь. Если бы писать Вам было тяжелой обязанностью, я легко могла бы найти для своего оправдания убедительные причины. Вы, к примеру, когда я как-то упрекнула Вас в небрежении, сослались на безотлагательные дела, которые, дескать, не оставляют Вам свободного времени; я также могла бы сослаться на тысячи дел, я могла бы вполне честно уверить Вас, что днем не имею ни одной секунды для себя, я не лгала бы, ибо располагаю в лучшем случае лишь ночью или утром. Я вспоминаю, я верю Вашему обещанию, которое Вы дали перед отъездом из Швеции, посылать весточки, но Вы обманули меня и теперь открываете свою подлинную сущность. Это пронзает мое сердце горестью. Забвение! Жестокий! что это, если не забвение! Может быть, в тот самый момент, когда Вы клялись в вечном постоянстве, Ваше сердце не ощущало того, что произносили уста. Ах, несчастнейшая София! Почему ты полюбила? И почему ты теперь не можешь забыть того, кто не достоин твоей нежности?

Я боролась с собой, прежде чем села за это письмо. Я намеревалась скрыть от Вас свое беспокойство. Однако, начав писать, я подумала о том, что обещала не скрывать от Вас сердечные помыслы и изливать их на Вашей груди, и вот не могу удержаться, чтобы не поведать о своих волнениях. Вы не должны обижаться на это. Даже если Вы разлюбили меня и чувствуете только безразличие, Вы должны сохранить остаток жалости к моим чувствам. Ах! дорогой друг, если бы Вы любили так, как люблю я, то не лишили бы меня знаков Вашего чувства в течение столь длительного времени.

Уже два дня как я не получаю ни малейшей информации о Вашем путешествии. Я видела Рикмана, но отвага оставила меня, и я не решилась спросить его о Вас; о Вас также ничего не

говорят в обществе. Мадемуазель Спарре часто напоминает мне о последнем вечере, который мы провели вместе; мы пили за Ваше здоровье; она говорила не переставая, что желает, дабы Вы тоже знали, с какой точностью она держит данное Вам слово. О Вас грустят, отец все время вспоминает Вас; подробности, если б я их привела, слишком бы удлинит письмо. Я почувствовала бы вину перед Вами, ведь Вы и так, может быть, уже устали от чтения моего письма. Неважно! новости заинтересуют Вас больше, чем мои сетования; это будет способом компенсировать ту скуку, которую я нагнала на Вас своим беспокойством.

Мы живем праздниками и репетициями; каждый второй день у Герцога репетируют праздник, который он даст Королю 5 февраля, сюжет – *Брак сына императора с племянницей того*. Роль императора исполнит барон Карл Спарре, императорского сына – юный Хдн*, племянницы – мадам Адельсвэрд. Это основные роли, кроме того, есть группа китайцев и группа татар. Пока все не очень устроено, но сегодня вечером будет очередная репетиция.

Вчера во Фредриксхофе с большой помпой праздновали свадьбу мадемуазель Эренсвэрд. Позавчера Король устроил для Герцога праздник, очень удавшийся, который представлял Лагерь в Сконе. Галерея была украшена еловыми ветвями, вдоль стен установили шатры, освещенные фонарями, лавочки со всякой всячиной, множество прогуливающихся солдат и крестьян, так что места было мало. Король, который во время бала-маскарада участвовал в крестьянской кадрили, играл здесь ту же роль; другую группу составили солдаты с их женами. Когда Герцог прибыл, солдаты пели и танцевали, крестьяне – тоже, а распорядитель предложил показать свою труппу. Французская труппа, которая вам известна, исполнила две пьесы: *Говорящая картина* и *Игры любви и случая*. Комедия закончилась, и мы отправились ужинать в еловые беседки; после ужина танцевали до 4 часов утра. Забыла отметить, что Королева-мать также присутствовала на празднике; она удивила этим Короля, который ничего подобного не ждал. Она выступила под именем графини Пипер из Сконе и играла свою роль весь вечер.

В последнем письме я обещала Вам стихи, которые произносились на празднике, данном Королем для Королевы-матери. Вот они.

Первый монолог великой жрицы
Присоединим к фимиаму приношение наших молений.
Смерть близ трона приготовила страшный удар,
Мы приносим жертву слезами и плачем,
Дабы милостивые боги возвратили нам Луизу.

Монолог жрицы после входа в храм
О, вы, всемогущие боги, свидетели наших тревог,
Я приношу на ваши алтари чистое сердце и слезы,
Посредством меня вас молят дети
За свою мать, течение дней которой приостановилось.
Приносим вам здесь в общем страхе
Прошения, слезы – единственное благо пребывающего
в невзгодах,
Прибежище несчастных, дань скорби.
Верните нам мать, она – наше счастье,
Со своей высоты, Великий Боже, возри на нее,
Упаси ее дни от длани жестокой Парки,
И пусть тот алтарь, что был свидетелем столькох слез,
Засветится в нашем фимиаме и в цветах.

Ария, которую великая жрица поет на мотив
Conservez dans votre âme
Соблаговоли принять наши моления,
Эскулап, мы просим тебя
За Луизу в ее последнем часе, –
Мы молим за нее.
Увы! в жестоком гневе,
Великий Боже! не наноси удара.
Разве ты хочешь, чтобы земля лишилась
Образа Луизы и ее благодеяний?

Хор жрецов и жриц
Благотворительный Господь, защитник жизни,
Даруй счастливое исполнение наших желаний.
Нежно любимой Королевы
Верни нам дни, драгоценные дни.

Прорицание оракула

Люди, бессмертные тронуты вашими слезами,
Они возвращают Луизу, и души умерших
Уберегут вас от величайшего из несчастий,
Если вы снова не вызовете их гнев.

Хор

Какое наслаждение влечет нас к благотворным алтарям!
Вам, кто вернул нам Королеву, боги, вам – наш фимиам!
Какие обеты, какие нежные хвалы
Мы можем теперь всегда воздавать вам!
Мы отдаем наши сердца,
Чтобы удостоиться ваших благодеяний.

Монолог Аполлона

После того как у богов, тронутых вашими мольбами,
Ваши слезы выпросили освобождение из могилы,
После того как смертоносные Парки ваших дней
Снова вертят веретено,
С Олимпа желают сойти Аполлон,
Музы и Искусства, составляющие его свиту,
Дабы быть рядом и отпраздновать этот день,
Когда вы вернулись:
Искусства, сохраненные вашими заботами,
Вам обязаны в здешних местах своим рождением;
Ваши благодеяния запечатлены в их сердцах
Дланью признательности.
Музы, Таланты, освобожденные от оков,
Присоединяются к таланту ученой Урании;
Доблесть – в чести, и Ее сопровождает Грация,
И Марс ликует вместе со Смехами.
Теперь, когда по нашим мольбам судьба вернула вас,
Искусства, сойдя к вам, приносят свою дань
Взору, который их породил.

Потом танцевали Грации и Искусства, потом пошли на спектакль, потом Момус произнес следующий монолог.

Только что вам принесли на алтари
Достаточно песен, достаточно стихов.
Оставим высокие материи
И приступим к еде, как подобает смертным,
Ибо в конце концов, хотя мы и боги,
Но от голода, подобно людям,
Наш божественный желудок страдает,
И нам потребны амброзия на обед
И нектар на ужин.
Великая Королева, Момус молит Вас
Присоединиться к этой августейшей компании,
Которую в Вашу честь составили
Боги из лучшего общества:
Поверьте, компания – благороднейшая:
Жупен и его очаровательная дочь,
Выбирая гостей, не полагались на авось,
И вы всей семьей приглашены на ужин
С Грациями и Искусствами.

Праздник завершился ужином.

На всех этих праздниках и репетициях актеры и актрисы развлекаются в свободное время. Народу собирается полным-полно, ни за кем не уследить, потому образуется много интрижек. Я не участвую в них, зато у меня есть время наблюдать за другими. Поведение кузины Пипера совершенно загадочно; между ею и D. все происходит через посредников, они не общаются без Вактмейстера, но их взоры убеждают в полном взаимопонимании. Антону осталась радость беседы; некоторые уверяют меня, что предпочтение отдано ему; я же полагаю, что ее вполне хватит на обоих.

У Герцогини все по-прежнему. Граф Кауниц кажется грустным и редко видится со своей дражайшей Уллой; между ними некоторое охлаждение. Графиня Аврора еще не выбрала любовника на февраль; юный Аминофф торжествует. Она говорила о Вас с юмором, поведав, что перед отъездом Вы совершенно пренебрегали ею. Она сердилась на меня, предполагая, что причина этого охлаждения – я.

Я докладывала Вам, что не разговаривала с Бьельке о Вас; она только что назначена гувернанткой при Королеве и приступила

к исполнению обязанностей. Когда я вижу ее, то вспоминаю Вас; я люблю беседовать с ней и находиться рядом. Не знаю почему, но все, что интересует Вас, нравится мне, все, что имеет отношение к Вам, притягательно для меня; я вижу дом, который Вы занимали, и слезы подступают к глазам; наконец, Ваш сувенир нравится мне и погружает меня в отчаяние: моя любовь, помнить о которой Вы клялись, по-видимому, будет губительной для меня. Я далеко, но непрестанно – в мыслях и в душе – жажду быть с Вами.

37. «...Я считаю Вас способным
на самые черные поступки...»

21 февраля

Состояние, до которого Ваше молчание довело меня, вызывает только сожаление, и мое сердце страдает оттого, что Вы так долго молчите. Я лишала себя в течение трех недель удовольствия писать Вам единственно потому, что боялась докучать, но сегодня в последний раз я уступаю сердечной склонности. Не подумайте, что намереваюсь упрекать Вас; нет, потушив чувства к Вам, я наложу печать молчания на свои сетования. Я ощущаю Ваше забвение так же остро, как некогда ощущала Вашу нежность. Я не заслужила той участи, которую Вы уготовили мне, и никогда не подозревала Вас в неискренности, а ведь (теперь я в этом не сомневаюсь) Вы никогда не любили меня. Как! возможно ли, чтобы Ваше сердце (если оно чувствовало все то, в чем Вы с таким удовольствием уверяли меня) было способно на протяжении одного месяца перейти от нежнейшей любви к столь жестокому забвению? Чувства, которые Вами внушены, я еще испытываю, вопреки собственному желанию. Я еще нежно люблю, мой князь, сувенир, который Вы дали мне, но в надежде на то, что Ваше поведение плюс занятия, при помощи которых я пытаюсь отвлечься, позволят мне возненавидеть его. Этот сувенир будет отослан Вам, как только я найду в себе силы, чтобы расстаться с ним. Увы! я слишком хорошо предвидела участь, которую Вы уготовили мне, уезжая отсюда; тщетно я предписывала себе строжайшие запреты и сто раз повторяла, что если потеряла Вашу любовь, то, значит, недостойна сохранить ее.

Я в полной мере осознаю, что злоупотребляю Вашей добротой, требуя пожертвовать секундой для чтения письма, которое совершенно неинтересно такому безразличному человеку, каковым, по-видимому, Вы являетесь. Но нет, Вы не безразличны! Это я безразлична Вам; напротив, кто-то новый, без сомнения, интересен Вам, но я не думаю об этом. Есть ли у меня право упрекать Вас? Нет, Вы свободны в поступках и сердечных порывах, у меня нет никакого права на упреки и я не рассчитываю его получить, я заметила, сколь мало деликатности в Вашей манере мыслить. Тот, кто однажды проявил пренебрежение к обязательствам чести, к своему слову, тот недостойн нежных чувств благородной женщины. Извините, что я имею смелость напоминать об обещании писать, ведь Вы дали его, пребывая еще в Швеции. Трех месяцев мне хватило, чтобы перенестись от печали по поводу Вашего отъезда к живейшей радости; Вы сами давали мне исключительно знаки ужасного забвения. Я предсказывала это. Вспомните, как я в ответ на клятвы в вечной верности часто проявляла сомнение в Вашей искренности. Подобное подозрение, могу поклясться Вам, всегда жило в моем сердце; теперь Вы подтвердили его, однако я еще нежно люблю Вас, хотя это лишь остаток чувства. Продолжение Вашего молчания окончательно погасит его. Что бы я теперь ни получила от Вас, после всего это не имеет отношения ко мне; я презираю заверения в Вашей памяти, коль они диктуются долгом или угрызениями совести. Они не окажут на меня никакого действия; равным образом не ожидайте никакого моего ответа. Вы заслуживаете не любви, а вежливости. Как! возможно ли, что Вы (если сердце полно сильнейшего чувства ко мне и еще пылает страстью) столь длительное время отказываете себе в удовольствии уверить меня в Вашей любви? С трудом добывая сведения о Вас, я поняла, что теперь новостей не получаю только я, хотя Вы обнадеживали меня, что я буду первой, кто может рассчитывать на это; положение совершенно неестественное, не совместимое с истинными чувствами, и подобная манера не согласуется с хрупкостью моей души.

Я три дня жгла все Ваши письма; браслеты – Ваш подарок – я только что отдала мадемуазель Спарре, причем с наслаждением. Я хочу избавиться от всего, что напоминает о Вашей нежности. Я забуду Вас, и Вы получите верный знак – мое молчание. Я думаю, что этим обяжу Вас, ибо мой сувенир должен также быть Вам

в тягость. Сожгите все мои письма, я часто пеняю себе за то, что отправляла их, хотя с самого начала опасалась, что Вы найдете им дурное применение и пожертвуете ради развлечения новой красавицы, которую, без сомнения, предадите так же, как меня. Как не родиться такому подозрению! я считаю Вас способным на самые черные поступки, с тех пор как Вы показали Вашу неверность и презренные чувства. У меня нет слов, чтобы умолить Вас: если у Вас осталась жалость ко мне, сожгите мои письма (раз Вы не любите). Я не давала оснований презирать себя и наказывать неизбежным бесчестьем. Жалость должна пробудить в Вас пусть не чувство, но хотя бы доброе отношение ко мне, и пусть эта жалость, к которой я взываю, заставит Вас снизойти к моим мольбам. Я дерзаю умолять Вас: дайте знать в двух словах, что у Вас не осталось никаких моих подарков, и Вы подарите мне покой.

Вы убедитесь, что я каждый день пытаюсь забыть Вас, и надежным знаком будет Ваш нежный сувенир, который я пока храню, но в конце концов отошлю Вам. Извините за пространное письмо. Я злоупотребила, мой князь, Вашим терпением и, может быть, оскорбила своей искренностью. Я в последний раз дерзаю писать Вам, в последний раз напоминаю Вам о своей любви. Я более не подписываюсь: Ваш друг. Я не отваживаюсь прилагать это дорогое имя к себе. Однажды я, может быть, докажу Вам, что остаюсь таковым, если представится возможность; Вы получите верные тому знаки, если это не оскорбит Вас.

Отныне не пишите мне; это будет лишь означать новое оскорбление; по крайней мере, я именно так истолкую Ваше письмо.

38. «Муж старается всячески услужить мне...»

12 мая

После 21 февраля, когда было отправлено письмо № 5, я отказала себе в удовольствии писать Вам; это обходилось мне недешево. Для меня, дорогой друг, было великой пыткой так долго демонстрировать Вам холодность, которую я не испытывала. Вы должны были увидеть из последнего письма, что понуждало меня к молчанию: как я могла не упрекать Ваше сердце за безответственность, если Вы не отправили ни одного слова с 8 января

до 21-го числа следующего месяца. Мои подозрения не должны показаться Вам пустыми: я питала их по причине чрезмерной нежности, это знак любви и чувствительности. Из Вашего последнего письма, датированного 10 марта и полученного мной три дня назад, я заключила, что Вы не получили всех моих писем, надеюсь, что потом они дойдут до Вас. Вы можете видеть по номерам, сколько их ожидает Вас, все они были отправлены по адресу, указанному Вами при отъезде. В дальнейшем я буду продолжать пользоваться им, так как вижу, что он надежный.

Извините меня, дорогой друг, за беспокойство, которое я причинила своим молчанием, я виновата в чрезмерной ранимости. Я не хотела обременять Вас, но предполагала, что разлука сделала Вас безразличным ко мне.

Умоляю Вас, верьте, что с тех пор как я потеряла Вас из виду, я не переставала нежно любить Вас превыше всего на земле. Мое сердце не способно ни на один миг забыть Вас. Ваш образ всегда передо мной; вчера я была у Лундберга, чтобы закончить свой портрет, и надежда видеть Ваш была основным стимулом визита. Позируя, я так расположилась напротив Вашего портрета, чтобы иметь возможность смотреть на его отражение в зеркале. Боже, как Вы похожи на нем! Это – Вы сами. Портрет настолько поразил меня, что, увидев его, я издала крик радости и сказала, что никогда еще картина не удавалась лучше; слезы радости, вопреки моему желанию, выступили на глазах, к счастью, присутствовали только маленькая Спарре и мадам Риббинг, да и те ничего не заметили, хотя, пока я любовалась Вами и шел общий разговор о Вас, все взоры были устремлены на меня. Моя поза уличала меня весь час, пока длился сеанс, ибо там было много портретов, но я не могла оторвать взгляда, который был прикован к Вашему. Ах, мое сердце в это время витало близ Вас! Никогда после нашего расставания не чувствовала я подобного блаженства.

Боже, какое счастливое сходство! Я должна после Пасхи снова присутствовать у Лундберга на нескольких сеансах. Какое наслаждение! Я пойду одна, я смогу выбрать удобное положение и видеть Вас, дабы предаваться воспоминаниям о том, кого нежно люблю и кого отчаялась увидеть снова. О небо, какая страшная перспектива! Возвратившись от Лундберга, я решила написать Вам. Эти чарующие черты, которые соблазнили меня и которые

я увидела снова, доказывают, что я обвиняла Вас напрасно, и заставляют снова довериться искренности, явленной Вашим лицом, на котором правдивость кажется прямо изображенной. Я не обманывалась: когда мы были в ... (помните наши пикники), Дюбен показал мне тот фрагмент Вашего письма, где речь идет обо мне; я благодарна за этот знак Вашей памяти и не сомневаюсь более, что напрасно винила Вас. Извините мои упреки, мою несправедливость. Я оскорбила Вас, мой дорогой друг, но намереваюсь загладить это оскорбление последующей точностью.

Мое положение изменилось, я не могу назвать себя ни счастливой, ни довольной, этого нет, ведь залог и первого, и второго – Вы, да, Вы один можете составить мое счастье, Вы знаете это и в течение долгого времени получали надежные знаки. Муж старается всячески услужить мне, он предугадывает все мои желания, подчиняется моей воле, и если бы сердце получило, что желает, мое счастье было бы совершенным, но, увы! пустота после Вашего отъезда отравляет дни, которые могли быть счастливыми.

Я пользуюсь отсутствием мужа, чтобы писать Вам; он с графом Карлом Ферзеном на охоте; его нет уже девять дней. Вероятно, Вы, более чем дорогой друг, удивлены, но я, будучи замужем только месяц, брошена и предоставлена презрению и стыду. Раз меня так скоро покидают, это должно доказывать, сколь мало я наделена достоинствами, впрочем, мое огорчение отнюдь не сильно, хотя было бы таковым, если бы в аналогичной ситуации Вы вели себя сходным образом, но Вы, я уверена, не способны на подобное. Отсутствие мужа всех удивляет, но это борьба со мной. Судите по такой черточке. Я могла по крайней мере рассчитывать, что буду в срок уведовлена о его возвращении; но нет, граф Карл сообщил жене с позавчерашней почтой день своего приезда, а мой муж не стал писать мне. Если бы я могла истолковать это как проявление безразличия, меня бы утешило такое сходство в нашем образе мышления; но, увы! я не могу успокоить себя такой мыслью, потому что когда он со мной, то не спускает с меня глаз. Его советы, его заботы, его настойчивость, его подозрения – все говорит мне, что его сердце не только не безразлично, но исполнено страстью ко мне. Мое безразличие, моя холодность, которые я напрасно стремлюсь скрыть, не ускользают от него; вздохи, что часто – пока я уверяю его в своей нежности – помимо моей воли вырываются

у меня, вызывают мучительные упреки. Я вооружаюсь терпением, ночной мрак прячет от него слезы, которые я проливаю при воспоминании о Вас. Однако несмотря на все старания мое безразличие и мой похищенный покой открыты его ревнивому взгляду. Он более не подозревает в Вас виновника своих тревог: этого виновника он ищет среди тех, кто сейчас окружает меня. Ревность заставила его обратить подозрения на Дюбена, увы! ревнивец не знает, что заставляет меня общаться с бароном, – надежда поговорить о Вас, ибо он постоянно упоминает Ваше имя. Я не отваживаюсь говорить все, что думаю, и ухожу от искренних ответов на постоянные уверения барона в Вашей ко мне привязанности. Я ограничиваюсь простыми ответами, которых требуют вежливость и естественная чувствительность к Вашей памяти; я даже не отваживаюсь просить его что-нибудь передать Вам из страха, что если обяжу его поручением, то неблагоприятно открою свои чувства.

Мужа я ожидаю завтра, я тороплюсь, чтобы отправить письмо до его возвращения; обещаю Вам, что отныне раз в неделю Вы будете получать новости от меня, я располагаю достаточным временем. Дай, Господи, чтоб были okazji! В первом же письме я сообщу здешние новости, которые, полагаю, заинтересуют Вас, особенно если речь пойдет об очаровательной Левенъельм. Я больше не буду удивляться, если новости от Вас будут поступать редко; Вы меня предупредили на этот счет; хотя мне было бы очень приятно получать их, я не виню Вас; это великое лишение, но следует уступать долгу; у Вас есть более важные занятия, и я буду в отчаянии, если однажды покажусь Вам докучливой.

Прощайте, любите меня всегда, ничто не изменит чувства дружбы и уважения, в котором я клянусь Вам.

39. «...Одно Ваше слово... но нет,
я не хочу ничего требовать от Вас...»

5 июня

Ваши занятия, мой дорогой друг, несомненно, очень важны, коль у Вас нет в течение месяца секунды, которую Вы могли бы пожертвовать воспоминаниям об отсутствующих друзьях. За время Вашего пребывания здесь Вы совершенно не приготовили

меня к такому гнетущему молчанию; напротив того, Вы обещали – пусть не каждую неделю, но каждую вторую – давать знать о себе. Вспомните, что я говорила тогда: «Несомненно, вернувшись к себе, Вы будете слишком заняты, чтобы думать обо мне». Вы уверяли меня в обратном, Вы обещали знаки Ваших писем, вы клялись мне в этом. Столь жестокое забвение по праву оскорбляет меня, я должна бы наказать Вас аналогичными знаками забвения, но я не способна на это; мой долг, Ваше собственное поведение должны настойчиво подвигать к этому, но я всегда уступаю наклонности, которую Вы породили; нежность самодержавно правит моим сердцем, Ваш образ слишком глубоко запечатлен в нем, чтобы я могла снова изгладить его.

Продолжайте подавать мне знаки Вашего забвения, не пытайтесь удовлетворить мои тщетные протесты, не обращайтесь к перу, чтобы выразить чувства, от которых Ваше сердце отказалось. Заставив меня быть чувствительной к Вам (я отважусь сказать – заставив любить), следует по крайней мере сохранять столько жалости, чтобы не увеличивать мои несчастья и не принуждать меня поддерживать чувство чистейшей любви к неблагодарному, который наказал меня жесточайшим забвением; да, я еще питаю к Вам прежнюю любовь со всей возможной силой, я не боюсь поклясться в этом Вам, жестокий друг, раньше любовь приносила мне счастье, теперь – муки. Почему я не могу забыть Вас! Почему разлука имеет власть над Вами и не имеет надо мной! Могу ли я еще надеяться, увы! когда любят, надеются; осталась ли в Вашем сердце хоть одна насечка, нанесенная моей нежностью, или Вы избавились от всех?

Я должна на месяц отправиться в деревню, отъезд задержался из-за родов сестры; отсутствуя в городе, я не смогу получать Ваши письма прежним способом. Я отправляю Вам адрес, которым Вы можете пользоваться. Это правда, что Рикман отбывает, но здесь остается кто-то из его людей. Я прошу Вас не пользоваться посредничеством господина Симолина; это единственное, чего я дерзаю требовать от Вас, я подвергнусь слишком большому риску. Вы не можете желать, чтобы я оказалась в опасности, он был здесь, но я беседовала с ним непродолжительное время и не имела возможности получить Ваши новости. Когда я снова увижу его, это будет моей первой задачей. Надежда увидеть Вас должна

быть навсегда оставлена. Боже! как это жестоко для сердца, единственное удовлетворение которого – привязанность к Вам.

Карусель закончилась, неизвестного рыцаря не нашлось. Конюшенный Королевы барон Ролам выиграл главный приз, он же получил специальный приз Королевы. Золотыми медалями награждены те рыцари, что одолели своих противников, большая их часть – из группы Короля. Его Величество одолел Герцога.

Горестная новость для Вас – недуг мадам Левенгьельм; ей было очень дурно, но теперь она чувствует себя лучше. Цинцендорф, саксонский посол, покинул нас и направляется вначале домой в Дрезден, а потом в Берлин, к месту нового назначения.

Кауниц также отбывает на днях, как он счастлив! он встретит Вас, и я завидую ему, Вы также вскоре увидите Короля у себя. Путешествие задумано с великой таинственностью, и я не хочу говорить об этом. Если бы все шведы, которых Вам предстоит увидеть, могли напомнить о подруге, забытой Вами, но не прекращающей нежно любить и поклоняться Вам! но увы! может быть, уже слишком поздно! одно Ваше слово... но нет, я не хочу ничего требовать от Вас, пусть это произойдет по Вашему собственному желанию и без принуждения. Я бы очень встревожилась, если бы Вы общались со мной по соображениям политета, а не по велению того чувства, которое заставляет меня нежно любить и которое я так сильно надеюсь встретить в Вас.

40. «...Вы думаете обо мне! могу ли сказать, что любите меня?»

9 июня <1777>

По рассеянности я упустила возможность отправить письмо в прошлую пятницу, хотя очень желала этого. Я пребывала в тревоге и, признаюсь, писала его в печали, я уверила себя в Вашем забвении, Ваша небрежная манера отвечать давала основания для подобного подозрения; извините мою несправедливость, дорогой друг. Боже! какую радость, какое удовлетворение доставил мне с тех пор барон Карл Спарре, когда сообщил, что получил Ваше письмо! у него не было при себе письма, но он цитировал то место,

что касалось меня. Как, Вы думаете обо мне! могу ли сказать, что любите меня? Ах, дорогой друг, какую надежду – этим знаком памяти – Вы возродили в моем сердце! Ваша дорогая память, которая зрима в письме! любовь, которой Ваши обеты придали новую несомненность, воскресла в тот самый момент, когда она чуть не погибла под бременем жестокой неизвестности, порожденной Вашим молчанием. Но правда ли, что Вы еще любите меня; остались ли в Вас чувства, подобные тем, которые Вы здесь показывали? Возможно ли это, и согласуется ли Ваша сильная и нежная любовь с молчанием, которое длилось на протяжении месяца? Вы знаете, мой более чем дорогой друг, что одно слово, да, единственное слово может успокоить меня, и Вы были настолько жестокосердны, что отказывали мне в этом, Вы – человек, который свободно располагает собой. Правда, более интересные занятия поглощали Ваше время, но неужели у Вас не оставалось нескольких секунд, чтобы пожертвовать их воспоминаниям о друге? Я всегда стеснена присутствием кого-нибудь из близких, мне всегда приходится с великим трудом урывать мгновение и каждое мгновение трепетать, что буду разоблачена, однако я нахожу возможность уверить Вас в своей привязанности, Вы же – по причине великой занятости – ничего не можете; в течение целого дня Вам не удастся выкроить для меня ни единой минуты. Вы говорите мне обратное, жестокий! но в то время, как с утра до вечера я занята только Вами, я должна думать, сколь мало я получаю в ответ. Ах, небо! почему я не могу забыть Вас или, по крайней мере, почему не могу быть бесчувственна, как Вы!

Я вначале намеревалась, добавив эти страницы, тем самым показать признательность за память, выраженную в Вашем письме, о котором я упоминала выше. Но я не смогла отказать себе в естественной потребности упрекнуть Вас; следует ли Вам удивляться? Ваше молчание убивает, делает мое существование ненавистным, потому что для меня жить – значит любить Вас... Но я слишком много говорю Вам о своей привязанности, это может наскучить Вам; вначале я собиралась промолчать, да, я изменю слог, дабы угодить Вам и выудить маленький ответ, который оставил бы меня вполне довольной.

Примечания

Письма Софии Ферзен впервые напечатаны в изд.: *Lettres de la comtesse Sophie Fersen – au prince Alexandre Kourakin* // Архив князя Ф.А. Куракина. М., 1899. Т. 8. С. 353–413. Это издание было осуществлено по инициативе наследника архива князя Ф.А. Куракина и саратовского ученого В.Н. Смольянинова, которые привлекли к сотрудничеству лучших знатоков XVIII в. – вначале А.Ф. Бычкова и М.И. Семейского, затем (в частности, для работы над восьмым томом) П.И. Бартенева (см.: *Дружинин П.А.* Неизвестные письма русских писателей князю Александру Борисовичу Куракину (1752–1818). М., 2002. С. 80–83).

При переводе учтены (но не оговорены) грамматические исправления, внесенные публикаторами.

Особая проблема – передача имен собственных и комментирование персоналий. Правила французской орфографии в исполнении Софии Ферзен часто не годились для шведских, немецких, русских слов. Многие фамилии требуется почти расшифровывать, иногда успешно (Dier – Де Геер, Ruckmann – Рикман), иногда – нет (Haften/ Haften/ Haifsten, Dholn и т. д.). При установлении персоналий я пользовался данными первой публикации; важная информация была предоставлена шведским ученым Магнусом Юнгреном.

Фамилия автора писем также может быть передана по-разному: по правилам шведского языка – «Ферсен» (ср. в современном переводе 1999 г. исторической монографии Э. Леннрута «Великая роль. Король Густав III, играющий самого себя»), однако в русской традиции принята транслитерация «Ферзен» с буквой «з» («История» С.М. Соловьева, Архив князя Ф.А. Куракина), что, по-видимому, связано с немецким происхождением семьи.

В примечаниях к отдельным письмам не комментируются «сквозные» действующие лица: король Густав III (1746–1792), королева София Магдалена (1746–1813), вдовствующая королева Лувиза Ульрика (1720–1782), герцог Карл Зюдерманландский (1748–1818), герцогиня Зюдерманландская Хедвига Елизавета Шарлотта (1759–1818), великий князь Павел Петрович (1754–1801), «дядя» А.Б. Куракина Н.И. Панин (1718–1783), отец Софии Фридрих Аксель Ферзен (1719–1794), мать Хедвига Катерина (1732–1800), муж Карл Адольф Пипер (1750–1795).

Каждое письмо снабжено условным заголовком-цитатой. Разумеется, в оригинале ничего подобного нет, но представляется, что

это оправдано предложенной интерпретацией писем Софии Ферзен как эпистолярного романа.

На разных этапах работы я пользовался помощью и неоценимыми советами Татьяны Александрович, Николая Александровича, Стефано Гардзонио, Александра Каменского, Марины Максимович, Магнуса Юнгрена. Приношу им сердечную благодарность.

Письмо № 3

Шарлотта Де Геер – придворная дама, возлюбленная Густава III в его бытность принцем (см. вступительную статью).

Эва Хелена Риббинг – доверенное лицо короля с его юных лет; в 1768 г. Густав сплетничал об отношениях Риббинг и отца Софии: «Никто не работает, включая графа Ферзена, который, кажется, больше занят мадам Риббинг, нежели заботой о спасении государства» (цит. по: *Леннрут Э.* Великая роль: Король Густав III, играющий самого себя. М., 1999. С. 39).

Письмо № 4

Граф Кауниц – австрийский министр-резидент в Швеции.

Письмо № 5

Брат – Ханс Аксель фон Ферзен (1755–1810), фаворит французской королевы Марии Антуанетты, шведский политический деятель (см. вступительную статью).

Письмо № 6

Густав Лундберг (1695–1786) – знаменитый портретист.

Письмо № 7

*** – в тексте Dholm; фамилия не поддается надежной транслитерации.

Письмо № 8

Ностиц – саксонский министр-резидент в Швеции; Саксония вела активную политику в Северной Европе, пытаясь противостоять доминированию Пруссии.

Граф Адольф Риббинг – видный государственный деятель, оппонент густавианского правительства.

Письмо № 9

...*губернатором*... – губернатором Стокгольма был барон Карл Спарре (1723–1791).

Грипсхольм – королевский замок. По словам В.А. Жуковского (романтическое эссе «Очерки Швеции», указано М. Юнгреном), «ста-

ринный замок», «знаменитый и своею архитектурою, и своими историческими воспоминаниями», из тех, где «гнездятся привидения».

Письмо № 14

Младший брат – Фабиан фон Ферзен, шведский политический деятель.

Письмо № 15

Фредриксхоф – резиденция вдовствующей королевы Луизы Ульрики.

Письмо № 17

Нюкельвик – поместье под Стокгольмом; с аристократическим семейством *Юленкруна* Куракин имел общих светских знакомых еще до поездки в Швецию (его приятель князь А.И. Лобанов-Ростовский передавал им привет; см.: Архив князя Ф.А. Куракина. Т. 8. С. 272).

Письмо № 19

*X**** – близкий знакомый Ферзенов, барон; в письмах София постоянно называет его по-разному (Haften, Haften, Haifsten).

Лона Экеблад – кузина Софии.

Письмо № 20

Барон Фредрик фон Нолькен – шведский министр-резидент в России.

Письмо № 21

Pauli, Souter – стокгольмские ювелиры.

Письмо № 22

..Вы пытаетесь обмануть меня надеждой на скорое возвращение... – Куракин добивался должности российского посланника при шведском дворе (см. вступительную статью).

Письмо № 26

Карл Спарре, барон – влиятельный государственный деятель, занимал важнейшие посты, придерживался российской ориентации.

Об избрании Куракина в Академию см. вступительную статью.

Письмо № 27

Тюресо – в тексте *Tovesio*; возможно, имеется в виду Тюресо – замок под Стокгольмом.

Письмо № 30

Хедвига – горничная Софии.

Чувствительная и верная – *Sensible et fidele*, начальные буквы слов совпадают с начальными буквами имени и девичьей фамилии Софии Ферзен.

Письмо № 31

«*Английские ночи*» (1770) – сборник переводов, анекдотов, бытовых очерков в четырех томах, составленный французским писателем Констаном д’Орвиллем.

Письмо № 32

Цинцендорф – саксонский посланник в Швеции.

X*** – см. примечание к письму № 19.

Граф Адольф – муж Софии.

«*Орфей*» – опера К.В. Глюка (1714–1787), премьера состоялась в 1762 г.

Письмо № 33

Хедда – предположительно, горничная.

Графиня Бьельке – светская дама.

Шефферы – одна из самых влиятельных семей в густавианскую эпоху; У. фон Шеффер – президент дипломатической канцелярии.

Рикман – Иван Севастьянович Рикман, секретарь посольства, впоследствии генеральный консул в Стокгольме, губернатор новгородский, затем виленский.

Письмо № 34

Гевле – в тексте *Gesirle*.

Письмо № 35

Граф Юхан Габриэль Оксеншерна (1750–1818) – поэт, потомок знаменитого государственного деятеля времен Густава II Адольфа.

Письмо № 36

*Хдн** – во французском тексте *Heding*; лицо не установлено.

«*Conservez dans votre âme*» – ария из оперы К.В. Глюка «Ифигения в Авлиде» (премьера в 1774 г.). О посещении оперы «Орфей» см. в письме № 32.

...*юный Аминофф* – Аминовы (Аминоффы), дворянский шведский род; в 1609 г. стрелецкий голова Федор Аминов (как и Пушкин, потомок Ратши – легендарного участника Невской битвы великого князя Александра Ярославича) попал в шведский плен, перешел на шведскую службу и получил дворянство; его потомки оставили след в истории

Швеции, а представители финской линии – и в истории России (см. сводку данных и литературу: *Коваленко Г.* Русские и шведы от Рюрика до Ленина: Контакты и конфликты. М., 2010. С. 38–39).

Письмо № 38

Барон Дюбен – знакомый Куракина, составил для него подробный маршрут путешествия по Швеции.

Граф Карл Ферзен – обер-егермейстер, дядя Софии.

Аугуста Левенгельм – любовница герцога Зюдерманландского, мать его незаконных детей.

Письмо № 39

Симолин – Иван Матвеевич Симолин, российский дипломат, посланник в Швеции.

Карусель – придворное празднество, имитировавшее рыцарские турниры и предполагавшее конные состязания различных костюмированных групп-отрядов. Густав III с удовольствием сочинял сценарии для «каруселей». Примечательно, что в 1766 г. Екатерина II устроила «карусели» в Петербурге. Этому событию было посвящено панегирическое стихотворение В.П. Петрова «Ода на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге 1766 года» (первоначально слово «карусель» по французскому образцу грамматически относилось к мужскому роду):

Я в восхищении глубоком
Театр войны бескровной зрю,
Бегущих провождая оком,
Я разными страстями горю:
То дух во мне, боясь, трепещет,
То в радости героям плещет,
Они скорее стрел летят
И рвение в сердцах сугубят
На гласы, что им почесть трубят,
Друг пред другом взять лавр спешат.

После «карусели» судья – славный генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних – наградил победителей:

Там муж, украшен сединою,
Той лавры раздает рукою,
Из коей в бранях гром метал...
<...>

О! как тот лавр зелен, прелестен,
Который лавроносцам дан!
Коль тот герой велик и честен,
Кой от героя увенчан!

Неизвестный рыцарь – традиционная роль в турнирном сценарии.

...вы также вскоре увидите Короля у себя... – имеется в виду планируемый российский визит в Россию Густава III (см. вступительную статью).

2010 г.

Перевод с французского, примечания М.П. Одесского

Впервые: La contessa e il principe: Lettere di Sofia Fersen a Aleksandr Kurakin / A cura di M. Odesskiy // Studi Slavi e Baltici Dipartimento di linguistica Universita'di Pisa. 8. Pisa, 2010. 181 p.

ПОЭТИКА КУЛЬТУРЫ

«Человек болеющий» в древнерусской литературе

«Человек болеющий» – вечная тема литературы. Причем именно человек, его переживания, но не сама болезнь, объект исследований не художественных, а собственно медицинских. По специфике переживаний недуги целесообразно разделить на три основные группы.

1. Эпидемии, традиционно осмысляемые не столько в качестве недуга каждого страждущего индивида, сколько в качестве коллективной напасти, по характеру переживаний аналогичные войне, голоду, стихийным бедствиям¹.

2. Психические заболевания, и ныне представляющие особую область в «теме болезни», а в Средние века (вплоть до Нового времени) рассматриваемые не как телесный недуг, но как вторжение бесов в душу, в силу чего вопрос о принципиальной возможности лечения душевнобольных медицинскими средствами считался дискуссионным². Душевнобольной как бы не тождествен сам себе – это «другая» личность.

3. Так называемые повседневные соматические болезни³. Переживания, связанные с ними, относятся в первую очередь к страждущему, которого недуг отделил от социума⁴. Больной, в отличие от сумасшедшего, самotoждествен, однако уязвим. В литературе «человек болеющий» – жертва болезней 3-й группы⁵.

Страждущий оказывается в ситуации, благодаря которой получает возможность определить собственное отношение к такой глобальной проблеме, как смерть⁶. С точки зрения социальной смерть – окончательное отлучение от социума, лишение права на общение. Рассматривая ее подобным образом, больной пытается всемерно отдалить уход из жизни, а недуг воспринима-

ет в качестве досадного препятствия. С другой стороны, тот, кто смирился с неизбежностью смерти, тот, кто считает ее проявлением божественного промысла, которому нелепо препятствовать, видит в недуге не только лишение права на общение «земное», но и условие, дающее возможность общения иного рода – мистического. Болезнь – репетиция смерти.

* * *

Как известно, средневековая литература несводима к беллетристике. Поэтому не удивительно, что в Древней Руси литературными считались и тексты, непосредственно отвечающие на вопрос, как лечиться.

Первый вариант ответа содержится в молитвах-заговорах: текст сам по себе является целебным средством, тождествен лекарству, т. е. прочел – вылечился. Архаическая основа подобных текстов весьма заметна, хотя существуют они в списках XVI–XVIII вв. и, безусловно, бытовали в христианской среде. Так, сборник молитв об изгнании бесов предлагает способ борьбы с двенадцатью «женами окаянными»: Гнетей, Трясей, Желтеей, Пухлеей, Огнеей, Ледеей, Холмеей (вариант – «коркуша», бубонная чума), еще одной Трясей, Скочеей, Знобеей, Сухотой, Невеей. «От которых лихорадных болезней взять воды чистой и ненапитой и в ту воду опустить крест над главою болящего и говорить молитву сию: «Заклинаю вас, окаянных трясовиц, святым мучеником Сисимием и святым предтечей Иоанном и четырьмя евангелистами <...> побегите от раба Божия (имярека) за три поприща» (180)*. Художественная доминанта молитв-заговоров – это формулы перечислительного именованья (в «Молитве Иоанну Златоусту от всех уд»: «...отжени недуг и всяку болезнь... от главы, от влас, от темени, от мозга, от лица, от очию, от ушию, от уст, от зубов, от носа, от ноздрю, от веку...» (180). «Поскольку слово в ритуальной формуле магически заряжено, важно назвать, ничего не упуская, явления или предметы, на которые распространяется заклинание. <...> Чтобы предохранить человека от болезней,

*Список источников см. в конце статьи; в скобках указаны номера страниц цитируемых источников.

насылаемых бесами, необходимо перечислить в формуле все части тела, равно как и все возможные заболевания»⁷. Святой в отреченных «молитвах» выступает защитником больного, стражем здоровья, а болезни – демонами, страшась креста⁸.

Второй вариант ответа на вопрос, как лечиться, предлагается в текстах, которые можно назвать своего рода самоучителями. «Лечебник» (XVI в.) прямо указывает на то, что пользование им функционально тождественно обращению к целителю: «Рече Моисей египтянин ко Александру, царю Македонскому: “Александр, хочу написати поведения, еще твори сия – не востребуеши лекаря, разве великия нужды, понеже не подобает царю сказывати приключения своя лекарю”» (267–268). «Лечебник» деловит, «научен», но логика магизма прослеживается и здесь. «Большой (ржаной хлеб. – М. О.) имеет в себе много мягкости, а корка его тверда и не питательна есть телу, и не скоро носительна, утробу зашущает, а мякишь толстый надывает тело и вредительную мокрость родит» (249). «Сердце (собаки) иссуши и изотри мелко, и смешай с каким-нибудь питием, и мажь против сердца, и у того человека лишней сок отводит... Желчь собачья прелье и опухлые очи уздравляет, кожа собачья, около руки оберчена, коросты живит» (251). «Анисовое масло, внутрь приятно, помогает от кашлю и хракотину слабит, и пространство в грудях творит, и тяжкое воздыхающих помогает; аще кто его в естве приемлют, и то мужем и женам охоту и к совокуплению и любовь подает и всякую требу согревает» (259). В «Травнике» (XVI–XVII вв.), как и в молитвах-заклинаниях, тот же «христианизированный» магизм: название целебной травы «Петров крест» говорит за себя, а хороша она в двух случаях: если «жена скорбит месячно» и «от еретика и от напрасныя смерти» (278). Завершается же «Травник» компромиссным советом произносить при сборе травы: «Господи благослови! И ты, мать-сырая земля, благослови сию траву сорвати! <...> от земли трава, а от Бога лекарство. Аминь» (283).

Третий вариант ответа на вопрос, как лечиться, более характерный для Средневековья, предусматривал полный отказ от использования магических формул и услуг всякого рода целителей⁹. Избавления от недуга «человеку болеющему» надлежало искать исключительно в церкви. В «Киево-Печерском патерике» повествуется о конфликте князя-«черноризца» Святоши и врача-

«сирианина» Петра: «И егда убо разболяшеся сий блаженный, и видев же его, лечець приготавлиет зелие на потребная врачевания, на кийждо недугъ, когда беаше или огненное жежение или теплота кручиннаа, и преже пришествия его здравъ бываше князь, никако же дадый себе врачевати» (502). Победенный верой Святоши, Петр постригся в монахи; то же в конце концов происходит и с врачом-армянином, который вздумал тягаться с «безмездным» Агапием. «Безмездник» исцелял молитвой или делясь трапезою, причем пища Агапия казалась пациентам чудодейственным «зелем». В «Севернорусском летописном своде» 1472 г. описывается аналогичный эпизод: «Тое же весны, ...в той же святыи пост князь велики повеле у себя на хрепте труд жещи сухотные ради болести... он же не послушавъ ихъ (предостережений против знахарства. – М. О.), и с техъ мечь разболеся» (430). В «Житии Георгия Нового», включенном в Макариевские «Минеи Чети», мученик восклицает: «Вы ли мне целители?! Христос бо ми есть целитель души и телу» (542).

Таким образом, избегая «шептунов» и не доверяясь сомнительной литературе, «человек болеющий» должен был обратиться к сакральным вместилищам Божией помощи. Не случайно в храмах ежедневно произносят ектении, включающие моление за «недугующих», не случайно существуют особые молитвы о выздоровлении и таинство елеосвящения, в котором иерей или епископ при помазании больного освященным елеем спрашивает для него вместе с церковью благодать Божию, исцеляющую душевные и телесные немощи. Церковь здесь руководствовалась примером Иисуса Христа, исцелявшего и апостолам заповедовавшего исцелять (Мф. 10, 11).

Самым распространенным «духовно-медицинским» средством были мощи – «цельбоносные гробы», по определению князя С.И. Шаховского из «Молитвы Димитрию Вологодскому» (94). В «Киево-Печерском патерике» благодаря мощам Шимон-варяг «абие исцеле отъ ранъ» (414), Владимир Мономах «болень сый... и ту абие здрав бысть» (426), в Слове 19 «исцелился брат единъ, боляй лядвиами от лет многъ» (496), в церкви возвращают здоровье князь Святоша и упоминавшийся Агапит. «Севернорусский летописный свод» под 1462 г. сообщает поучительный случай: «...у гроба святаго Алексия митрополита чудотворца простило

черныца Наума, ему же беаше нога отъ рождение прикорчена, и ходяше на деревяници, и бысть здравъ» (430).

Как явствует из приведенных примеров, третий вариант ответа на вопрос, как лечиться, предлагают агиографические произведения: «Севернорусский летописный свод» составлялся при Кирилловом монастыре, и цитировавшиеся эпизоды выдержаны вполне в житийной манере. Агиография в системе древнерусской литературы, в отличие от «отреченных молитв» и «лечебников», принадлежала к «высокому» жанру¹⁰. Если «низовые» жанры конкретно называют Гнетею, Трясею и т. д. и неопределенно имярека-больного, то жития, наоборот, неопределенны в описании недуга¹¹ и точны в именовании субъекта исцеления, которому предстоит служить убедительным примером. Агиографически интерпретируя свою жизнь, Аввакум в качестве такого примера рассказывает о малодушной попытке своей жены обратиться к знахарю: «...занемогъ младенец. Смалод(у)шничавъ она (жена протопопа. – М. О.), осердяс(ь) на меня, послала робенка к шептуну-мужику. И я, сведав, осердился же на нея, и межъ нами прях велика стала быт(ь). Младенец пуще занемог: рука и нога засохли, что батошки (...) А я ожидаю покаяния ея... а богъ пущи угнетает, робеночек на кончину пришелъ... Потом и бол(ь)нова принесли и положили пред меня, плача и кланаяся. Аз же, воставъ, добыл в грязи патрахель и масло с(вя)щенное нашолъ. Помоля б(о)га... помазаль маслом во имя Х(ристо)во и кр(е)стомъ бл(а)гословиль. Младенец же и здрав паки по-старому сталъ...» (Пустозерский сборник, 37–38).

В Сильвестровом «Домострое» также не рекомендуется использовать медицинские средства: «Аще Богъ пошлет на кого болезнь или какую скорбь, ино врачеватися божиею милостию, да слезами, да молитвою, да постомъ... и вода святити... и маслом свящатися... тем целба всяким различнымъ недугомъ от Бога получить» (96). «И паки Господь наказуя и обращая к покаянию, якоже и долготерпеливаго Иова искушая, посылая различныя скорби и болезни, и тяжкия недуги, от духов лукавых мучение, телу согнание, костемъ ломота, стокъ и опухоль на все уды, проходом обоим заклад и камень во удахъ, и глухота, и слепота, и немота, в утробе терзание, и блевание злое, и на низъ во оба прохода кровь и гной, и сухотная, и кашель, и главоболение, и зубная болезнь, и камъчюгъ, и френъчюги, и расслабление, и трясение, и всякие тяшкие раз-

личные недуги – наказание гнева Божия». И потому несправедно, когда «сия вся своя грехи презрехомъ... и призываемъ к себе чародеевъ и кудесниковъ, и волхвовъ, и всякихъ мечетниковъ и зелейниковъ» (98–100). «Идеологически» Сильвестр согласуется с агиографией, но ориентация на читателя, который будет искать в «Домострое» будничных советов, неожиданно санкционировала «низовые» формулы перечислительного именованья, очевидно, ассоциировавшиеся с «медицинской» тематикой.

Определение житийного жанра как «высокого» подразумевает уважаемый статус и соответствующий стиль, но отнюдь не элитарность. В противоположность литературе классицизма агиографические произведения – одновременно «высокие» и массовые: они адресованы всему народу и сами испытывают воздействие культуры «безмолвствующего большинства». Сакральные исцеления – не только поучительный пример того, «как лечиться», но и весомое доказательство святости мощей. «Чудеса, – пишет Г.П. Федотов, – вообще являются главным основанием для канонизации, хотя и не исключительным»¹². Понимание святого как борца с болезнями сближает псевдохристианские магические тексты и жития, потому и популярны они в одной среде – на уровне «приходского», «узкоместного» православия. «На Руси, как, впрочем, и во всем христианском мире, народное почитание обычно (хотя и не всегда) предшествует церковной канонизации»¹³. Местночтимым святым был долгое время Нил Сорский – может, по этой причине связанные с ним чудеса так конкретны. Его образ излечивал «болезновашую очами»; «персть» от гроба, если ею обтирались, спасала от отравления «змиями»¹⁴.

Целительность мощей была одной из тем религиозной полемики XVI в. В «Слове третьем» митрополит Даниил, очевидно, адресуясь к еретикам, напоминал: «...мощей святых истинных угодников Христовых и яко по истине от Бога освятительну и целебную приемше благодать недуги отгоняти, и болезни исцеляти...» (9). Максим Грек отстаивал «честныя образы» в «Слове о поклонении святых икон противу явьшагося в немцехъ иконоборца Лютора»: «Слепым убо сущим зрение даруют, глухим еже слышати, гугнивым еже свободно глаголати, хромым еже ходити, и в кратце изрещи всякий недугъ, и всяку болезнь благоверных исцеляют» (250). Кстати, прием перечислительного именованья в

данном случае – чисто риторический, т. е. здесь не имеет магической функции, как и в «Сказании о Борисе и Глебе» (298), «Житии Георгия Нового» (544), «Казанской истории» (392), «Повести о Луке Колоцком» (91) и др.

Характерный пример сакральной помощи страждущему приводится в «Повести о житии Михаила Клопского» В.М. Тучкова. Этапы выздоровления прямо соотносятся с ходом литургии: «Сам же не могий двинути ни едином составом тела своего...», после кондака «больной же начят рукою двигати», после малого входа «прекрестися и встав, на одре седе», после приношения – «вста больной и ста на ногах своих» (153–154). Постепенность, как бы отдаляя свершение чуда, создает эмоциональную атмосферу ожидания торжества и уверования. К аналогичному эффекту стремился Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание» в сцене чтения Сони Мармеладовой Раскольникову евангельских стихов о воскресении Лазаря: «Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее <...> При последнем стихе: “не мог ли сей, отверзший очи слепому...” – она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... “И он, он – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же”, – мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания»¹⁵.

Несколько необычным образом акцентируется «медицинская проблематика» в «Повести о Петре и Февронии». Это житие выделяется общепризнанной поэтичностью, что обусловлено не столько своеобразием стиля автора – Ермолая-Еразма, сколько фольклорными источниками¹⁶. Для автора же существенна не болезнь Петра – ее прообраз можно найти и в мифах о змеборчестве (Тор, Беовульф, Зигурд, Тристан)¹⁷, и в легендах о женитьбе, исцеляющей от проказы («несчастный Генрих»)¹⁸, – не то, как лечился страждущий, но сам факт исцеления. Страдания Петра описаны весьма подробно, дабы подготовить читателя к тому, что мощи болевшего муромского князя станут целительными¹⁹. Потому попытки Петра обратиться к врачам («Слыша же, яко мнози суть врачеви в пределах Рязанския земли, и повеле себя тамо повести...» (213)) остаются «безнаказанными» – случай, не

характерный для агиографической литературы. Автор подходит к проблеме утилитарно: Петр желал избавиться от болезни и воспользовался помощью целителя; мощи муромского князя исцеляют, что свидетельствует о его святости; значит, исцелиться с помощью врача – не такой уж грех.

Откровенно «медицинскому» утилитаризму Ермолая-Еразма сродни «Указ» патриарха Филарета (1625), прямо ставящий святость мощей в зависимость от наличия целительных свойств: «Надобно петь молебны, носить святыню ту к болящим, возлагать на них и молить Бога, чтоб он сам открыл о ней истину»²⁰.

Святость, порождающая дар исцеления, метафизична: в избранных случаях она проявляется до смерти праведника. Так было с Агапитом, князем Святошей. В частности, даром исцеления обладал Сергей Радонежский: «Человекъ некий, живый въ окрестных местех близ обители святого, случися ему болезнь тяжка зело, яко въ двадцати днех трудно боляще, ниже пищи, ниже сну причастится... Святой же, возьмъ священную воду и молитву сътвори, покропи болящаго: абие в той час разуме болный, яко облегчися болезнь его. И по мале часе в сонъ сведень бысть многъ, въ еже в болезни безсоние исполнити; и тако здрав бысть, пищи от того чяса причащася» («Житие Сергия Радонежского», 398).

Протопоп Аввакум также сообщает о присущем ему даре исцеления как об очередном свидетельстве истинной праведности: «Он же наказанъ гораздо, не могъ встати. И я поднял, и положил ево на постелю, и исповедал, и маслом св(я)щ(е)нным помазал, и бысть здрав» (Пустозерский сборник, 21). И хотя здесь источник чудодейственной силы – Бог, но медиум – «огнепальный протопоп». «Ко мне же, отче, в дом принашивали м(а)т(е)ри деток своих маленьких, скорбию одержимы грыжною. И мои детки, егда скорбели во младенчестве грыжною жъ болезнию, и я маслом помажу священным с молитвою презвитерскою чювьства вся и, на руку масла положи, вытру скорбящему спину и шулпятика. И Божиюю благодатию грыжная болезнь и минуется» (Пустозерский сборник, 69).

Сходный эпизод есть и в «Житии Петра митрополита». Автор, митрополит Киприан, подобно Аввакуму, не исключает обращения к собственному опыту: помолившись св. Петру, он исцелился. Но вместе с тем исцелитель не сам агиограф, а прославляемый святой (215).

* * *

Рассмотрев три варианта ответа на вопрос, как лечиться, стоит отметить, что произведения «низкого» и «высокого» жанров (отреченные «молитвы» и лечебники, с одной стороны, и жителя – с другой) хоть и предлагают различные способы исцеления, но при этом основываются на подразумеваемом представлении о здоровье как благе. Иначе говоря, произведения «низкого» и «высокого» жанров, различно отвечая на вопрос, как лечиться, дают один ответ на вопрос, «что есть здоровье». Причины такого единства вполне объяснимы. Убеждение в том, что здоровье – самодовлеющая ценность, характерно для сознания «безмолвствующего большинства». Массовый читатель в «христианской словесности» ищет прежде всего соответствий своим убеждениям, агиограф же воздействует на сознание читателя, применяясь к нему, а не стремясь изменить радикально. Но, основываясь на едином понимании здоровья как безусловного блага, произведения «низких» и «высоких» жанров предлагают порою различные ответы на вопрос, «что есть болезнь».

Для «безмолвствующего большинства» вопрос этот носит чисто практический характер. Болезнь – состояние, противоположное здоровью, и коль здоровье – благо, то болезнь – безусловное зло, необходимость борьбы с которым очевидна. Однако христианская система ценностей обуславливает и другой ответ, жестко противопоставляющий «высокие» жанры «низким». Утрата здоровья – в воле Божией, а значит, болезнь – своего рода знамение. Игнорируя его, безоглядно стремясь к исцелению, христианин рискует ради возвращения одной ценности утратить другую, не исключено, что более значимую.

Утрата здоровья может изображаться как последнее предупреждение о том, что некими конкретными поступками или же отказом от них персонаж гневит Бога, и в подобной ситуации надлежит не к врачам обращаться – излечится лишь тот, кто внял призыву Божьему. Например, в «Повести о Николе Заразском» у женщины, по незнанию препятствовавшей исполнению высшего предначертания, «абие раслабе все уды и телеси ея, и быша, яко мертва, и недвижима, – едино дыхание в персех ея бяше» (180). Предупреждение было понято, она исправилась и выздоровела. «Севернорусский летописный свод» 1472 г. сообщает,

как князь, пренебрегший советами не обращаться к врачам, «разболеся» (430). Кто «ни к кому нравом своим не лукав», изрекает в «Послании Михаилу» стихотворец справщик Савватий, «того ради душою и телом бывает здрав» (196). Аввакум (как обычно, доказывая «житийность» своей жизни) сообщает, что «докучал» Богу просьбами обратить упрямого грешника, и Господь послал тому знамение: «Рука и нога у него же отсохли, в Чюдове ис кельи не исходит» (Пустозерский сборник, 36). Старец Елифаный так же строг, как Аввакум, но – к себе. Описывая телесные страдания, которые довелось испытать в заключении, он «со слезишками» сетует не на жестоких тюремщиков, а на собственную греховность. Почти радуясь недугам, соузник Аввакума изображает болезнь при помощи деталей, не просто конкретных, но натуралистических. «И от всех сих темничных озлоблениих, и от пепелу, и от всякия грязи и нужи темничныя, помалу-малу начаша у мене глаза худо глядети; и гною стало много во очех моих; и я гной содираль с них руками моими. И уже зело изнемогоша очи мои, и не видел по книге говорить... И некогда бо ми возлегшу на одре моем, и рекох себе: “Ну, окаянине Елифане! Ель ты много, пил ты много, спал ты много, а о правиле келейном не радель, ленился и не плакал пред богом из воли своя. Се ныне – плачи и неволею слепоты своя...” И инаго подобно сему рекох себе из глубины сердечныя со слезишками» (Там же. 131).

Недуг может быть не только предупреждением, но и непосредственной карой. В «Сказании о Борисе и Глебе» Святополк Окаянный «приятъ възмъздие отъ Господа, яко же показася посланая на нь пагубная рана...» (296); по «Временнику» Ивана Тимофеева после похода другого тирана, Ивана Грозного, на Новгород Бог «болети неисцелно ему сотвори» (14). В «Повести боярина Петра Бориславича» (XII в.) есть замечательное описание смерти Владимирки Галицкого. По этому описанию можно точно установить болезнь, которой он заболел (инсульт), и приемы ее лечения (Владмирку сажали в теплую воду – «укроп», делали ему теплые ванны). Но при всей точности отдельных деталей в конечном счете это – описание чуда: Бог покарал Владимирку Галицкого болезнью и смертью за его насмешки над Петром Бориславичем²¹.

В «Житии Авраамия Смоленского» (XIII в.) вспоминается, какая судьба постигла гонителей Иоанна Златоуста: «...овии на-

прасную смерть приимаху, инымъ же прыщие сипиа по ногамъ бывааху, проседающеся, напрасень огнь, свыше снадь, руце и нози усуши, иному же нога обетрися и нача гнити, и претираемей ей, яко отъ тоя и другой тотъ же вредъ прияти, и въ три лета едва душу испусти, иному же языкъ яко затыка въ устьехъ быше», «лономъ бо ей кровь грядаше, и потомъ бысть смрадъ, и черви пороуди» (86). В летописном рассказе смерть самозванного митрополита Митяя-Михаила впрямую обусловлена Божьей волей²². В «Житии Иосифа Волоцкого», составленном «неизвестным», «инии же лютыми болезнями и нестерпимыми томлении от недугъ и гноевъ и червей точение на дни и месяца удручаема, душа своя извергоша...» (35); (ср. в «Житии Иосифа Волоцкого» Саввы Крутицкого (73–74)). Эпизод из жития вождя иосифлян вполне отвечал его собственным представлениям: в «Слове об осуждении еретиков» он с радостью напоминает, как Епифаний Кипрский «Астия еретика словом нема сотвори» (342); в «Просветителе» повествует о судьбе одного из «жидовствующих» – Истомы, который «съгни, и чрево его прогни. И призва к себе некоего врача, он же увидевъ сказа ему, яко божественный гневъ есть, и неисцельно человеческимъ врачеванием, и тако много мучимъ, изверже скверною свою душу» (44). В тучковском «Житии Михаила Клопского» «от слова святаго ужасошася, и в недуг тяжек оба впадоша, яко ни языком глаголати им възмощи» (148). В «Повести о семи мудрецах» «болезню велию» наказуется Поликрас, убивший из зависти внука Галиянуса (221–222).

Отличительная черта древнерусской литературы – «постоянные аналогии из священного писания», которые позволяли рассматривать жизнь изображенных персонажей «под знаком вечности, видеть во всем только самое общее, искать во всем наставительный смысл»²³. «Образцовые» злодеи воспроизводят в своих страданиях муки новозаветных Ирода и Иуды. В Библии о смерти Ирода поведано лаконично, однако древнерусский читатель мог узнать подробности из известного с XII в. перевода сочинения Иосифа Флавия «История Иудейской войны»²⁴. По списку XVI в. эпизод выглядит так: «Огнь бо бысть ему без пристани. И сврабъ нестерпимый, и в костех часто бодение бываше. Нозе отекоста, и окаменеста вънутрянная вся. Тайный же удъ исполнися смрада, и гноя, и чрвии. Душа же его стояше в персах и тяжко дыхание.

И вси уди его безпрестано съдрыгахуся. Око бо Божие невидимо призре на грехы его <...> Онъ же, борясь с тацями страстьми, но обаче живота чаама, и избыти надеяся, и лечбы искаше» (240). В описании болезни папы Римского из «Повести о белом клобуке» или императора Феофила из «Книги о св. Троице» Ермолая-Еразма Ирод не называется, но узнается. «Папа... рыкнув болезнено и опусне лицом и в болезнь впаде <...> И распали вся плоть его и седоша на лоне его две болячки на обеих частях. И от тех разыдошася болячки по всему телу его от главы и до ногу его. Очи же развращение имея и кричаще беспрестани великимъ гласомъ и нелепая глаголаше, и исходящую из него мотылу руками своими хваташе и во уста влагая ядыше <...> он же аки пес ухвати зубы своими плать онъ и вотче себе в горло, и абие отече плоть его и расседеса весь, бе бо дебел плотию поганый» (220–222). Император Феофил «бысть чревным недугом объят рассторгнути ся хотяше, и уста его отверзоша, яко и внутренни его являтися» (55). В «Казанской истории» (XVI в.) прототип мучительно недугующего деспота именуется: «И Махметъ-Аминь житие свое скончавъ, живъ червьми снененъ бысть, яко детоубийца Иродъ, не исцелевъ от врачевъ, и отъиде в вечный огнь равно мучитися с нимъ» (340). В «Послании к некоему горду и величаву» Антоний Подольский призывает адресата: «Помяни, за что окаянный Ирод жив червми сненен // И такожде во дно адово сведен» (109).

Иуда, согласно Деяниям апостолов, «проседеса посреде, и излияся вся утроба его» («Острожская Библия»). Максим Грек детализирует в «Сказании на Аполлинария»: «предателю... вся утробу свою погубившу, сиречь печень, плючо, селезень и вся кишки...» (125). Черты мучительной смерти Иуды различаются в том же папе Римском из «Повести о белом клобуке» («расседеса») или в предателе из «Повести об убиении Андрея Боголюбского» (XII в.), который «надувся», «яки кнея, и переседеса на полы» (280).

Еще одна «моделирующая» болезнь – злоключения Иова, правда, здесь речь идет уже не о болезни-предостережении, а о болезни-испытании. В этом контексте Иов упоминается в «Домострое» (98) и в редакции конца XVII – начала XVIII в. «Повести о Петре и Февронии»: «И от тоя крови у великого князя Петра разгореса плоть его и бысть струп и гной лют зело, яко на блаженном Иове» (289).

Особое место среди болезней, изображаемых в древнерусской литературе, занимают страдания, связанные с беременностью и родами. Это обусловлено их очевидной для Средневековья соотношенностью с образом Евы. Как праматерь рода человеческого ее весьма почитали, но, почитая, помнили и о проклятии Божиим, ее настигшем: «въ болезнех родиши чада» («Острожская Библия»). Потому, сочувствуя женщине, церковь полагала ее страдания неизбежными и даже необходимыми – в качестве напоминания о первородном грехе. В молитвах, сопровождавших крещение, упоминались вольные и невольные прегрешения и одновременно возносились просьбы об облегчении страданий и скорейшем «исправлении». «Измарагд» (XVI в.), цитируя Иисуса, сына Сирахова, призывал: «Не забывайте труда матерня и еже о детех болезнь и печаль... не можеш... тако же о нею болети, яко ж она о тебе» (178). Поэт приказной школы – «сын Стефана Горчака» – в «Послании к матерем» подхватывает поучения «Измарагда»: «Егда еси, государыня моя, меня, грешнаго, во чреве своем носила, // тогда многие скорби и болезни в себе обновила» (145). Эта благонравная мысль повторяется в стихотворении многократно, хотя отчасти компрометируется откровенной расчетливостью: «И ты, государыня, еще покажи свою щедрость» (149).

Образы беременности и родов неожиданно используются в «Повести о царице Динаре». Здесь женщина-грузинка побеждает мужчину-перса и рассуждает о делах государственных нарочито «по-женски». В частности, план сражения с иноверцами она излагает, обращаясь к символическим, так сказать, «гинекологической»: «...яко болящия жене приближается родити, и пребывает в великом разстоянии тела своего, тако же и персом в великом истомлении» (98). Не случайно и то, что женщине, противоборствующей мужчинам, оказывает небесную помощь тоже женщина – Богоматерь, покровительница Грузии²⁵. Разумеется, в «Повести» речь идет не об «уравнивании» в правах мужчин и женщин: очевидная парадоксальность образов и ситуации – аргумент, подтверждающий, что небесное заступничество выше любой земной силы.

«Божественное» происхождение болезней – доминирующее представление средневековой культуры – согласуется с «учением о влагах» (учением о балансе в человеческом орга-

низме четырех видов жидкости), популярным среди древнерусских книжников²⁶. «Поучение» Моисея, игумена Антониева монастыря (XII в.), гласит: «...да аще вся та похотения деяти будеть, без времени и без меры, то грехъ будеть в души, а недугъ в телеси. Недугъ всь ражається в телеси человеци в кручине, кручина же съсядеться от излишнаго пития и спания, и женоложья иже без времени и без меры. Кручины же три в человеце, желта, зелена, черна, да от желтое огньная болезнь, и от зеленое зимная болезнь, а от черное смерть, рекше души исходь <...> того же недуга бог не створи, нъ самъ в себе стваряетъ недугъ безвременнымъ деяниемъ и безмернымъ, и самъ ся осужаетъ в муку. Аще ся не покаеть, ни встыгнеться от того» (401–402). Сочинение «О земном устроении» излагает то же учение и почти теми же словами: «Познавают же непщевания и вины болезнень, пръвее убо, от възраста: аще бо отроча есть боляй, кровь есть виновна; аще ли юноша, – чръная жлъчь; аще ли старь, флегма есть оскръблеущиа. Второе же, познавается и от времени вина: аще убо пролетное время есть, кровь есть повинна; аще ли же есень, чрънаа жлъчь есть повинна; аще ли же зима, мокрота есть повинна» (194). «Назиратель» (XVI в.), практическое руководство по экономике, содержит предостережения по поводу обращения с колодезной водой на основе «Учения о влагах», отношения «влаг» с первоэлементами и временами года (220–221). В древнерусских текстах медицинская доктрина, восходящая к Гиппократу и Галену и трактующая причины недугов с «научной» точки зрения; превращается в риторический топос, символ гармонического всеединства мира, демонстрирующий: Бог создал должное – норму, меру, человек же, предаваясь излишествам, сам наводит на себя Божий гнев и кару.

* * *

Приходя к выводу, что источник болезни – Бог, а врачевание – противление воле Творца, средневековый человек задумывался над тревожным вопросом: «Надо ли лечиться?» И, пожалуй, самый последовательный ответ – отрицательный. Слово 35 «Киево-Печерского патерика» рассказывает о блаженном Пимене, который «болезнь родися и възрасте, и того ради (!) недуга чисть бысть от всякыа скверны» (598).

Если патерики научают примером, то Нил Сорский прямо формулирует сходные принципы в «Предании и Уставе»: «В молитве претерпевающе и не скоро вѣтаи, пренемогания ради болезненаго и уму разумнаго въпитиа, и пророче слово приводить, яко болящей и хотящей родити, болезновати, и святаго Ефрема глаголюща: боли болезнь болезнено, да мимо течеси суетных болезней болезни. И повелевает, преклонився рамены и главою боля, многожды терпети съ желаниемъ...» (242); «и въ всехъ уде-сехъ болезнь в сладость прелагающе» (78). Нил Сорский считал должным быть «къ всяком болезни терпелива» (60). (Не случайно один из исследователей констатировал, что Нил Сорский уклоняется от патристического «нормального человека», в котором предполагается равновесие здоровья²⁷.)

Жестко и непримиримо идею спасительного недуга отстаивал митрополит Даниил. Как отмечалось, отличительная черта его стиля – пристрастие к цитатам из Афанасия Великого и Анастасия Синайского, практически пропагандировавших душеполезность мучительной смерти от болезни: «...много бо спасение обретают, иже горкою смертию тела отлучающесея»; «...яко множицею и мужие благочестивии мучятся прежде смерти или на смерти, яко да и мы, зряще, убоимся и уцеломудримся, паче же и святии, иже мал некак недостаток имуще, таковем мучением, иже на смерти, свершене очищаются и непорочни отходят, грешници же мирне и въскоре издышуть, яко да и тамо, отшедше нестерпиму всяко примут муку»²⁸. Именно под таким углом зрения толковал «болезнь Иова» Франциск Скорина в своей «Библии»: «В сих книгах открыл ест нам бог великие тайны святым Иовом. Напервей, чего ради господь на добрих и на праведных допускает беды и немощи, а злым и несправедливым даетъ щастье и здравие...»²⁹

Зиновий Отенский в антиеретическом трактате «Истины показание», построенном в катехизисной форме, также ставит вопрос о сущности болезни и уместности лечения: если образ Божий во всех, то почему одни от природы здоровы, а другие «впадают в недуги»? Избегая прямолинейного (и в основе гностического) противопоставления грешной плоти чистому духу, ученик Максима Грека отвечает: все подверженное болезни – от Бога, а «страстями недужными тление» обусловлено «нетлением греха ради, преслушания же и смерти» (281). Также и Антоний Подольский в Слове 1

«Послания к некоему» назидательно указывает, что болящему «бывает гроза», если тот «не рачил себе добрых дел творити», а выздоровевший, к сожалению, забывает о благих помыслах и раскаянии (42). Сходный лейтмотив пронизывает «Молитву Господу Богу благодарную и песнь плачевную» Евфимии Смоленской. «Благословен еси, Боже, // твориши, что тебе гоже, // легко раны нам налагая, // сим к воли своей нас притягая, // малым жезлом наказуя, // струпы грехов исцеляя...» (265).

Болезнь не только открывает путь к искуплению грехов, но и прямо выводит в ноуменальный мир и становится условием мистических прозрений. В «Повести о первом патриархе Иове» (сер. XVII в.) читатель узнает, как с одним из действующих лиц «случилась» «болезнь люта зело и в той зелной болезни изступи ти ума, и в той болезни явися ему...» (941).

Итак, болезнь – благо, если, напоминая о смерти и даруя возможность подумать о совершенных грехах, она делает «человека болеющего» причастным мистическому общению, «общению» с Богом. При таком подходе выздоровление оказывается весьма сомнительной целью. Но чистый, беспримесный спиритуализм – для культуры «бремя неудобноносимое», и литература, не ставя под сомнение духовность – основную доминанту Средневековья, предполагает ряд исключений.

Игнорируя «культ болезни», на недуги не обвиняясь сетуют авторы духовных грамот. «Вижу убо, – пишет Иосиф Волоцкий, – яко лета уже къ старости приближишася, впадохъ убо въ частыя и различныа болезни, и ничтоже ино возвещаючи ми, разве смерть и страшный Спасовъ судъ...» (524). Согласно с преподобным жалуются Иван Грозный в «Завещании»: «...ум убо острюпись, тело изнеможе, болезнует дух, струпы телеснова и душевна умножишася, и не сущу врачу, исцеляющему мя...» (524). Мужественный воевода, дерзкий оппонент Ивана IV А.М. Курбский столь же аффективно повествует о скорбях, одолевающих его на старости лет, в «Истории о великом князе московском»: «...уже во старости немощнымъ теломъ сущу, бывшу ми паче же бедами и напастыи отъ ту живущихъ челоукоу и всякими ненавистыи объяту» (275).

Акцентируются недомогания, страдания и в посланиях. «И от тоя ночи студении и нынеча стражу» (430), – сетует мит-

рополит Киприан в «Послании игуменам», обращаясь к Сергию Радонежскому и Федору Симоновскому. В предсмертном «Послании» Василию III Иосиф Волоцкий, прося назначить себе преемника, в то же время изображает свое печальное состояние: «Божиа, государь, воля състалася над мною грешным, послал Господь Бог немощь, уже, государь, с одра встати не могу, ни в церковь дойти, а братью, государь, ни духовне ни телесне не могу управляти» (239). «Множае бо житиа моего, – пишет “господину и брату Георгию” Максим Грек, – в болезнехъ и недужехъ различныхъ прохожу» (424). «Письмо» XVI в. Андрея Квашнина (или Нила Полева) бесспорно опирается на сложившуюся традицию «недужных lamentаций»: «...о владыко, тебе тяжкаа и лютаа целити остало есть – не могу, господин мой, комуждо, яко же прилучися, обнажити язвы души мояа...»³⁰ (ср. в «Послании» Федора Карпова Максиму Греку: «Азь же ныне изнемогаю умомъ, во глубину впад сомнения, прошу и мил ся дею, да мне некая целебная присыплеши и мысль мою упокоиши» (502). Пространно живописует свои недомогания князь И.М. Катывев-Ростовский в трактате «На иконоборцы и на вся злыя ереси»: «Бе же болезни зело протяжене, бывше руце оцепеневая, кровныя источники пресыхая мозгъ от дыма стомахова помрачаяся оскудевание плоть, оскудеваше и имение: не оскуде болезни злость <...> Тако пребывающе умудревахъ, и ничто от своего любомудрия и отъ внешнихъ врачъ приялъ ползы...» (169–170).

Коррелят сетований на здоровье отправителя – пожелание здоровья, «здравствовать» во всех смыслах, адресату. Иосиф Волоцкий, столь ярко рисовавший собственное бедственное положение, в «Послании» молит Бога о здоровье корреспондента – архимандрита Евфимия, вспоминая слова апостола Иакова: «друг за друга молитесь, да исцелите» (154); митрополит Макарий в бытность архиепископом в «Послании» митрополиту Даниилу выражает сочувствие, слыша о «великих скорбех и о нестерпимых... частых в телеси болезнях» (60). Постоянно в «Посланиях» выказывает заботу о здоровье корреспондента Максим Грек (105–107) и старец Елеазарова монастыря Филофей (кстати, протестовавший против исключительно медицинских способов борьбы с эпидемиями): «Здравствуй, господине, на многие лета о Христе. Аминь! Ко мне же о своемъ здравии отписывай» (35). «Усерднее

инех, – почти экстатически взывает князь Федор Шелешпанский в “Послании князю Симеону Ивановичу” (Шаховскому), – здравия твоего слышати желаю» (106).

Заботы о здоровье – собственном или адресата – санкционированы в «духовных» посланиях, ранее – в формулах, принятых в русском домонгольском посольском обычае³¹, т. е. в «практических», «низких» жанрах. При этом «низкий» в жанровой иерархии вовсе не означает «низкий» в сословно-социальном смысле, как и «высокое» в средневековой литературе не исключает массовое. Ценности, основополагающие для «практических» жанров, бесспорно вторичны по сравнению с выраженными в житиях или проповедях, но надобность в «Посланиях» и т. п. испытывают люди образованные – книжники или те, кто принадлежит к верхам древнерусского общества.

Средневековую письменность (и читателя) отличает специфическое отношение к болезни высокопоставленных светских и духовных лиц. Для человека, живущего при власти «традиционного типа» (по терминологии М. Вебера³²), с ее мифологизацией личности владыки, здоровье сюзерена – вопрос не только насущных забот (недуги феодала часто не лучшим образом сказывались на подданных), но и символический залог собственного преуспевания. На Западе считалось, что французские и английские короли даже обладали чудесным даром исцеления золотушных³³, т. е. король воспринимался как источник здоровья. На Руси в «Слове похвальном инока Фомы» (XV в.), где великий князь тверской Борис Александрович в опережение московского собрата именуется «самодержцем», автор возглашает: «...мы же повсегда трапезе его съпричастници быхомъ и его здравиемъ в велицей тишине пребываемъ...» (278); «...и отвсюду себе честь и веселие привлагаючи твоимъ здравиемъ» (284). В «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков» (80-е гг. XVI в.) эпитет «здоровый» постоянно, прямо-таки с нажимом (возможно, «от обратного» – по причине неотвратимо надвигавшегося кризиса) прилагается к «государю» Ивану Грозному и его воинам. «Царь государь, добръ, здоров, славен, победитель» (404), «здравый высокия победители» (418); «и паки все здоровы во Псков со одолением многим и з безчисленным богатством возвратишася» (450); «...и здравы на Рускую землю возвратишася с великим

богатством и пленом» (468); «Государь же о своей вотчине, о граде Пскове, благодравное и христианское над Литвою победительное, такоже и короля литовского от града Пскова срамом бежательное слышав» (472) – этому гимну здоровья, словно распространяющегося сверху вниз по социальной лестнице, противопоставлено бедственное положение врага: «Сии же начало своим болезней предпоказаваше, беготворным образом всяческии начинаше» (428).

На таком эмоциональном фоне понятна истерика Ивана Грозного в первом «Послании Курбскому», где спустя много лет вспоминается о врачах, не сумевших помочь царице: «Како убо воспомяну, иже во царствующий град с нашею царицею Анастасиею с немощною от Можайска немилостивное путное прехождение? <...> Молитвы же убо и прехождения по святым местом, и еже убо приношение и обеты ко святыне о душевном спасение, и о телесном здравие, и о всем благом пребываша нашем и царицы нашае и чад наших, и сия вся вашим лукавым умышлением от нас отнюдь взяшися, врачевстей же хитрости, своею ради здравия, ниже помянути тогда быше» (33).

Убежденностью в святости, общепользности своего властительского здоровья, очевидно, обусловлено неослабное внимание князей к медицинской «хитрости». Лечебная тематика присутствует в «Изборнике» 1073 г., написанном для великого князя Святослава Ярославича (сам он, кстати, умер после хирургической операции), дочь великого князя Зоя-Евпраксия Мстиславовна изучала в Константинополе Гиппократ и Галена и составила по-гречески трактат «Мази» («Аллима»³⁴), да и вообще в Средние века к услугам врачей регулярно обращались князья и княжья родня³⁵. Где княжья милость – там и беда: в 1483 г. лекаря Антония Немчина головой выдали татарам за неудачное пользование царевича Каракача, в 1490 г. обезглавили лекаря Леона за нikuдышное целение подагры наследника Ивана Ивановича³⁶.

Особое место в древнерусской литературе занимает изображение «князя болеющего» на смертном одре. По традиции князю на смертном ложе надлежит вести себя сообразно социальному статусу, т. е. этикетно. Заболев, князь, как ему и положено, обращается к врачам, затем, осознав, что болезнь, вероятно, неизлечима, отдает последние распоряжения, касающиеся дел государст-

венных, после чего, отрешась от дел мирских, тем более от забот о собственном здоровье, безропотно принимает выпавшие на его долю страдания и умирает. Эта схема отчетливо прослеживается, например, в «Повести о болезни и смерти Василия III» (20–42): «И явися у него мала болячка на левой стране, на стегне, на згибе, близь нужного места, з булавочную голову; верху же у нея несть, ни гною в ней несть, а сама багрова». Исстрадавшийся великий князь обращается к земной мудрости, к врачам: «и повеле же... прикладывати масть к болячке, и нача из болячки итти гною помалу и поелику болши, яко до полу таза и по тазу». Боль от раны все мучительней, гной зловонен, и, смирившись, Василий III распоряжается княжеством и постригается в монахи. Только тогда, после разрыва с земной мудростью и обращения к долгу и заботам о душе, дается ему некая награда: «По приставлении же его от рани духа не бысть, и исполнися храмь той и благоухание». Этикетно-христианское поведение князя, забывающего перед смертью о лечении и занимающегося государством и душой, изображает «Сербская Александрия» (XV в.): «“Можеши ли от смерти избавити, Филиппе?” – обращается Александр Македонский к врачу. – Филипп рече к нему с плачем: “О всего света царю, идеже хочеть Богъ, побежается естества чин, да не возможно ми есть помощь дати, понеже ядовитая студень преодолевает сердца твоего теплоту. Но сие помощи ти могу, три дни живь будеши, дондеже вся царства урядиши земская”» (168).

Тенденция к этикетности, т. е. модельности в описаниях поведения умирающего князя, соседствует с тенденцией к точности, когда речь идет о самой болезни и сопутствующих ей страданиях. «Последние дни и часы жизни князя летописец описывает подробно, придавая иногда значение всякой мелочи»³⁷. И это вполне понятно: изображение недуга, вошедшее в летопись, функционально соответствует официальному некрологу – государственному документу. Потому на основании летописных данных медики в ряде конкретных случаев ставят диагнозы, подтверждаемые результатами археологических изысканий³⁸. Например, определено, что Кирилл, епископ Ростовский, скончался в 1229 г. от акромегалии – «боляше бо внутренею, лице бо его бе изменилося и почернело, а устне и нос отолсте»³⁹; князь Владимир Василькович Волынский – в 1239 г., как явствует из «Галицко-Волынской лето-

писи», от злокачественного новообразования в челюсти: «нача ему гнити исподняя устне, первого лета мало, на другое и на третьее болма нача гнити», на четвертый год «опада ему вся мясо с бороды, и зубы исподний выгниша вси, и челюсть бороднаа перегнила бяшет, и бысть видети гортань» (402–406).

Стремление к точности обусловлено еще одной функцией летописи: правильное и праведное поведение князя в болезни и пред лицом смерти – аргумент в пользу канонизации. Каждый умерший князь или духовный иерарх, по Г.П. Федотову, потенциальный объект культа, а рассказ об их смерти – житие, где болезнь – последнее испытание⁴⁰. Соблюдение этикетных, светских правил, в частности на смертном одре, манифестирует святость. Не случайно в «повестях о болезни и смерти великого князя», о существовании традиции которых утверждал С.О. Шмидт⁴¹, «низкое» смыкается с «высоким»: документальное повествование о болезни приобретает агиографические признаки. В «Житии Феодосия Печерского» (384–386) озноб и жар (преподобный страдал от пролежня) не мешают распорядиться о преемнике⁴². Сходным образом краткие сообщения «Повести временных лет» о смерти великих князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича сосредоточены на их подобающих чину распоряжениях (144, 174–176). Этикетно умирающий князь – средствами стиля – уподобляется святому, что проявляется, например, в «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», которое, по мнению исследователей, должно было способствовать канонизации куликовского победителя. «И после разболеся и прискорьбен бысть велми. Потом же легчае бысть ему. <...> И паки впаде в болшую болезнь, и стенание прииде к сердцю его, яко торгати внутрьнимь его, и уже приближися к смерти душа его» (214–216). В «Послании Спиридона-Саввы» сцена еще более назидательна, и князь прямо превращается в монаха: «...Олгерд в недуг впаде, и нача изнемогати к смерти, и детем своим начат ряд покладати...», по исполнении долга властителя княгиня и архимандрит Давид «сподобляют» его «святого крещения» – постригают в монахи, «инок же Алексей, прежереченный Олгерд, скончевает житие в черьнцах и в схиме» (169).

Таким образом, акцентированная забота князя о своем здоровье оказывается функцией социального статуса. Сложив

с себя бремя долга, князь следует образцовой модели поведения «человека болеющего» – безропотно принимает страдания в качестве возможной кары или же испытания, ведущего к общению с Богом. В логическом пределе модель княжеской болезни может полностью преобразиться в модель святого и болезнь, как у Пимена, – обернуться даром: в статье от 1074 г. Лаврентьевская летопись сообщает о кончине князя Святослава Юрьевича, который постольку был «избраникъ Божии», поскольку «от рожества и до свершенья мужства» «бысть ему болезнь зла» (366).

Помимо двух уже названных причин отказа от «культы болезни» в древнерусской литературе – жанровой специфики некоторых текстов (завещания, послания) и социального статуса «человека болеющего» (сюзерен) – следует отметить и третью: соображения чисто мировоззренческого характера, отнюдь не отрицающие доминирующего спиритуализма. К таковым, например, относятся различия в трактовке вопроса «надо ли лечиться» применительно к болезни собственной и болезни ближнего.

«Культ болезни» требует благоговейно принять как собственный недуг, так и недуг ближнего, рассматривая болезнь в качестве манифестации воли Божией, однако это противоречит идее христианского милосердия. И вот, с одной стороны, «Скитский патерик» повествует, как великий анахорет Пимен не желал исцелить заболевшего родственника (380–381), а Иван Плешков упоминает в «Повести о Нило-Сорском ските» запрет монахам лечить друг друга: «И по сих к настоятелю приходит (мирянин) и о здравии ему тех возвещает. Аще кому от братии случится в немощь впасти, то брату тому послужит, дондеже и создравеет» (17). С другой стороны, во втором «Послании Дионисию» митрополит Даниил призывает тех, кто способен исцелять, не отказываться от помощи страждущим (57–58). Аналогично в «Послании некоего старца Печерского монастыря» (вероятно, А.М. Курбскому) доказывается необходимость благотворительности по отношению к больным: «нищие не имеют никого же служащего, гноем и червьми снедаемы, к тому же и вошь и клоп и черви в постелях от мочения»⁴³.

В некоторых монастырях устанавливается система врачебной помощи нуждающимся: Феодосий Печерский, как сообщает «Житие», «повеле пребывати нищимъ и слепымъ и хромымъ и трудоватымъ» (362). Иосиф Волоцкий в трактате «Яко не по-

добает святым Божиим церквам и монастырем обиды творити» утверждает: «Церковное бо богатство <...> и сироть, и старости и немощи и в недугъ впадших» (144). Руководители монастырей не только заботились о сторонних больных, но и уделяли серьезное внимание недугующим братьям. Тот же блаженный Пимен Киево-Печерского монастыря, который спасался от грехов болезнью, вылечил одного из болевших с таким условием: «“Брате, понеже гнушаются служащие нами, смрада ради бывающего от нас, то аще вставить тя Господь, можеш ли пребывати въ службе сей?” <...> И ту абие воста больной и служаше ему, на нерадивыя же и не хотевшая служити больным всех объять недугъ, по словеси блаженнаго» (602). Забота о недугующих иноках практиковалась и поощрялась в Иосифо-Волоцкой обители. «Житие Иосифа Волоцкого» неизвестного автора поучает: «Елма же болящая братиа, служащими утесняеми <...> не вси бо могут чисто послужити и кротце понести тяжко болящая <...> яко сам боля, и чисте всем работая, яко Христови самому служа, Его же слышати внутренима ушима вопиюща присно мняшесе слово оно глаголюще: болень бехъ, посетисте мя» (16–17). «Житие» преподобного, принадлежащее Савве Крутицкому, излагает чудеса с Андреем Квашниным и иноком Исихием, которые собственными болезнями были подвигнуты к уходу за другими страждущими. Квашнин, например, «внезапу паде на землю и бысть яко мертвъ <...> И егда мало прииде въ чувство, и помавая рукою, повеле собя назадъ съ монастыря понести: бяше бо ослабе ему рука и нога, и не могый нимало приступити, ни языкомъ что проглаголати, токмо помавая здравою рукою (...) и нача языкомъ глаголати немо, несполна, яко полуязыкомъ <...> И нача тружатися, болемя по келиям ясти носити» (71–72). Установка на благотворительность – помощь неимущим и немощным – была настолько характерна для Средневековья, что наряду с другими столь же показательными установками подвергалась осмыслению по модели «антиповедения». Так, властитель Валахии Влад Цепеш – главный герой «Повести о Дракуле-воеводе» – приказывает сжечь группу нищих и недужных, дабы, как он выразился, навсегда избавить их от страданий (119).

Радеть о здоровье ближнего подобает и в прямом и в переносном смысле, и митрополит Даниил наставляет в «Посланиях»:

«Добраго же и истиннаго пастыря дело есть... соболезновати недужному овчати... и подобное врачевание и промышление противу силе приносит или телесно, или душевно... недугующих укрепляя... скорбящих подобным врачеванием обвеселяя ... поставлены... недужное врачевати» (43). Единомысленнику-иосифлянину вторит «неизвестный», автор «Жития Иосифа Волоцкого»: «Нестъ бо вреда въ врачевныхъ искусствохъ, аще и видятся различна суща... възлюбленно есть и блаженнымъ отцемъ нашимъ, многими образы и различными добродетелей нравы душа врачевати ради различныхъ обычаевъ человекомъ...» (13).

Вообще устойчивые метафоры и сравнения, присущие самым разным жанрам древнерусской литературы, аксиоматически предполагают ценность здоровья. Риторические фигуры, построенные на понятии «болезнь», всегда подразумевают ее нежелательность, но отнюдь не наоборот, как можно было бы ожидать, исходя из «культы болезни». Метафора «болезнь сердца» обозначает мучительное состояние персонажа в «Сказании о Борисе и Глебе» (288), «Повести об убиении Андрея Боголюбского» (330), «Слове о гибели Русской земли» (130), «Сказании об Евстафии Плакиде» (234), «Посланиях» митрополита Даниила (98), «Повести о семи мудрецах» (195); «туга сердечная» – в «Повести о спасении утопающего», «душевная болезнь о гресех» – у Нила Сорского (предположительно) в «О смертном воспоминании» (196) и «болезни страстей» – в «Предании и Уставе» (14); в «Слове о пьянстве» «болезню тела» называет обличаемый грех Антоний Подольский (297). «Сиче разумей, – наставляет старец Епифаний, – яко же кто огневою стражесть, в немощи вес(ь) горить, а от болезни не можетъ уйти, а тамо и сугубо будетъ болезнь: и внутрь, и вне мука грешником» (Пустозерский сборник, 100), Симеон Полоцкий в «Слове о суеверии и суечестии» уподобляет злонравие дурного общества действию заразной болезни, которая, в отличие от здоровья, передается от человека к человеку (377).

Частотны и устойчивые риторические фигуры, основанные на более конкретно-натуралистическом описании болезни. В «Пчеле» зависть – «strupь правде» (512), в «Наставлении отца к сыну» – «старость и нищета – два струпа неудобь исцелна» (498). Аналогичное сравнение содержит «Слово о женах добрых и злых», переписанное знаменитым Ефросином: «Злая жена подобна есть

перечесу» и лихорадке. То же и в «Молитве и благодарении Нила Сорского»: «И языкъ презлыми глаголами в горкий струп мне» (85). В «Послании вельможе Иоанну о смерти князя» Иосиф Волоцкий так изображает свое положение: «Тем же убо ныне и аз одръжашая злая острупленным и уязвленным сердцем обрыдоваю» (155). Максим Грек в «Ответах христианом против агарян» призывает: «Очистите убо душевныя ваша проказы святым крещениемъ... и тако будете чисты» (128). Как бы продолжая этот образный ряд, И.М. Катырев-Ростовский в трактате «На иконоборцы» рассуждает: «Хто убо стыдися многихъ струповъ и язвъ врачу исповедати, болезнующее согнитие внутреннее и обоюдныя вреды, како спасутся отъ язвъ и болезненыхъ страданий?» (169–170).

Для литературы XVII–XVIII вв. (периода своего рода реабилитации чувственности) характерно уподобление любви болезни, требующей немедленного врачевания⁴⁴. В «Повести о Лодвике и Александре», одной из популярнейших новелл из «Повести о семи мудрецах», Лодвик «абие разболеся велми, аки ко смерти, и возляже на одре и боляше», потому что взглянул на цесаревну «с великимъ распалениемъ, и разгореся, понеже бе чюдно велми обличие красоты ея» (241). В «Римских деяниях» «рыцарь Балдашской», увидев красавицу, «полюбиль ю велми и для великой милости разнемогся» (162); вариантом является ситуация, когда героиня другой новеллы «Римских деяний», огнем «любви палима», «в распалении умысли притворною болезнию улучити желание» (60). Любовь-болезнь была унаследована и «петровской повестью». Например, герой «Повести о дворянине Александре» чает лекарства от этого «недуга» (233). И совсем уж печальную шутку сыграла чувственность с протагонистом «Повести о шляхетском сыне», который умер, будучи не в силах перенести пароксизм страсти: «И толико возжеся огонь похоти, яко достиже сердце его, и тако пад и умре» (312).

Примечательно, что врач как действующий персонаж обычно посрамляется, но в тропях, где болезнь всегда оценивается негативно, отношение к врачу принципиально иное. К примеру, в «Житии Сергия Радонежского» святой – «врач» (328), «богоподательный врач» (410). Максим Грек в «Послании к желающему отрещися мира» называет алтари «врачеванием» и «исцелением» (231), апостолов в «Сказании на Исаию» (26, 20) –

врачами (30–31), а Бога в «Беседе Души и Ума» – «врачем» (71) и в «Послании царю Иоанну Васильевичу» – врачом «душамъ же и телесем» (377). Аналогично автор «Повести о приходе Стефана Батория» именуется царя «богоподобным врачом» (424), а у Сильвестра Медведева в «Вирше в великую субботу» Творец «врачует» недуги (197). Известно также, что митрополит Даниил постоянно в различных контекстах использовал слово «врач», потому наличие этого слова и родственных ему может быть принято в качестве дополнительного критерия атрибуции его сочинений⁴⁵.

В тропах фигурирует не только врач как таковой, но и его действия. Например, Федор Карпов в «Послании» Максиму Греку пишет о лечении бессонницы (502), Зиновий Отенский – о прикладывании пластыря к язвам (601). В такого рода сравнениях особенно часто упоминается хирург, вынужденный причинять страдания ради блага больного, – в «Просветителе» Иосифа Волоцкого (163–164), «Слове на латинов» Максима Грека (193), «Слове похвальном Михаилу и Федору» Льва Филолога (488), «Истории о великом князе московском» (169) и третьем «Послании» Ивану Грозному (107) А.М. Курбского. Можно также вспомнить лечебные коннотации заглавия знаменитого стихотворного сборника Симеона Полоцкого «Вертоград многоцветный»⁴⁶ или фантастический рецепт избавления от грехов «Послания иконописцу» Иосифа Волоцкого: «Взыди на гору, сиречь, в пустыню, възми корень духовный, еже есть Христа ради нищета и худость, и събери ей листвие, еже есть алчба и жажда <...> И истолци все вкупе в ступе послушания, подсей их ситом – твоим чистым и благым житием <...> и егда свариси их добре, вычерпни их лжицею, твоею тихостию и безмолвием и вкуси их...» (324–325). Тот же образ встречается в «Посланиях» Нила Сорского (5), «Слове от старчества» (21), «Аптеке духовной» (379), «Врачебнице мудрой зело». В XVII в. рецепт-небылица был пародийно обыгран в «Лечебнике на иноземцев» (95–96).

* * *

Итак, можно отметить, что древнерусская литература предлагает различные модели поведения «человека болеющего». И это не столько жесткие рекомендации, сколько системы аргументов в пользу того или иного выбора. Страждущий выбирает себе обра-

зец по силам – более или менее высокий, но в любом случае он не отрывается от христианской системы ценностей.

В XVIII–XIX вв. «человек болеющий» – по-прежнему объект пристального внимания литературы, хотя по сравнению со Средневековьем многое изменилось. В частности, медицинские книги исключены из состава словесности, а советы «как лечиться» – из сферы художественных интересов. Тем не менее основные образы и базовые модели остались. Например, древнерусское неприятие врачей подхвачено демократической словесностью XVIII в. (четыре «Интермедии» из сборника А.А. Титова (665–667, 669, 681–685, 713–718)), «Интерлюдии, или Междуброшенная забавная игрища» (468–471), «Шутовская комедия» (372–429), лубочные картинки «Точильщик носов» и «Голландский лекарь, добрый аптекарь», где доверчивым больным шарлатан-доктор предлагает лекарства, составленные по рецептам-небылицам)⁴⁷. И – парадоксально – Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. В XVIII–XIX вв. сатириками и моралистами по-прежнему используется «фантастический рецепт» (Екатерина II в «Былях и небылицах» рекламировала снадобье, состоящее из «щастия», «несщастия», «болезни», «ума», «знания», «слабости», «добра», «людскости» (77–78); «пародийные лечебники» сочиняли Н.И. Новиков и Н.И. Страхов (57–72); лубочные картинки XVIII–XIX вв. приближены к «Аптеке духовной» (53)). Пушкинская «болезнь любви» рифмуется с мотивом, знакомым по «Повести о семи мудрецах» и «Римским деяниям», зато его же «горячка рифм»⁴⁸ (ср. «высокую болезнь» Б.Л. Пастернака) – факт совершенно другой эпохи, следствие романтического культа аномальности возвышенных переживаний. В «Путешествии Евгения Онегина» герой даже «по-романтически» ощущает на курорте неловкость от собственного здоровья («Зачем, как тульский заседатель, / Я не лежу в параличе? / Зачем не чувствую в плече / Хоть ревматизма...»). Можно добавить, что на смену средневековой «моде» на проказу приходят новые – на «хандру» в пушкинское время⁴⁹, на туберкулез – в классическом русском романе (Инсаров в «Накануне» И.С. Тургенева, Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», Николай Левин в «Анне Карениной»), на сифилис – в Серебряном веке (проза А.И. Kupрина, Л.Н. Андреева).

Однако, несмотря на параллели и сближения, общий подход древнерусской литературы к «человеку болеющему» отличается спецификой, обусловленной прежде всего доминированием спиритуалистического мировоззрения. Исповедание тех же ценностей неизбежно ведет к постановке сходных метафизических вопросов. «Я не перенес в жизни никогда серьезной болезни, – повествует о. Сергей Булгаков. – И часто, особенно последнее время, я испытывал смущение, что все кругом болеют, я же всегда здоров... И это становилось особенно трудно потому, что на меня все тяжелее ложилась туча моих грехов... В своей болезни ни раньше, ни после, никогда и ни в чем я не противился воле Божией, не роптал, не просил Его о помиловании и освобождении от страданий, принимал его как неизменное и несомненное Божие определение. И в этом смысле была эта близость страшная и святая, как у Иова...»⁵⁰

Две концепции «человека болеющего» в древнерусской литературе соотносились по-разному. Во-первых, «культ болезни» мог поддерживаться в «высоких» жанрах, а забота о здоровье – в «низких» (оппозиция житий отреченным «молитвам» или посланиям). Во-вторых, возникали непосредственные споры. Так, в религиозной полемике конца XV – начала XVI в. еретики отстаивали «естественно-научное» понимание происхождения недугов (с этой средой связано бытование таких «медицинских» сочинений, как «Тайная тайных»). Иосифляне же выступали за «умеренный» вариант спиритуалистической модели: «Устав» Иосифа Волоцкого призывал помогать больным братьям и мирянам, что отчасти оправдывало монастырское «стяжание», а митрополит Даниил поощрял перевод с немецкого первого «Лечебника». «Нестяжатели» предлагали радикальный вариант той же модели, вплоть до запрета монахам помогать друг другу в случае недуга (согласно правилам Ниловой пустыни). Наконец, в Древней Руси был возможен компромисс, при котором, как и ныне, давали советы по поддержанию здоровья, хотя оно, естественно, не принималось как самоцель. С одной стороны, авторы призывают строго соблюдать пост, а с другой – оговаривают разумные пределы собственных предписаний. К примеру, Нил Сорский советует в «Послании к брату с восточных сторон»: «...полезно тебе окормлятися правилом в телесных деланиях по силе, а не выше меры» (143). Он же наставлял иноков в «Предании и Уставе»: «Аще ли же немощно и недужно (тело),

мало упокояти его, да не до конца отпадут» (42). Митрополит Даниил писал в «Посланиях»: «...пищею же и питиемъ къ здравію телеси доветися точію, а не паче потребы растерзываются и оутучневати» (101). В том же духе Симеон Полоцкий трактует тему вина («Слово в неделю 34-ю»), польза которого, оказывается, зависит от меры (автор, безусловно, учитывает апостольский текст (1 Тим. 5, 23) и сакральные коннотации – употребление вина при таинстве евхаристии).

Наряду с благоразумным, «практическим» древнерусскими авторами предлагался созерцательно-мистический путь преодоления антиномии «культ болезни» – «забота о здоровье». Сильвестр Медведев в «Письмах» изображал Царство Небесное, «идеже несть болезни, ни печали... но любовь совершенная, радость непрестанная, здравие целое, веселие всеутешное» (15; ср. в «Апокалипсисе»: «ни плача ни вопля ни болезни не будет», «Острожская Библия»). Но этот мир целокупного здоровья вовсе не потусторонен дольнему, так как изначально «Бог (свят) състава целомудрена вся сотвори, да съставы человеческия телесныя от муки свободить» («Толкование» на «Верую» XV в. некоего Григория, 85). Мироздание искуплено крестной смертью, и даже временное существование болезней требует объяснений (у Зиновия Отенского, 281–282). Тем, кто соблюдает христианские правила, наставлял Иосиф Волоцкий в монастырском «Уставе», «и в нынешнем убо веце даруется... здравие телесное же и духовное, и в будущем веце ждати день» (303). Предзнаменование тому – надежда беречь «въ всяком здравии душа же и тела и во мнимом житіа сего благоденствии» (498). Просиянность тварного мира целокупным здоровьем, наиболее полно выраженная в праведниках, мощах, сакральных атрибутах, – эманация свойств Творца и земное воплощение Божественного замысла.

¹ См. изображения чумы у Фукидида, Лукреция, Боккаччо, Пушкина и других. Особенно значительное влияние на европейскую культуру оказали эпидемии XIV в. Кембриджская группа по истории населения и социальной структуры, возникшая в 1964 г., специально занимается социально-мировоззренческими последствиями «черной смерти» 1348 г. (Одиссей. М., 1990. С. 173).

- ² Foucault M. Histoire de la folie à l'âge classique. P., 1961.
- ³ Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв.: Источники для изучения древнерусской медицины. М., 1960. С. 112.
- ⁴ См.: Lindenbaum Sh. Sorcerers, ghosts and Polluting Women // Magic, Witchcraft and Religion. L., 1985. P. 295–296.
- ⁵ Историки из Школы «анналов» считают возможным изучение болезней в истории человечества как имманентного ряда – каждая новая болезнь вытесняет предыдущую. См.: Grmek M.D. Preliminaires d'une étude historique des maladies // Annales. E.S.C. 1969. № 6; La nouvelle histoire. P., 1988. P. 150–153; Herzlich C. Anthropologie et sociologie de la maladie // Les approches et les méthodes interdisciplinaires de recherche en sciences sociales. P.; Bratislava, 1964.
- ⁶ См.: Eliade M. Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism. Princeton, 1991. P. 101.
- ⁷ Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 285. О «Молитвах об изгнании бесов» см. работу А.Н. Веселовского «Духовные сюжеты в литературе и народной поэзии румын» («Разыскания в области русского духовного стиха» см. совр. изд.: Веселовский А. Народные представления славян. М., 2006. С. 270–273).
- ⁸ Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 55–57; брошюра «Святые врачи и ходатаи за нас Богу» (М., 1909) называет 78 имен.
- ⁹ Слово «врач» происходит от «врать», «ворчать», т. е. его первоначальное значение – «заклинатель, колдун» (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 1).
- ¹⁰ Лихачев Д.С. Избр. работы. Л., 1987. Т. 2. С. 316–321.
- ¹¹ Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 98.
- ¹² Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 37.
- ¹³ Там же. С. 34.
- ¹⁴ Архангельский А.С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев: Их литературные труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1: Преподобный Нил Сорский. СПб., 1882. Приложение. С. 12. Ср. у Д.К. Зеленина: «...при различных заболеваниях желудка и при других внутренних болезнях утверждают, что в живот попала змея, лягушка...» (Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 286).
- ¹⁵ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 6. С. 251.
- ¹⁶ Древнерусская литература: Изображение общества. М., 1991. С. 38.

- ¹⁷ См.: *Буслаев Ф.И.* О литературе: Исследования. Статьи. М., 1990. С. 132–163; *Лихачев Д.С.* Избр. работы. Т. 2. С. 274–275.
- ¹⁸ *Яворский Ю.А.* К вопросу о литературной деятельности Ермолая Еразма, писателя XVI в. // *Slavia*. 1930. R. IX. S. 2. S. 284–285.
- ¹⁹ Ср. в «Похвале святым Петру и Февронии»: «Радуйся, Петре, яко струпы и язвы на теле своем нося, доблествене скорби претерпел еси! Радуйся, Февроние, яко от Бога имела еси дар в девственной юности недуги целити!» (222).
- ²⁰ *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. СПб., 1882. Т. XI. С. 64.
- ²¹ *Лихачев Д.С.* Избр. работы. Т. 1. С. 417.
- ²² Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Пг., 1922. Т. XV. Вып. 1. Стб. 137.
- ²³ *Лихачев Д.С.* Избр. работы. Т. 1. С. 373; ср. также: *Виноградов В.В.* О языке художественной прозы. М., 1980. С. 9–11.
- ²⁴ Н.А. Мещерский отметил, что «морализующее рассуждение о причинах болезни Ирода» добавлено при проникновении «Истории» на Русь (*Мещерский Н.А.* История «Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 55).
- ²⁵ Изображения событий из «Повести о царице Динаре» украшали палаты царицы Ирины Федоровны в Кремле (1580-е гг.), см.: *Овчинникова Е.С.* Повесть о царице Динаре в русском изобразительном искусстве // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН (ТОДРЛ). М.; Л., 1966. С. 230.
- ²⁶ См., напр., «Палею», «Шестоднев», рукопись Кирилла Белозерского (*Кузаков В.В.* Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси X–XVII вв. М., 1976. С. 295), сочинения Максима Грека, И. Гизеля, Симеона Полоцкого (*Звонарева Л.У.* Натурфилософские представления Симеона Полоцкого // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 241–243).
- ²⁷ Христианское чтение. 1895. Вып. 2–3. С. 332–338.
- ²⁸ *Клосс Б.М.* Митрополит Даниил и Никоновская летопись // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 200.
- ²⁹ Франциск Скорина и его время: Энциклопедический справочник. Минск, 1990. С. 28.
- ³⁰ ТОДРЛ. Л., 1960. Т. 16. С. 465.

- ³¹ *Лихачев Д.С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 14.
- ³² *Weber M.* Staatssoziologie. Berlin, 1956. S. 101.
- ³³ *Bloch M.* Les rois thaumaturgues. P., 1961.
- ³⁴ *Кузаков В.В.* Указ. соч. С. 287.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Там же. С. 289.
- ³⁷ *Лихачев Д.С.* Избр. работы. Т. 3. С. 61.
- ³⁸ *Рохлин Д.Г.* Болезни древних людей. М.; Л., 1965. С. 250–278.
- ³⁹ *Кузаков В.В.* Указ. соч. С. 289.
- ⁴⁰ *Федотов Г.П.* Указ. соч. С. 105–106.
- ⁴¹ *Шмидт С.О.* Русское государство в середине XVI столетия. М., 1984. С. 236.
- ⁴² Ср. также знаменитое описание этикетной смертной болезни иерарха в «Рассказе о кончине Пафнутия Боровского» (428–510).
- ⁴³ *Скрынников Р.Г.* Переписка Грозного и Курбского. Л., 1973. С. 33.
- ⁴⁴ Мотив «любви-болезни» встречается в античной, арабской, провансальской литературе (*Жирмунский В.М.* Сравнительное литературоведение. Л., 1979. С. 37).
- ⁴⁵ *Клосс Б.М.* Указ. соч. С. 199.
- ⁴⁶ См.: Естественнонаучные представления Древней Руси. С. 239.
- ⁴⁷ *Кузьмина В.Д.* Русский демократический театр XVIII в. М., 1958. С. 116–118; см. также: Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974. С. 528–531.
- ⁴⁸ *Громбах С.М.* Пушкин и медицина его времени. М., 1989. С. 180–181.
- ⁴⁹ Там же. С. 196. Об изображении «человека болеющего» в литературе XVIII–XX вв. см.: *Одесский М.П., Фельдман Д.М.* Выйти живым из строя: Русская литература – поэтика болезни, здоровья и труда // Дружба народов. 1994. № 3. С. 180–192.
- ⁵⁰ *Булгаков С.Н.* Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 136–137.

Источники

- «Аптека духовная» – *Ровинский Д.А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 3.
- «Аптека душевная» – *Соболевский А.И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. СПб., 1903.

- «Беседа души и ума» Максима Грека – Сочинения преп. Максима Грека. Казань, 1860. Т. 2.
- «Были и небылицы» Екатерины II – *Екатерина II. Сочинения* / Изд. подг. В.К. Былинин, М.П. Одесский. М., 1990.
- «Вирша в великую субботу» Сильвестра Медведева – Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Изд. подг. А.М. Панченко. Л., 1970.
- «Врачебница мудра зело» – Источниковедение и история русского языка / Текст памятника подг. С.О. Шмидт. М., 1964.
- «Временник» Ивана Тимофеева / Изд. подг. О.А. Державина. М.; Л., 1951.
- «Галицко-Волынская летопись» – Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). Вып. 3 / Текст памятника подг. О.П. Лихачева.
- «Домострой» – ПЛДР. Вып. 7 / Текст памятника подг. В.В. Колесов.
- «Духовная грамота» Иосифа Волоцкого – Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1841. Т. 1.
- «Житие Авраамия Смоленского» Ефрема – ПЛДР. Вып. 3 / Текст памятника подг. Д.М. Буланин.
- «Житие Георгия Нового» – ПЛДР. Вып. 8 / Текст памятника подг. Н.Ф. Дробленкова.
- «Житие Иосифа Волоцкого» – *Казакова Н.А., Лурье Я.С.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.; Л., 1955. Приложения.
- «Житие Петра Митрополита» Киприана – *Прохоров Г.М.* Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978.
- «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого – ПЛДР. Вып. 4 / Текст памятника подг. Д.М. Буланин.
- «Житие Феодосия Печерского» – ПЛДР. Вып. 1 / Текст памятника подг. О.В. Творогов.
- «Завещание» Ивана Грозного – Послания Ивана Грозного / Изд. подг. Я.С. Лурье, Д.С. Лихачев. М.; Л., 1951.
- «Измарагд» – Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, Т. П. Рогожникова. М., 1991.
- «Интерлюдии, или Междувброшенная забавная игрица» – Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. / Текст памятника подг. О.А. Державина. М., 1975.
- «Интермедии» из сборника А.А. Титова – Пьесы любительских театров / Текст памятника подг. В.П. Гребенюк, В.Д. Кузьмина. М., 1976.

- «Истины показание» Зиновия Отенского – Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.
- «История Иудейской войны» Иосифа Флавия – *Мещерский Н.А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.
- «История о великом князе московском» А.М. Курбского – ПЛДР. Вып. 8 / Текст памятника подг. А.А. Цеханович.
- «Казанская история» – ПЛДР. Вып. 7 / Текст памятника подг. Т.Ф. Волкова.
- «Киево-Печерский патерик» – ПЛДР. Вып. 2 / Текст памятника подг. Л.А. Дмитриев.
- «Книга о св. Троице» Ермолая-Еразма – ЧОИДР (Чтения в Обществе истории и древностей российских). 1880. Кн. IV / Текст памятника подг. А. Попов.
- Лаврентьевская летопись – Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Л., 1927. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Вып. 2.
- «Лечебник» – Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, Т. П. Рогожникова. М., 1991.
- «Лечебник на иноземцев» – Русская демократическая сатира XVII века / Изд. подг. В.П. Адрианова-Перетц. М., 1977.
- «Молитва Димитрию Вологодскому» С. Шаховского – Виршевая поэзия: Первая половина XVII века / Изд. подг. В.К. Былинин, А.А. Илюшин. М., 1989.
- «Молитва Иоанну Злагоусту от всех уд» – Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, Т.П. Рогожникова. М., 1991.
- «Молитвы об изгнании бесов» – Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, Т.П. Рогожникова. М., 1991.
- «Монастырский устав» Иосифа Волоцкого – *Казакова Н.А., Лурье Я.С.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.; Л., 1955. Приложения.
- «Назиратель» – Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, Т.П. Рогожникова. М., 1991.
- «На иконоборцы и на вся злыя ереси» И.М. Катырева-Ростовского – Летопись занятий Археографической комиссии. СПб., 1907. Вып. 18.
- «Наставление отца к сыну» – ПЛДР. Вып. 4 / Текст памятника подг. Н.С. Демкова.
- «О земном устроении» – ПЛДР. Вып. 5 / Текст памятника подг. Г.М. Прохоров.

- «О смертном воспоминании» Нила Сорского – <Егалин>. Преподобный Нил Сорский. СПб., 1864.
- «Ответы христианам против агарян» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1895. Т. 1.
- «Пародийные лечебники» Н.И. Новикова и Н.И. Страхова – Русская сатирическая проза XVIII века / Изд. подг. Ю.В. Стенник. Л., 1986.
- Переводы и послания Максима Грека: Неизданные тексты / Изд. подг. Д.М. Буланин. Л., 1984.
- Письма Сильвестра Медведева – ПДПИ (Памятники древней письменности и искусства). СПб., 1901. Т. 144.
- Повести о житии Михаила Клопского / Изд. подг. Л.А. Дмитриев. М.; Л., 1958.
- «Повесть временных лет» – ПЛДР. Вып. 1 / Текст памятника подг. О.В. Творогов.
- «Повесть о белом клобуке» – ПЛДР. Вып. 7 / Текст памятника подг. Н.Н. Розов.
- «Повесть о болезни и смерти Василия III» – ПЛДР. Вып. 7 / Текст памятника подг. Н.С. Демкова.
- «Повесть о дворянине Александре» – *Моисеева Г.Н.* Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965.
- Повесть о Дракуле / Иссл., подг. текста Я.С. Лурье. М.; Л., 1964.
- «Повесть о Луке Колоцком» – Русская бытовая повесть: XV–XVII вв. / Изд. подг. А.Н. Ужанков. М., 1991.
- «Повесть о Николае Заразском» – ПЛДР. Вып. 3 / Текст памятника подг. Д.С. Лихачев.
- «Повесть о Нило-Сорском ските» – Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977 / Текст подг. Г.М. Прохоров.
- «Повесть о первом патриархе Иове» – РИБ (Русская историческая библиотека). СПб., 1891. Т. 13. Указываются столбцы.
- Повесть о Петре и Февронии / Изд. подг. Р.П. Дмитриева. М., 1979.
- «Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков» – ПЛДР. Вып. 8 / Текст памятника подг. В.И. Охотникова.
- «Повесть о семи мудрецах» – ПЛДР. Вып. 10 / Текст памятника подг. И.Д. Казовская.
- «Повесть о спасении утопающего» – Русская бытовая повесть: XV–XVII вв. / Изд. подг. А.Н. Ужанков. М., 1991.
- «Повесть о царице Динаре» – ПЛДР. Вып. 6 / Текст памятника подг. Н.С. Демкова.

- «Повесть о шляхетском сыне» – *Моисеева Г.Н.* Русские повести первой трети XVIII в. М.; Л., 1965.
- «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» – ПЛДР. Вып. 2 / Текст памятника подг. В.В. Колесов.
- «Послание Андрею Курбскому» Ивана Грозного, первое – Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подг. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков. Л., 1979.
- Послание «брату с восточных сторон» Нила Сорского – *Прохоров Г.М.* Послания Нила Сорского // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН. Л., 1974. Т. 29.
- «Послание вельможе Иоанну» Иосифа Волоцкого – Там же.
- «Послание в Кирилло-Белозерский монастырь» Ивана Грозного – Послания Ивана Грозного / Изд. подг. Д.С. Лихачев, Я.С. Лурье. М.; Л., 1951.
- «Послание господину и брату Георгию» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1897. Т. 3.
- «Послание желающему отречься от мира» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860. Т. 2.
- «Послание Ивану Грозному» А.М. Курбского, третье – ПЛДР. Вып. 8 / Текст памятника подг. Ю.Д. Рыков.
- «Послание иконописцу» Иосифа Волоцкого – *Казакова Н.А., Лурье Я.С.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.; Л., 1955. Приложения.
- «Послание к матерем» – *Виршевая поэзия: Первая половина XVII века* / Изд. подг. В.К. Былинин, А.А. Илюшин. М., 1989.
- «Послание к некоему» Антония Подольского – Там же.
- «Послание к некоему горду и величаву» Антония Подольского – Сатира XI–XVII веков / Изд. подг. В.К. Былинин, В.А. Грихин. М., 1987.
- «Послание князю Семиону Ивановичу» Ф. Шелешпанского – *Виршевая поэзия: Первая половина XVII века* / Изд. подг. В.К. Былинин, А.А. Илюшин. М., 1989.
- «Послание Михаилу» справщика Саватия – Там же.
- «Послание Сергию и Федору» Киприана – ПЛДР. Вып. 4 / Текст памятника подг. Г.М. Прохоров.
- «Послание Спиридону-Саввы» – *Дмитриева Р.П.* Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955.
- «Послание царю Иоанну Васильевичу» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860. Т. 2.

- «Послания» митрополита Даниила – *Жмакин В.И.* Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Приложения.
- «Послания» митрополита Даниила – *Летопись занятий Археографической комиссии / Текст памятника подг. В.Г. Дружинин.* СПб., 1909. Вып. 21.
- «Послания» Нила Сорского – *Боровкова-Майкова М.С.* Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912.
- «Послания» Федора Карпова – ПЛДР. Вып. 6 / Текст памятника подг. Д.М. Буланин.
- «Послания» Филофея – *Малинин В.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. Приложения.
- «Поучение» Моисея – ПЛДР. Вып. 2 / Текст памятника подг. В.В. Колесов.
- «Похвала святым Петру и Февронии» – Повесть о Петре и Февронии / Изд. подг. Р.П. Дмитриева. Л., 1979.
- «Предание и Устав» Нила Сорского – *Боровкова-Майкова М.С.* Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912.
- «Просветитель» Иосифа Волоцкого – *Иосиф Волоцкий.* Просветитель. Казань, 1857.
- Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Изд. подг. Н.С. Демкова, Н.Ф. Дробленкова, Л.И. Сазонова. Л., 1975.
- «Пчела» – ПЛДР. Вып. 3 / Текст памятника подг. В.В. Колесов.
- «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» – ПЛДР. Вып. 5 / Текст памятника подг. Л.А. Дмитриев.
- «Римские деяния» – ПЛДР. Вып. 11 / Текст памятника подг. Л.В. Соколова.
- «Севернорусский летописный свод» 1472 г. – ПЛДР. Вып. 5 / Текст памятника подг. Я.С. Лурье.
- «Сербская Александрия» – ПЛДР. Вып. 5 / Текст памятника подг. О.П. Лихачева.
- «Сказание на Аполлинария» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1897. Т. 3.
- «Сказание на Исаию» Максима Грека – Там же.
- «Сказание об Евстафии Плакиде» – ПЛДР. Вып. 3 / Текст памятника подг. О.П. Лихачева.
- «Сказание о Борисе и Глебе» – ПЛДР. Вып. 1 / Текст памятника подг. Л.А. Дмитриев.

- «Скитский патерик» – Древний Патерик, изложенный по главам. М., 1899.
- «Слова» митрополита Даниила – *Жмакин В.И.* Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Приложения.
- «Слово в неделю 34-ю после сошествия Св. Духа» Симеона Полоцкого – Красноречие Древней Руси / Изд. подг. Т.В. Черторыцкая. М., 1987.
- «Слово Максима Грека о поклонении св. икон противу явшагося в немцах иконоборца Лютора» – Памятники русского языка: Исследования и публикации. М., 1979.
- «Слово на латинов» Максима Грека – Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1895. Т. 1.
- «Слово об осуждении еретиков» Иосифа Волоцкого – ПЛДР. Вып. 6 / Текст памятника подг. Я.С. Лурье.
- «Слово о женах добрых и злых» – *Каган-Тарковская М.Д.* «Слово о женах добрых и злых» в сборнике Ефросина // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
- «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» – ПЛДР. Вып. 4 / Текст памятника подг. М.А. Салмина.
- «Слово о пьянстве» Антония Подольского – Красноречие Древней Руси.
- «Слово о суевории и суечестии» Симеона Полоцкого – Красноречие Древней Руси.
- «Слово похвальное инока Фомы» – ПЛДР. Вып. 5 / Текст памятника подг. Н.В. Поньрко.
- «Слово о гибели Русской земли» – ПЛДР. Вып. 3 / Текст памятника подг. Л.А. Дмитриев.

1995 г.

Впервые: Древнерусская литература: Изображение природы и человека. М.: Наследие, 1995. С. 158–181.

«Начало славян» и Пятикнижие
Библейский контекст языческих преданий
в «Повести временных лет»

Историки русского летописания – по крайней мере, со времен А.А. Шахматова – реализовали масштабную программу обнаружения источников «Повести временных лет» (документы, гипотетическая ранняя летописная традиция, византийские хроники, фольклор и т. п.). Но «объективный» аспект задачи связан с «субъективным», подразумевающим реконструкцию социально-психического механизма обращения летописца к источникам разного типа.

Констатируя включение в летопись фольклорной легенды, целесообразно одновременно представить, каково было отношение анналиста к такого рода тексту. Основное требование, которому должен отвечать искомый социально-психический механизм, – это мотивация преодоления «конфессиональной пропасти», убедительный ответ на вопрос, как и зачем христианин-летописец приспособливает к своим нуждам языческий по природе и происхождению фольклорный источник.

Естественно, «субъективный» аспект проблемы источников попал в поле внимания исследователей. Достаточно напомнить о версиях генезиса «Повести временных лет», согласно которым исходной была летопись церковного типа («спонсированная» киевским митрополитом или духовником великого князя). Ее составитель интересовался исключительно «недавним» христианским прошлым и «тормозил» (сокращал, опускал) более древнюю информацию о языческих временах.

Два сюжета, которым посвящена настоящая статья, иллюстрируют действие другого механизма – не «торможения», а «толкования». «Конфессиональная пропасть» снята благодаря тому,

что предания о языческом прошлом не только не «тормозятся», но, наоборот, поддерживаются, будучи трансформированы христианскими мотивировками.

* * *

«Повесть временных лет» считается одним из важнейших источников по «началу» славян; сведения содержатся в «историко-офской» вступительной части. К числу самых ярких эпизодов здесь относится рассказ о жестоких обрах, что бесчеловечно угнетали славянское племя дулебов, но затем «погибоша», и следа от них не осталось¹. «Обрский» эпизод не датирован, но, как давно установлено, в нем вполне корректно видеть сообщение о восстании славян против аваров, произошедшее в первой четверти VII в.

История Европы VII в. детально изложена в латинской хронике Фредегара (точнее, Псевдо-Фредегара), являющейся продолжением знаменитой истории франков Григория Турского. Согласно «Хронике» Фредегара, в 623 г. славяне взбунтовались против аварского кагана, к ним присоединился некий торговец (negucians) Само «из народа франков» (natione Francos), который, заслужив предприимчивостью восхищение соратников, стал королем (rex) первого славянского государства на территории Европы; Само удачно правил 35 лет, в частности одерживая победы над могущественным повелителем франков Дагобертом².

Составитель «Повести временных лет» имя Само не упомянул. Может быть, потому исследователи древнерусской истории не настаивают на идентичности фактической основы двух рассказов. При авторитетном переиздании «Повести» («Литературные памятники», 1996) эпизод с обрами снова не поставлен в связь со сведениями «Фредегара». В соответствующем томе истории России Г.В. Вернадского обры и дулебы Нестора территориально соотношены с Паннонией, авары же и венеды франкской хроники – с Чехией³.

Наоборот, специалисты по общей истории и слависты скорее склонны утверждать, что и Нестор, и «Фредегар» говорят об одних событиях⁴ – о «мировой войне VII в.» (по нарочито анахронистическому выражению Л.Н. Гумилева), в которой участвовали Византия, Персия, авары и другие народы. Действительно, оба хрониста демонстрируют поразительные совпадения. Нестор, в

частности, повествует об издевательствах обрвов над женщинами дулебов, которых «телом величие» поработители всячески унижали, впрягая по три или пять в телегу вместо коня или вола и заставляя себя возить, а «Фредегар» выделяет в качестве причины, непосредственно побудившей славян к возмущению, обычай аваров услаждаться на ложе (*strato sumebant*) с их женами и дочерьми.

Сравнивая «аварские» сказания Нестора и «Фредегара», несложно установить различие двух типов исторического повествования (или, по крайней мере, использованных источников).

Франкский хронист излагает события линейно-упорядоченно, так сказать, «прагматически». «Прагматизм» этот, разумеется, относителен, в доказательство чего достаточно перечислить разнообразные дискуссии, возникающие вследствие недоговоренности, «пунктирности» латинского текста. Причем в данном случае академические дискуссии подогреваются современными идеологическими страстями. Само – в особенности для чешско-словацкого национального сознания – такой же мифологически значимый «первовождь», «отец народа», как в Германии тевтобургский победитель варвар Арминий или в Румынии государь даков Децебал.

В результате специалисты с упоением спорят: 1) об этнической принадлежности Само (славянин, франк, романизованный кельт-галлоримлянин)⁵; 2) о местности, откуда он родом (город Санс к юго-востоку от Парижа, Бельгия, Нижняя Франкония)⁶; 3) о роде занятий (торговец оружием, рабами, дипломат)⁷; 4) о пределах его «королевства» (минимум – район Южной Моравии/Нижней Австрии/Юго-Западной Словакии, максимум – Европа от моря до моря с севера на юг)⁸.

Столь же чреваты диспутами другие принципиальные пункты, так что реальная ситуация VII в. представляется еще менее ясной. С одной стороны, «Фредегар» прямо характеризует поведение короля как свойственное язычеству, с другой – гипотеза о христианстве (по крайней мере изначальном) Само также не может быть отвергнута (хотя бы в силу гипотетического галло-римского происхождения). Тем более пикантным выглядит знаменитое многоженство короля-негоцианта: Само, столь эффективно вступившийся за женскую честь, впоследствии собрал «гарем» из двенадцати жен, родивших ему «22 сына и 15 дочерей»⁹.

А если учитывать гипотезу, согласно которой Само занимался не «негоциями» вообще, но вполне конкретным «бизнесом» – работоторговлей¹⁰, то «романтический» сюжет мести за поруганных женщин и вовсе выглядит как намек на столкновение экономических интересов: в VI–VII вв. прокладываются новые – северные – пути товарообмена, и, значит, Само мог иметь материалистические поводы заинтересоваться славянами, не поделив, например, с конкурентами-аварами рынка «живого товара».

Однако все выявляемые двусмысленности текста латинской хроники легко списываются на краткость изложения, факультативность славянской темы для историка деяний Меровингов и т. п. Общее наблюдение о «прагматизме» версии «Фредегара» остается непоколебленным. Рассказ же об аварах в русской летописи имеет тот отчетливо суммарно-легендарный характер, что присущ вступительной части «Повести».

Иначе говоря, некоторые подробности аварских «безобразий», сообщаемые Нестором, могут правдоподобно толковаться как результат проекции реальных событий на «легендарный» код.

Обры, согласно описанию Нестора, «телом величие», что находит неожиданное подтверждение в преданиях славян Центральной Европы. Здесь обры – наряду с представителями других некогда враждебных этносов (гунны, татары, турки, шведы) – фигурируют как мифические люди-великаны¹¹. Они появились на земле раньше обыкновенных людей, отличались фантастической физической силой (с ними связывают насыпание курганов), но погибли, причем причины их гибели указываются разные. Фольклорные обры – как бы антиподы человека, они представляют альтернативный путь творения и вредоносны.

В таком случае глумливое впряжение женщин в телеги также едва ли следует интерпретировать буквально. Славянскому фольклору известно отождествление женщин с лошадьми/коровами, о котором писал еще А.Н. Афанасьев в классической статье о «наузах»: «Издrevле веревка – ужище <...> были видимым знаком того фактического обладания, которому человек подчинял пойманное им дикое животное: кто накладывал на коня узду, тот и делался его господином; в чьих руках была привязь, которою опутан бык или корова, тот и был их хозяином. Впоследствии узда и обротъ стали символически выражать самое право на облада-

ние известным животным. <...> Самые названия супруг, супруга указывают на то же представление – от прячь <...> неупотребительная форма прячь (за-прячь, запрягать) – накладывать на животное ярмо, узду <...> В Малороссии слово “супруга” доселе употребительно в значении упряжной пары; с тем же значением встречается оно и в старославянском: “Супруг волов купих пять”. <...> Таким образом, в слове “супружество” лежит представление того нравственного ига, ярма, которое налагают на себя вступающие в брак. В обрядах с пугом и в значении, придаваемом слову “опутать”, мы уже видели сближение сосватанной девушки с пойманным и обратанным конем; согласно с этим в Воронежской губернии: а) свозжаться – значит: свести парню дружбу с девкою, то же, что иметь связь, связаться с кем, и б) запрягать – жениться, венчаться. Отсюда объясняется народная примета: когда лошадь распряжется в дороге – знак, что жена неверна, сбросила с себя супружеские узы, и известный в Малороссии обычай надевать на мать и отца новобрачной или на сваху хомут, если невеста окажется недевственной: этим символическим знаком выражается, что она уже до брака была в любовной связи-сопряжении с другими»¹².

Сходные наблюдения приводит Б.А. Успенский: «...при совершении обряда “опахивания” селения, направленного на изгнание эпидемической болезни, женщины и девушки, совершая этот обряд, поют:

А где это видано,
И где это слыхано,
Чтобы девки пашню пахали,
А бабы рассевали <...>

Следует иметь в виду, что и пахота, и посев являются в нормальном случае специфически мужскими занятиями. <...> Перевернутость поведения при “опахивании” усугубляется тем, что магический круг, охраняющий селение, проводится против солнца, что этот обряд исполняется ночью или же на заре (как ночь, так и заря воспринимаются как “нечистое время”), что участницы снимают с себя платки и пояса или даже раздеваются догола (при этом простоволосость и беспоясность приписываются обли-

ку нечистой силы); наконец, этот обряд может совершаться не с песнями, а в ритуальном молчании, которое представляет собой разновидность речевого анти-поведения»¹³.

Слово произнесено. Издевательское замещение коней/волово женщинами на фоне их мифической идентичности правомерно квалифицировать как «анти-поведение». Поведение обрвов оказывается «анти-поведением», поведением «наоборот», что свойственно их inferнальной сущности. Это не точная информация о насилиях над славянками, но оценочное суждение на языке символов.

Здесь, возможно, и возникает христианская заинтересованность летописца. Приверженность «анти-поведению» и гигантизм позволяют «опознать» в обрах исподинов из Книги Бытия: «И потом якоже вхождаху сынове Божии къ дщерем человеческим, и рождаху себе сии, и тии бяху исполини, иже от века человеци именити. Видев же Господь Бог, яко умножишася злобы человекомъ на земли, и всякъ кто помышляеть въ сердцы своем прилежно на злая вся дни. И помысли Богъ, яко сътвори человека на земли, и размысли. И рече да потреблю человека егоже сътворих от земля...» (6, 4–7).

Контекст последнего библейского стиха проясняет слова летописца, венчающие «обрский» эпизод: «Быша бо обьре теломъ велици и умомъ горди, и Богъ потреби я, и помроша вси...» Авары изображаются как зловредные гиганты, которые бросают вызов Богу, подобно гордецам из Книги Бытия, и, соответственно, «потреблены» Господом. При помощи механизма «толкования» – подключения одновременно библейского и языческого аппарата – летописец лапидарно выразил идею об «анти-поведении» (богопротивности) давних славянских поработителей.

* * *

Механизм «толкования» диктует логику другого хрестоматийного эпизода «Повести временных лет» – «сказания о хазарской дани». «Сказание» помещено в историософском вступлении непосредственно перед появлением первой зафиксированной летописцем даты – «6360 от Сотворения мира». Принципы оформления фактического материала, относящегося к IX в. от Рождества Христова, вполне тождественны тем, что использовались применительно к VII в.

Хазары потребовали славянской дани. «Съдумавше же поляне и вдаша от дыма мечь, и несоша козари ко князю своему и къ старейшинымъ своимъ, и реша имъ: “Се налезохомъ дань нову”. <...> Они же реша: “Что суть въдали?” Они же показаша мечь. И реша старци козарьстии: “Не добра дань, княже! Мы ся доискахомъ оружьемъ одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоуду остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инехъ странах”. Се же сбьсться все...»

В упоминавшемся суммарном труде о Древней Руси Г.В. Вернадский, предприняв показательную попытку извлечь «прагматическое» зерно из «сказания о хазарской дани», констатировал явно легендарный характер эпизода: «Этот рассказ, как он читается в “Повести временных лет”, несомненно, является плодом поэтической доработки. В первоначальной версии, должно быть, был записан простой факт, что поляне однажды предложили хазарам заплатить дань мечами. Впоследствии выплата дани прекратилась, что вызвало комментарии и объяснения летописца»¹⁴.

Действительно, фольклорное происхождение «сказания» не вызывает сомнений, к нему нетрудно привести параллели (ситуация выбора между предметами, символизирующими мир/войну) и т. д. Но закономерно, что летописец снова «подгоняет» записанную языческую легенду под авторитетный образец из Священной истории: «Се же сбьсться все: не от своя воли рекоша, но от Божья повеленья. Яко и при Фаравоне, цари еюпетьстемь, егда приведоша Моисея предъ Фаравона, и бысть: погибоша еюптяне от Моисея, а первое быша работающе имъ. Тако и си владеша, а послеже самими владеють; якоже и бысть: володеють бо козари руськийи князи и до днешнего дне». Имеется в виду предание, подробно изложенное под 6494 (986) годом в «речи Философа»: «Видевъ же Моисея фараонъ нача любити отроча. Моисий же, хапаяся за шию, срони венечъ съ главы царевы, и попра и. Видевъ же волхвъ, и рече цареви: “О царю! Погуби отроча се; аще ли не погубишь, имать погубити всего Еюпта”».

Такого рода подробности детства Моисея отсутствуют в каноническом библейском тексте и излагаются Нестором по Толковой Палее и/или русскому компилятивному хронографу, но это никак не влияло на общую ауру принадлежности к Священной

истории и не убавляло авторитетности аналогии. Потому летописец выстраивает эффектную аналогию: как погранный венец фараона предуказывал скорую перемену, когда поработенные евреи погубят поработителей-египтян, так и в выборе дани заключалось обетование превращения славян из данников хазар в их повелителей. Причем в обоих случаях мудрецы обреченной стороны правильно толкуют Божие послание.

* * *

Итак, в обоих эпизодах «Повести временных лет» механизм «толкования» обуславливает обращение к тем языческим преданиям, которые продуктивно перекодируются на «христианский язык». Событиям из библейского «начала мира» и из «начала истории» евреев подбираются аналогичные события из «начала истории» славян. Враги славян отождествляются с врагами Божиими, а значит, славяне – с народом Божиим. В VII–IX вв. славяне – такие же «неверные», как авары или хазары, однако и в Библии человечество, а затем еврейский народ соблюдалось Богом еще до приобщения к истинной религии. Соответственно, предки древнерусских христиан также могли надеяться на аналогичную заботу в опережение, «авансом», обрам же и хазарам оставались в предназначение тотальная гибель или рабство «до днешнего дне».

¹ Здесь и далее цит. по изд.: Повесть временных лет / Подг. текста, комментарии Д.С. Лихачева. СПб., 1996.

² Латинский текст «Фредегара», содержащий информацию о славянах, и русский перевод В.К. Ронина см.: Так называемая Хроника Фредегара // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2: (VII–IX вв.). М., 1995. Ср. также изд.: The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its Continuations / Tr., Introd., Notes by J.M. Wallace-Hadrill. L., 1960.

³ Вернадский Г.В. Древняя Русь. М., 1997. С. 203, 212–213.

⁴ См., напр.: Свод древнейших письменных известий... С. 381.

⁵ Там же. С. 374–376.

⁶ Там же. С. 376–377.

⁷ Там же. С. 377, 382–383.

⁸ Там же. С. 377–379.

- ⁹ К вопросу о матримониальной дисциплине христианизированных варваров см. меланхолические замечания французского историка по поводу Хлотаря I, «число браков которого трудно было бы сосчитать» и который во время, «свободное от охоты... хлопотал о выборе для себя очередных любовниц... Нередко случалось, что эти любовницы с поразительной легкостью переходили на положение законных жен и королей» (*Тьерри О.* Рассказы из времен Меровингов. СПб., 1994. С. 23).
- ¹⁰ *Verlinden Ch.* Problèmes d'histoire économique franque. 1. Le Franc Samo // *Revue belge de philologie et d'histoire.* Bruxelles, 1933. V. 12.
- ¹¹ *Niederle L.* Manuel de l'Antiquité Slave. T. 1: L'Histoire. P., 1923. P. 73. Ср. также: *Славянская мифология: Энциклопедический словарь.* М., 1995. С. 74–75.
- ¹² *Афанасьев А.Н.* Наузы: Пример влияния языка на образование народных верований и обрядов // *Афанасьев А.Н.* Народ-художник. М., 1986. С. 197, 202–203.
- ¹³ *Успенский Б.А.* Анти-поведение в культуре Древней Руси // *Успенский Б.А.* Избр. труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 465, 474.
- ¹⁴ *Вернадский Г.В.* Указ. соч. С. 335–336.

1998 г.

Впервые: От Бытия к Исходу: Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре: Сб. ст. М.: Сафэр; Институт славяноведения РАН, 1998. С. 253–262.

Призрак «Третьего Рима» Судьба формулы

Адекватное прочтение первоначального смысла знаменитой формулы старца Филофея «Москва – Третий Рим» напоминает постижение высказывания на иностранном языке. Эта формула вычеканена древнерусскими книжниками, что подразумевает реализацию культурных моделей, принципиально отличающихся от привычных ныне.

Примерно до конца XVI в. специфика русской культуры обуславливалась доминированием *религиозных* ценностей, затем их место заступили ценности *государственные* и, наконец, с середины XIX столетия – *индивидуалистические*. Разумеется, при смене доминирующей системы ценностей некоторые магистральные идеологемы сохраняли авторитет, их «сквозное» бытование собственно и создает русскую культуру как особый феномен. Однако предложенная классификация – при очевидной условности любой классификации такого рода – позволяет учитывать те рубежи, пересечение которых существенно преобразует содержание даже базовых идеологических и культурных символов.

* * *

Средневековый книжник стремится все сопоставить со Священной историей, оснастить авторитетными цитатами, он ищет прецеденты, образцы, аналогии. Это относится также к именам собственным, в частности к топонимам.

В древнейшем «Слове о Законе и Благодати» Илариона обнаруживается формула «Киев – Константинополь – Иерусалим». Восхваляя князя Владимира, проповедник панегирически сопоставляет крещение Руси с деятельностью Константина равноапос-

тольного: «Тот с матерью своею Еленою веру утвердил, принеся крест из Иерусалима и распространив его по всему миру своему. Ты же с бабкою своею Ольгою принес крест от нового Иерусалима Константина-града и, сей по всей земле своей поставив, утвердил веру»¹. А значит, Константинополь отождествлен с новым Иерусалимом, Киевская же Русь – с Византийской империей.

Что касается конкретно формулы «Третий Рим», то *первый этап* ее бытования ознаменовался найденным в Византии определением «Константинополь – новый Рим». Предпосылки тому были заложены в IV в. императором Константином, выступившим инициатором придания христианству статуса государственной религии. Благодаря этому деянию епископ Рима становится папой, первенствующим архиереем империи, а Римское государство начинает восприниматься как синоним Христова царства на земле, которое существует вечно. Но одновременно тот же Константин положил начало величию Константинополя. Новая столица закономерно оказалась конкурентом прежней. Третье правило Второго Вселенского собора, состоявшегося в 381 г. при Феодосии II, зафиксировало церковное соперничество двух столиц: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град оный есть новый Рим»². При поставлении Константинопольского патриарха император вручал ему сакральную регалию – жезл – со словами: «Святая Троица чрез царство, от Нея дарованное нам, производит тебя в архиепископы Константинополя, Нового Рима и вселенского патриарха»³.

Небольшое сочинение «Град Константинополь – новый Рим», также написанное в царствование Феодосия II, по сути – первый городской справочник, сводка необходимых приезжему сведений о столице. После краткого вступления, восхваляющего город и императора, следует описание столицы по районам. Указываются их границы, называются церкви, общественные здания, дома знатнейших горожан. Затем даются сведения о количестве улиц, домов, бассейнов, государственных булочных, рынков. Перечисляются представители районной администрации. Справочник завершается итоговым разделом, в котором вновь называются основные достопримечательности, на этот раз – по всей столице.

Средневековые топонимы одновременно обозначали и государство, и город, и центральный храм (или центральную святыню). Потому в Константинополе как «новом Риме» по аналогии распространяется культ апостола Петра, основателя римской кафедры и покровителя Первого Рима. Прямо заимствуются элементы западных обрядов, связанных с почитанием первоверховного апостола, создаются архитектурные подобию града св. Петра. В Константинополе почитаются перенесенные из Рима вериги св. Петра. Апостолу Петру посвящен один из приделов Константинопольской Софии, причем именно этот придел почитался как домовая церковь патриарха, тем самым напоминая о ватиканском соборе св. Петра.

Исходно претензии Константинополя на звание Второго Рима ограничивались преимущественно церковной областью (аспект *город/храм*). Но в 476 г. под натиском варваров пала Западная империя. Сам факт сохранения империи Восточной доказывал особое божественное предпочтение, возвышал Второй Рим над первым, превращал Константинополь в «Новый Иерусалим» и «Новый Рим» – духовный и гражданский центр христианской *государственности*. Теоретически Византия на три с половиной столетия (до признания Римским папой империи Карла Великого) обращалась в единственного наследника прав Рима и претендовала на все территории, когда-либо входившие в состав империи или признававшие ее суверенитет.

Образ «вечного Рима» как бы расщепился на «материальный носитель», подверженный переменам, и на виртуальное христианское государство, которому положено пребывать неприкосновенным вплоть до конца света. Согласно патриарху Фотию (IX в.) «...и как владычество Израиля длилось до пришествия Христа, так и от нас, греков, мы веруем, не отнимется царство до Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа»⁴.

* * *

С момента возникновения христианской Руси начинается *второй этап* истории формулы, т. е. трансплантация византийских образцов на новую культурную почву (разумеется, сходные процессы развивались и в других странах христианского мира).

На государственную преемственность рассчитывать пока было рано, «не по чину», но на духовную (город/храм) – вполне. Поначалу в символично-городские формулы вписывается Киев. О символической цепочке «Киев – Константинополь – Иерусалим» речь шла выше. Что же касается цепочки «Киев – Константинополь – Рим», то показателен знаково-ватиканский культ апостола Петра, перенятый Киевской Русью. Древнерусские источники сообщают, что на месте крещения киевлян был поставлен храм во имя св. Петра, в Софии Киевской находились изображения апостолов Петра и Павла и т. п.

По мере выдвижения новых городов в качестве государственных и культурных центров эти города также соотносили себя с городами-первообразами христианской традиции.

В Москве, ставшей с началом XIV в. столицей растущего княжества, притязания на тождество с Царьградом скромно ограничивались «храмовым уровнем» и к тому же присутствовали в несколько «прикровенном» варианте. Центральный храм Москвы был посвящен празднику Успения Богородицы, т. е. связан с авторитетной традицией Владимира и – через владимирское посредство – с Киевом, где одноименный храм Киево-Печерского монастыря мог потягаться в известности с Софией Киевской. Но патронимом Москвы был избран святой Петр. Не апостол, а его тезка – митрополит Киевский и всея Руси. Он при Иване Калите переехал в Москву, заложил Успенский храм и был в нем погребен. В любимом на Руси «Сказании о Мамаевом побоище» (вероятно, начало XVI в.) автор изображает, как великий князь Дмитрий Иванович молится перед судьбоносным походом в Успенском соборе – как раз у гробницы святого Петра: «Ныне ведь на меня ополчились супостаты поганые и на град твой Москву крепко вооружаются <...> И тебе ныне подобает о нас, грешных, молиться, да не придет на нас рука смертная и рука грешника да не погубит нас. Ты ведь страж наш крепкий от супротивных нападений, а мы твоя паства»⁵.

* * *

Третий этап бытования идеи «Москва – Третий Рим» относится к рубежу XV–XVI вв., когда начинается собственно история формулы. К тому времени Русь прервала церковные от-

ношения с Константинополем, санкционировавшим унию с католическим Римом (1448). Затем Византия утратила независимость (1453), а Москва, наоборот, независимость обрела (1480). Все это радикально изменило самосознание Московской Руси, обусловив поиск символической государственной программы.

Идеологическое переоснащение происходило в специфической атмосфере напряженных эсхатологических настроений. На Руси ожидали Страшного суда. Ведь летосчисление, как известно, велось от Сотворения мира, традиционно датируемого 5508 г. до Рождества Христова, а значит, на 1492 г. приходился год 7000-й ($5508 + 1492 = 7000$), что позволяло ожидать по его истечении светопреставления. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр 3, 8): седьмое тысячелетие означает седьмой день Господень – Его субботу, которой кончается история человечества. Пасхалии, доведенные до 7000 года, нередко заканчивались зловещими прогнозами: «Здесь страх, здесь скорбь. Как в распятии Христовом этот круг был, так это лето и в конце явится, в нем же чаем всемирного Твоего пришествия»⁶.

Соответственно, на Руси день Пасхи считали вперед только до 1492 г. – далее надобность в подобных исчислениях не предполагалась. Но светопреставление не состоялось, что в какой-то мере государством и церковью прогнозировалось. В 1490-х начинаются пробы сочинения Пасхалии на восьмое тысячелетие. Русское посольство отправляется в подозрительный Рим, рассчитывая получить помощь в трудном календарном предприятии. С папой договориться не удалось, однако посол вывез из католической твердыни ценного «специалиста». Это был служивший при папском дворе медик Николай Булев, о котором один из иностранных визитеров Московии (Ф. да Колло) впоследствии отозвался как о «профессоре медицины, астрологии и основательнейшем во всех науках»⁷.

Одновременно митрополит Зосима составил пасхалию, открывшуюся своего рода теоретическим введением – «Изложением пасхалии». Здесь великий князь Иван III назван «государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константинову – Москве и всей русской земле и иным многим землям государем».

Пока все вполне традиционно: Москва – новый Константинополь, подразумевается – новый Рим, однако прямо искомая

формулировка отсутствует. Она появится в 1495 г. при переработке «Изложения пасхалии». Эта переработка была осуществлена в кругу троице-сергиевского игумена Симона, который в том же году сменил Зосиму на митрополичьей кафедре.

Сходные идеи развиваются в Русском Хронографе 1512 года. С одной стороны, Константинополь – «Новый Рим»: «Наш же Новый Рим, Царьград, питается и растет, крепится и омолаживается, буди же ему и до конца расти. Ей, царь, всеми царствуй!»⁸ С другой стороны, после рассказа о гибели Царьграда те же формулы повторяются уже применительно к Руси, которая «растет, и молодеет, и возвышается»⁹ и т. д.

Москва созрела для того, чтобы декларативно именоваться новым Римом. Эта формула, отражая возникшие имперские притязания независимого и могущественного православного государства, изначально функционировала в тревожном контексте светопреставления. Эсхатологическое прочтение формулы можно передать примерно так: «Москва – новый Рим, она столь же велика и в свой черед столь же гленна».

Оставалось суммировать.

* * *

Концепция Третьего Рима отчетливо излагается в цикле посланий, традиционно атрибутируемых Филофею – монаху псковского Елеазарова монастыря.

Биография Филофея, принадлежность ему конкретных текстов, их датировка – все вызывает споры, которые на настоящий момент нельзя считать законченными. Относительно высока вероятность того, что Филофей является автором «Послания о злых днях и часах», адресованного государеву дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину, который известен историкам как представитель так называемой Московской академии – интеллектуальной элиты времен Василия III и Максима Грека. В послании, входящем в ряд самых распространенных памятников письменности XVI–XVIII вв. (сохранилось более 80 списков), идет речь о предсказаниях на 1524 г., что позволяет с большой надежностью его датировать.

Филофей так же, как адресат послания, интеллигент. Клише самоуничтожения, которым открывается «Послание о злых

днях и часах», скорее знаковая поза «антиинтеллектуального интеллектуализма»: «И тебе, моему государю, ведомо, что я сельский человек, учился буквам, а эллинской борзости не учен, риторских астрономов не читал, с мудрыми философами в беседах не бывал»¹⁰. Так скромничают «умники». Да и один из «академиков» в письме Филофею прямо засвидетельствовал его бесспорную ученость: «Ведь твое письмо Гомеровым слогом и риторским разумом пригодно сложено, а не варварски, не невежески, но с грамматическим искусством составлено»¹¹.

Полемически заостренный обмен мнениями инока и влиятельного чиновника вписывается в специфический контекст, созданный напряженными диспутами о статусе властителя и церкви, о традиции и «новизнах». Дьяк, очевидно, пожелал знать, как авторитетное духовное лицо оценивает астрологию. Упомянувшийся Николай Булев смущал жителей Московии, ознакомив их с прогнозом «Нового альманаха» Я. Штефлера и Я. Пфлаума (дважды издавался по-латыни в Венеции – в 1513, 1518 гг.). Звезды «предвещали» в 1524 г. мировой потоп и вообще «всей вселенной странам и царствам, и областям, и обычаям, и градам, и достоинствам, и скотам, и белугам морским и вкупе всем земнородным несумненное пременение и изменение»¹².

Филофей сформулировал свою точку зрения недвусмысленно: «Божественное же Писание об этом ясно говорит: “Святым духом всякая тварь обновляется” ... а не от звезд так бывает. Звезд же зодиака двенадцать, а планет семь, не чувствительны, не живые они ... и ничего, кроме света, только огонь».

Опровергнув «астрологическую» модель прогнозирования, псковский старец противопоставил ей модель «христиански-провиденциальную». Катастрофы происходят не под влиянием «объективного» движения звезд, а по воле Божией. Чем о будущем вопрошать звездочетов, прикрывающих псевдознанием свое незнание, лучше обратиться на самих себя и перестать грешить. Ибо историческая катастрофа – не результат закономерного процесса, но ответ на людские проступки, Божественное послание, предостережение.

Соответственно на место исторических циклов, подразумеваемых (по «звездной» аналогии) «астрологическим» вариантом историософии, выдвигается циклическая же идея, но обуслов-

ленная христианской эсхатологией. «Скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианский царь и сохранитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения Пресвятой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христоролюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, и это – российское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать <...> видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит. Следует царствующему сохранять это с великою осторожностью и с обращением к Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят и не убавят».

Противопоставление «астрологической» и «христиански-провиденциальной» моделей истории тем значимее, что в XVI–XVII вв. «астрологическая» рефлексия породит на Западе продуктивную концепцию революции – закономерного изменения государственного управления, сопоставимого по неуклонности с астрономическими циклами¹³. Значит, на Руси обрисовывалась возможность сходного концептуального развития. Да и античные теории, задействованные при выработке этой концепции на Западе (прежде всего труды Аристотеля), в «Московской академии» живо обсуждались. Так что выступления Филофея приходится квалифицировать не столько как наивный традиционализм, сколько как сознательную фундаменталистскую реакцию на «новизны», что и осталось запечатленным в символе «Третий Рим».

В силу охвата «римской» формулой храма/города/государства религиозная по природе своей концепция, казалось бы, подразумевала чисто политические выводы. Москва в качестве «Третьего Рима» оказывалась правопреемницей Византии. К тому же Василий III приходился сыном Софье Палеолог, племяннице и наследнице последнего константинопольского императора. И как

раз в то время, когда Филофей сочинял послания, западноевропейская дипломатия настойчиво пыталась подключить Москву к антитурецкой коалиции, апеллируя среди прочего к необходимости борьбы за «законное» достояние, т. е. Константинополь.

Однако великие князья от антитурецкого союза уклонились. И «Послание» Филофея переводит «византийский вопрос» из политического плана в метафизический: Москва воспринимает традицию Рима и Константинополя исключительно как духовное наследие. Территориальные притязания здесь ни при чем. Москва – «Третий Рим» постольку, поскольку достойна этого в религиозном аспекте.

Наконец, симптоматично, что после Филофея (даже в текстах самого псковского инока) идея сразу оказалась отодвинутой в прошлое. Словно нечто само собой разумеющееся. Не было момента открытия, которому посвящают отдельное произведение. К формуле изначально зывали как к чему-то бесспорному и общеизвестному – видимо, отождествление Москвы с Римом / Константинополем ощущалось как имманентное средневековому сознанию. Действительно, в изложении Филофея присутствуют традиционные компоненты идеи «Третьего Рима»: преемственность в тройственном аспекте храма / града / государства (см. рассуждения о кремлевском храме Успения с мощами св. митрополита Петра); сознание исключительности Святой Руси на фоне коррумпированного окружения; представление о высоких требованиях, которые к Москве правомерно предъявлять.

Пожалуй, оригинальной правомерно назвать лишь эсхатологическую доминанту прочтения «римской» символики (что, кстати, связывает Филофея с духовной ситуацией рубежа XV–XVI вв.). Именно с эсхатологическим контекстом связано числительное «третий», заменившее в формуле привычное прилагательное «новый». Конечно же, именование Москвы «Третьим Римом» выражало представление о Москве как дважды Новом Риме, новом по отношению к Новому Риму. Но при кажущейся очевидности это своеобразное подключение к иному контекстуальному полю, к мировой эсхатологической традиции. Например, числа играют зловещую роль при указании судеб будущих великих царств в библейской книге пророка Даниила (или в «Метаморфозах» Овидия, которые в какой-то мере были знакомы книжникам круга «Московской академии»¹⁴).

* * *

В течение двух последних веков допетровской Руси послания Филофея активно распространяются и редактируются. Его формулы повторяются в ряде сочинений, приписываемых авторитетному иноку. Причем не просто повторяются, но работают на достижение конкретных целей, которые ставили перед собой анонимные имитаторы. Создается собственно «корпус Филофея», где подлинные произведения псковского монаха почти неотличимы от позднейших «вольных подражаний».

Речения Филофея инкорпорируются в важнейшие для русской культуры тексты. Слова о христианских царствах, сошедшихся после падения Царьграда в Москву, цитируются в принципиальных документах кануна Смуты, связанных с утверждением патриаршества (1589). После Смуты князь Семен Иванович Шаховской в богословско-полемиической «Книге о Ризе» (1625), призванной снова утвердить идеал Святой Руси, приводит рассуждения о московском храме Успения Богородицы, что заместит римские и константинопольские святыни.

Охотно ссылаются на Филофея авторы итоговых историософских повестей, стремившиеся рассматривать события отечественной истории (реальные или фантастические) во вселенском, эсхатологическом масштабе.

В монументальной «Казанской истории» (вторая треть XVI в.) покорение царем Иваном IV Грозным Казанского ханства (1552) интерпретируется как победоносный финал многовековой борьбы с золотоордынским (иноконфессиональным) игом, а Филофеева концепция оказывается просто необходима при определении статуса Московского царства – неколебимой твердыни христианского мира. «И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма и покорения бусурманского, и начала обновляться, как после зимы на тихую весну. И взошла снова на прежнее свое величество и благочестие, и доброту, как при великом князе первом Владимире православном. Ей же, премудрый царь Христос, дай расти, как младенцу, и величаться, и расширяться, и всюду пребывать как мужу совершенному, и до славного Твоего второго пришествия, и до окончания века сего. И воссиял ныне стольный и преславный град Москва, как второй Киев, не постыжусь же и не буду обвинен, если скажу, – и как новый великий

Рим, воссиявший в последние годы, как великое солнце в великой нашей Русской земле»¹⁵.

Аналогично образ «Третьего Рима» фигурирует в «Повести о белом клобуке» (неопределенно датируется XVI в.), где великая святыня – головной убор первого Римского папы Сильвестра – Божьим смотрением перемещается вначале в Константинополь, а потом на Святую Русь (в «Повести» Святая Русь топографически прикреплена не к Москве, а к Новгороду).

Вообще круг сопоставлений мог быть существенно расширен за счет цикла историко-легендарных повестей, содержащих разнообразные рассказы о перенесении на Русь сакральных знаков власти из Вавилона, Рима, Константинополя (повести о Вавилонском царстве, о князьях владимирских и т. д.). Действительно, шапка Мономаха и другие регалии являются как бы материальным эквивалентом идеи вечной государственности, об усвоении которой на Москве рассуждает Филофей. Но, строго говоря, к истории символа «Третий Рим» эти повести прямого отношения не имеют, реализуя, так сказать, «соседние» идеологемы.

Иное дело – несколько небольших текстов, известных как «Повести о начале Москвы» (приблизительно середина XVII в.), в которых излагается «романтическая» легенда о создании великого города «на крови» – в результате кровавой развязки любовной интриги. Легкомысленный сюжет жестко вписывается в Филофееву историсофскую перспективу. «По истине же град сей именуется третьим Римом, поскольку и над сим было в начале то же знамение, что над первым и вторым; хотя и различно, но едино кровопролитие»¹⁶. Логическая схема незамысловата, но эффективна. Если Москва – «Третий Рим», если Первый и Второй Рим стоят «на-крови», то и Москва должна возникнуть «не без крови же». Или: коль Москва стоит «на-крови», значит, она – великий город. Развернутым доказательством этого имперского по сути тезиса и оказываются повести.

Наконец, сложные коллизии древнерусской духовности выражаются в полемических откликах на формулу. В адресованной Ивану Грозному «Большой челобитной» Ивана Пересветова обращают на себя внимание рассуждения (подлинные или мнимые) Петра Рареша, воеводы Молдавии, которые загадочный публицист передает московскому государю. «Тем царством

русским ныне хвалится вся греческая вера, ожидая от Бога великого милосердия и помощи Божьей, дабы освободиться русским царем от насилий турецкого царя-иноплеменника. И говорит Петр, валашский (Пересветов путает Румынию, т. е. Валахию, и Молдавию) воевода: “Такое сильное, и славное, и всем богатое то царство Московское! Есть ли в том царстве правда?” А у него служит москвитянин Васька Мерцалов, и он того спрашивал: “Ты гораздо знаешь про то царство Московское, скажи мне подлинно!” И тот стал сказывать Петру, валашскому воеводе: “Вера, государь, христианская добра, во всем совершенна и красота церковная велика, а правды нет”. Тогда Петр, валашский воевода, заплакал и сказал так: “Коли правды нет, то и всего нет”»¹⁷.

Пересветов словно специально оспаривает традиционный образ «Третьего Рима». Оказывается, если Москва не соответствует гражданскому идеалу, то и духовную миссию она не выполнит. Пока в стране царит кривда, «Третьему Риму» не бывать. Симптоматично, что одновременно Пересветов реабилитировал астрологию, воодушевляя Ивана Грозного именно его благоприятным гороскопом: «А в тех, государь, королевствах твоему царскому предназначению и небесному знамению дивились, и восхваляли, и славили мудрые люди, философы греческие и докторы латинские...»

Прежде так не мыслили. Сомнения Пересветова необходимо рассматривать как знак кризиса той системы мышления, что породила концепцию «Третьего Рима». Впрочем, эсхатологизму Филофея Пересветов пребывает верен.

* * *

Четвертый этап бытования формулы приходится на эпоху доминирования государственных ценностей, когда интерес к «духовно-римской» символике угасает. Текст посланий псковского старца «застывает» и отныне воспроизводится в устойчивых, сложившихся формах. И тем не менее идея «Третьего Рима» близка новой России – пусть в преобразенном виде.

Россия XVII, XVIII и первой половины XIX в., утратив вкус к эсхатологии, оказалась удивительно восприимчива к образу империи. Царь Алексей Михайлович примеривал к себе роль правителя самого могущественного православного государства,

выступая как законный наследник «Второго Рима», Царьграда, и потенциальный освободитель Византийской империи от турецкого ига. В беседе с греческими купцами он доверительно говорил (если верить мемуаристу-греку): «Когда вернетесь в свою страну, просите архиереев, священников и монахов молиться за меня и просить Бога, ибо по их молитвам мой меч сможет рассеять выю моих врагов. <...> Со времен моих дедов и отцов к нам не перестают приходить патриархи, архиереи, монахи и бедняки, стеная от обид, злобы и притеснений своих поработителей, и все они являются к нам не иначе, как гонимые великой нуждой и жестокими утеснениями. Посему я боюсь, что Всевышний взыщет с меня за них, и я принял на себя обязательство, что, если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления»¹⁸.

Старообрядцы же, оперируя переосмысленными идеями Филофея, аргументировали критику нововведений царя и патриарха. Прежде всего, они напоминали о религиозной испорченности «Второго Рима» в сравнении с «Третьим Римом» – Святой Русью, т. е. о губительной и кощунственной невозможности следовать греческим образцам. Затем, когда необратимость произошедшего стала очевидна, пригодился эсхатологический аспект концепции псковского старца. А именно: если Русь – «Третий Рим и Четвертому не бывать», если на Руси верх взяли «еретики», значит, наступили последние времена и царство антихриста. «Мерзость запустения, – утверждал протопоп Аввакум, – неприподобно священство, и прелесть антихристова на святом месте поставится, сиречь на алтаре неправославная служба, еже видим ныне сбывшееся. Иного же отступления нигде не будет: везде бысть; Русь последняя zde». Отсюда «оптимистический» вывод: «Станем добре, не предадим благоверия, не по што нам ходить в Персиду мучитца, а то дома Вавилон нажили»¹⁹.

К неожиданным результатам привело «инобытие» формулы «Третий Рим» в русской культуре при сыне Алексея Михайловича Петре I. Царь-реформатор основал новую столицу России – град св. Петра, Санкт-Петербург, явно намекая на «Первый Рим». Кафедральный собор, что задумывался как самое высокое здание и должен был находиться в центре города, подчеркнуто посвящен апостолам Петру и Павлу – на римский манер. И если Алексей

Михайлович повелел собирать в греческих монастырях рукописи, регламентирующие византийский «царский чин», то Петр Алексеевич добился признания за собой не принятого в Древней Руси титула «император» со всеми понятными «римскими» ассоциациями.

Трехчленная эсхатологическая формула Филофея («Рим–Царьград–Москва») преобразуется в сокращенную, двучленную. Востребованы имперские образы Москвы – «Нового Царьграда» или «Нового Рима». Приоритетность подобных идеологем показательна для эпохи турецких войн, которые Романовы ведут непрерывно, от Алексея Михайловича до Николая II: цель этих войн символически формулировалась как освобождение Константинополя. Топос освобождения царьградской св. Софии фигурирует в официальных и художественных текстах. Поэт времен Екатерины II В.П. Петров возглашал, например, в торжественной оде:

На храм Софийский се нисходит
Дух Божий в образе огня.
Прими, несчастна Византия,
Тот свет от Россов, кой Россия
Прияла прежде от тебя,
Приимешь, узришь в нем себя²⁰.

Прагматическая Екатерина II последние 15–20 лет своего блистательного царствования даже обдумывала фантастический «греческий проект» – создание на отвоеванных у Турции территориях «дочерней» империи-сателлита, в правители которой предназначала внука. И звали внука Константином – как подобает будущему правителю Константинополя.

* * *

Историки русской общественной мысли склонны полагать, что реанимация формулы Филофея обусловлена патриотическим подъемом, вызванным победами над Наполеоном. Это иллюстрируется ссылками на лозунг «православие–самодержавие–народность» С.С. Уварова, министра народного просвещения в правительстве Николая I, а также на оппозиционных правитель-

ству Николая I славянофилов (проблема Запад / Восток, миссия русского православия и т. д.). «После раскола, – пишет, например, литератор-старообрядец И.А. Кириллов, – идея русского мессианизма совсем не высказывалась, вплоть до 40-х годов XIX века, когда пробужденное национальное сознание, но уже в среде интеллигенции, вновь выдвинуло идею Москвы – Третьего Рима»²¹.

Однако, возвращаясь к обязательной точности в анализе базовых символов великой культуры, приходится повторить: подобно историко-легендарным повестям о царских регалиях, идеологии Уварова или славянофилов выступают как «соседние» по отношению к Филофею.

Российская элита заново знакомится с сочинениями старца только на рубеже 1850–1860-х, когда, в контексте полемики со старообрядцами, их перепечатывают на страницах журнала «Православный собеседник». Идеям Филофея сопутствовал триумфальный успех: с тех пор о них рассказывается во всех фундаментальных обзорах истории России (гражданская история С.М. Соловьева, церковная история Е.Е. Голубинского, история литературы А.Н. Пыпина и т. д.). В научном смысле изучение посланий не продвигается, будучи сведено к упрощенному изложению (вплоть до специальной монографии В.Н. Малинина, напечатанной в 1901 г.), зато понятие «Третий Рим» обретает нарицательное, «мифологическое» значение, присущее этой идеологии и сегодня.

А вот реформы Александра II действительно свидетельствовали о новых доминантах. С точки зрения *индивидуалистических* ценностей осуществляется ревизия традиционного тезауруса культуры. В частности, переосмыляется символика Филофея.

Реакция русского общества на балканские события 1870-х, прежде всего турецкую войну 1877–1878 гг., выразилась в причудливом сплетении имперских претензий на возвращение христианства в Царьград, славянофильских концепций религиозно-этнической миссии России и Филофеевой формулы. «Москва еще третьим Римом не была, – писал в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевский, – а между тем должно же исполниться пророчество, потому что “четвертого Рима не будет”, а без Рима мир не обойдется»²². Или: «Итак, во имя чего же, во имя какого *нравственного* права могла бы искать Россия Константинополь? <...>

А вот именно – как предводительница православия, как покровительница и охранительница его – роль, предназначенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже несомненно лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия, и народов, его исповедующих»²³.

Кстати, в «Дневнике писателя» Достоевский упоминает – в негативном контексте – так называемое Завещание Петра Великого. В этом интереснейшем документе, видимо, сфабрикованном во Франции в XVIII–XIX вв., от лица Петра I излагались долгосрочные внешнеполитические планы России, где, естественно, фигурировал Константинополь.

Судьбы «Третьего Рима» в эпоху индивидуалистических ценностей замечательно иллюстрируются историко-литературным «сюжетом», связавшим Ф.И. Тютчева и Владимира Соловьева.

Окрашенное славянофильством стихотворение Тютчева «Русская география» датируется 1848–1849 годами:

Москва и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? И где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Любопытно, что комментаторы без колебаний толкуют «град Петров» – в ряду с Москвой и Константинополем – как Рим²⁴. Но из текста следует, что это Петербург, ведь далее фигурирует Нева. Стихотворение написано до «открытия» посланий Филофея, и тогдашние имперские идеи символизировались двучленной формулой «нового Константинополя», без Рима (как, например, в цитировавшейся оде В.П. Петрова).

«Русская география» при жизни поэта не печаталась и впервые увидела свет в 1886 г. В 1895 г. В.С. Соловьев публикует статью о Тютчеве. Опираясь на строки о Данииле и на историософские тексты поэта, он показательно переакцентировал смысл стихотворения. Сущность «пророчеств», по словам Соловьева, сводится к тому, «что Россия делается всемирною христианскою монархией <...> Одно время условием для этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западною чрез соглашение Царя с Папой, но потом отказался от этой мысли, находя, что папство несовместимо со свободой совести, т. е. с самою существенною принадлежностью христианства. Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся по крайней мере до Нила и до Ганга, с Царьградом как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносорова, – ее единство не будет держаться насилеи»²⁵.

Философ-критик интерпретировал *имперское* как *эсхатологическое*, точнее как *мессианское*, переведя речь на особое духовное назначение России. Причем мессианское в понимании Соловьева не тождественно имперскому, но скорее ему противоположно. «Значит, – можно сказать поэту, – судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы светлого и темного начала в ней самой. Условие для исполнения ее всемирного призвания есть внутренняя победа добра над злом в ней, а Царьград и прочее может быть только следствием, а никак не условием желанного исхода»²⁶.

Свое эсхатолого-мессианское толкование формулы Филофея Соловьев прямо выражает в стихотворении «Панмонголизм»²⁷, написанном почти одновременно с «тютчевской» статьей (1894), но увидевшем свет (как и «Русская география» Тютчева) после смерти автора (1905).

Когда в растленной Византии
Остыл Божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь, –

Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.
Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты – третий Рим, ты – третий Рим.
Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
От вод малайских до Дуная
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.
.....
Смирится в трепете и страхе
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Очевиден факт непосредственной полемики Соловьева-поэта с Тютчевым: именно так следует воспринимать «обратное» повторение рифмы («Китая / Дуная» вместо «Дуная / Китая») на фоне «обратной» же идеи. Если у Тютчева эти топонимы – конечные рубежи могущественной России, то у Соловьева – исходные рубежи грядущего нашествия на Россию.

Формула «Третьего Рима» символизирует миссию России, отказ от которой обернется неизбежными катастрофами. Это придает эсхатологический характер мессианизму Соловьева. По Н.А. Бердяеву, у Соловьева, «философа русского мессианизма», «признание России третьим Римом переплеталось с чувством греховности России и с призывами к покаянию», что есть «стадия подготовительная, неизбежный аскетизм и очищение для великого, положительного дела в мире» (статья «Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева» из эпохального для истории русской философии сборника 1911 г. «О Владимире Соловьеве») ²⁸.

Трагический опыт России XX в. – с двумя мировыми войнами, революцией, тоталитарным государством – создал экстремальные условия для проверки соловьевской трактовки идей Филофея.

Первая мировая война, очередной раз столкнув Россию с Турцией и реанимировав мечту о Царьграде, дала повод к возрождению славянофильской интерпретации в духе 1870-х. Таково, к примеру, стихотворение Федора Сологуба «Петроград – Берлин» (1915), напоминающее, кстати, «Панмонголизм»:

Чертог мы строим величавый,
Наш третий и последний Рим.
Мы в нем славянство новой славой
В союзе братском озарим!

Соответственно, гибель империи в революционном 1917-м настоятельно напомнила о том, что если из России не получится «Третий Рим», то «Четвертому» не бывать. Эмигрант Георгий Иванов в 1929–1931 гг. публикует роман «Третий Рим», прогнозируемо посвященный «закату» обреченного «старого мира». Причем «Третьим Римом» он по-имперски именует не Москву, а Петербург предреволюционной поры, 1916–1917 годов.

Тем не менее *мессианское* – по Соловьеву – прочтение идеологии «Третьего Рима» не было утрачено. Сказанное относится прежде всего к различным сочинениям Н.А. Бердяева.

В цикле статей, напечатанных во время Первой мировой войны (впоследствии соединены в сборник «Судьба России», 1918), он пытался исповедовать концепцию «Третьего Рима», посылно освобождаясь при этом от имперских клише. «С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы как Третьего Рима, через славянофильство – к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам. К идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и что-то подлинно народное, подлинно русское»²⁹. Даже «возвращение» Константинополя Бердяев стремил-

ся истолковать культурологически, вне привычных имперских ассоциаций: «Константинополь – те ворота, через которые культура Западной Европы может пойти на Восток, в Азию и в Африку. В Константинополе – точка пересечения Востока и Запада»³⁰.

Оказавшись после событий 1917 г. в эмиграции, Бердяев суммировал свои суждения об особенностях отечественной ментальности в знаменитой монографии «Миросозерцание Достоевского» (1923). Вслед за Соловьевым он трактовал символ «Третьего Рима» как выражение сущности России, упорно отрицая имперские толкования и синтезируя эсхатологию с мессианизмом. «В древнерусском притязании русского народа, что Россия – Третий Рим, были несомненные элементы юдаизма на христианской почве. Еще в более яркой форме этот юдаизм можно открыть в мессианизме польском. От идеи Третьего Рима идет русское мессианское сознание и проходит через весь XIX век, достигает своего расцвета у великих русских мыслителей и писателей. До XX века дошла русская мессианская идея, и тут обнаружилась трагическая судьба этой идеи. Императорская Россия мало походила на Третий Рим <...> Русские мессианисты были обращены к Граду Грядущему, они Града своего не имели. Упали, что в России явится новое царство, тысячелетнее царство Христово. И вот пала Императорская Россия, произошла революция, разорвалась великая цепь, связывающая русскую Церковь с русским государством. И русский народ сделал опыт осуществления нового царства в мире. Но вместо Третьего Рима он осуществил Третий Интернационал. <...> Такова судьба русского мессианского сознания. Оно есть не только у инока Филофея, но и у Бакунина. Но этим обнаруживается, что в первоосновах мессианского сознания допущена религиозная ложь, ложное отношение между религиозным и народным. Грех народопоклонства лежит в основе мессианского сознания, и за грех этот следует неотвратимая кара»³¹.

Поверяя Соловьева негативными впечатлениями революции, Бердяев предостерегал как против соблазна государственности, так и против «греха народопоклонства». Наблюдение же за строительством советского тоталитаризма позволило указать в качестве наиболее опасного искажения идей Филофея вне-религиозное государство как таковое, будь то императорская

Россия, будь то СССР. «Доктрина о Москве как Третьем Риме стала идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. <...> Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной, православной веры. Совершенно так же и принадлежность к Советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры. Под символикой мессианской идеи произошла острая национализация церкви. Религиозное и национальное в московском царстве так же между собой срослось, как в сознании древне-еврейского народа. <...> Православная вера есть русская вера, не русская вера – не православная вера. <...> Но религиозная идея царства вылилась в форму образования могущественного государства, в котором церковь стала играть служебную роль. Московское православное царство было тоталитарным государством»³².

Равным образом мессианское истолкование концепции Филофея предлагали мыслители, которых в сравнении с Соловьевым или Бердяевым можно считать «малыми светилами», но которые, пожалуй, еще более показательны для генеральных тенденций. Уже упоминавшийся И.А. Кириллов, который стремился подкрепить традиционное старообрядческое видение достижениями тогдашней философии, в 1914 г. напечатал брошюру «Третий Рим. Опыт исторического развития идеи русского мессианизма». Катастрофой национального масштаба он считал забвение официальным обществом идей Филофея, верность которым сохранялась исключительно в среде старообрядцев. Соответственно только славянофилы, согласно Кириллову, открыли способ преодоления трагической пропасти, возродив народный мессианизм, но «для них Третий Рим был не впереди, а позади». В исправленном виде мысль славянофилов «продолжали лишь такие люди, как Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев и им подобные. Теперь настало время восстановить и укрепить прерванную традицию, так как без традиции невозможна никакая национальная культура, а в ней, в национальной, русской духовно-органической культуре и находится внутреннее оправдание русского мессианизма»³³. Прочную привязанность старообрядчества к символике Филофея трогательно демонстрирует изда-

тельство «Третий Рим», взявшее на себя труд переиздать в 1996 г. сочинение Кириллова.

Десять последних посткоммунистических лет создали интеллектуальную ситуацию, благоприятную для «возвращенного» обсуждения «римских» чаяний. Вывод, например, некоего А. Иванова в книге (изобилующей фактическими неточностями) с заглавием «Третий Рим. Русь XIV–XVII вв.» (1996) звучит так: «И о возрождении Отечества не устает напоминать русским людям Святая Православная Церковь, возрождению на основе обращения к его подлинным духовным ценностям, первой из которых была христианская Вера – вера незамутненная, горячая и искренняя, на которой зиждилась Московская держава, Третий Рим, который – хочется уповать на это – восстанет из праха и поведет за собой все другие народы и государства по пути обновления и отречения от адских соблазнов безудержного накопления и потребления, вседозволенности и душевной нечистоплотности, от безоглядной растраты Богом дарованных природных богатств и суетной погони за ускользящим призраком материального, земного рая. <...> Дважды, как известно, нельзя войти в ту же реку, даже ни на вершок не отойдя по берегу в сторону. И к исконному своему укладу Россия уже никогда не вернется <...> Но Россия может – и должна – вспомнить свой исконный уклад, взглядевшись в собственный незамутненный лик. И твердо понять, что только ей под силу вновь сделаться Третьим Римом и что четвертому Риму – не бывать!»

* * *

Итак, символическое отождествление Москвы с Римом коренилось в общих особенностях эпохи доминирования религиозных ценностей и первоначально не выражало ничего, кроме стремления новых национальных центров воспроизводить все-ленские образцы.

Впрочем, в качестве «лирического отступления» здесь любопытно привести рассуждения тех, кто формулу «Москва – Третий Рим» толкует буквально. А.Т. Фоменко предложил «оригинальное» решение проблемы «Третьего Рима». Для начала «шокотерапия» – «Первый Рим называется Александрия». Далее возникает мимолетное ощущение, что исторический сюжет разви-

вается в общепринятом направлении: на Босфоре «основывается Новый Рим, или Второй Рим». Но ощущение оказывается обманчивым: «Отсюда – название Византии как *Bis-Antic* – “Второй Древний (Рим)”. Этот же город называли Иерусалимом, Троей, Константинополем, потом Стамбулом». Наконец, общий вывод: «...около 1380 года, вероятно, на месте Куликовской битвы закладывается новая столица Москва, получившая позже название “Третий Рим”. Москва как “Третий Рим” становится мировым центром православия» (Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. «Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности», 1997 г.).

Возвращаясь же к «неоригинальному» тезису о символической природе именованной Москвы «Третьим Римом», остается повторить, что в XV–XVI вв. традиционная идея актуализируется в писаниях Филофея. Псковский монах наделил ее специфическими смыслами, принципиально важными для самосознания как Древней Руси, так и Новой России. В соответствии с основными фазами истории отечественной культуры правомерно выделить три доминанты интерпретации «римской» идеологии. Религиозная эпоха диктовала *эсхатологическое* ее прочтение, государственная эпоха – *имперское* и, наконец, индивидуалистическая – *мессианское*.

¹ *Иларион*. Слово о Законе и Благодати // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. III. М., 1994. С. 594. Тексты даются в русском переводе.

² Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992. С. 41.

³ Цит. по: *Успенский Б.А.* Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – третий Рим» // Успенский Б.А. Избр. труды. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 91.

⁴ Цит. по: *Кириллов И.А.* Третий Рим. М., 1996. С. 15. Ср. также у историка Михаила Пселла: «Ныне ни Афины, ни Никомидия, ни Александрия в Египте, ни Финикия, ни оба Рима (первый – худший и второй – лучший) и никакой другой город не могут похвастаться ни одной из наук...» (*Михаил Пселл*. Хронография. М., 1978. С. 82).

⁵ Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. М., 1981. С. 148.

- ⁶ Цит. по: *Успенский Б.А.* Указ. соч. С. 105.
- ⁷ См.: *Зимин А.А.* Доктор Николай Булев – публицист и ученый медик // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 78–86.
- ⁸ Хронограф редакции 1512 г. // Полное собрание русских летописей. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 285.
- ⁹ Там же. С. 439–440. Ср.: *Плюханова М.Б.* Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 174.
- ¹⁰ «Послание о злых днях и часах» цит. по изд.: Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 442–454.
- ¹¹ *Карпов Ф.И.* Послание иноку Филофею // Там же. С. 518.
- ¹² См.: *Зимин А.А.* Указ. соч. С. 82.
- ¹³ Ср.: *Griewank K., von.* Der neuzeitliche Revolutionsbegriff: Entstehung und Entwicklung. Weimar, 1951; *Одесский М.П., Фельдман Д.М.* Поэтика террора. М., 1997.
- ¹⁴ Ср.: *Карпов Ф.И.* Послание митрополиту Даниилу // Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 516.
- ¹⁵ Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 310–312.
- ¹⁶ Повести о начале Москвы. М.; Л., 1964. С. 173–174.
- ¹⁷ Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 602–624.
- ¹⁸ См.: *Канtereв Н.Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1. С. 254.
- ¹⁹ Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 81.
- ²⁰ *Петров В.П.* Сочинения. СПб., 1811. Т. 1. С. 44–49. Ср.: *Зорин А.Л.* Русская ода конца 1760-х – начала 1770-х годов, Вольтер и «греческий проект» Екатерины II // Новое литературное обозрение. 1997. № 24.
- ²¹ *Кириллов И.А.* Указ. соч. С. 53.
- ²² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 23. С. 7.
- ²³ Там же. С. 49.
- ²⁴ *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Сост. Л.Н. Кузина, коммент. Л.Н. Кузина, К.В. Пигарев. М., 1988. С. 420.

- ²⁵ Соловьев В.С. Поэзия Ф.И. Тютчева // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 481–482.
- ²⁶ Там же. С. 483.
- ²⁷ Соловьев В.С. «Неподвижно лишь солнце любви...»: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990. С. 89.
- ²⁸ О Владимире Соловьеве. Томск, 1997. С. 111.
- ²⁹ Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 8.
- ³⁰ Там же. С. 126.
- ³¹ Н.А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 1. С. 121.
- ³² Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 9–10.
- ³³ Кириллов И.А. Указ. соч. С. 109.

1999 г.

Впервые: Гуманитарное знание: итоги XX века: Материалы научной конференции 1998. М.: Новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой, 1999. С. 5–26.

Москва – град святого Петра
Столичный миф в русской литературе
XIV–XVII вв.

1

Изучая миф и / или текст Москвы, исследователи привычно тяготеют к материалам, относящимся к петербургскому (или постпетербургскому) периоду русской истории. Это вполне объяснимо. «Петербург *vice versa* Москва – слишком броская, эффектная, “остроумная” (в барочном смысле) формулировка проблемы и, по сути дела, достаточно тривиальная смысловая конструкция, чтобы не стать объектом определенной моды, предметом попыток разыграть заложенную в ней идею до конца, до предела, с дополнительным акцентированием, с готовностью идти на преувеличения и упрощения»¹.

«Остроумная» формулировка «Москва–Петербург» может парадоксально оказаться полезной и применительно к допетербургской фазе бытования «московского текста».

Петербург, основанный в опровержение Москвы, тем самым воспринимался «как новая Москва (новый “царствующий град”, как его было повелено официально именовать)»². Различительное противопоставление предполагало сходство. Миф новой столицы наследовал мифу прежней. Порой – в неожиданных частностях.

Петербург основан Петром I, на что указывает имя города, хотя, как известно, указывает опосредованно. Имя Петербурга с именем царя-основателя связано через имя царева патронима – св. апостола Петра. Поскольку же «Петр» по-гречески значит «камень», этот материал приобрел характер отличительного атрибута новой столицы. Суммируя различные факты, Б.А. Успенский констатирует, что «ассоциация Петра и камня реализуется в противопоставлении деревянной Руси и каменного Петербурга <...>

Тем самым фактически создается не только образ Петербурга как каменной столицы, но и образ деревянной России как ее антипод»³.

Казалось бы, формулировка «столица – св. Петр – камень» в русских условиях уникальна и вне специфических обстоятельств Петербурга непредставима. Однако как раз Москва выступает в древнерусской литературе в качестве каменного города, за который предстательствует св. Петр, но не апостол, а митрополит Киевский и всея Руси (ум. 1327). Тот самый, который перенес митрополию из Владимира в Москву.

В текстах конца XIV–XV в. – «эпохи Андрея Рублева и Епифания Премудрого», эпохи Куликовской битвы и московской славы – город уже наделен постоянным эпитетом «каменный» и имеет заступника в лице митрополита Петра.

Вот в «Сказании о Мамаевом побоище» (начало XVI в.) перед походом великий князь молится в Успенском соборе у гробницы Петра: «Ныне убо на мя оплччишися супостати погании и на град твой Москву крепко въоружаются. <...> И тебе ныне подобает о нас, грешных, молитися, да не приидеть на нас рука смертнаа и рука грешнича да не погубить нас. Ты бо еси страж наш крепкий от супротивных нападений, яко твоя есмы паствина», вот войска выступают: «...не соколи вылетели ис каменна града Москвы, то выехали русскыа удалци съ своимъ государемъ, с великимъ княземъ Дмитреемъ Ивановичем», а вот, соответственно, Дмитрий Донской в ночь перед Куликовской битвой взывает к «тврѣдому и необоримому заступнику нашему и молебнику иже о насъ, к тебе, русскому святителю, новому чудотворцу Петру, на его же милость надеемся»⁴.

Может показаться, что «камень» и «Петр» соседствуют совершенно случайно и «каменная» доминанта «славного града Москвы» правдоподобно объяснима просто как горделивая социокультурная реакция на кремлевские стены, воздвигнутые при Дмитрие Донском, которые значительно улучшили фортификационные качества города.

Но неизвестный автор «Повести о нашествии Тохтамышша» как раз наставительно повествует, что в 1382 г. татары, несмотря на стены, ворвались в город. В самом начале «Повести» князь Олег Рязанский, спешествуя Тохтамышу в антимосковских замыслах, «некаяя словеса изнесе о томъ, како пленити землю

Рускую, како бес труда взяти камень град Москву, како победити и издобыти князя Дмитриа»⁵. Пока Тохтамыш с Олегом строили коварные планы «беструдного» взятия каменной крепости, нечестивые москвичи вместо покаяния и молитвы буянили и пьянствовали, полагаясь на неприступность укреплений: «Не утрашаемся нахождения поганых татар, селикъ твердь град имущи, еже суть стены камены и врата железа»⁶. За это и были наказаны. В финале «Повести» изображается московское запустение, где вместо «цивилизованного» камня воцарились изначальная пустыня и «дикая» земля. «И бяше дотолѣ, преже видети, была Москва град великъ, град чуденъ, градъ многочеловеченъ, в нем же множество людей, в нем же множество господства, в нем же множество всякого узорочья. И паки въ единомъ часе изменися видение его, егда взят бысть, и посеченъ, и пожженъ. И видети его нечего, разве токмо земля, и персть, и прах, и пепел, и трупиа мертвых много лежаща, и святыа церкви стояще акы разорены, акы осиротевши, акы овдовевши»⁷.

«Тверд и неборим» небесный заступник Петр, чего нельзя сказать о кремлевских стенах. Эпитет «каменный» чреват конфликтом. «Каменное», с одной стороны, подразумевает городские стены, олицетворяющие гибельную надежду москвичей на самих себя, с другой же – неземную крепость заступничества св. Петра.

Это противопоставление выражено в «Повести о Темир Аксаке», как бы полемически соотнесенной с «Повестью о нашествии Тохтамыша». Изначально там возникает ситуация, напоминающая катастрофу 1382 г. На Москву в 1395 г. ополчился новый враг, опаснее прежнего, ведь Темир Аксак, Тамерлан, уже успел одолеть московского разорителя Тохтамыша. Великий князь Василий Дмитриевич, разумеется, принимает разумные оборонительные меры. «Такоже повеле князь наместникомъ своимъ и властельмъ, и воеводамъ градскимъ укрепити осаду и собрати воя вся. Они же, слышавъ повеление господина своего, собраша люди и весь град, и укрепяша осаду»⁸. Но прежде всего великий князь с митрополитом Киприаном позаботились о защите небесной. Они доставили из Владимира чудотворную Богородичную икону, и чудо произошло – Тамерлан отступил от московских пределов. Автор «Повести» не забывает и митрополита Петра. «Не мы бо их гонихом, но Богъ прогони ихъ невидимою силою своею и

пречистыя Его Матери, скорыя заступницы наша в бедахъ, и молитвою угодника Его, боголюбивого пресвятого заступника граду нашему Москве и молебника граду нашему Москве находящая на ны беды; посла по нихъ страхъ и трепеть, да окаменеются»⁹. Метафорический глагол «окаменеть» понуждает предположить знание книжником прямого смысла имени «Петр».

Неудивительно, что участник событий XIV–XV вв. митрополит Киприан написал «Житие митрополита Петра». В середине XVI в. «Житие» было включено в «Степенную книгу»¹⁰, один из монументальных проектов эпохи Ивана Грозного, в которых Московское царство описывало себя.

Киприан повествует, как митрополит Петр «прииде во славный градъ, зовомый Москва, еще тогда малу сущу ему и немногонародну, а не якоже ныне видимъ есть нами». При мысли о величественных переменах, случившихся за истекшие сто лет, у агиографа как будто дух захватывает. А превратилась Москва из города «малого и немногонародного» в «славный» благодаря митрополиту Петру, который подал князю Ивану Даниловичу Калите пророческий совет: «Аще мене, сыну, послушаеши и храмъ Пречистыя Богородицы воздвижеша во своем граде, и самъ прославишися паче иныхъ князей и сынове и внуцы твои въ роды и роды. И градъ прославленъ будетъ во всехъ градахъ Рускихъ, и святители поживуть въ немъ, и въздуть руки его на плеча врагъ его, и прославится Богъ въ немъ; еще же и мои кости в немъ положени будутъ»¹¹. Залогом, знаком будущего величия и стало строительство первой московской каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, где и положены мощи святителя: «...тебе предстателя Руськая земля стяжа, славный же градъ Москва честныя твоя мощи, яко же некое сокровище честно соблюдаетъ»¹².

Имя Москвы явно охватывает государство / город / храм в их недифференцированном единстве. И, соответственно, камень горнего заступничества не только противопоставлен дольней «каменности» кремлевских стен, но и обеспечивает ее, будучи манифестирован в каменном же кремлевском Успенском соборе. Формула «столица – св. Петр – камень» может быть раскрыта как «столица – камень горний – камень дольний».

Наконец, в цикле повестей о начале Москвы (приблизительно датируется серединой XVII в.) перипетии основания сто-

лицы также венчаются пришествием в город митрополита Петра и его пророчеством, восходящим (возможно, через посредников) к «Степенной книге»¹³: «Яко по Божию благоволению будет град сей царствующим, велми распространится, и устроится в нем дом всемогущия и живоначальные святыя Троицы и Пречистыя его матере Пресвятыя Богородицы, и церковей Божиих буде множество, и наречется сей град второй Иерусалим, и многим державством обладатель, не токмо всею Росиею, но и всеми странами прославится, восточною и южною и северною, и пообладает многими ордами до теплого моря и от студеного окияна, и вознесется рука высока Богом дарованная отныне и до скончания миру»¹⁴.

При сравнении со «Степенной книгой» заметно, что представление будущего Москвы реализуется при помощи небывалых, характерно «имперских» клише пространства / времени – «до теплого моря и от студеного окияна», «отныне и до скончания миру». Это уже та мифология столицы, которая прямо предвещает мифологию «новой Москвы», нового града святого Петра – Санкт-Петербурга.

2

Вообще повести о начале Москвы – основной источник, позволяющий реконструировать столичный миф в древнерусской литературе. Этот цикл достаточно хорошо изучен с точки зрения как источников и текстологии, так и поэтики.

«Московские повести», согласно классификации С.К. Шамбинаго (небесспорной, но удобной при кратком обозрении), разделяются на три группы: «1) “хронографическая повесть” с уклоном к летописному изложению, обычно помещаемая в хронографических сборниках; 2) новелла, отличающаяся художественными описаниями, развитием любовного элемента и удалением от исторической действительности; 3) сказка, характерная полным разрывом с историей, наличием элемента сказочной фантастики и устно-поэтическими приемами сказа»¹⁵.

В «хронографической повести» князь Юрий Долгорукий убил боярина Кучку, хозяина территории, «иде же ныне царствующий град Москва, оба полы Москвы-реки», а затем на этом месте сам основал «древян град»¹⁶. Подчеркивая, что город в «начале» – деревянный, автор, очевидно, не просто констатирует факт, но

имеет в виду перспективу грядущего «каменного» величия, открытую из времени его писания. Кучковичи же после гибели отца были взяты ко двору Андрея Юрьевича Боголюбского, однако заплатили злом за добро и погубили благодетеля при содействии жены того Улиты. Князь Михаил Юрьевич (брат убитого), узнав о злодеянии, жестоко отомстил заговорщикам.

В «новелле» князь Суздальский Даниил Александрович, подобно Андрею Боголюбскому, приблизил ко двору Кучковичей и пал жертвой предательства. Кучковичам пособничала княгиня Улита. Так же мстит брат – князь Владимирский Андрей Александрович, который умертвил заговорщиков, а вместо московских «красных сел и слобод» построил город. Впоследствии князем в этом городе стал сын Даниила Иван Данилович (Иван Калита), при котором, собственно, в город явился митрополит Петр и провозгласил великую будущность Москвы.

Реальные исторические факты в «московских повестях» преображены и причудливо «перемонтированы». «События, – констатирует М.А. Салмина, – имевшие место в середине XII века (основание Москвы Юрием Долгоруким) и в 1170-е годы (убийство Андрея Боголюбского и месть за него брата убитого – Михаила), перенесены в XIII век и включены в вымышленные биографии сыновей Александра Невского»¹⁷. Ведь согласно летописным свидетельствам слава основателя будущей столицы, города Москвы, приписывалась князю Суздальскому и великому князю Киевскому Юрию Владимировичу Долгорукому. Это же «официально» подтверждает «Степенная книга», сообщая, что Юрий Долгорукий «в богоспасаемомъ граде Москве господствуя, обновляя въ немъ первоначальственное скипетродержание благочестивого царствия, иде же ныне благородное ихъ семя царское преславно царствует»¹⁸.

Даниил же Александрович (ум. 1303), сын Александра Невского, был в действительности не суздальским князем, но именно зачинателем династии московских князей, московской государственности. Со своим старшим братом, великим князем Андреем Александровичем, находился отнюдь не в дружественных отношениях. В роли «строительной жертвы» не оказывался и закончил дни в мире и покое. Очевидно, как заметил С.К. Шамбинаго, «когда Москва и Московское государство стали

пониматься безраздельно, Даниил легко мог быть сочтен и за основателя самой столицы великого государства»¹⁹.

Механизм перенесения объясняется «безраздельным» пониманием Москвы-государства и Москвы-города, а мостик через полтора столетия позволяет перекинуть фигура Андрея Боголюбского. Сын Юрия Долгорукого, он, подобно вымышленному Даниилу Александровичу «московских повестей», в 1174 г. принял смерть от Кучковичей, о чем подробно рассказано в «Повести» XII в. «Повесть», правда, ничего не говорит об участии жены. Но историки и литераторы XVIII в. (В.Н. Татищев, А.П. Сумароков), опираясь на свои источники, уже сообщают сведения о злодейке Улите. А значит, связь «начала истории» Москвы с убийством князя (Андрея Юрьевича / Даниила Александровича) «опирается на некую локальную (суздальскую и / или московскую) устную традицию, на некое предание», ядро которого – «меморат, в частности, связанный с убийством Андрея Боголюбского»²⁰.

В аспекте московского мифа целесообразно акцентировать, что усилиями именно Андрея Боголюбского попала на Владимиро-Суздальскую Русь чудотворная икона Богородицы, обеспечившая победу над Тамерланом. Эта икона была причислена к сакральным сокровищам Успенского собора Москвы, сам же князь-страстотерпец покоился в Успенском соборе Владимира, на который москвичи вообще ориентировались и в связи с переносом резиденции митрополита как бы воспроизводили его на своей земле. Так что Андрей Боголюбский непосредственно причастен к созиданию «небесной» московской крепости.

Кроме того, Андрей Боголюбский – в соответствии с позднейшим московским идеалом – прославился как государь-строитель. «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» даже начинается с похвалы по поводу его забот о зодчестве – «уподобися царю Соломону, яко домъ Господу Богу и церковь преславу святя Богородица Рождества посреде города камену создавъ <...> подобна тое святая святыхъ, юже бе Соломонъ царь премудрый создалъ, тако и сии князь благовернии Андреи и створи церковь сию в память себе»²¹.

Уподобление владимирского князя царю Соломону – строителю Иерусалимского храма – тем замечательнее, что, по на-

блюдению Р.О. Якобсона, московские князья (возможно, в своем строительном пафосе) также тешились этой символической аналогией²². Да и «Повесть», несмотря на агиографический характер, отмечает не только храмовое, но и светское строительство князя. «Князь же Андреи бе городъ Володимерь силно устроилъ, к нему же ворота золотая доспе, а другая серебромъ учини»²³.

Итак, Андрей Боголюбский – не только герой «мемората», имевший отношение к началу города Москвы, не только родич тех князей, которые создали московскую государственность. Он – святой (мощи страстотерпца, кстати, были обретены в 1700 г., приблизительно в то время, когда сочинялись и / или активно переписывались «московские повести»), по смежности (через Владимирскую икону) и по аналогии (Успенский собор во Владимире и Москве) манифестированный в камне центрального столичного храма.

Сходным образом Даниил Александрович – основатель московской княжеской династии, и «строительная жертва» (в повести), и князь-святой. Культ «благоверного», как показал Шамбинаго, получил распространение сравнительно поздно, в эпоху Ивана Грозного, будучи зафиксирован в «Степенной книге», вообще склонной к агиографическому описанию представителей правящей династии; в годы Смуты по повелению первого патриарха Московского Иова составлены стихиры и канон; наконец, в 1652 г., при патриархе Никоне, происходит обретение мощей²⁴, что, по единодушному мнению специалистов, прямо связано с появлением «московского цикла».

Впрочем, «каменное» выражение культа первого московского князя носит специфический, так сказать, «внекремлевский» характер. Даниил Александрович основал за пределами Кремля монастырь в честь Даниила Столпника, где и был похоронен. «Степенная книга» отмечает, что «ради смирения не изволи въ церкви положень быти, но на монастыри, идеже и прочую братию погребаху»²⁵. Со временем, однако, могила была забыта: «Мнозимъ же летомя пришедшимъ, и монастырь Даниловский оскуде <...> яко ни следу монастыря познаватися; токмо едина церкви оста во имя святого Данила Столпника <...> Монастыря ни въ слуху не бяше, аки не бысть». И далее повествуется о чудесах, благодаря которым уже в пору расцвета могущества Москвы был

обнаружен «небрегомый камень на гробе»²⁶, что дало Шамбинаго возможность констатировать «мотив оскорбления так или иначе священного камня»²⁷. Как в случае с митрополитом Петром, образ Даниила ассоциируется и с государственной мощью, и с истинной «необоримостью» – небесной необоримостью святости.

Несмотря на фантастическую манеру рассказа, та же мысль угадывается в «сказочном» типе «московских повестей». Москву «зачинает» некий князь Даниил Иванович (реже в списках – Даниил Александрович²⁸), «после Рюрика, короля римского(!) въ 14 колене, пришед из Великаго Новаграда в Суздаль(!)». Он увидел «посреде болота островъ малъ, а на немъ поставлена хижина мала, а живеть в ней пустынникъ, а имя ему Букаль. <...> И ныне на том месте Божиимъ повелением царской дворъ»²⁹. В отличие от «хронографической повести» и «новеллы», кровавых преступлений в «сказке» никто не совершает, но будущее великого города все равно гарантируется чудесными обстоятельствами «начала» – на этот раз святостью «хижины» отшельника.

После Букаловой хижины Даниил Иванович оказывается «в горахъ», где живет еще один пустынник – римлянин (!) Подон. Подоново обиталище князю тоже пришлось по нраву, но от градостроительных инициатив его удерживает пророчество: «Князе, не подобаеъ ти зде веселитися, то есть место домъ Божии. Созижди ту храмъ...»³⁰ Так и вышло, что на месте Букаловой хижины «зачали» Москву, на Подоне же воздвигли храм Спаса. (Стоит отметить, что здесь опять возникает «внекремлевская» тенденция, характерная для «данииловской» версии московского мифа.) Профанное противопоставлено сакральному и одновременно «крепится» им. Потому в итоге Даниил выслушивает пророчество, близкое тому, которое Иван Данилович в «новелле» получил от митрополита Петра: «Великий княже, на семь месте созиждется град превеликъ и распространитя царствие <...>, и в нем умножатся различных ордъ люди»³¹.

В вариативном пространстве «московских повестей» формула «столица – камень горний – камень дольний» значит то же, что и «столица – строительная жертва – государственное величие».

Остается добавить, что в специфической летописной традиции, связанной со «Степенной книгой» и предшествовавшей «московским повестям» (по наблюдениям С.К. Шамбинаго,

М.Н. Тихомирова, М.А. Салминой³²), обе формулы функционируют не как варианты («парадигматически»), но как элементы единого целого («синтагматически»). Так, одна из летописей, включающая рассказы об убийстве князя, о пророчестве митрополита Петра и закладке Успенского собора, венчается сообщением о строительстве Дмитрием Донским кремлевских стен в 1367 г.³³

3

В историческом аспекте древнерусский миф столицы, описываемый формулами «столица – камень горный – камень дольний» / «столица – строительная жертва – государственное величие», отличался от петербургского варианта принципиальным отказом от уникальности и установкой на традиционность. Не то ценно, что при «начале Москвы» произошли знаменательные события. Ценно, что такие же события происходили при «начале» других великих городов. Москва – великий город в той мере, в какой она – новый Владимир (ср. воспроизведение имени центрального Успенского храма и наследование Владимирской иконы), новый Иерусалим (ср. Соломоновы аналогии)³⁴, Рим или Константинополь (ср. формулу XV–XVI вв. «Москва – Третий Рим»). Если же к этому добавить «безраздельное» представление о Москве как храме / городе / государстве, станут совершенно ясны причины, в силу которых московский миф в текстах XIV–XVI вв. выражен смутно, имплицитно.

Только в XVII в. как результат кардинального изменения типа социума, формирования нового, «предимперского», сознания, «моды на генеалогические и баснословные упражнения на историческую тему»³⁵ наступило наконец время «жанра исторической “предповести”», рассказа о начале традиции (с элементами этиологической легенды <...>), создаваемого в тот период, когда впервые появляется потребность в уяснении своих “исторических” (конкретно – пространственно-временных и персонажных) корней. Эти тексты (и в этом их другая не менее важная особенность) строятся как художественная (по сути дела) композиция, опирающаяся, в частности, на принципиальную мозаичность источников. Есть веские основания говорить о единой линии развития от этих текстов до беллетризованных “исторических повестей” второй половины XVIII века и далее»³⁶.

Иначе говоря, наступило время мифа столичного города, интереса к определенной пространственно-хронологической точке, что и выразилось в «московском цикле».

«Поистинне же сей град именуется третий Рим, понеже и над сим бысть в зачале то же знамение, яко же над первым и вторым; аще и различно суть, но едино кровопролитие»³⁷. Эти размышления, которыми автор открывает «хронографическую повесть», построены как силлогизм. Если Москва – Третий Рим, если Первый и Второй Рим стоят «на крови», то и Москва должна возникнуть «не бес крове же». Или: коли Москва стоит «на крови», значит, она – великий город, развернутым доказательством чего и оказывается «хронографическая повесть». Привычные элементы «московского» мифа переосмыслены на новый – рассудочный, официально-«имперский» – манер.

Соответственно основание Петербурга – в предложенной перспективе – оказывается очередной (после «московских повестей») попыткой реализации мифа столичного города, и обращение к освоенной формуле «столица – св. Петр – камень» более чем предсказуемо. В преобразованном виде, разумеется.

Можно даже предположить, что петровская оппозиция «каменный Петербург» / «деревянная Россия / Москва» соотносима с подразумеваемой в «хронографической повести» оппозицией «деревянная Москва Юрия Долгорукого» / «каменная Москва – царствующий град». Да и культ митрополита Петра также находился в поле внимания царя-реформатора. В московском Высокопетровском монастыре, обновленном иждивением семьи Нарышкиных, в 1690 г. был освящен храм митрополита Петра – в присутствии, кстати, юного царя, а позднее, в 1705 г., образ святителя в панегирических целях использовал архиепископ Черниговский Иоанн (Максимович) в хвалебной части своего «Алфавита»: «Святителя Христова Петра пророческие слова (Ивану Калите при закладке Успенского собора. – М. О.) восприимут совершение в тезоименитом своем благочестивейшем нашем царю Петру...» Так что митрополит Петр окказионально выступал как заместитель постоянного «панегирического» двойника Петра I – патронима-апостола³⁸.

Создав свой вариант столичного мифа – миф Санкт-Петербурга, царь, впрочем, отнюдь не табуировал прежнюю,

«московскую», версию, как это может показаться. Более того, в какой-то мере он и задал государственную (и культурную) ситуацию двух столиц.

15 ноября 1723 г. был издан манифест «О короновании Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны». Закон этот замечательно иллюстрирует особенности ментальности Петровской эпохи. Необходимость особого «коронования» Екатерины, уже более 10 лет являвшейся законной женой царя, вначале доказывается ссылками на авторитетные образцы: «Понеже всем ведомо есть, что во всех Христианских Государствах непременно обычай есть Потентатам супруг своих короновати...» Приведя перечень византийских (!) прецедентов, манифест затем переходит к следующей группе аргументов, указывая на специфически петровскую идеологему персональных заслуг (ср. «Табель о рангах» и знаменитую воинскую службу Петра с последовательным получением чинов и орденов): «И понеже не неведомо есть, что в прошедшей двадцатиединолетней войне <...> Наша Любезнейшая Супруга, Государыня Императрица Екатерина Великою помощницею была». И вывод: «Того ради данною нам от Бога самовластию за такие супруги Нашея труды коронациею Короны почтить, еже Богу изволившу, нынешния зимы в Москве имеет совершенно быть»³⁹. Как привычные византийские образцы контаминировались с персональными, почти воинскими заслугами Екатерины I, так и небывалое коронование жены императора должно было состояться при знакомых обстоятельствах – в Москве. Подразумевалось – в Успенском соборе, что незамедлительно и произошло в мае 1724 г.

Решая по обыкновению вполне конкретные политические задачи, Петр I тем не менее ориентировался на сложившийся столичный миф и в итоге инициировал его новую разновидность. Статус столицы отошел к каменному граду первоверховного апостола, в Москве же – в храме митрополита Петра – укоренился коронационный миф.

В дальнейшем императоры из династии Романовых, «поземному», светски вступая на престол в Петербурге, должны были подкрепить свои права коронацией в кремлевском храме Успения Богородицы, откуда возникла интереснейшая московская традиция хвалебных од, триумфальных торжеств, карнавалов и народных гуляний, вплоть до легендарной Ходынки в мае 1896 г., когда

в беспорядочной толчее при коронационных гуляниях погибло более 1200 человек. Оппозиционными публицистами это было осмыслено как символ (не без эсхатологической окраски) монаршего деспотизма, что выходило легко и естественно постольку, поскольку по сути было «обратным» прочтением официального коронационного текста Москвы.

Кстати, А.И. Герцен, постоянно «игравший» с культурными символами, в «Былом и думах» представил сходный образчик коронационного антимифа. «Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, – писал он о декабристах в III главе I части мемуаров, – коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха».

В VI главе Герцен приводит еще одну историю такого же рода. Здесь фигурировали уже не «громкие» декабристы, а мало кому известные сестры Пассек, вознамерившиеся просить государя за некогда опального отца. «В это время Николай праздновал коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную залу, везде огни, щиты, наряды... Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотра дела и возвращения имени. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут “венчанного и превознесенного царя”. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую»⁴⁰. Формула коронационного мифа у Герцена: «в царском пиру – похмелье».

Наряду с «петербургским» и «московско-коронационным» в XVIII в. бытует «романсно-эротический» вариант столичного мифа. Схематически его появление объяснимо как следствие обособления формулы «столица – строительная жертва – государственное величие» от формулы «столица – св. Петр – камень». Последняя по-прежнему пребывает «на верхах» как элемент государственного официоза. Первая же «понижается», питая развлекательную литературу.

Исследователи «московских повестей» констатируют (хотя используют – в духе времени – слишком уж социологизированные дефиниции), что аксиологическая стратификация столичного мифа даже предшествовала радикальным новациям Петра I: если «хронографическая повесть» тяготела к летописному («высокому») полюсу, то «новелла» (и тем более «сказка») составляла «чтение подвижного, скептически настроенного посада»⁴¹.

К тому же некоторые подробности убийства Даниила Александровича Суздальского вообще позволяют сближать «новеллу» с фольклором. Спасаясь от Кучковичей, князь, чья смерть послужит «началу» Москвы, неудачно пытался переправиться через Оку, а с Москвой-рекой явно ассоциировался мотив гибельной реки Смородины, неперемного «места гибели героя или героини»⁴². В фольклорных песнях, как и в «новелле», прослеживается «эротический» сюжет, варианты которого охватывает формула «река Москва / Смородина – место / причина – гибель героя / героини».

«Другое, – писал И.Е. Забелин, – собственно эпическое, имя Москвы-реки – Смородина – сохранилось в былинах и песнях. В одной из былин сказывается, как:

Князь Роман жену терял;
Жену терял, он тело терзал,
Тело терзал, в реку бросал,
Во ту ли реку во Смородину...

В былинной же песне о бесприютном и злосчастном добром молодце река Смородина прямо называется Москвою-рекою и описываются подробности ее местоположения и нрава: молодец похулил ее и за то потонул в ней»⁴³.

Отвлекаясь от специального вопроса о текстологическом «древе» сюжета – о временном соотношении письменного и устного изводов, допустимо отметить, что в XVIII в. «московско-эротический» миф, напоминающий позднейшие баллады и «жесткие романсы», неоднократно привлекал внимание литераторов.

Вариацией «романсно-эротического» сюжета, например, можно считать такое «общее место» русской классицистической (и сентименталистской) лирики, как разлука с возлюбленной,

которую оставляют в Москве. Ср. строки из «Станса» виртуоза словесной игры А.А. Ржевского (1761):

Прости, Москва, о град, в котором я родился,
В котором в юности я жил и возрастал,
В котором живучи, я много веселился
И где я в первый раз любви подвластен стал.
Любви подвластен стал, и стал лишен покою,
В тебе, в тебе узнал, что прямо есть любить,
А ныне принужден расстаться я с тобою,
Злой рок мне осудил в пустынях жизнь влачить.

Или пространное стихотворение «К Москве» племянника Д.И. Фонвизина А.В. Аргамакова (1794):

Позлащенными главами
Досягая горних стран,
Удовольствия дарами
Утешай своих граждан!
Щедрую для них рукою
Рассыпай цветы отрад;
Но среди торжеств, покою
Обрати ко мне твой взгляд!
Я прощаюся с тобою,
О Москва, любезный град!
Мне тебя оставить должно...
Против воли то моей.
Я оставлю; но как можно
Возвращусь к тебе скорей,
Возвращусь – опять увижу
Те прелестные места,
Где еще, еще приближу
Ко устам драгой уста...⁴⁴

Перечень примеров соблазнительно увенчать цитатой из ранней повести А.И. Герцена «Записки одного молодого человека» (1840–1841): «Я пристально смотрел на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московский берег отодвигался далее и далее;

глубь, вода, пространство, препятствия меня отделяли более и более... А тот берег – чуждый, неприязненный – из темно-синей полосы превращался в поля, деревни становились ближе и ближе... На московском берегу у меня все: впалые щеки старца, по которым недавно катилась слеза... и другие слезы... О, Боже!...»⁴⁵ «Другие слезы» несложно интерпретировать в биографическом контексте как намек на кузину Н.А. Захарьину, будущую жену писателя, но здесь столь же явно прослеживается включенность в «романсно-эротическую» традицию московского мифа.

Если стихотворная обработка сюжета «река Москва / Смородина – место / причина – гибель героя / героини» в определенной мере маргинальна, то его преломлению в прозе русская литература обязана такими повестями, как «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина и «Марьяна роща» (1809) – «старинное преданье» В.А. Жуковского. События в этих повестях изложены существенно по-разному: у Карамзина действие происходит в «наши дни», у Жуковского – до «начала» Москвы, у Карамзина случается самоубийство девушки, у Жуковского – убийство, у Карамзина московская водная стихия представлена прудом у Симонова монастыря, у Жуковского – Яузой, на берегах которой умирает Марья. Тем не менее очевидна «единая линия развития» от «московского цикла» «до беллетризованных “исторических повестей” второй половины XVIII в., а также более поздних (включая соответствующие “чисто” художественные тексты Карамзина и раннего Жуковского)», на что указывал В.Н. Топоров⁴⁶. В частности, по традиции, связанной с именем Даниила Александровича, повести Карамзина и Жуковского локализуются вне московского центра – Кремля.

В повестях, как и в лирике, ситуация типа «река Москва / Смородина – место / причина – гибель героя / героини» представлена текстами «правильной» литературы. Однако внутри «правильной» это тексты «среднего стиля», адаптировавшие к «пристойным» правилам «народность». Во-первых, «народность» как «простонародное», что наличествует в поэтических образчиках «единой линии» и (с оговорками) в «Бедной Лизе», во-вторых, «народность» как «историческое», «старинное», присутствующее у Жуковского.

С культурологической точки зрения аналогичный процесс происходит и в исторических сочинениях XVIII – начала XIX в.: В.Н. Татищев, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин и другие анализи-

руют (пересказывают) «московский цикл» как источник сведений о древностях столицы, приспособлявая «народное» (легендарное) к «правильному» (достоверному, на их взгляд).

Итак, хотя московский миф уступает петербургскому в цельности, миф этот существует и поддается описанию. Просто он требует кропотливого анализа, потому что развивался на протяжении как минимум семи столетий и в рамках социумов различного типа. Зато исследователя ожидают сюрпризы, порождаемые «странными сближениями».

...В финале знаменитого фельетонного романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» искателей сокровищ эпохи нэпа постигает закономерная катастрофа: «великий комбинатор» Остап Бендер лежит с перерезанным горлом, отец Федор Востриков и Ипполит Воробьянинов сходят с ума, чаемые же ими бриллианты обращаются в современное московское здание клуба железнодорожников. Для романа, изданного в 1928 г., все как следует – ход истории необратим, возвращение в дореволюционное прошлое непредставимо, игнорировать, обходить правила нового государства невозможно⁴⁷. Но вдруг – в аспекте московского мифа – открывается иная, уходящая в глубь веков перспектива, и советский роман оказывается очередным выражением формулы вроде «столица – строительная жертва – государственное величие».

¹ Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 274.

² Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 131.

³ Там же. С. 136.

⁴ Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. М., 1981. С. 148, 150, 166.

⁵ Там же. С. 190, 192.

⁶ Там же. С. 194.

⁷ Там же. С. 202.

⁸ Там же. С. 236.

⁹ Там же. С. 238.

¹⁰ Васенко П.Г. «Книга Степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской исторической письменности. СПб., 1904. С. 227.

- ¹¹ Книга Степенная царского родословия // Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1. С. 327–328.
- ¹² Там же. С. 332. Ср. наблюдение И.Е. Забелина о том, что Едигей, вслед за Тохтамышем в 1408 г. осаждавший Москву, неожиданно отступил от города 20 декабря, в день памяти преставления митрополита Петра (История города Москвы. М., 1990. С. 101).
- ¹³ *Шамбинаго С.К.* Повести о начале Москвы // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Л., 1936. Т. 3. С. 91.
- ¹⁴ Повесть о начале царствующего града Москвы // Русская бытовая повесть: XV–XVII вв. М., 1991. С. 210.
- ¹⁵ История русской литературы. М., 1948. Т. 2. Ч. 2. С. 245.
- ¹⁶ Повести о начале Москвы / Изд. и подг. текстов М.А. Салминой. М.; Л., 1964. С. 175–176.
- ¹⁷ Там же. С. 127–128.
- ¹⁸ Книга Степенная царского родословия. С. 191.
- ¹⁹ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 77–78.
- ²⁰ *Топоров В.Н.* О следах эпической стихотворной традиции в старорусских повестях о начале Москвы // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 223.
- ²¹ Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. С. 324.
- ²² *Jakobson R.* Selected Writings. The Hague; Paris, 1966. Vol. 4: Slavic Epic Studies. P. 274–276, 534–539.
- ²³ Памятники литературы Древней Руси: XII век. С. 326.
- ²⁴ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 80.
- ²⁵ Книга Степенная царского родословия. С. 298.
- ²⁶ Там же. С. 299.
- ²⁷ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 82.
- ²⁸ Повести о начале Москвы. С. 135.
- ²⁹ Памятники литературы Древней Руси: XVII век: Книга первая. М., 1988. С. 121.
- ³⁰ Там же. С. 122.
- ³¹ Там же. С. 121.
- ³² См.: *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 77; *Тихомиров М.Н.* Сказания о начале Москвы // Исторические записки. М., 1950. Т. 32. С. 236; Повести о начале Москвы. Гл. II.
- ³³ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 77.

- ³⁴ Ср.: «...Борис Годунов задумал воздвигнуть в Кремле грандиозный храм и назвать его “Святая святых” по примеру храма царя Соломона <...> Характерным образом Иван Тимофеев усматривает в этом стремление принизить значение московского Успенского собора: “Первое ... и верховнейшее дело его: основание во уме своем положи и промчесь всюду, еже о здании святая святых храма сего весь подвиг бе; яко же во Иерусалиме, во царствии си хотяше устроити, подражая мняся по всему Соломону самому, яве, яко унижив толик древняго здания святителя Петра храм Успения Божия Матере”» (*Успенский Б.А.* Указ. соч. С. 99–100).
- ³⁵ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 69.
- ³⁶ *Топоров В.Н.* О следах эпической стихотворной традиции в старорусских повестях о начале Москвы. С. 223.
- ³⁷ Повести о начале Москвы. С. 173–174.
- ³⁸ См. подробнее: *Одесский М.П.* Художественная семантика панегирических имен собственных в театре эпохи Петра I // *Герменевтика древнерусской литературы*. Сб. 4: XVII – начало XVIII в. М., 1992. С. 370–397.
- ³⁹ Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 7. С. 161–162.
- ⁴⁰ *Герцен А.И.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 8. С. 61, 139.
- ⁴¹ *Шамбинаго С.К.* Указ. соч. С. 92.
- ⁴² *Путилов Б.Н.* Песня «Добрый молодец и река Смородина» и «Повесть о Горе-Злочастии» // *Труды отдела древнерусской литературы АН СССР*. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 232.
- ⁴³ *Забелин И.Е.* История города Москвы. С. 58. Ср. также симптоматические замечания В.К. Третьяковского в «Рассуждении о первоначалии Россов» (1757): «Имя Смородины Москве реке есть не древнее, но новое: ибо древнее Словенское имя сему плоду есть Чресмина; да и прозвана сия река Смородиною от простаков, увидевших, что она истекает из-под кустиков черная, как уверяют многии самовидцы, Смородины, не подалеку от Можайска. По сему, хоть и попустить ему сие имя (ибо и я слышал от самых простых людей, что называется она Смородина, а на письме от искусных и достоверных мужей нигде того не видал); однако, попустится оно ему так, что Москва река, по имени, есть Смородина по прозвищу, данному ей после от простолюдинов...» (цит. по: *Jakobson R.* Op. cit. P. 623).

- ⁴⁴ Стихотворения А.А. Ржевского и А.В. Аргамакова цит. по: Русская литература – век XVIII: Лирика. М., 1990. С. 164, 537.
- ⁴⁵ Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 286.
- ⁴⁶ Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995. С. 102–103.
- ⁴⁷ См. подробнее: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Легенда о великом комбинаторе: История создания, текстология и поэтика романа «Двенадцать стульев» // Очерки довоенной литературы: Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 196–197.

1998 г.

Впервые: Москва и московский текст русской культуры: Сб. ст. М.: РГГУ, 1998. С. 9–25.

Столичное / провинциальное в русской агиографии

Средневековый человек различал столицу и не-столицу. Понятно, что исторические обстоятельства воздействовали на его представления о столичном городе: столиц в периоды децентрализации могло быть несколько, особый статус имели резиденции церковных иерархов и т. п. Однако сама оппозиция «столичное / провинциальное» в древности, как и теперь, существовала. Тем не менее осмыслялась эта оппозиция принципиально иначе.

Доминирование религиозных ценностей обуславливало то, что средневековые топонимы одновременно подразумевали и государство, и город, и центральный храм (или центральную святыню). Например, Святая София – и новгородский храм, и Новгород, и территория, контролируемая Новгородом; Спас Златоверхий – и конкретный храм (в котором хранилась великая святыня – мощи св. Михаила Тверского), и символ города Твери, и символ Тверского княжества; соответственно, Москва – город Богородицы (по кафедральному Успенскому храму) или святого Петра (по мощам св. митрополита Петра в Успенском храме)¹ и т. п. Этот «код», разумеется, порождал случаи многозначности и омонимии: митрополит Киевский и всея Руси Герасим (1433–1435), который должен был иметь резиденцией Москву, но по политическим причинам предпочитал западнорусские земли, ставил епископов (согласно формуляру) «в всечестном храме пречистыя Богородица соборной в богохранимом граде имярек». «Эта формулировка, – комментирует Б.А. Успенский, – вообще говоря, может относиться как к Смоленску, так и к Москве, поскольку как в том, так и в другом городе кафедральный собор посвящен Успению Богоматери. По всей видимости, в данном

случае предусматривается, что избрание может происходить в одном из этих двух городов»².

А коли так, квалифицировать средневековый не-столичный город как провинциальный корректно лишь с оговорками: ведь святыня по природе своей не подлежит оценке в подобных терминах. Эта установка сознания особенно заметна в житиях, герои которых, святые, фигурировали именно в качестве главной святыни для тех мест, где им приходилось подвизаться. Агиографическая система ценностей «параллельна» оппозиции «столичное / провинциальное», что и выражено уже в Несторовом «Житии Феодосия Печерского» (XI в.).

Феодосий – провинциал. Город Васильев, в котором он родился, «есть отстоя отъ Кыева, града стольнааго, 50 попрыщъ»³. Провинциальность прямо измерена – в попрыщах от центра.

Позже семья перебирается из Васильева в Курск, снова провинциальный город. И в дальнейшем юность Феодосия изображается по «провинциальной» схеме, напоминающей «Три сестры»: он рвется из Курска. Однако здесь актуализируются существенные отличия от чеховской пьесы. Феодосий пытается оставить не провинциальный город, а место, где мать препятствует ему реализовать монашеское предназначение. Поэтому в качестве цели движения выступают разные объекты. Вначале – Иерусалим: «Таче слыша паки о святыхъ местехъ, идеже Господь нашъ Исусъ Христось плътию походи, и жадаше тамо походити и поклонитися имъ»⁴. Феодосий, как позднее «русские мальчики» в Америку, уходит с пилигримами. Его настигают, водворяют домой. Но мать, отказываясь постичь судьбу сына, по-прежнему стояла между ним и церковным служением, и Феодосий, «въ скърби велице», опять бежит: «Тъгда же, въставъ нощию отай из дому своего, и иде въ инь градъ, не далече сушь оттоле, и обита у прозвутера»⁵. Неизвестный «инь градъ», т. е. провинция, без труда замещает вселенский центр, Иерусалим. Феодосий индифферентен к оппозиции «столичное / провинциальное», лишь бы при церкви делать «по обычаю дело свое».

При такой перспективе ясно, что и третий – успешный – побег Феодосия вызван желанием попасть не в столицу, а в монастырь: «И тако устрямися къ Кыеву городу, бе бо слышалъ о монастырихъ ту сущиихъ»⁶. Феодосию отказали в киевских

монастырях, и тогда он, «слышавъ о блаженемъ Антонии, живущимъ въ пещере», «устрьмися къ пещере»⁷, где и был пострижен.

Впоследствии здесь вырастет Киево-Печерский монастырь, однако к моменту прихода юноши это предместье, урочище на Киевских горах. С административной точки зрения Феодосий, попав в столицу, оказался в пригороде, но с духовной – в центре, ибо отныне – во многом усилиями самого Феодосия – «высший смысл всему “киевскому” пространству придает именно *это место* (курсив автора. – М. О.), духовный центр его»⁸. Во времена составления Киево-Печерского патерика за монастырем, а не за городом закреплен статус «святаго и честнаго и спасеннаго того места Печерьскаго, в нем же дивно есть всякому хотящему спастися»⁹. Поскольку герои патерика – монахи, чьи нетленные мощи хранились в пещерах, постольку их можно назвать жителями особого мистического города, подземного «Небесного Иерусалима», относительно которого ориентирован Киев – сомнительная столица хиреющего государства. А.С. Хомяков позднее писал: «Мрак пещер твоих безмолвный / Краше царственных палат»¹⁰.

Сходным образом реализуется оппозиция «столичное / провинциальное» в агиографической литературе московского периода. В «Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого (второе десятилетие XV в.) Варфоломей-Сергий первые сознательные годы проводит в пограничном городке Московского княжества Радонеже, напоминающем Курск Феодосия. В столицу святой не стремился. Недалеко от Радонежа манифестирован и монашеский подвиг Варфоломея, сопровождаемого старшим братом Стефаном – Маковецкий холм у дороги Москва–Переяславль, в «месте пустыни, въ чашах леса»¹¹.

Автор жития, повествуя о подвижничестве святого, конечно же, упоминает Москву, но мимолетно, словно не акцентируя внимание. Показательно, что когда Варфоломей-Сергий и Стефан, решив освятить церковь во имя Троицы, получают благословение у митрополита, агиограф спокойно опускает момент посещения ими Москвы: «И то рекша, и взяша и благословение, и священие от святителя. И приехаша из града от митрополита Феогноста священники, и привезоша с собою священие, и антимишь, и мощи святых мученикъ, и прочая, яже на потребу на освящение церкви. И тогда священа бысть церкви въ имя святыа Троица отъ пре-

освященного архиепископа Феогноста»¹². «Важная деталь, – замечает В.Н. Топоров, – в “Житии” не отмеченная, к митрополиту Феогносту, весьма значительному иерарху в истории русской церкви, братья ходили пешком в Москву»¹³.

Как известно, Стефан вскоре расстался с братом, перейдя в столичный Богоявленский монастырь, где сделал успешную духовную карьеру. Сергей же, оставшись в провинциальной пустыни, преобразил ее в духовный центр. И Епифаний Премудрый, избегая однозначно негативной оценки «столичного» как недуховного, все-таки подчеркивает: «Овь сице произволи, другий же инако; овь убо въ градстемь монастыре подвизатися проразсуди, овь же и пустыню яко град сътвори»¹⁴. Автор жития имеет в виду не «цивилизаторскую» деятельность Сергия по «окультурированию» леса, но созидание небесного града, духовного центра, жители которого получили себе спасение: «Мнози же убо от различных градов и от стран пришедше к нему и живяху с ним, их же имена въ книгах животных»¹⁵.

Герои позднейших агиографических сочинений – «Жития Кирилла Белозерского» Пахомия Логофета (середина XV в.) или анонимного «Жития Павла Обнорского» (1530-е гг.)¹⁶ – демонстрируют такое же восприятие оппозиции «столичное / провинциальное». Оба, происходя из благородных московских семей, не дорожат столичными радостями, предпочитая близость к духовному центру – Сергию Радонежскому и его обители, а затем оба – по мере осознания призвания – уходят в «пустыню» на Север.

Олицетворяя идею духовного центра, персонажи житий трансформируют статус места своего подвижничества. Творимые чудеса вселенского масштаба освящают провинциальные локусы их земного обитания.

В качестве примера можно указать одно из самых известных посмертных чудес новгородского святого Варлаама Хутынского, которое содержится в Распространенной редакции его «Жития» (середина XVI в.)¹⁷. Тарасий, пономарь Спасо-Преображенской церкви Хутынского монастыря, видит, как ночью чудесно зажглись свечи и паникадила, храм наполнился благоуханием, а святой, поднявшись из гроба, встал на молитву. Пономарю открывается Божья кара, которая в прямом смысле нависла над городом: «...над самымъ Великимъ Новымъградомъ езеро Ильмеръ воздвигшеся

на высоту, хотя потопити Великий Новъградъ»¹⁸. Однако благодаря чудесному заступничеству святого Бог смилостивился.

Специалисты обнаружили ветхозаветные источники видения пономаря Тарасия¹⁹. Книжник XVI в. без колебаний помещает библейские по размаху события в Новгород, «провинцию» (пусть пока авторитетную) Московского государства. Диспропорция вполне снимается соответствующим событию «масштабом» святого Варлаама Хутынского: близ раки с его мощами и в его монастыре – духовном центре – мыслимы любые чудеса.

В «Житии Прокопия Устюжского» юродивый аналогично совершает прижизненное чудо, спасая Устюг от природного катаклизма. Святой призывает легкомысленных устюжан покаяться, предупреждая о близящейся Божьей каре, но они не внемлют. «Во вторую же неделю с полудни нанесется туча страш<н>а съ четырехъ странъ. И бысть тма мрачна, помрачися воздухъ, начаша молния блистати велми, яко и лицу человеку жжещи, непрестанно блестящи. Громи же начаша бити грозным и страшнымъ звукомъ. И бысть воздуху яко запалитися от молнии страшныя. А от громнаго страшнаго звуку и треску земли яко трястися и колебатися, и яко единъ ко другому ко уху крычащу не слышати»²⁰. Переменчивые устюжане испугались, бросились в храм, и Прокопий вымолил их у Бога: «С того часа начаша расходитися страшная та туча, и отиде от града за пятнадесять стадии, на пусто место, пролияся гневъ Божии ту. И спадоша камене велии, и зело велии, сломи лесъ и попали. Тако спасесея градъ Устюгъ от того гнева Божия заступлениемъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и молитвъ ради угодника Божия блаженнаго Прокопия»²¹. Как и в случае с Варлаамом Хутынским²², Прокопий выступает посредником между вселенским планом Божьего смотрения и провинциальным планом, в котором живут его земляки-устюжане.

В XVII в. оппозиция «столичное / провинциальное» обретает на Руси новый вид, что сигнализирует о глобальном культурном процессе вытеснения религиозных ценностей государственными. Фундаментальный характер получает «горизонтальная» классификация городов – по степени их близости / отдаленности от административного центра. Только в столице разрешают свои проблемы герои авантурных повестей XVII – начала XVIII в.: грешник Савва Грудцын, странствуя по всей Руси, спасается от

дьявола в кремлевском Чудовом монастыре, в Москве же Фрол Скобеев устраивает матримониальные и имущественные дела. Применительно к агиографической литературе аналогичные изменения даны в «Житии протопopa Аввакума».

Аввакум с удивительной подробностью представляет в «Житии» топографию церковной Москвы, ее окрестностей, упоминая монастыри Кремля, Андроников, Андреевский на Воробьевых горах, Николо-Угрешский. И вообще видение мятежного протопopa москвоцентрично. Еще в дониконианскую пору он при конфликтах с развратной паствой привычно обращается за помощью в Москву, возлагая надежды на царя и других столичных ревнителей благочестия. А после реформ Никона Москва – стольный град, резиденция всевластного царя, которого необходимо убеждать в защите правой веры от нечестивого, по мнению Аввакума, патриарха. «Последние» духовные вопросы зависят от Москвы и решаются в Москве. «Глаголете ми, яко мною вредится истинна и лутче бы умереть в Даурах, – пишет Аввакум в 1665 г. игумену Феоктисту, – а нежели бы мне быть у вас на Москве. И то, отче, не моею волею, но Божию до сего времени живу. А что я на Москве гной расшевелил и еретиков раздражил своим приездом из Даур; и я в Москву приехал прошлого года не самозван, но взыскан благочестивым царем и привезен по грамотам. Уш-то мне так Бог изволи быть у вас на Москве»²³.

И разочаровавшись в царе, Аввакум остается носителем «столичного» мировоззрения: твердыня нечестия, Москва, по-прежнему центр, что выражается в именовании ее Вавилоном. Хотя и антихристова, но столица: «Станем добро, не предадим благоверия, не по што нам ходити в Персиду мучитца, а то дома Вавилон нажили»²⁴.

Устойчивая дефиниция столицы новой России как Вавилона знаменует то, что старообрядцы – при всем их консерватизме – воспринимают оппозицию «столичное / провинциальное» уже не так, как авторы древних житий. Дмитрий Ростовский с возмущением свидетельствовал в полемическом трактате «Розыск о раскольнической брынской вере» (1709): «Москва есть Вавилон, антихристова царства престол, и аки бы оуже настoit время Втораго Страшнаго Христова пришествия и Дне Суднаго, и по вся нощи чают того, и ждут нецыи от них, возжегше свещу, и не спяще даже до петелева глашения»²⁵.

Верен традиции неизвестный составитель любопытнейшего старообрядческого агиографического сборника середины XIX в. «Вкратце жития святых собранное и повести» (личный архив автора; рукопись найдена А.И. Зориним в начале 1960-х годов в Онежском районе Архангельской обл.).

Император Николай I здесь именуется «Миколой Первым», государем «Вавилонскаго государства питербургския Трояды»²⁶, т. е. дважды языческой столицы – Вавилона и Трои. Где языческие центры, там нет места ни святыни, ни святым. В том же «зоринском» сборнике автор «Жития Александра Невского», бегло изложив известные деяния блаженного князя, завершает текст оригинальной (насколько можно судить) концовкой:

«Никоньяньские же восприемники, государь Петръ Алексиевичь, со своими своемыслеными, созда градъ любодеиственный Вавилонъ, на устье реки Невы, идеже победи Александръ немцевъ. И восхоте туде пренести мощи святаго Князя Александра. Первое пренесоша, и паки святой отиде оттоле. Они же и второе пренесоша. Онъ святой и второе отшедь от нихъ.

О окаянства и противоборства! святыхъ хотяху покорити по воли своей. Но не бысть тако. Они же Богоотступные и третие дерзнуша пренести или взяти. Взявше из раки мощи его святые, и запечатлевши раку. Принесше же положиша во градъ Вавилонъ, и запечатлеша же раку с мощми. Да коли ты Княже Святой намъ не покоряешися, то и мы тебе воли не дадимъ.

О темная влас<т>ь антихристовая, со святыми брань творяше! Хотя свою гордос<т>ь удовлвити, и тако угодника Божия прогонили своею злобою, от места своего»²⁷.

Троекратные святотатственные покушения властей можно интерпретировать, опираясь на сведения М.Л. Яковлева, автора «Словаря исторического о святых» (1836; 2-е изд. 1862): «В честь сего князя Петр I соорудил на берегах Невы монастырь, повелел перевезти туда из Владимира мощи благоверного князя (1724 г.) и установил праздновать память его 30 августа, в день заключения со Швециею Нейштадтского мира <...> Петр I встретил св. мощи у устья Ижоры; они поставлены были на галеру; сам император правил рулем, а чиновные особы сидели за веслами. В торжестве поднял он с окружавшим генералитетом раку и перенес в церковь монастырскую; навстречу мощам выведен был ботик Петра

Великого <...> Императрица Елисавета соорудила в 1753 г. раку для мощей св. Александра из первого серебра, добытого в ее царствование из рудников; того ж года, августа 30, положены в оную мощи <...> а в 1790 г., августа же 30, перенесены мощи в присутствии императрицы Екатерины II, александровскими кавалерами в освященную большую соборную Троицкую церковь»²⁸.

Императорская власть – по заветам Петра I – «перекодировала» почитание святого в столичное светское торжество, связывая церковный обряд то с победой в войне и успехами флота, то с достижениями отечественной горнодобывающей промышленности. Старообрядцы же, «кодируя» по-своему, опознавали в этих акциях созидание духовного Вавилона – столицы нового образца, созидание центра без святыни и без святого.

Абсолютизация культурного статуса административного центра на фоне его десакрализованности отменяет возможность вселенского чуда в «провинциальном» масштабе. Идеи «чуда» и «провинции» как бы отрицают друг друга.

Теперь знамение – и локализованное вне столицы – имеет не частный, но общий смысл, открывая будущее не Новгорода или Устюга, но России. «Плыл Волгою-рекою архиепископ Симеон Сибирской, – пишет протопоп Аввакум, – и в полудне тма бысть перед Петровым днем недели за две; часа с три плачючи у берега стояли. Солнце померче, от запада луна потекла, являя Бог гнев свой к людям. В то время Никон-отступник веру казил и законы церковныя, и сего ради Бог излиал фиял гнева ярости Своя на Русскую землю: зело мор велик был, неколи еще забыть, все помним»²⁹. Знамение материализовано на Волге, а знаменует судьбы Русской земли.

Обретая государственный смысл, мрачные знамения закономерно должны со временем переместиться в государственный центр – в столицу. Таким образом, в XVII в. культура загодя коллекционирует элементы столичного мифа имперского периода (будущего Петербургского), включая катастрофизм³⁰. Это было логическим следствием перетолкования (и в каком-то смысле возникновения) оппозиции «столичное / провинциальное», необходимость которого для русской культуры диктовалась сменой ценностных «кодов».

- ¹ Ср.: *Одесский М.П.* Москва – град святого Петра: Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв. // Москва и московский текст русской культуры. М., 1998.
- ² *Успенский Б.А.* Царь и патриарх: Харизма власти в России: (Византийская модель и ее русское преломление). М., 1998. С. 413.
- ³ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1: XI–XII века. СПб., 1997. С. 354.
- ⁴ Там же. С. 356–358.
- ⁵ Там же. С. 360.
- ⁶ Там же. С. 362.
- ⁷ Там же. С. 364.
- ⁸ *Топоров В.Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1: Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 632.
- ⁹ Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. С. 478.
- ¹⁰ Стихотворение «Киев» (1839 г.) см.: *Хомяков А.С.* Стихотворения и драмы / Изд. подг. Б.Ф. Егоров. Л., 1969. С. 113.
- ¹¹ Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. М., 1981. С. 294.
- ¹² Там же. С. 296.
- ¹³ *Топоров В.Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 2: Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). М., 1998. С. 410.
- ¹⁴ Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. С. 298.
- ¹⁵ Там же. С. 336.
- ¹⁶ См.: *Ключевский В.О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 271–272.
- ¹⁷ *Дмитриев Л.А.* Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 44.
- ¹⁸ Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 416.
- ¹⁹ *Седельников А.Д.* Литературно-фольклорные этюды // *Slavia. R. VI. S. 1. Praha, 1926. С. 89–98.*
- ²⁰ Древнее чудо о «страховании в граде Устюге» цитируется по сборнику XIX в.: Вкратце жития святых собранное и повести. Л. 109–109об. (личный архив автора). Характеристика сборника дается далее в статье.
- ²¹ Вкратце жития святых собранное и повести. Л. 110–110об.

- ²² Рукописная традиция XVI в. свидетельствует о совместном почитании Варлаама Хутынского и Прокопия Устюжского: существовал двойной чудотворный образ, а «Повесть о Борисоглебском монастыре», входящая в устюжский цикл, венчалась «Похвалой общей преподобному Варлааму Хутынскому Новгородскому и блаженному праведному Прокопию Устюжскому новым чудотворцам». См.: *Белоброва О.А., Власов А.Н.* Житие Прокопия Устюжского // *Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 324.*
- ²³ Житие Аввакума и другие его сочинения / Изд. подг. А.Н. Робинсон. М., 1991. С. 129.
- ²⁴ Там же. С. 81.
- ²⁵ Цит. по: *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 418.
- ²⁶ Вкратце жития святых собранное и повести. Л. 194; вторая пагинация.
- ²⁷ Там же. Л. 256об.–257 (в рукописи ошибочно 256); вторая пагинация.
- ²⁸ <*Яковлев М.Л.*> Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1862. С. 11–12.
- ²⁹ Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 29.
- ³⁰ См. подробнее: *Одесский М.П.* Москва – град святого Петра: Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв.

2000 г.

Впервые: Русская провинция: миф – текст – реальность. М.: СПб.: Тема, 2000. С. 156–163.

Концепт «скандал / соблазн» в русской культуре

Слово «скандал» обозначает «происшествие, нарушающее порядок и позорящее его участников», т. е. негативно оцениваемое нарушение социальной конвенции. Это – в современном литературном языке, в культуре же зафиксировано, так сказать, «романтическое», бунтарское прочтение, прочтение «наоборот»: авторитетная для большинства конвенция воспринимается как негативная, а ее нарушение – как позитивный протест, апеллирующий к истинной (но игнорируемой обществом) системе ценностей.

Примеров подобного словоупотребления (и толкования концепта) великое множество. Так, в романе близкого к кругу формалистов Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1928) – ностальгическом «повествовании с ключом» об академической жизни Ленинграда-Петербурга – главный персонаж, «скандалист» Виктор Некрылов (в котором опознается Виктор Шкловский), безнадежно оппонирует наступающей эпохе советского мещанства.

Однако в те же годы в том же Ленинграде-Петербурге существовал интеллектуальный проект, сформулировавший усложненную модель «скандала». М.М. Бахтин в монографии «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) акцентировал новый параметр «сцен скандалов»: «...лопаются (или хотя бы ослабляются на миг) “гнилые веревки” официальной и личной лжи и обнажаются человеческие души, страшные, как в преисподней, или, наоборот, светлые и чистые»¹. Это не социальная горизонталь (с негативной vs позитивной оценкой нарушения общественной конвенции), но мистериальная вертикаль. По Бахтину, скандал не меняет знаки с минуса на плюс, а открывает другое измерение, где человек (пер-

сонаж), как в доклассицистическом театре, перемещается «вниз» или «вверх», проходя то адские, то райские испытания.

В «Толковом словаре» В.И. Даля оба толкования – «горизонтальное» и «вертикальное» – сосуществуют на равных правах, будучи разделены только точкой с запятой: скандал – «срам, стыд, позор; соблазн, поношение, непристойный случай, поступок».

Как известно, Даль не столько послушно фиксировал языковой узус, сколько «корректировал восприятие этнокультурных феноменов через призму языка»², и в данном случае он (по-видимому, вполне сознательно) архаизировал интерпретацию слова «скандал». Примирил разговорное, современное словоупотребление с книжным, древним, безоговорочно толкуя в качестве синхронических диахронические нюансы семантики.

По суммирующей характеристике М. Фасмера, слово «скандал» «заимствовано» из западных языков через немецкое Skandal или французское scandale из латинского scandalum. Напротив, церковное *скандал* «соблазн, искушение», древнерусское, старославянское **сканѣдаль**, **сканѣдель** «ловушка, сеть; соблазн» <...> из того же источника, что и западноевропейские слова, – греческое skandalon «западня, ловушка; соблазн, досада»...». Дело в том, что, согласно лингвистической реконструкции³, греческое слово «skandalon» – буквально «крючок в западне, к которому прикрепляется приманка» – функционировало в библейских текстах с переносным (в нашей терминологии – «вертикальным») значением (1) «соблазн, преткновение, препятствие; предмет досады» и потом – через посредство студенческой латыни – попало в современные языки, приобретя (с начала XVIII в.) «горизонтальный» современный смысл (2) нарушения социальной конвенции.

Фасмер, жестко противопоставляя «горизонтальному» «вертикальное» понимание скандала, опирался на солидную лексикографическую традицию. И.И. Срезневский в «Материалах для словаря древне-русского языка по письменным памятникам» привел экзотические случаи, когда слово «скандель=сканѣдель=сканѣдель» было использовано в домонгольских рукописях псалмов (Пс. 139, 6; 140, 9; 118, 165). Однако традиционный перевод Библии на церковнославянский язык – как и на русский (см. в соответствующих местах синодального перевода

«тенета» и «преткновение») – был освобожден от слова «скандал»: например, в стихах, указанных Срезневским, Острожская Библия Ивана Федорова планомерно заменила «скандал» (лексическое заимствование) на «соблазн» (семантическое калькирование).

Таким образом, концепт «скандал» в социальной модели выражался словом «скандал», а в мистериальной модели при установке на встречу «скандалящего» с метафизической реальностью скорее словом «соблазн».

* * *

В «Житии» (1670-е гг.) протопопа Аввакума собственно слово «скандал» предсказуемо отсутствует, но концепт «скандал», если учитывать специфические пути его трансформации, обнаруживается в важнейшем эпизоде расстрижения, который Аввакум сопровождал историософским размышлением о мотивах поведения его врагов: «Сами видят, что дуруютъ, а отстать от дурна не хотять: омрачил дьяволъ. Что на них и пенять! Не им было, а быть же было иным; писанное время пришло по Евангелию: “Нужда соблазнамъ приити”. А другой глаголетъ евангелистъ: “Невозможно соблазнамъ не приити, но горе тому, им же приходитъ соблазнъ”. Виджь, слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать! Сего ради соблазны попускаетъ Богъ, да же избрани будутъ, да же разжегутся, да же убелятся, да же искуснии явленни будут в вас. Выпросиль у Бога светлюю Росию сатона, да же очервленить ю кровию мученическою»⁴.

Как нетрудно убедиться, в греческом оригинале евангельского текста присутствует именно слово «skandalon». Отнюдь не утверждая, что Аввакум ориентировался на греческий вариант, необходимо, однако, подчеркнуть: концепт «скандал», индуцированный библейским словом «соблазн», задает символическую оценку никоновской России. В частности, примечательны с точки зрения семиотики скандала эпизоды «Жития», где рассказано о домосковских похождениях будущего вождя старообрядцев, когда он был священником в небольших провинциальных храмах (конец 1640 – начало 1650-х гг.)⁵.

Согласно тексту «Жития», неукоснительная строгость и требовательность постоянно вызывали конфликты священника с прихожанами и местным начальством. Так, в 1648 г. он разогнал в

своих Лопатищах медвежью потеху: «И я паки позавелся, а дьявол и паки воздвиг бурю. Приидоша в село мое плясовые медведи з бубнами и з домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих, и медведей двух великих отнял: одново ушиб, и паки ожил, и другова отпустил в поле». Показательно, что, если верить «Житию», «за сие», т. е. из-за медведей, на Аввакума разгневался влиятельный вельможа Шереметев, оказавшийся проездом недалеко от Лопатищ: «И за сие меня боярин Василий Петрович Шереметев, едучи в Казань на воеводство в судне, браня много и велел благословить сына своего, бритобритца. Аз же не благословил, видя любодейный образ. И он меня велел в Волгу кинуть, и, ругав много, столкнули с судна»⁶.

Преследуемый на «местах», Аввакум обрел поддержку в столице – у царя, у других «ревнителее древлего благочестия», планировавших реформы по улучшению и регламентации церковных нравов и народной нравственности. Благодаря высокой протекции из «центра», Аввакум в 1652 г. был поставлен протоиереем (протопопом) в город Юрьевец-Повольский. Это была важная должность: в ведении протопопа находились священники всех храмов Юрьевца, число которых превышало семь десятков. Однако здесь Аввакум снова попал в конфликтную ситуацию.

Судя по документам, очередные его неприятности имели преимущественно финансовый характер. Аввакум в качестве протоиерея отвечал за сборы в Патриарший приказ. Сборы составлялись из окладных денег и неокладных – мзды с брачующихся отроков, двое- и троюбенцев, «почеревых» (родивших вне брака) и т. п., которая по причине невозможности точного учета оставалась у священников. Аввакум же скрупулезно сдавал неокладные деньги в приказ, причем запись об их сдаче – «практически единственная» в своем роде⁷.

Уникальная принципиальность протопопа едва не стоила ему жизни: «И тут пожил немного – только осм недель. Дьявол научил попов, и мужиков, и баб: пришли к патриархову приказу, где я духовныя дела делал, и вытаща меня ис приказу собранием, – человек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били батожем и топтали. И бабы были с рычагами, грех ради моих убили замертва и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежал и, ухватя меня, на лошади умчал в мое дворишко, и пушкарей около двора

поставил. Люди же ко двору приступают, и по граду молва велика. Наипаче ж попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят...»⁸

Показательно, что Аввакум, представляя жестокие нравы обитателей Юрьевца, отказывается рационально объяснять мотивы их поведения. Только зная подлинные причины конфликта, можно обратить внимание на то, что протопоп в патриарховом приказе «духовныя дела делал» и что среди прихожан особую лютость неожиданно демонстрировали «попы»⁹. В результате Аввакум достиг разительного эффекта: провинциальный скандал обретает мистериальное измерение. На праведного священника, виновного лишь в «обычном» обличении пороков, «немотивированно» ополчилась вся паства, причем инициаторами «оборотнически» выступают самые безобидные – «попы и бабы». Более того, скандал толкуется как бесовский заговор: автор прямо объявляет дьявола, как и в случае с Лопатищами, виновником происшедшего. Жители Юрьевца не просто скандалят, они «научены» – соблазнены! – дьяволом.

Гонимый разъяренными прихожанами, Аввакум спешно оставил враждебный Юрьевец, направившись к столичным защитникам: «Аз же отдохня, по трех днех ночью, покиня жену и дети, по Волге сам-третьей ушел к Москве. На Кострому прибежал, ано и тут протопопа же Даниила изгнали. Ох, горе! Везде от дьявола житья нет!»¹⁰ Благодаря упоминанию будущего соратника по критике Никона – костромского протоиерея Даниила, Аввакум создает впечатление пандемии: дьявол преследует истинных пастырей по всей Руси.

Семиотика скандала в «Житии» подразумевает несколько мотивов: всеобщая склонность к порокам (пьянство, блуд, драки и убийства); пристрастие к бесовским развлечениям (медвежья потеха); неуважительное отношение к священникам и испорченность самого клира; дьявольское присутствие; тотальный характер деградации.

Обратившись от «Жития» к деловым документам, относящимся примерно к тому же времени, нетрудно найти реальные параллели с рассказами Аввакума.

1. Наклонность к порокам. В 1646 г. боярский сын из Козлова Артемий Кученев был убит женой Окулиной и ее зятем. При допросе под пыткой Окулина призналась в убийстве, объяс-

нив, что муж изнасиловал ее дочь от другого брака, восьмилетнюю девочку. Соседи также показали, что убитый не раз совершал аналогичные поступки: он ранее убил двух жен, которые жаловались общине на то, что Кученев намеревается изнасиловать их малолетних дочерей, и грозилась обратиться к властям. Решение было передано в столицу, где царь и бояре милостиво повелели ограничиться наказанием Окулины с зятем кнутом, а потом отпустить, взяв с них обещание более душегубством не заниматься¹¹.

2. Пристрастие к бесовским развлечениям. В 1636 г. нижегородские священники («сигнал» поступает из тех же мест, где чуть позднее подвизался Аввакум) под руководством будущего вождя старообрядцев и Аввакумова друга Ивана Неронова отправили в Москву челобитную, сетуя на недолжную любовь народа к кощунственным забавам: «От Рождества Христова и до Богоявления делают, государь, по домох игрища <...> и игры творят всякого бесовскаго мечтания многими образы злыми, ругаются милосердию Божию и пречистыя Его праздником. <...> а на лица свои налагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а сзади себе оутвержают хвосты, яко видимыя беси, а срамная оудеса в лицах носяще и всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамныя оуды <...> ходят по оулицам толпами и поют бесовския песни...»¹²

3. Неуважительное отношение к священникам. В 1632 г. монахиня Евпраксия обратилась к архимандриту Лаврентию Устюжскому с прошением о защите от бывшего мужа Семена Кондратьева, сына Вологжанина. Тот явился в монастырь, где пребывала Евпраксия, бросился на нее с ножом, ранил и отобрал какие-то ценности. Самое поразительное заключалось в том, что при погроме Семену помогали две мирянки, жившие в монастыре, которые считали его правой стороной. Монахиня Домника (очевидец) обратилась за помощью к властям, и приставы, отобрав у Семена нож, выгнали его из монастыря. Евпраксия, однако, не чувствовала себя в безопасности, решив найти убежище у дочери и зятя, и действительно бывший муж, обнаружив Евпраксию, угрожал ее защитникам, так что монахиня просила заступничества у архимандрита¹³.

4. Присутствие дьявола. Документы постоянно свидетельствуют о взаимных подозрениях в такой форме сотрудничества с

дьяволом, как волхование. Например, в 1626 г. бобыль Первушка Харитонов на допросе показал, что «учила де его ворожить мать его, а как умерла и тому два года а умираючи отказала тот промысль ему, и он после матери своеи молился Богу, чтоб ему материно рукоделе знать и тем бы кормиться, потому что он у матери не выучился, и о сенокосе на поже тому два года лег он спать в полдень, и во сне ему явился стар человек волосомь рус, а платье на нем, что ризы поповские, и велель ему костью ворожить и тем кормиться, и с техъ местъ хто о чем загонет, на костях учал знать в светлые дни, потому что ставятся на костях перед ним лики тех людей, кому дело и до ково дело, и про то ему сказывают, а никово он не порчивал, и кореня никакого не знает, и нашоптывать не о чем не умеет, а кормился костью...»¹⁴. «Видим и преследование чародейства со стороны правительства, – писал С.М. Соловьев, – в Тобольске обыскали какого-то протопопа и нашли у него в коробье траву багрову, да три корня, да комок перхчеват бел...»¹⁵ Позднее (1658 г.) специальный «сыщик для волшебных дел Иван Савич Романчуков» вел сложное дело: «...и травы всякие, и соли в узлах по улицам у ворот объявляются и от тех, государь, трав и кореня и узлов чинится многая порча». К выводам расследования приложена «ропись луховских посадских людеи порченным женам их, которые испорчены в прошлом во РЗД-м и во РЗЕ-м и в нынешнем РЗЗ-м году (в 7164, 7165, 7166 гг. от Сотворения мира, т. е. от Рождества Христова в 1656, 1657, 1658 гг. – М. О.)»¹⁶.

5. Тотальный характер деградации. В 1648 г. сын боярский Гаврила Малышев, обратившись с челобитной к царю, жаловался на земляков-курян, которые хотят ему «всякое дурно учинити» за то, что он, «будучи на Москве, курчан весь город тебе государю всяко дурном огласил»¹⁷. Суть же «дурного», которое «огласил» Малышев, сводилась к тому, что повсеместно на Руси «всяких чинов многие люди и их жены и дети в воскресные дни и в господские и в богородичны и великих святых в празднуемые дни во время святого пения к церквам Божиим не ходят и в те святые празднуемые также и в седмичные во многие дни и по вечерам и во всенощных позорищах бражничают и в домех своих и сходятся на улицах и на городских полях и к кочелищам и на игрищах с скоморохами песни бесовския кричат и скакания и плясания и меж собой кулачные и дрекольные бои и драки чинят и на релех

колышутся, а отцов своих духовных и приходских попов также и учительных людей наказания и унимания от таких злых дел не слушают и не внимают и за наказание и внимание отцом своим духовным и приходским попом также и учительным человеком те бесотворцы наругание и укоризны и бесчестие с великими обидами и налогами чинят и на таких бесовских позорищах своих многие христианские люди в блуд впадают и смерть принимают»¹⁸.

Разумеется, аналогичные злоупотребления происходили на Руси и раньше, и позже того времени, когда Аввакум пастырствовал. Достаточно привести выборку документов, открывающих потаенную жизнь второй половины XVII в. (когда Аввакум уже не «практиковал», а писал «Житие»). Это прежде всего постоянные разбирательства, связанные с изнасилованиями, где даже вырабатывается своего рода шаблон рассказа о происшедшем. Например, показания Марфутки (1679 г.): «...на дороге де в том Ряском уезде близ тое вотчины неведомо какой человекъ изнасиловал блудным падением и с того де дня она очреватела...» – почти дословно воспроизводятся в показаниях Василиски (1681 г.): «...летнею порою ходила де она в лесъ для грибов и неведомой де человек ее изнасиловал блудным падением и с того де она времени очреватела...»¹⁹ Подобные постыдные события не обязательно разворачивались в уединенных местах («на дороге» или в грибном лесу), но и возле базарного моста, о чем докладывал некий брат пострадавшей: «Шла-де моя сестра Огафья по воду, и не доходя-де базарного мосту муромец посадкой человек Якунка Овчинников, ухватя де ее, сестру ево Агафью, под мост ташил и целовал, и руку в пазуху забивал, и за груди хватал, и дрочил»²⁰. Представители духовенства также оказывались замешаны в двусмысленные истории. В одной жалобе (1678 г.) священник и его сын обвиняются в избиении женщины: «...женишку мою Оксиньцу били и увечили до полусмерти и окровавили и окосматили...»²¹ Священников часто пытаются уличить в «блудне», и даже в тех случаях, когда это оказывается клеветой, остается неприятный осадок. В 1695 г. Танька Иванова, дочь Зубова, была брошена мужем и жила у родителей на соляных варницах священника Алексея. Она забеременела и решила избежать нареканий, выставив себя жертвой изнасилования. Танька обвинила проживавшего у священника казака Алешку Лукьянова, сына Жигулева, который к тому времени

был в бегах, что он изнасиловал ее в пост, после чего они стали сожительствовать постоянно. Через три дня Танька изменила показания: теперь она обвиняла самого священника, который якобы изнасиловал ее, будучи пьяным. Затем, спустя три недели, Танька, успев родить, указала нового «насильника» – соседского парня Тимошку. Священник все начисто отрицал, утверждая, что отец ребенка – беглый казак Алешка. Все отрицал и Тимошка. Тогда уличенная Танька призналась, что действительно отец ребенка – казак и никакого изнасилования не было. Она, оказывается, обвинила священника, желая отомстить за то, что он, узнав о ее невенчанном браке, велел Алешке уехать, а Тимошку – за то, что он смеялся над ней после бегства сожителя. Суд принял компромиссное решение: с одной стороны, не налагать на Таньку штраф за рождение незаконного ребенка, с другой – подвергнуть ее порке за лжесвидетельство²². В то же время Устюжский архиепископский суд разбирал жалобу Феклы, которая обвинила свекра – вдового священника Ивана Андреева, сына Сергина в том, что он пытался «кровосмесительно» насиловать ее на протяжении всех шести месяцев брака. Первая попытка пришлось на вторник первой недели Великого поста, но священнику помешала его дочь. Вторая попытка была предпринята опять же во время поста, в конце июня, на этот раз помехой оказалась девка-служанка, прибежавшая на крики Феклы. Фекла пожаловалась духовному отцу свекра, который велел священнику прекратить домогательства. Тот, однако, предпринял третью попытку, «хотя ззади ругательство учинить и у сарафана ворот изорван». Фекла убежала к соседям и обратилась в церковный суд. Священник отрицал свою виновность, но был осужден, удален от прихода и препровожден в монастырь²³. В этих «делах» показательное нагромождение пороков: священники пьянствуют, нарушают пост, оказываются склонны к «кровосмешению» и сексуальным извращениям²⁴.

Однако специфическое сочетание мотивов, характерное для описания провинциальных скандалов у Аввакума, присуще 1630–1650-м годам.

Что и понятно: царь Алексей Михайлович и его единомышленники – покровители принципиального протопопа – были поражены сведениями о повсеместном торжестве порока среди мирян «в местах отдаленных» и о разрушении «нравственной чис-

тоты между вероучителями»²⁵. Это подтолкнуло правительство царя Алексея Михайловича к принятию знаменитых актов, призванных «улучшить крайне расшатавшуюся народную нравственность, возвысить общий уровень христиански религиозной жизни народа»²⁶, т. е. исправить нравы мирян, духовенства и (в пределе) церковный обряд. Еще при царе Михаиле Федоровиче (1640) царским указом были запрещены кулачные бои, а при Алексее Михайловиче подобные указы приняли характер жестко реализуемой программы. В 1646 г. вышел патриарший указ о «соблюдении поста и церковного благочиния», в 1647 г. – указ о почитании воскресных и праздничных дней, разосланный по монастырям и епархиям, который запрещал работать в субботу, «как начнут благовестить в соборной церкви к вечерни», и полностью в воскресенье (праздничный день), а требовал ходить в церковь и молиться; в том же году – грамота в Соловецкий монастырь «О запрещении старцам держать по кельям хмельное питье»²⁷; в 1648 г. были изданы знаменитые указы против скоморохов²⁸; наконец, в 1651 г. на церковном соборе, требовавшем «пети во святых Божиих церквах чинно и безмятежно, на Москве и по всем градам»²⁹, начались обрядовые преобразования, которые в определенной степени прямо предшествовали масштабным реформам Никона.

Наоборот, Аввакум стремился доказать, что изначально вел борьбу не со скандалящей, нарушающей социальные конвенции Русью (образ которой независимо от Аввакума активно создавался в 1630–1650-х годах, когда было необходимо мотивировать неотложность нравственного исправления посредством радикальных реформ), но с дьяволом, который соблазнил соотечественников. В такой мистериальной перспективе провинциальные скандалы оказываются лишь преддверием тотального скандала / соблазна реформ Никона, обнаруживших адскую плененность не простых людей, а царя и иерархов.

Значит (если говорить о пропагандистской задаче «Жития»), никониане – частный случай великого противостояния, в котором предлагалось принять участие и желающим спастись читателям сочинений вождя старообрядцев. Если же вернуться к анализу концепта «скандал», то Аввакум, маркируя его «вертикальным» термином «соблазн», вместе с тем изображает и «горизонтальный» – собственно скандальный – аспект. И, как показывает

представленный материал, это не два разных типа скандала, это – один скандал, на который смотрят с разных сторон.

- ¹ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 168.
- ² Плотникова А.А. Словари и народная культура: Очерки славянской лексикографии. М., 2000. С. 9.
- ³ См., напр.: Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1957.
- ⁴ Цит. по так называемой редакции «А»: Житие Аввакума / Под ред. Н.С. Демковой // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая. М., 1989. С. 380–381; в позднейшей редакции «В» подобное размышление прикреплено к другому принципиальному эпизоду – ссылке в Даурию и сопровождается другими библейскими цитатами, также вводящими слово «соблазн»: Житие Аввакума и другие его сочинения / Изд. подг. А.Н. Робинсон. М., 1991. С. 40.
- ⁵ См. подробнее: Одесский М.П. «Страшная провинция» в Житии протопопа Аввакума // Russian Literature. Amsterdam, 2003. L (II/III).
- ⁶ Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 34.
- ⁷ Сироткин С.В. К биографии протопопа Аввакума // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): Сб. научных трудов. М., 1999. С. 243.
- ⁸ Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 35.
- ⁹ В ранней редакции «Жития» Аввакум припоминает больше подробностей, но прием немотивированности скандала использован уже там. См. подробнее: Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума: (Творческая история произведения). Л., 1974. С. 109–140. Ср. общее наблюдение Д.С. Лихачева о ментальности XVII в.: «...нелепый кромешный мир стал миром действительным, реальным, своим, близким, а мир упорядоченный и благополучный – чужим» (Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси // Лихачев Д.С. Избр. работы. Л., 1987. Т. 2. С. 393).
- ¹⁰ Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 35.
- ¹¹ Kollmann N.S. The Extremes of Patriarchy: Spousal Abuse and Murder in Early Modern Russia // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения научной конференции. М., 2000. С. 154.
- ¹² Рождественский Н.В. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII в. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1902. Кн. 1. С. 24–27.

- ¹³ Акты холмогорской и устюжской епархий // Русская историческая библиотека. СПб., 1908. Т. 25. С. 128–131.
- ¹⁴ Памятники деловой письменности XVII в.: Владимирский край. М., 1984. С. 161.
- ¹⁵ *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. 5. Т. 9–10. М., 1990. С. 310.
- ¹⁶ Памятники деловой письменности XVII в. С. 183.
- ¹⁷ *Алексеев В.* Новый документ к истории Земского собора 1648–49 года // Труды Археографической комиссии имп. Московского археологического общества. М., 1900. Т. 2. Вып. 1. С. 83.
- ¹⁸ Там же. С. 87.
- ¹⁹ Памятники деловой письменности XVII в. С. 195, 202.
- ²⁰ Там же. С. 212.
- ²¹ Там же. С. 194.
- ²² Акты холмогорской и устюжской епархий // Русская историческая библиотека. СПб., 1890. Т. 12. С. 1144–1154.
- ²³ Акты холмогорской и устюжской епархий // Русская историческая библиотека. СПб., 1894. Т. 14. С. 1280–1284.
- ²⁴ См. подробнее: *Левина Е.* Секс и общество в мире православных славян, 900–1700 // «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.). М., 1999.
- ²⁵ *Соловьев С.М.* Указ. соч. С. 305–306, 308.
- ²⁶ *Каптерев Н.Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1. С. 3.
- ²⁷ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии Наук. СПб., 1837. Т. 4. С. 31–33, 482, 484–485.
- ²⁸ *Белкин А.А.* Русские скоморохи. М., 1975. С. 81–82.
- ²⁹ *Каптерев Н.Ф.* Указ. соч. С. 105.

2008 г.

Впервые: Семиотика скандала / Под ред. Н. Букс. Париж; М.: Европа, 2008. С. 104–114.

ПОЭТИКА ОККУЛЬТИЗМА

Об «откровенном» и «прикровенном» София в комедиях В.И. Лукина

Екатерининский вельможа И.П. Елагин (уже будучи масоном) находил возможным увлекаться модным «душепагубным чтением» – «ансиклопедистами». Однако от ученых людей он слышал нелестные отзывы о своих «безбожных» учителях, которых «почти не знающими в любомудрии и мирознании учениками почитать осмеливались». Эти ученые люди были масонами, и Елагин забеспокоился, нет ли в масонстве чего-то «притягательного, а ему, яко невежде, сокровенного». Искателю истины объяснили, что масонство не светская забава, как он полагал, а «та самая премудрость, которая от начала мира у патриархов и от них преданная, в тайне хранилась в храмах халдейских, египетских, персидских, финикийских, иудейских, греческих и римских»¹. О том, как Перфильич (так по-домашнему звала Елагина императрица) искушался тайным знанием, – отдельная история, но напряженность эзотерических интересов русского общества XVIII в. здесь наглядна.

* * *

В русских комедиях XVIII – первой четверти XIX в. идеальная и возвышенная героиня часто именовалась Софией («Бригадир» и «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Воспитание» Д.В. Волкова, «Ябеда» В.В. Капниста, «Горе от ума» А.С. Грибоедова и др.). Первооткрыватель же Софии, насколько известно, – Лукин, у которого она действует в комедиях «Пустомеля» (1765), «Тесть и зять» (1768), «Задумчивый» (1769).

Владимир Игнатьевич Лукин (1737–1794) вместе с другими членами кружка И.П. Елагина вошел в историю русской литерату-

ры как практик, а также теоретик «склонений» – переработок готовых иностранных (преимущественно французских) сюжетных схем применительно к отечественным реалиям². Так, «Пустомеля» является «склонением» «Le babillard» Л. де Буасси, «Тесть и зять» – «Dupuis et Des Ronais» Ш. Колле, «Задумчивый» – «Le distrait» Ж.Ф. Реньяра³. «Лукин считал, – пишет К.В. Пигарев, – что русский драматург не должен называть действующих лиц своей комедии условными именами, заимствованными из иностранных пьес. Он решительно отказывается от всяких Клитандров и Флориз, зато наделяет своих персонажей значащими именами»⁴. Следует несколько уточнить суждение К.В. Пигарева: Лукин действительно «русифицировал» имена, но значащими они были в пьесах, послуживших ему источником. Госпоже Бранюковой из «Задумчивого», например, соответствует мадам Гроньяк: глагол «grogner» значит «ворчать», «брюзжать».

Прообразы Софии – Кларисса («Le babillard», «Le distrait») и Марианна («Dupuis et Des Ronais»). Выбирая имя «София», Лукин руководствовался рядом установок.

Во-первых, «София» – имя греческое, а комедиограф стремился использовать именно греческие имена, вероятно, как «более» православные: в «Тесте и зяте» он заменяет Дюпию Менандром, Де Роне – Изидором, в «Задумчивом» Изабеллу – Клеофидой, безымянного шеваляе – Орестом⁵. Подходило Лукину, наверное, и то, что «София» в отличие от «Клеофиды» – имя отнюдь не экзотическое.

Во-вторых, «София» – имя «возвышенное», в то время как «Филат» или «Федор» (слуги в комедии «Тесть и зять») – «низкие», простонародные.

В-третьих, «София» – имя «говорящее»: в переводе с греческого «мудрость». Причем не просто «говорящее», как Менандр – «прямой муж» (у Лукина, в «Корионе» другого «елагинца», Д.И. Фонвизина): София – «Премудрость Божия», т. е. традиционный символический образ.

Будь Лукин из духовного сословия, как В.К. Третьяковский, получи он «специальное» образование, к примеру, в Славяно-греко-латинской академии, подобно М.В. Ломоносову, можно было бы предположить, что в его творчестве продолжается православное почитание Софии. Но Лукин – сын дворянина, служившего при

дворе лакеем, и он – плоть от плоти Российской империи, отделенной пропастью реформ Петра I от традиционной религиозности. Зато Лукин, как и его неизменный покровитель И.П. Елагин, был масоном⁶. Ему довелось стать «великим провинциальным секретарем» и «мастером стула» в «Урании», влиятельнейшей ложе, той самой, которую посещал А.Н. Радищев⁷. София же известна не только православной церкви, но и внецерковной мистике, являясь, в частности, одним из центральных масонских символов – «благоприятной вечной девой Божественной Премудрости»⁸, которая нисходит невестой к избранным и открывает великое знание.

Вообще в России XVIII в. масонство парадоксально оказалось каналом, по которому на секуляризованную культуру воздействовала православная мистика (и даже богословие). В рамках обширной программы Н.И. Новикова наряду с чистой эзотерикой печатались сочинения Отцов Церкви Василия Великого, Иоанна Златоуста и других, что для послепетровской России было фактом неординарным (после законов Петра I церковное и светское книгопечатание различались вплоть до шрифта) и потому подозрительным. Не случайно разгром масонов Екатериной II предварялся запретом на издание книжной продукции такого рода⁹. И Софию, во имя которой высились великолепные храмы, воспевали писатели-масоны.

Ломоносовским слогом славит Премудрую Деву поэт Ф.П. Ключарев:

Царь вечности, святой, всесильный,
Призри от высоты в сей час,
Источниче щедрот обильный,
Вонми молению от нас;
И быстрою сошли стопую
Сядящу выну пред тобою,
Бессмертную Софию к нам;
Да с нами купно потрудится,
В сердца и души водворится
И путь отверзет к небесам¹⁰.

Елагин, излагая масонский опыт, свидетельствовал: «...мы при сем горделиво проповедуем, что Премудрость и еще св. Премудрость

нами руководствует»¹¹; во вступлении к историческому сочинению «Опыт повествования о России»: «Твоему, божественная София, предвечная Всемогущему неба и земли Зиждителю присущность, внушению повинуюсь, воспринял труд повествования о отечестве моем...»¹² (Стоит, кстати, обратить внимание на особую роль масонов в изучении российской истории¹³.)

Пламенные строки во имя Софии слагал Новиков, к тому времени прошедший тюрьму, но сохранивший верность убеждениям: «Что мы алчем к сокровенной Деве Софии и желаем достичь в Духовное с Нею Брачное состояние, то происходит из Огненной Любви Ея к нашему Огню – Души... Она, хотя мы далече есьмы, бежит на сретение нам с огненными очами, сердцем и распростертыми руками и целует наш ум в огненное основание и влечет нас из наружной суетной жизни в своя внутреннее основание души... Ибо ежели вы не приметися за себя с решимостью, не отвергнете себя и не будете искать горячей Любви Ея, то никогда не будете введены на невестное ложе и не будете облечены, вооружены и украшены благородным невестным сокровищем...»¹⁴

Экстатическим признаниям Новикова вторят рассуждения знаменитого М.М. Сперанского, правда, также относящиеся уже к XIX столетию. «Имя жене София, – богословствовал он. – Она есть то знание, которое имеет Отец и Сын; но она есть созерцание их желания, зеркало, в коем Слава их отражается. В отношении к Отцу она есть дочь его: ибо составляет часть его Сына. В отношении к Сыну по закону Отчей любви она есть сестра его. В отношении же к закону в воспроизведении она есть его невеста. В отношении к будущим рождениям она есть мать всего вне Бога сущего; ибо сама Она есть первое внешнее существо»¹⁵.

«Откровения» отечественных «вольных каменщиков» разрывались на фоне переводов эзотерической классики. Позднее Владимир Соловьев горделиво напишет, что, несмотря на продолжительные мистические штудии, нашел только «трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gotfried Arnold и John Pordage. – Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бему, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-либо другое»¹⁶. Русские масоны заинтересовались теми же авторитетами, что и великий

софиолог, их соотечественник. «Краткое открытие и показание трех начал и миров в человеке» Г. Гихтеля переводилось в 1789 г.; сочинение Г. Арнольда «Церковная и о еретиках история» стало доступно русскому читателю благодаря плодовитому литератору В.А. Левшину в конце XVIII в. (в 1729 г. ее загадочный перевод напечатан во Франкфурте-на-Майне); «Божественная и истинная метафизика» Дж. Пордеджа издавалась в 1787 г. Тайной масонской типографией. В XIX в. состоялся перевод и трактата «Christosophia, или Путь ко Христу» Якоба Бёме, включающего диалог с «великодушной девой Софией»¹⁷.

Итак, София «открывалась» масонам, и «открывалась» как дева-премудрость, как добродетельная невеста. Но ведь и в комедиях Лукина София / Софья – девушка на выданье, образцовая и разумная, чьей руки добивается столь же совершенный жених. В «Пустомеле» и «Тесте и зяте» даже очевидна тенденция к ее большей, чем во французских текстах, идеализации. Софья в «Пустомеле» из вдовы, действующей у Л. де Буасси, «превращается» в девушку и произносит благодетельные сентенции, добавленные Лукиным: «Не брани батюшку. Я хотя много от него терплю, однако волю его почитаю». Сходным образом в «Тесте и зяте» Софья, никак не «спровоцированная» текстом Ш. Колле, сетует на «нынешнее» неуважение родителей детьми¹⁸.

Сквозь комическую оболочку просвещенный читатель мог распознать глубинный, «прикровенный» смысл. В русской комедии (и трагедии) XVIII – первой половины XIX в. вообще преобладала подобная «двуплановая» структура. Фабула, принципиальная неоригинальность которой не составляла тайны, представляла первый, вспомогательный план, а смысловая нагрузка (обличительная и идеально-утопическая) доверялась второму: избранным персонажам, их отдельным высказываниям, порой с фабульной точки зрения незначительным¹⁹.

Например, фабула «Задумчивого» повторяет легкомысленную схему циничного Реньяра²⁰, зато Орест, брат и соперник Софьи в имущественном споре, не просто светский бездельник, как во французском тексте, а недостойный своего положения офицер. В разговоре с Орестом добродетельный Виктор сообщает, что ему доводилось слышать, «будто все дела ваши состоят в спорах о службе военной, которую вы меньше всего знаете; будто

вы тем только хотите знающим показаться штапом (штаб-офицером. – М. О.), что напрасно бьете и увечите солдат, что обижаете офицеров, что делаете невозможные раболепствия генералитету», «наконец, многие и ту молву распускают, что как ли ни хвастаетесь вы храбростью, но будто тотчас пойдете в отставку, как дело придет до походу»²¹. «Склоняя» комедию Реньяра, Лукин ввел обличительную линию, связанную с Орестом, и идеально-утопическую, заданную именем Премудрости Божьей Софии, что и образовало вполне оригинальный второй смысловой план «Задумчивого», написанного русским драматургом.

Противопоставление «откровенного» текста вроде елагинского или новиковского, где эзотерическое знание излагается прямо, и «прикровенного», представленного комедиями Лукина, проще всего, вероятно, объяснить эволюцией русского масонства. Если, по мнению исследователей, 1760–1770-е годы, т. е. время «склонений», характеризовалось умеренностью собственно мистических исканий, которые уравнивались филантропией, нравственным самосовершенствованием и т. п., то следующие десятилетия стали временем рискованных эзотерических блужданий, стремлением обрести высшие тайны²². Иначе говоря, «прикровенный» тип софиологического текста соответствует уравновешенно-филантропической фазе развития движения «вольных каменщиков», а «откровенный» – экстремистско-мистической.

Однако можно с полной уверенностью говорить здесь также о более общей закономерности. В самых разных культурно-исторических ситуациях эзотерическое «послание» манифестируется в произведениях искусства двояко: «прикровенно», как один из смысловых уровней, и «откровенно» (т. е. апокалиптически) в видениях, призываниях, обращениях и т. п.

Древняя Русь чтит Софию, но храмы (в Киеве, Новгороде, Полоцке, Вологде, Тобольске, Москве), иконы, сочинения Зиновия Отенского, Евфимия Чудовского преимущественно посвящались софиологическому образу Бога-Сына²³. Однако современным богословам, отвергающим «женственную» Софию как еретический соблазн, приходится мириться с «явлением», которое осенило просветителя славян Константина-Кирилла.

В «Житии» святого (третья глава), которое, вероятно, составлено крупнейшим староболгарским книжником Климентом

Охридским и пользовалось исключительной популярностью на Руси, повествуется о сне семилетнего Константина. Он узрел «одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ей было София, то есть Мудрость», и ее избрал «в супруги, на помощь и сверстницу свою»²⁴. Прозвище Константина-Кирилла – Философ – в таком случае получает двойное значение: не только мудрец, любящий мудрость, но и мистический возлюбленный Девы Софии.

«Житие Константина Философа» представляет «откровенный» тип, а «прикровенный» нашел выражение в поэзии Симеона Полоцкого, придворного стихотворца XVII в. В виршах, обращенных к Софье Алексеевне, он среди прочего обыгрывает значение ее имени – «София-Премудрость»²⁵, что было почти кощунством: до никоновской sprawy личным именем могло быть не София-«Премудрость», а Софья – святая, носившая это имя, мать Веры, Надежды и Любви, как раз и есть подлинный «ангел»-патроним царевны²⁶. Льстивое отождествление правительницы с Премудростью имело специальный смысловой уровень, правда, не столько мистический, сколько панегирико-риторический.

Сходные примеры можно почерпнуть и в новейшей литературе. В Серебряном веке распространяется почти культ «женственной» Софии: по словам Н.М. Зернова, специфика отечественного религиозного мышления наиболее адекватно передается при помощи категории «Софии, Святой Премудрости, идея которой окрасила долгую эволюцию русского христианства»²⁷.

В последней трети XIX в. «прикровенную» софиологическую семантику обнаруживают в романах Ф.М. Достоевского²⁸, а хрестоматийный образец «откровения» Софии – творчество Владимира Соловьева: трактаты «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», «Россия и вселенская церковь», «Идея человечества у Августа Конта», поэтические шедевры (прежде всего поэма «Три свидания», где, как свидетельствует автор, воспроизведено «в шутивных стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мною в жизни»²⁹).

Соловьев оставил неопубликованным любопытнейшее сочинение «София», ради которого в 1875 г. впервые отправился в заграничную поездку. «Здесь мы находим то, – пишет о трактате А.Ф. Лосев, – что можно назвать стихийным и неистовым бурле-

нием разного рода сложных страстей философского, теософского и оккультного характера вперемешку с тем, что иначе и назвать нельзя, как философским бредом»³⁰. Как форму изложения Соловьев использует, в частности, диалоги Философа и Софии. Заставляя вспомнить об особом, интимном, смысле слова «философ» для людей софиологической ориентации, София манифестирует свое присутствие в трактате еще одним, весьма необычным, способом – «автоматическим», «медиумическим» письмом; «текстами, сообщенными другим субъектом, а не исходящими из сознания записывающего». «Медиумические записи сильно отличаются от обычных и по характеру почерка, и по структуре письма. Почерк становится либо небрежно-размашистым, либо округлым, либо неразборчивым, мелким. Слова сливаются, или же исчезают знаки препинания между ними, появляются орфографические ошибки, бессмысленные слова. Иногда одно и то же слово начинается по несколько раз, как будто Соловьев не может уловить его в хаосе звуков. Иногда, начавшись, медиумическое письмо тут же обрывается. Характерны также внезапные переходы “диктанта” с французского языка на русский и наоборот (есть также записи на немецком и латинском языках). Нередко, записав какую-либо фразу “под диктовку”, Соловьев переписывает ее нормальным почерком, как бы уясняя для себя ее смысл»³¹. София признается в любви, выражает желание соединиться со своим adeptом – на обороте одного из листов записано по-французски: «Я бы хотела быть живой для тебя, София» и по-русски: «Я воротилась к тебе, жизнь моя. Я приду к тебе завтра»³².

А.Ф. Лосев ставил под сомнение «женственность» образа, являвшегося философу³³, что едва ли справедливо, хотя и понятно: слишком уж скандальным было «эхо» «откровений» Соловьева. Не говоря о «соловьевцах» начала XX в., достаточно вспомнить об А.Н. Шмидт. «В Нижнем Новгороде проживала некая Анна Николаевна Шмидт, бедная репортерша “Нижегородского листка”. Эта А. Шмидт, не имея никакого философского образования, собственным умом построила гностическую систему, где повторяются известные мысли древних гностиков, каббалистов и Бёме». Она выступала с проповедью новой церкви, которая должна родиться из православия, проповедовала третий Завет, учила о женственной природе третьей ипостаси. В марте 1900 г. Шмидт послала

Соловьеву письмо на 16 страницах, где изложила свои «верования и чаяния» и учение, которое она считала «полученным ею от Бога». Соловьев был очень заинтересован. Завязалась переписка. «Но далее Соловьев должен был быть неприятно поражен и встревожен. Бедная женщина воображала себя “ангелом церкви”, а Соловьева считала новым воплощением Христа, своим возлюбленным женихом. Она утверждала, что стихи Соловьева, обращенные к “вечной подруге”, написаны только к ней, к А.Н. Шмидт. Соловьев скоро понял, что А.Н. не совсем нормальная, и старался деликатно и осторожно рассеять ее иллюзии». 30 апреля 1900 г. состоялось свидание Соловьева и Шмидт во Владимире. «Вероятно, Соловьев успокоил Анну Николаевну общими фразами о преображении и обожении всего человечества во Христе, что же касается веры в его собственную божественность, то мы имеем свидетельство, что он “настаивал” перед безумной женщиной на “субъективности ее видений”. Два письма, написанные им после свидания со Шмидт, очень кратки, очень внешни и благожелательно холодны. По-видимому, Анна Николаевна была сильно встревожена тем отпором, который встретила в Соловьеве...»³⁴

Рассказ об «искушении» Владимира Сергеевича его биограф и племянник Сергей Михайлович Соловьев завершает собственными воспоминаниями: «Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее “Третий Завет” стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббалы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее. Это показывает, что известные идеи, повторяющиеся из века в век, имеют объективное бытие. Вероятно, мы имеем здесь факты действительного “внушения”, но в том, что эти внушения идут свыше, мы более чем сомневаемся»³⁵.

¹ Новые материалы для истории масонства: (Записки Елагина) // Русский архив. 1864. № 1. С. 106.

² История русской драматургии: XVII – первая половина XIX века. Л., 1982. С. 118–124.

- ³ Тексты «Le babillard» (1725) Л. де Буасси (1694–1758), «Dupuis et Des Ronais» (1763) Ш. Колле (1709–1783), «Le distrait» (1697) Ж.Ф. Реньяра (1655–1709) см. соответственно: *Boissy L. de. Œuvres de theatre. P., 1737. V. 1; Collé Ch. Dupuis et Des Ronais. La Haye, 1763; Regnard J.F. Œuvres. Amsterdam, 1753. V. 2.*
- ⁴ *Пигарев К.В.* Творчество Фонвизина. М., 1954. С. 89–90.
- ⁵ Тексты В.И. Лукина см.: *Лукин В.И., Ельчанинов Б.Е.* Сочинения и переводы / Под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1868.
- ⁶ См.: *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 94–95 (исследователь основывался здесь на материалах логи «Урания» из масонского собрания графа А.С. Уварова).
- ⁷ *Макогоненко Г.П.* Радищев и его время. М., 1956. С. 180.
- ⁸ *Вернадский Г.В.* Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 254.
- ⁹ *Тукалевский В.И.* Н.И. Новиков и И.Г. Шварц // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1914. Т. 1. С. 223. Ср. также свидетельство И.П. Елагина о чтении им Евсевия Кесарийского, Кирилла Александрийского, Григория Назианзина, Иоанна Дамаскина и других (Новые материалы для истории масонства: (Записки Елагина). С. 107).
- ¹⁰ *Лонгинов М.Н.* Указ. соч. Приложение. С. 14.
- ¹¹ *Пекарский П.П.* Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. СПб., 1869. С. 112.
- ¹² *Елагин И.П.* Опыт повествования о России. М., 1803. С. III.
- ¹³ Формирование историзма как мировоззренческой установки обусловлено воздействием мистических учений. В Германии особенно велика была роль пиетизма (см.: *Kaiser G. Pietismus und Patriotismus in literarischen Deutschland. Frankfurt a/Main, 1973. S. 160–179*), влияние которого (наряду с масонским) испытал, в частности, автор эпохального труда «Идеи к философии истории человечества» И.Г. Гердер (см.: *Meinecke F. Die Entstehung des Historismus. München, 1959. S. 364–365*). В России роль, которая в Германии выпала пиетизму, сыграли масоны, среди которых не случайно оказались специалисты по русской истории (М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, Н.М. Карамзин), издатели литературных памятников и документов прошлого (Н.И. Новиков, А.И. Мусин-Пушкин, публикатор «Слова о полку Игореве»), собиратели «славянских древностей» (М.И. Попов, В.А. Левшин),

коллекционеры (А.С. Строганов, А.Я. Лобанов-Ростовский), авторы художественных произведений с исторической тематикой (М.М. Херасков).

- ¹⁴ *Модзалевский Б.Л.* К биографии Новикова: Письма его к Лабзину, Чеботареву и др.: 1797–1815. СПб., 1913. С. 74.
- ¹⁵ Цит. по: *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 332.
- ¹⁶ Вестник Европы. 1908. № 1. С. 212.
- ¹⁷ См.: 500 лет гнозиса в Европе: Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах. М.; СПб., 1993. С. 142, 160–162, 206–207, 216, 220. Ср. также софиологические тексты в кн.: *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя: Мифология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 15–25.
- ¹⁸ *Лукин В.И., Ельчанинов Б.Е.* Указ. соч. С. 87, 325.
- ¹⁹ *Стенник Ю.В.* Русская сатира XVIII века. Л., 1985. С. 319–320.
- ²⁰ *Brereton G.* The French Comic Opera. L., 1977. P. 177.
- ²¹ *Лукин В.И., Ельчанинов Б.Е.* Указ. соч. С. 398–399.
- ²² См.: *Семека А.* Русское масонство в XVIII веке // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1914. Т. 1. С. 149–150; *Вернадский Г.В.* Указ. соч. С. 117.
- ²³ О Софии в Древней Руси см.: *Флоренский П.А.* Указ. соч.; а также: *Amman A.* Darstellung und Deutung der Sophia im vorpetrinischen Russland // *Orientalia Christiana periodica.* Roma, 1938. № 1–2; *Афанасьев А.* София Премудрость Божия в христианской иконографии // Журнал Московской патриархии. 1982. № 8; *Антоний, митр.* Из истории новгородской иконописи // Богословские труды. М., 1986. Т. 27; *Громов М.Н.* Образ Софии Премудрости в Древней Руси // Философско-эстетические проблемы древнерусской культуры. Ч. 1. М., 1988.
- ²⁴ Цит. в переводе на русский язык по изд.: Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 72. См.: *Топоров В.Н.* Слово и Премудрость (логосная структура): «Проглас Константина Философа» // *Russian Literature.* 1988. XXIII/1.
- ²⁵ Вручение книги «Венец Веры» царевне Софии Алексеевне Симеона Полоцкого // Летописи русской литературы и древностей. М., 1861. Т. 3. Отд. 3. С. 86.
- ²⁶ См.: *Успенский Б.А.* Из истории русских канонических имен. М., 1969. С. 69; *Одесский М.П.* Художественная семантика панегирических имен собственных в театре эпохи Петра I // Герменевтика древ-

- нерусской литературы. Сб. 4: XVII – начало XVIII в. М., 1992. С. 390–391.
- ²⁷ *Зернов Н.М.* Русское религиозное возрождение XX века. П., 1974. С. 290.
- ²⁸ *Бем А.Л.* Личные имена у Достоевского // *Bem A. O Dostojevskem: Sbornik stati a materialu.* Praha, 1972. S. 277.
- ²⁹ *Соловьев В.* «Неподвижно лишь солнце любви...» М., 1990. С. 124.
- ³⁰ *Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 223.
- ³¹ *Козырев А.П.* Парадоксы незавершенного трактата: К публикации перевода французской рукописи Владимира Соловьева «София» // *Логос.* 1991. № 2. С. 165–166.
- ³² *Соловьев В.С.* София: Начала вселенского учения // *Логос.* 1991. № 2. С. 184.
- ³³ *Лосев А.Ф.* Указ. соч. С. 236–240; см. также: *Лосев А.Ф.* Вл. Соловьев. М., 1983. С. 183.
- ³⁴ *Соловьев С.М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 399.
- ³⁵ Там же. С. 400–401. По мемуарным признаниям Андрея Белого, деятельность Шмидт – «основа пародии, изображенной в “Симфонии”, с той лишь разницей, что “облаченная в солнце жена” у меня – молодая красавица, а не старушка весьма неприятного вида» (*Андрей Белый.* Начало века. М., 1990. С. 145). Ср. также антропософские публикации, где женственный аспект соловьевской софиологии акцентируется: *Гурвич Е.* Владимир Соловьев и Рудольф Штейнер. М., 1993.

1994 г.

Впервые: Литературное обозрение. 1994. № 3/4. С. 82–87.

Вампирическая топика в ранней прозе А.К. Толстого

Вампир вошел в художественную литературу в конце XVIII – начале XIX в., когда его актуализировала пред- и собственно романтическая эпоха, приравняв к другим сверхъестественным существам. Явление вампира оказалось следствием пандемического увлечения фольклором, причем это увлечение было сложно структурировано, подразумевая: 1) саму декларативную установку на народную традицию; 2) имитацию фольклорной поэтики (баллада у Гёте или южнославянская песня у Пушкина); 3) интерес к экзотическим травелогам – путешествия в «варварские» земли; 4) очередную реинтерпретацию античности (античной литературы) как одну из фольклорных традиций; 5) наконец, в специфическом случае с «вампирами» обращение не столько к фольклору, сколько к литературным источникам, прежде всего к псевдонаучной вампирологии и публицистике эпохи Просвещения, которую авторы соответствующих книг неожиданно именуют «золотым веком вампиризма»¹. Так, французский дипломат де Турнефор писал в «Путешествии на Восток» (1701), что «люди самого высокого ума были, казалось, задеты не меньше прочих: это была настоящая психическая болезнь, не менее опасная, чем мания или бешенство. Мы видели, как целые семьи покидали свои дома и со всех концов города тащили свои убогие лежа на площадь, чтобы провести там ночь...»². В 1720-х годах расследовались «случаи» обвиненных в вампиризме Петра Плогойовица и Арнольда Паоля, что было зафиксировано в аккуратных протоколах (где, похоже, впервые использовался термин «вампир»). В процессе расследования дела Паоля военный врач Флюкингер составил протокол «*Visum et Repertum*» («увидел

и записал»), который был скреплен подписями других врачей и офицеров. Протокол был опубликован в 1732 г. и получил европейский резонанс: поднялась «целая волна трактатов и диссертаций о вампиризме; бесчисленные дискуссии и споры велись также в литературных кругах и университетах»³. Обсуждение «*Visum et Repertum*» в периодике обусловило проникновение слова «вампир» во французский и английский языки. Церковь была принуждена реагировать на новое суеверие. Монах Огюстен Кальме составил двухтомный трактат о «привидениях во плоти, об отлученных от церкви, об упырях или вампирах; о вурдалаках в Венгрии и Моравии» (Париж, 1746). Опровергая веру в вампиров, Кальме систематизировал и представил столько случаев, что его трактат парадоксальным образом стал неисчерпаемым источником для вампирической литературы.

Фольклорно-антикизирующая модель вампира

Баллада Г. Бюргера «Ленора» (1773) со вставшим из гроба женихом, который является недостаточно набожной невесте и ее похищает, приобрела характер предромантического манифеста, и вскоре закономерно настал черед вампиров. По словам Гегеля, «народная поэзия вообще любит рассказывать такие истории и коллизии, обычно с печальным концом, в тоне жуткого, щемящего душу, перехватывающего голос настроения. Но и в новейшее время Бюргер, а затем особенно Гёте и Шиллер добились у нас мастерства в этой области...»⁴

Гёте в балладе «Коринфская невеста» (1797) представил сюжет, который восходит к Флегону из Тралл – греческому компилятору II в. н. э. Юный афинянин навещает Коринф, где живет дочь отцовского друга, с которой он еще в детстве был обручен. Афинянин – язычник, его коринфские хозяева – христиане. Афинянин засыпает в отведенной комнате, не зная, что мать-христианка предназначила для его суженой служение «небесам» (Himmel) – монашество. Юноша забывается, и к нему является «странный гость» – дева в «белой пелене». Оказывается, это его невеста, которая открывает свою печальную историю. Пылкий

афинянин уговаривает гостью остаться, разделить ужин и ложе, стать мужем и женой. Гостья отказывается, но

Полночь бьет – и взор доселе хладный
Заблестал, лицо оживлено,
И уста бесцветные пьют жадно
С темной кровью схожее вино (blutgefärbten Wein);
Хлеба ж со стола
Вовсе не взяла,
Словно ей вкушать запрещено.

Вскоре юноша и странная гостья предаются любовным утехам.

Все тесней сближает их желанье,
Уж она, припав к нему на грудь,
Пьет его горячее дыханье (Gierig saugt sie seines Mundes Flammen)
И уж уст не может разомкнуть.
Юноши любовь
Ей согрела кровь (Seine Liebeswut / Warmt ihr starres Blut),
Но не бьется сердце в ней ничуть*.

Кричит петух («der Hahn erwacht»), и гостья начинает прощаться. Вдруг неожиданно в комнату входит мать, услышавшая любовные речи. Гостья никак не смутилась, «с ложа, вся пряма, / Словно не сама, / Медленно подьмется она» и произносит пространый финальный монолог.

Во-первых, вампиресса утверждает, что юноша был ей обещан «именем Венеры» и никакая новая клятва той не отменит, а потому она явилась из могилы, чтобы любить и высосать кровь из сердца любимого («zu lieben / Und zu saugen seines Herzens Blut»), и юношу уже не спасти.

Во-вторых, за афинянином последуют другие жертвы, вампиресса нуждается в их «неистовстве» (Wut): «Я пойду к другим, – / Я должна идти за жизнью вновь».

* Перевод А.К. Толстого.

В-третьих, единственный способ остановить монстра – справиться над любовниками старинный похоронный обряд, предав огню обреченного юношу и последнее убежище вампирессы, «страшную лачужку» («*bange kleine Hutte*»), и

Так из дыма тьмы
В пламе, в искрах мы
К нашим древним полетим богам!

Гегель в «Лекциях по эстетике» представил выразительный анализ этой баллады: «Гёте в глубокой и полной жизни “Коринфской невесте” изобразил изгнание любви не столько в соответствии с истинным принципом христианства, сколько согласно плохо понятому требованию отречения и принесения себя в жертву. Он противопоставляет естественные человеческие чувства этому ложному аскетизму, осуждающему предназначение женщины быть супругой и признающему вынужденное безбрачие более святым, чем брак. <...> С большим искусством Гёте придал всей поэме ужасающий тон, главным образом тем, что остается неизвестным, идет ли речь о действительно живой девушке или об умершей, о живой или о призраке; при этом в употреблении размера он с исключительным мастерством переплетает шаловливость с торжественностью, что еще более усиливает жуткость произведения»⁵. Другими словами, монстр – женщина-кровосос – оказывается причастной мечте об идеальной античности.

Гёте никак не определил «странную гостью», но в вампирологических справочниках ее относят к типу «ламий» / «эмпуз»⁶. Еще Ян Потоцкий, пересказав (подобно Гёте) античный текст – биографию мага Аполлония Тианского, включил эпизод с женщиной-вампирессой в роман «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804) – монументальную энциклопедию готических мотивов, где присутствует справка: «...эта женщина – одна из эмпуз, в просторечье называемых ларвами или ламиями» (11-й день). А в 1819 г. английский романтик Дж. Китс использовал тот же сюжет в поэме, которая называлась «Ламия», и хотя при жизни автора она не завоевала известность, однако со временем основательно вошла в вампирический канон.

Фольклорно-модернизирующая модель вампира

Зрелый романтизм предложил другой вариант вампира. Обстоятельства романтической актуализации хорошо известны.

Первоначально образ вампира мелькает в эпизоде пространной поэмы «Талаба-Разрушитель» (1801) Р. Саути (где помещено фольклорное примечание о характерной для турок вере в вампиров с упоминанием путешествия Турнефора и «случая» Арнольда Паоля) и на внесюжетном уровне в поэме («турецкой повести») Байрона «Гяур» (1813), где мать убитого мусульманина произносит в адрес «байронического» протагониста проклятие, окрашенное этнографической экзотикой:

Но перед этим из могилы
Ты снова должен выйти в мир
И, как чудовищный вампир,
Под кровлю приходишь родную –
И будешь пить ты кровь живую
Своих же собственных детей.
Во мгле томительных ночей,
Судьбу и Небо проклиная,
Под кровом мрачной тишины
Вопьешься в грудь детей, жены,
Мгновенья жизни сокращая.
Но перед тем, как умирать,
В тебе отца они признать
Успеют. Горькие проклятья
Твои смертельные объяты
В сердцах их скорбных породят,
Пока совсем не облетят
Цветы твоей семьи несчастной*.

В примечании к «турецкой повести» Байрон вслед за Саути указал, что «вера в вампиров распространена повсюду на Востоке»

* Перевод С. Ильина.

и что греческие синонимы для слова «вампир» – «вурдалак» и «бруколок»⁷.

В 1816 г. туристы из Англии – Байрон, Шелли, Мери Годвин, врач и секретарь Байрона Джон Полидори – на вилле Диодати (близ Женевского озера) развлекались «готическими» историями (при участии посетителя Метью Грегори Льюиса, автор романа «Монах»). В итоге Мери Годвин создала эпохального «Франкенштейна», а Полидори обработал сюжет о вампире, намеченный Байроном.

В 1819 г. «Вампир», написанный врачом-секретарем и выданный за повесть Байрона, был напечатан в журнале, потом вышел отдельным изданием. В журнале текст «Вампира» сопровождался анонимным «Отрывком письма из Женевы» (который излагал экстравагантные обстоятельства написания повести) и редакторской заметкой, суммирующей достижения вампирологии.

Согласно заметке, «суеверие, на котором основана повесть, очень распространено на Востоке. Оно присуще арабам; греки его не знали до установления христианства; оно приняло настоящую форму только после разделения латинской и греческой церкви; в это время стала преобладать идея, что тело католика не подвержено тлению, если оно захоронено в своей земле, популярность идеи постепенно росла и создавалось множество чудесных историй, все еще бытующих, о мертвецах, восстающих из могил и питающихся кровью молодых и прекрасных жертв. На Западе суеверие известно, с незначительными вариациями, в Венгрии, Польше, Австрии и Лотарингии, где убеждены, что вампиры по ночам всасывают определенную порцию крови своих жертв, которые истощаются, теряют силу и вскоре умирают от разрушительных болезней; в то же время кровососы толстеют, а их жилы раздуваются до такой степени, что кровь выходит из всех отверстий и даже из кожных пор»⁸. Далее редактор отсылал читателя к Саути и «Гяуру» Байрона, к Турнефору и «Рассуждению о явлении ангелов, демонов и духов, а также призраков и вампиров, в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии» (1746) Кальме (откуда заимствовал «случай» серба Арнольда Паоля), а завершалась заметка терминологическим экскурсом: «...мы чувствуем, что чрезмерно нарушили границы заметки, которую необходимо посвятить объяснению странного произведения, предлагаемого вниманию наших читателей; в заключение, однако, мы должны еще заметить, что хотя

термин “вампир” общепринят, но существуют несколько синонимов для его обозначения, которые используются в разных частях света, а именно: вруколак, вурдалак, гул, бруколак и т. д.»⁹.

Повесть Псевдо-Байрона имела такой успех, что Байрон поспешил от нее отречься и предать гласности (под одной обложкой с поэмой «Мазепа» и «Одой Венеции») тот фрагмент, который он авторизовал. Однако, несмотря на протесты Байрона, в читательском восприятии сработал механизм, напоминающий нехитрый силлогизм: 1) предпочтение отдается тексту Полидори, 2) этот текст атрибутируется сверхпопулярному Байрону, 3) «вампир» из текста Полидори причисляется к героям Байрона.

Воздерживаясь от пересказа хрестоматийного текста, необходимо тем не менее акцентировать его «вампирические» нюансы.

Во-первых, в варианте Байрона / Полидори – в отличие от Гёте – непосредственно функционирует ключевой термин «вампир». Причем термин «вампир» присутствует только у Полидори, повесть которого венчается формулой: «Лорд Рутвен исчез; сестра Обри утолила жажду ВАМПИРА!»¹⁰ Определив «породу» кровососа, автор тем самым апеллировал к традиции псевдонаучной литературы и публицистики XVIII в. Потому и редактор журнала, предваряя повесть Полидори, счел необходимым напомнить читателям как о романтических поэмах Саути, Байрона, так и о трактате Кальме.

Напротив того, Байрон, стремясь избежать художественной однозначности, отнюдь не именовал своего Дарвелла «вампиром» (во «Фрагменте» говорится о «singular being» – «уникальном создании»), а в открытом письме, где отказывался от «Вампира», декларировал: «Помимо всего прочего, я испытываю личное отвращение к “вампирам”, и весьма отдаленное знакомство с ними побуждает меня ни в коем случае не обнародовать их секретов»¹¹.

Соответственно герои Гёте и Байрона / Полидори равно наделены сексуальной притягательностью, однако в балладе «вампирует» девушка, а в повести – роковой мужчина, представитель «байронических» героев, «героев экстремальных чувств и трагической судьбы»¹².

Во-вторых, если у Гёте вампирическая история разворачивается в Древней Греции на заре христианской эпохи, то в текстах Байрона / Полидори – в «наше время» и в современной Европе.

Вообще расхождения английских романтиков с Гёте оказались настолько радикальными, что немецкий писатель совершенно не принял их вариант развития общей темы. Во II части трагедии «Фауст» (действие I) Гёте поместил ироническую ремарку: «Певцы ночи и могил не могут ничего сообщить, ибо они ведут с новоявленным вампиром интересную беседу, из которой может развиться новый род поэзии» (пер. Н.А. Холодковского). А скрупулезный Эккерман включил в запись от 14 марта 1830 г. раздраженное рассуждение Гёте на эту тему: «Изображение благородного образа мыслей и благородных поступков новейшим писателям прискучивает, они пробуют свои силы в воссоздании грязного и нечестивого. Прекрасные образы греческой мифологии уступают место чертям, ведьмам и вампирам, а возвышенные герои прошлого – мошенникам и каторжникам. Так оно пикантнее!»¹³ Кстати, суждение Байрона о вампирах, если отвлечься от демонической экстравагантности, приближается к позиции Гёте.

Наконец, в-третьих, в повести «Вампир» Европа изображена как цивилизованной, «своей» (Англия, Рим), так и «чужой», варварской – турецкая Греция и Малая Азия. И центральный персонаж повести (как и во фрагменте Байрона) проявляет свою сверхъестественную сущность не в цивилизованной, а именно в варварской Европе, что обнаруживает характерную для романтизма установку на «местный колорит» и фольклор. В повести Полидори греческая девушка Ианфа даже знакомит английского путешественника со «страшными сказками» «о живом вампире, который подолгу пребывал в кругу родных и друзей, каждый год вынужденный питаться кровью красивых женщин, чтобы еще на несколько месяцев продлить себе жизнь»¹⁴.

Повадки монстра классифицируются в тексте «Вампира» – в отличие от журнального сопровождения – весьма бегло: он «мертвенно бледен», необыкновенно силен, его атака оставляет на жертве классические следы, чего нет у Гёте («...на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену»), а чудесная реанимация происходит посредством лунного света. Симптоматично также, что во фрагменте Байрона «сезонная» смерть монстра происходит на старом турецком (мусульманском) кладбище, и тело хоронят в могилу, где «были погребены останки почившего магометанина».

Фольклорно-этнографическая¹⁵ модель вампира

«Вампир» Байрона / Полидори среди прочих регионов триумфально проник во Францию. Французский перевод был опубликован в 1819 г., Ш. Нодье приветствовал его в рецензии и, кроме того, участвовал в сочинении одноименной сценической переделки (1820), стяжавшей театральный успех. В 1821 г. Нодье напечатал «вампирическую» поэму в прозе «Смарра», где синтезировал близкую к Байрону / Полидори этнографическую экзотику (восходящую к травелогу аббата Фортиса «Путешествие по Далмации», дежурному источнику информации о балканских народах) с фольклорно-антикизирующей моделью (эпизоды из «Метаморфоз» Апулея).

В этой перспективе следует рассматривать и пресловутую мистификацию П. Мериме, напечатавшего в 1827 г. якобы фольклорную книгу «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Определение «иллирийский» – принятое в то время обозначение южных славян: «Сама идея этого названия коренится в очень ранних средних веках. <...> Писатели Далмации прежних столетий, в особенности XV-го по XVII-ое, любили и как историки и как филологи это название для обозначения языка сербско-хорватского населения Далмации, Боснии и прочих областей Балканского полуострова. <...> Эти мечтания писателей минувших столетий приняли в начале XIX-го столетия реальную политическую форму: Наполеон создал своей властной рукой в 1810–1811 году французскую провинцию “Иллирию”, заключающую в себе Далмацию, Истрию с островами. Хорватию до Саввы. Всю приморскую область, Крайну и часть Корутании (Каринтии)»¹⁶.

Суть мистификации заключалась в том, что французский романтик никаких народных песен не собирал, а сочинял или обрабатывал литературные источники типа путешествия аббата Фортиса. Это с сочувствием отметил Гёте, противопоставив Мериме «певцам ночи и могил»: «В “Гузле” тоже нет недостатка в устрашающих мотивах – кладбищах, ночных перекрестках, призраках, вампирах, но вся эта дребедень идет у него не от души, скорее он смотрит на нее со стороны и довольно иронически.

Правда, он целиком предается этой своей затее, что естественно для художника, решившего попытать силы в чем-то новом и непривычном»¹⁷.

Особый отдел в «Гузле» составляют специфические песни, которые предваряются этюдом «О вампиризме». Мериме начинает, суммируя обычные данные вампирологии: «В Иллирии, в Польше, в Венгрии, в Турции и в некоторых частях Германии вам бросили бы упрек в безверии и безнравственности, если бы вы стали публично отрицать существование вампиров. Вампиром (по-иллирийски – *вудкодлак*) называется мертвец, выходящий, обычно по ночам, из своей могилы, чтобы мучить живых. Часто он высасывает кровь из шеи, а иногда сжимает горло и душит до полусмерти. Те, кто погибает жертвой вампира, сами становятся после смерти вампирами. По-видимому, вампиры совершенно теряют всякое чувство привязанности к близким людям, ибо установлено, что они гораздо чаще мучат своих друзей и родственников, чем посторонних. Некоторые полагают, что человека делает вампиром Божья кара, другие – что это проклятие рока. Наиболее распространено мнение, что еретики и отлученные от Церкви, которых похоронили в освященной земле, не могут найти в ней покой и мстят живым за свою муку»¹⁸.

Обнаруживая истинный источник познаний об иллирийском вампиризме, Мериме (как и издатель «Вампира») цитировал Кальме, заимствуя из трактата ученого монаха «случаи» сербов Петра Плогойовица и Арнольда Паоля:

В начале сентября в деревне Кизилова, в трех милях от Градиша, умер старик шестидесяти двух лет. Через три дня после похорон он явился ночью своему сыну и попросил, чтобы ему дали поесть; тот подал ему, он поел и исчез. На другой день сын рассказал соседям о случившемся. В эту ночь отец не появлялся, но на следующую опять явился и попросил есть. Неизвестно, дал ли ему сын поесть, но наутро сына нашли мертвым в постели. В тот же день в деревне заболели пять или шесть человек, которые и умерли один за другим через несколько дней. <...> Были разрыты могилы всех умерших за последние полтора месяца; когда дошли до могилы старика, увидели, что он лежит с открытыми глазами, с румяным лицом и дышит, как живой, хотя и недвижим, как полагается мер-

твецу, из чего заключили, что он явный вампир. Палач вбил ему в сердце кол. Затем зажгли костер, и труп был обращен в пепел. Ни на трупе сына, ни на трупах других умерших не обнаружили никаких признаков вампиризма.

Около пяти лет тому назад некий гайдук, житель деревни Медвежья, по имени Арнольд Паоль, был раздавлен опрокинувшейся на него телегой с сеном. Месяц спустя после его смерти четыре человека внезапно умерли, причем именно так, как, согласно местным поверьям, умирают замученные вампирами. Тогда вспомнили, что этот Арнольд Паоль часто рассказывал о том, как в окрестностях Косова и на границах турецкой Сербии его мучил вампир (ибо местные люди также верят, что те, кто при жизни был пассивным вампиром, становятся после смерти активными, то есть те, кого сосал вампир, сами начинают сосать), но что он излечился, поев земли с могилы вампира и натеревшись его кровью. Эта предосторожность, однако, не помешала ему самому стать после смерти вампиром, ибо когда через сорок дней после погребения его вырыли, то нашли на нем все признаки самого явного вампира. Лицо его было румяно, волосы, ногти и борода отросли, а жилы полны были свежей кровью, вытекавшей из всех частей его тела на саван, в который он был завернут¹⁹.

После цитат из Кальме – по законам мистификации – «Мериме» (точнее мнимый собиратель и переводчик иллирийских песен) поделился «личными» впечатлениями: «Я сам был свидетелем следующего происшествия, которое оставляю на суд читателя. В 1816 г. я предпринял путешествие в Воргорац и провел ночь в деревушке Варбоске». Мужчины – рассказчик и хозяин дома – сидели за столом, когда они услышали страшный крик и увидели «ужасное зрелище»: «Мать бледная с растрепанными волосами держала в своих объятиях дочь без чувства и еще более себя бледную, произнося пронзительные звуки: “вампир, вампир! Моя бедная дочь умерла!” Мы между тем успели в скором времени привести в чувство несчастную Раву (имя дочери). Тогда она рассказала нам, что видела бледного человека в саване, который влез в окно, бросился на нее, укусил, и чуть было не задушил. Она прибавила, что узнала в нем одного поселянина по имени Виркцнана, умершего перед тем за две недели. На шее девушки было красное пятно, но я не знаю,

было ли оно родимое, или уязвление какого-нибудь насекомого». На следующий день жители деревни разрыли могилу, расчленили и сожгли труп подозреваемого, а «красною жидкостью», вытекшей из трупа, смазали шею Равы. Однако ничего не помогло, девушка «приобщилась Св. Тайн с спокойствием духа» и умерла, предварительно заставив отца «обещать, что он сам отрубит у ней голову после ее смерти, чтобы она не сделалась вампиром». Рассказчик, который не оставляет позиции скептика, завершил историю амбивалентным замечанием: «Болезнь продолжалась не более одиннадцати дней. Какое пагубное действие суеверия!»²⁰

В науке прочно установилось сформулированное еще в 1911 г. мнение знатока сербского фольклора В. Йовановича, который отмечал, что «вера в вампиров не очень характерна для сербских преданий, а имеет ярко выраженную литературную основу»²¹.

К примеру, «иллирийская» песня «Константин Якубович» не имеет аналогов в песнях южных славян, но разительно напоминает «случаи» из Кальме, воспроизведенные поэтом-мистификатором в его этюде о вампиризме. К дому Константина Якубовича и его жены Милиады выходит из леса незнакомец, он юн, однако сед, его взгляд хмур, он шатается. Незнакомец, если знать дальнейшее развитие сюжета, произносит двусмысленную просьбу: «Я испытываю сильную жажду и хотел бы выпить». Хозяева удовлетворяют просьбу, а пришелец показывает смертельную рану: его поразила пуля неверного, и теперь он не может «ни жить, ни умереть». Затем просит похоронить себя на родовом кладбище Константина Якубовича. Хозяева выполняют новую просьбу, а через неделю заболевает их сын. Призванный на помощь отшельник ставит диагноз: «Это зуб вампира». Константин Якубович отправился на кладбище, разрыл могилу незнакомца и обнаружил, что «труп румяный и свежий», «ногти выросли, как вороньи когти», «алой кровью вымазаны губы, полна крови глубокая могила» (перевод А.С. Пушкина). Константин Якубович взмахнул колом, но незнакомец стремительно вскочил и с невероятной быстротой бежал в лес, откуда первоначально явился. Отшельник взял кровь и землю из могилы и натер тело ребенка, Константин и Милиада сделали то же самое. Далее вампир пытается снова проникнуть в дом Константина Якубовича, меняя обличия, но на этот раз при помощи отшельника удается от него защититься. Указана в песне

и некая вина Константина Якубовича, облегчившая атаку вампира: он хоронит незнакомца на родовом кладбище, «не разузнав, примет ли латинская (католическая. – М. О.) земля в свое лоно тело грека-схизматика (православного. – М. О.)», что сопровождается авторским примечанием: «Православный, похороненный на католическом кладбище, становится вампиром, et vice versa», т. е. такая же судьба постигнет католика, похороненного у православных.

Как видно, если фольклорно-модернизирующая модель позволяла не злоупотреблять подробностями (которые, скорее, реконструируются, а шокирует само допущение современного вампира), то тексты, представляющие фольклорно-этнографическую модель, ими изобилуют (см. таблицу «повадок» вампиров).

«Коринфская невеста» Гёте	«Вампир» Байрона / Полидори	«Константин Якубович» Мериме
Странная гостья обретает энергию после полуночи и собирается исчезнуть на рассвете; она собирается исчезнуть, заслышав петушиный крик	Луна как реаниматор вампиров	
Странная гостья является в белой пелене		
Странная гостья способна сама войти в комнату, однако юноша ей рад и всячески призывает остаться	Лорд Рутвен обретает власть над женщинами, которые поддаются его очарованию	Константин Якубович оказывает гостеприимство незнакомцу
Странная гостья предупреждает, что она «как лед холодна»	Вампир Рутвен «мертвенно» бледен	Незнакомец бледен
Странная гостья не ест хлеб и только пьет «с темной кровью схожее вино»		Вампир только пьет

Странная гостья не испытывает трудностей с любимыми перемещениями; кроме того, она двигается необычно: «...с ложа, вся пряма, / словно не сама, / медленно подьмелется она»	Вампир лорд Рутвен силен и быстр (сцена борьбы с Обри в лесной хижине)	Вампир сверхчеловечески быстр
Странная гостья программно враждебна христианству и отвержена язычеству	Рутвен демонстративно враждебен христианским добродетелям	Вампир – православный, похороненный на католическом кладбище
	На шее Ианфы остались следы вампирического укуса	Отшельник объясняет причину болезни сына Константина Якубовича: «Это зуб вампира»
Место обитания странной гостьи – «страшная лачужка»	Во фрагменте Байрона вампира хоронят на мусульманском кладбище	«Неправильное» католическое кладбище

* * *

Романтический вампиризм в свой черед распространился в России. При этом вампирическая легенда должна была представлять особый интерес для русских в силу своей этноконфессиональной родственности, связи с «поверьями балканских народов, преимущественно сербов и греков»²².

Действительно, будущий фольклорист П.В. Киреевский перевел (1828) материалы журнальной публикации «Вампира» Полидори (текст повести, реферат письма из Женевы, редакторскую заметку о вампиризме), а также «Фрагмент» Байрона; в том же году популярный «Сын Отечества» помещает хвалебную рецензию на «Гузлу» Мериме, а серьезный университетский журнал «Атеней» – перевод (анонимно, без указаний на источник) статьи «О вампиризме» (Ч. 6. № 24. Разд. «Смесь». С. 380–387; отрывок приводился выше); в пушкинской «Литературной газете» (1830 г., 26 мая) опубликован перевод статьи Ш. Нодье «Пение морлаков»,

посвященной фольклору южных славян и содержавшей рассказы о вампирах²³.

В этом аспекте В.Э. Вацуро привлек внимание к творчеству О.М. Сомова²⁴, который в 1818 г. опубликовал в журнале «Соревнователь» перевод нескольких глав из путешествия аббата Фортиса (книга имела в библиотеке Пушкина²⁵, и ее приобретение правдоподобно связывается с работой над «Песнями западных славян»²⁶), а в 1821 г. читал для литературного общества «Сословие друзей просвещения» перевод байроновского «Фрагмента». В народной повести «Киевские ведьмы» (1833) Сомов прямо обратился к вампирическому сюжету, по точному замечанию В.Э. Вацуро, адаптировав балладу Гёте «Коринфская невеста» к моде на славянский фольклор²⁷. Здесь история не об ужасе, а о любви, и вампир (жена киевского казака) не есть собственно вампир. Это – ведьма, которой велено наказать любимого (подсмотревшего тайны ведьмовского сообщества), высосав его кровь, причем с согласия партнера и не из шеи, а из сердца (ср. в балладе Гёте – «zu lieben / und zu saugen seines Herzens Blut»). Женский пол и сексуальная притягательность дают основание отнести «киевскую ведьму» к славянизированной линии «лабий», а сам акт кровососания квалифицировать как символический образ любви-смерти.

В.Э. Вацуро также ввел в научный оборот интересный документ (1840), отражающий самостоятельные вампирические разыскания, которые предпринимали русские интеллектуалы. И.П. Липранди – собеседник Пушкина, сотрудник разведки – прислал литератору А.Ф. Вельтману описание экзотических болгарских обычаев и верований, имеющих отношение к вампирам и способам борьбы с ними. Для характеристики вампирической осведомленности русского общества симптоматично, что, по убеждению Липранди, Вельтману известны подробности «обычая сербов истреблять вампиров».

Булгары истребляют *ватмиров* (так!) также *глоговым* деревом (боярышник. – М. О.), они называют их *полтениками*, иногда *краконополами* и *варколаками*; верят, что мертвые тела сии посредством дьявольского наваждения встают из гробов своих и беспокоят живых, а преимущественно родственников.

Булгары убеждены, что *полтеники* могут входить в дома, разбивать все, что заблагорассудят, пугать, а иногда получать таковую силу, что убивают людей и скот.

Если где в *Булгари*, в городе или деревне, появится таковой *полтеник*, тогда все идут (даже с разрешения турецкого местного правительства) к тому, который предназначен убивать такового *полтеника* и которого называют *глог*, оттого, что он употребляет для сего дрекол (кол) *глогового* дерева; тогда, обыкновенно в субботу (в день, когда, по мнению *глога*, *полтеник* не оставляет могилы, в прочие же дни он ходит), *глог* сей приходит на гроб того или той, которого подозревают быть *полтеником*, т. е. обыкновенно умершие скоропостижно или <от> *ѣсьма* кратковременной болезни, по мнению их, делаются таковыми.

По прибытии на место *глог* делает изостренным *глоговым* своим дреколом (батиной) на могиле над самым гробом три ямы, беспрестанно поливая их водою. Самую большую делает над головою умершего до самого трупа, потом вливает воду, смешанную с каким-то прахом; потом берет дрекол и бьет его в большую сию над главою яму, до того, что он весь войдет в землю <В Эски-Емине я видел эту церемонию сам. – Примеч. И.П. Липранди>; при сем часто поливает водою, смешанною, как выше сказано, с каким-то составом; тогда уверяют булгары, что конец кола, видимый из земли, обагрывается кровью, и присовокупляют, что это сам дьявол то тело уязвляет. После всего сего *полтеник* уже не оставляет более никогда своей могилы.

Глог уверяет, что таковой *полтеник*, если не будет вышеупомянутым образом убит, в продолжение целого года может беспокоить жителей. За все сие *глог* берет что хочет, от 50 до 200 левов, сверх сего, в продолжение восьмидневного его пребывания в городе или селе он выпивает до 50 ок вина и переест множество живности и пр. <...>

Еще уверяет булгарский *глог*, что умершие некрещенные дети христиан, когда делаются *полтениками*, то бывают сильнее обыкновенных. Турки бывают также *полтениками*; и с ними *глог* поступает одинаково. Но жида, по мнению булгар, *полтениками* не бывают и быть не могут. Рассказывают, даже и сам *глог* уверяет, что он один чрез лес или поле ходить не смеет, ибо волк его приметит или почует, тогда вмиг растерзает.

Обычай сербов истреблять вампиров другим образом здесь не упоминаю, потому что, полагаю, у вас есть, – они их называют не полтениками. Я сохранил рукопись, сделанную мне попом Эски-Емина Магмет Хаджи-башею и глогом, который ночевал у меня тут²⁸.

Эффект вампирической моды был столь разительным, что – как часто случается при использовании сильнодействующих средств – в считанные годы образ заглавного героя превратился в знак литературного штампа.

Пушкин в III главе «Евгения Онегина» (1824, публикация 1827) представил очерк романтической литературы:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Причем автор «Евгения Онегина» снабдил упоминание Вампира примечанием: «Повесть, неправильно приписанная лорду Байрону».

О.М. Сомов предварил сказку «Оборотень» (1828/1829) предисловием, где писал: «“Это что за название?” – скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты

и даже Вампиры попеременно, один за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира...»²⁹

О.И. Сенковский в сатирической повести «Большой выход у Сатаны» (1833) устами чертей высмеивал тематику новейшей литературы: «Главные пружины нынешней поэзии суть: вместо Венеры – ведьма; вместо Аполлона – страшный, засаленный, вонючий шаман; вместо нимф – вампиры; она завалена трупами, черепами, скелетами; из каждой ее строки каплет гнойная материя»³⁰.

М.Ю. Лермонтов в начальном варианте предисловия (1841) к «Герою нашего времени», защищая право автора изображать противоречивый характер Печорина, почти буквально повторил Пушкина:

«– Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен – а я вам скажу, что вы все почти таковы; иные немного лучше, многие гораздо хуже. Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других – отчего же вы не верите в действительность Печорина?»³¹ При этом в эпизоде очередного расчетливого ухаживания Печорина за княжной Мери остались горькие слова героя, допускающего возможность своего отождествления с байроновским персонажем: «...она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия»³².

Однако полемические выпады против вампиров и других постоянных романтических героев – как и в соответствующих высказываниях Гёте, Байрона, Мериме – никак не означали (а скорее предполагали, согласно принципу романтической иронии), что русские писатели отказывались их изображать, причем совершенно серьезно. Если Сомов после шуток в «Оборотне» напечатал повесть «Киевские ведьмы», отнюдь не шутивную вариацию на тему «Коринфской невесты», то Пушкин в пятой главе «Евгения Онегина» (1826), похоже, трансформировал материал «Вампира» в фольклоризированный сон Татьяны.

XV

.....
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отсюда он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом...

XVII

.....
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкой глядит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...

Трудно удержаться от соблазна наряду с другими параллелями («Жан Сбогар» Нодье³³, «Роман в лесу» А. Радклиф³⁴) указать здесь ту «хоррорную» сцену из «Вампира», где положительный персонаж Обри, уже извещенный о вампирической опасности, ночью в лесу натывается на загадочную лачугу: «...при свете молний Обри заметил утлую лачугу, что едва возвышалась над окружающими ее горами сухих листьев и веток. <...> Едва Обри подошел к лачуге, гром на мгновение стих, и юноше почудились ужасающие крики женщины, сопровождаемые глухим торжествующим хохотом, с которым они слились почти нераздельно. Обри вздрогнул, но тут снова загрохотал гром, и с внезапным приливом сил юноша распахнул дверь хижины. Оказавшись в крошечной тьме, он стал продвигаться в ту сторону, откуда слышался шум. Появления его очевидно не заметили, ибо, хотя он звал, странные звуки продолжались и на Обри никто не обращал внимания. Наконец Обри наткнулся на невидимого противника и немедленно схватил его; незнакомец воскликнул: “Снова ты на моем пути!” – и громко расхохотался. Обри был сжат с нечеловеческой силой <...> Гроза прекратилась, и люди с факелами расслышали стоны Обри. Они вошли в лачугу, огни осветили закопченные стены и соломенный потолок, покрытый хлопьями сажи. По настоянию Обри люди стали искать женщину, чьи стоны привлекли его во время ночной грозы. Юноша опять оказался во тьме; но каков же был его ужас, когда комната вновь озарилась факелами и он увидел бездыханное тело своей прежней прекрасной спутницы! <...> Шея и грудь были залиты кровью, и на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену. “Вампир, вампир!” – с ужасом воскликнули все, указывая на отметину. <...> В руке юноша безотчетно стискивал причудливой формы кинжал, найденный в хижине».

Если согласиться с предложенным сопоставлением, то совпадают и ситуация девушки, которой угрожает опасность в лесном доме, и демонический характер его обитателей, и персонажная пара Онегин, закалывающий Ленского, – Рутвен, нападающий на Обри, и даже мотив ножа / кинжала.

В 1830-х годах – в пору расцвета его пресловутого реализма! – Пушкин продолжал создавать и публиковать произведения, относящиеся к фантастическому роду. Так, в журнале Сенковского «Библиотека для чтения» он в 1834 г. напечатал

повесть «Пиковая дама», в 1835 г. – «Песни западных славян», поэтический перевод «Гузлы». В том же году перевод вошел в четвертую часть «Стихотворений» Пушкина, которая, по словам специалистов, «представляет собой собрание произведений, опубликованных Пушкиным в 1834–1835 гг. в журнале “Библиотека для чтения” <...> Сборник имеет отчетливый фольклоризированный уклон и показателен отсутствием в нем собственно лирики за последние годы, что и предопределило отказ от хронологического принципа – баллады, переводные песни и сказки к этому принципу безразличны»³⁵. Исследователи осторожно отказываются реконструировать композиционные установки четвертой части «Стихотворений Александра Пушкина», однако, как представляется, правомерно подчеркнуть, что цикл «Песни западных славян» помещен в сильную – финальную – позицию и, к слову, был положительно оценен современной критикой³⁶.

Процесс соотношения оригинала и перевода – текстов Мериме и Пушкина – разумеется, многократно проводился и основательно изучен. Различия очевидны: некоторые «иллирийские» песни оставлены без перевода, а другие, напротив, добавлены, в их числе – две песни из аутентичного фольклорного сборника Вука Караджича и три, которые считаются собственным творчеством русского поэта; прозаический текст превращен в поэтический, причем Пушкин выбрал стихотворные размеры, наделенные «этнографическим» семантическим ореолом; активно использована подходящая к фольклорному заданию народная лексика, меняются имена, реалии, сокращаются примечания. Наконец, вместо корректного термина «иллирийский» Пушкин вводит определение «западный», которое, по словам Л.С. Сидякова, «не связано с узкотерминологическим значением: под западными славянами понимаются все славянские народы, живущие за пределами России; поэтому рядом со стихотворениями, в большинстве своем относящимися к южнославянскому ареалу, Пушкин помещает стихотворение “Яньш королевич”, ориентированное на чешские реалии»³⁷.

В общем, Пушкин – при помощи других художественных средств – не опровергает, а скорее следует установке «Гузлы» на фольклорную имитацию. Сказанное полностью применимо и к вампирической топике.

Во-первых, поэт из всех песен оставил две («Марко Якубович» и «Вурдалак»), отказавшись от остальных, равно и от прозаической статьи: «...в первом тема вампиризма толкуется очень серьезно, даже с некоторой патетикой. <...> В “Вурдалаке” та же тема становится предметом шутки, суеверный страх перед вампирами высмеивается на примере забавного случая с “бедным Ваней”. При этом “Вурдалак” не разоблачает “Марко Якубовича” – одна точка зрения не отменяет другую»³⁸.

Во-вторых, проза преобразована в поэзию – песня «Марко Якубович» переведена экспериментальным стихом, стилизованным под южнославянский фольклор (см. труды С.П. Боброва, Б.В. Томашевского, Н.С. Трубецкого и др.), а «Вурдалак» – четырехстопным хореем, характерным для русской традиции воспроизведения фольклорных текстов³⁹.

В-третьих, видоизменяются имена (Марко Якубович вместо Константина Якубовича и т. п.) и реалии. Так, с точки зрения вампирологической традиции показательно, что «Пушкин снимает мотивировку превращения чужеземца в упыря», т. е. упоминание о «неправильном» захоронении.

Можно сказать, эмблематическими для работы Пушкина становятся его терминологические поиски. В переводе обеих песен он планомерно вводит слово «вурдалак»: в песне «Марко Якубович» – вместо «вампира», в «Вурдалаке» – вместо «бруколака». Переводчик никак здесь не противоречил намерениям Мериме, который в статье «О вампиризме» приравнивал европейский термин «вампир» к иллирийскому «вудкодлак», а песню «Jeannot» – источник «Вурдалака» – сопроводил пояснением: бруколак – «разновидность вампира». Также в редакторской статье, предварявшей издание «Вампира» Полидори, утверждалось, что «вруколак, вурдалак, гул, бруколак» – синонимы слова «вампир». Соответственно, Пушкин, систематизировав словоупотребление, придал терминологическую точность фольклорно-этнографической модели описания кровососа, которого в отличие от фольклорно-модернизирующего «вампира» (явленного в тексте Байрона / Полидори) предлагалось именовать «вурдалаком». Более того, Пушкин в «Песнях западных славян» сделал важный шаг в направлении русификации монстра-кровососа, написав в примечании к «Марко Якубовичу»: «*Вурдолаки, вудкодлаки, упы-*

ри – мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей» (не исключено здесь влияние «упыря» из «Дядюв» Мицкевича).

* * *

Повести А.К. Толстого «Семья вурдалака» и «Упырь»⁴⁰ занимают в истории русской литературы парадоксальное место. Нет сомнений в их художественной ценности: о даровании автора «Упыря» писали Виссарион Белинский и Владимир Соловьев, а современный ученый называет «Семью вурдалака» его «лучшей вещью в прозе» (по-видимому, в сравнении с неоправданно высоко ценимым романом «Князь Серебряный»)⁴¹. Вместе с тем «Упырь» – первая публикация Толстого (1841, под псевдонимом Красногорский), а «Семья вурдалака» (с парной повестью «Встреча через триста лет») вообще не публиковалась при жизни автора (традиционно датируется концом 1830-х). Кроме того, популярность этих произведений в отличие от поэзии, исторического романа, драматургии имеет, так сказать, «несерьезный», фантастический, паралитературный характер.

Однако историческое значение ранней фантастики Толстого обусловлено общей парадоксальностью его творчества. По эпатажной формуле Ю.И. Айхенвальда, «Алексей Толстой вторичен»⁴². По академической формуле Н.А. Котляревского, Толстой – «чистокровный романтик, запоздавший рождением»: «Его мировоззрение сложилось в тридцатых и в сороковых годах в эпоху торжествующего романтизма, идеалистической философии и культа искусства. Долго таил он в себе свои мысли и настроения и с первым своим словом выступил уже в таком возрасте, когда другие поэты начинают обыкновенно задумываться над вопросом, что им сказать дальше»⁴³.

Придавая современную строгость дефинициям Айхенвальда и Котляревского, можно сказать, что если для 1850 – 1870-х годов, когда Толстого узнал широкий круг читателей, писатель представлялся «чистокровным романтиком, запоздавшим рождением», то для 1830 – 1840-х автор «Семьи вурдалака», «Упыря» и т. п. – характерный представитель господствующего романтизма. Другими словами, фантастические повести представляют особый период в творческом развитии писателя, который отделен от хрес-

томатийного Толстого почти десятилетием молчания, что можно отчасти уподобить творческому пути М.Ю. Лермонтова. При таком подходе Толстого середины 1830 – середины 1840-х годов правомерно считать не столько начинающим литератором, сколько наследником, даже завершителем «литературной, преимущественно романтической традиции»⁴⁴.

И здесь необходимо вспомнить его дядю и любимого воспитателя А.А. Перовского – влиятельного чиновника и литератора (псевдоним «Антоний Погорельский»). Погорельский заслужил репутацию родоначальника отечественной гофманианы: его экстравагантная книга «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828) – собрание фантастических новелл, обрамленных фантастическим сюжетом собеседования рассказчика с собственным двойником (слово «двойник» – терминологической точности ради – приводится в книге по-немецки: «Doppelganger»), и автор «Двойника» очевидно подражал «Серапионовым братьям» Гофмана (где, кстати, в одной из новелл третьего тома обсуждается «Вампир» Полидори и предлагается очередная вампирическая история, реализующая фольклорно-модернизирующую модель⁴⁵).

Примечательно, что в письме от 18 марта 1835 г. Перовский делился с племянником литературным опытом: «Не спеши с Loup-garn (так!). Лучше оставь его на время, а то испортишь. Большую пьесу можно делать по желанию, и если тебе придет между тем другое что-нибудь на мысль, так ты можешь и другим заняться»⁴⁶. В комментарии указано, что «Loup-garn» – «не дошедший до нас замысел Толстого», в то время как скорее всего имеется в виду «Loup-garou», т. е. «оборотень». В таком случае Погорельский, вероятно, обсуждал с молодым Толстым его фантастические истории, что наглядно демонстрирует их принадлежность к непрерывной традиции тогдашней вампирической топики.

Повесть «Семья вурдалака»⁴⁷

Термин «вурдалак». Язык

Термин, фигурирующий в заглавии, может восприниматься как ссылка на прецедент Мериме / Пушкина и тем самым на освященное Пушкиным обозначение фольклорно-этнографической модели вампиризма.

Как известно, Толстой на протяжении всего творчества выступал апологетом права художника на свободный вымысел⁴⁸: повесть «Семья вурдалака» никак не сопряжена ни с фольклором, ни с биографическим опытом автора и построена как вариация на литературные темы. В 1855 г. Толстой, находясь с армией в болгарской деревне, в письме к С.А. Миллер (будущей жене) с удовольствием акцентировал элемент вымысла в этой повести: «Я никогда не был в такой стране, но они мне напоминают мою повесть “Вурдалак”»⁴⁹.

Французский язык повести также сближает ее с текстом Мериме / Пушкина (ср. готические шедевры – повесть «Ватек» и роман «Рукопись, найденная в Сарагосе», которые их авторы, англичанин У. Бекфорд и поляк Я. Потоцкий, опубликовали на французском языке).

Композиционное обрамление

С композиционной точки зрения повесть представляет собой рассказ в рассказе: в 1815 г. – во время Венского конгресса – «маркиз д'Юрфе, старик эмигрант», делится воспоминаниями о приключениях юности, о событиях 1759 г., когда ему случилось оказаться в некой сербской деревне. В современном исследовании этот прием справедливо квалифицируется как признак «литературной готики», что иллюстрируется примерами романов М.Г. Льюиса «Монах», Ч.Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец», Я. Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе»⁵⁰. Однако столь же необходимо констатировать сходство с сюжетной ситуацией, намеченной в статье Мериме «О вампиризме» («Я сам был свидетелем следующего происшествия, которое оставляю на суд читателя. В 1816 г. я предпринял путешествие в Воргорац и провел ночь в деревушке Варбоске»): в обоих случаях «цивилизованный» путешественник-француз становится свидетелем и участником вампирического «случая» (подлинного или мнимого) с девушкой в «дикой» сербской деревне.

Имя и титул рассказчика – маркиз д'Юрфе – повторяют имя и титул второстепенного персонажа романа «Рукопись, найденная в Сарагосе» (3-й день), что правомерно толковать как намеренную аллюзию (в фантастической повести Толстого «Амена», опубликованной в 1846 г., имя протагониста Амвросий – явная аллюзия на протагониста романа «Монах»⁵¹).

Славистическая компетентность

Вслед за Мериме с его «иллиризмом» и Пушкиным с «западными славянами» автор (устаи маркиза) соединяет вампирическую топику со славистическим экскурсом: «...когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются – и это вам, наверное, известно – не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским».

По-видимому, научная реплика д'Юрфе / Толстого анахронистически для 1815 г., но нормально для конца 1830 – начала 1840-х годов апеллирует к концепции Яна Коллара (1793–1852), словака по рождению, подданного Австрийской империи, большую часть жизни служившего пастором евангелической общины в Пеште, автора популярных произведений, написанных на чешском языке⁵². «Славянская идея» пропагандируется в причудливой поэме Коллара «Дочь Славы» (первое издание – 1824), которая представляет собой внушительное собрание сонетов: чешско-словацкий поэт посвятил сонеты возлюбленной-лужичанке, но любовная лирика мотивировала у него широкую панораму славянской жизни, а лужицкая девушка предстала олицетворением славянства – дочерью Славы (Славии). Поэма «Дочь Славы» состоит из программного вступления и пяти песней, которые объединяют 645 сонетов (в наиболее полном издании 1852 г.): первая песнь называется «Сала», вторая – «Лаба, Рейн, Влтава», третья – «Дунай», четвертая – «Лета», пятая – «Ахерон». Поэма декларировала, что славяне – единый народ, у которого существуют четыре «ветви» (чешская, русская, польская, иллирийская, т. е. южная), и на протяжении XIX столетия функционировала как авторитетнейшая «энциклопедия» идей «славянского единства». Поэма получила европейскую известность, вызвала полемику, и Коллар «в ответ на рецензии <...> а также исходя из внутренней потребности объяснить собственное видение единства славян и целей этого единства»⁵³, опубликовал специальный трактат «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (чешский вариант – 1836, расширенный немецкий вариант – 1837, русский перевод М.П. Погодина и Ю.Ф. Самарина – в журнале «Отечественные записки», 1840).

Происхождение вурдалака-вампира

Старик-серб Горча отправляется «с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорывшего последнее время весь тот край)». Горча убивает турка, в качестве трофея приносит голову разбойника-мусульманина, но, как обязан догадаться читатель из дальнейшего повествования, турок был вампиром и ему удалось перед смертью укусить и «заразить» своего убийцу. Ср. слова вампира у Мериме / Пушкина: «Три дня, – молвил, – ношу я под сердцем // Бусурмана свинцовую пулю» (во французском оригинале – «неверного пса»).

Толстой добавляет деталь, драматизирующую ситуацию: Горча (по-видимому, догадываясь, что Алибек – вампир) предупредил семью, что если он вернется позже назначенного срока, то он – «проклятый вурдалак» и его следует уничтожить; старик является на несколько мгновений позже срока, и семья пребывает в недоумении, вурдалак он или нет (ср. у Мериме в статье: умирающая девушка просит отца «обещать, что он сам отрубит у ней голову после ее смерти, чтобы она не сделалась вампиром»).

Следует отметить, что у Толстого, как и у Пушкина, отсутствует мотив «неправильного» захоронения как причины превращения в вампира.

Псевдонаучная характеристика вампира

«...*Вурдалаки*, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей» (ср. у Пушкина: «*Вурдолаки, вудкодлаки, упыри* – мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей»).

Вурдалаки «сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами...» (ср. у Мериме: «Те, кто погибает жертвой вампира, сами становятся после смерти вампирами. По-видимому, вампиры совершенно теряют всякое чувство привязанности к близким людям, ибо установлено, что они гораздо чаще мучат своих друзей и родственников, чем посторонних»).

«В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры» (ср. ссылки на Кальме у Мериме, а также в примечаниях к поэме Саути и к первому изданию «Вампира» Полидори).

Явление вурдалака

Будучи гостем в сербской деревне, маркиз становится свидетелем появления Горчи, как и незнакомец в песне Мериме, из лесу.

Внешность вурдалака

«Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку». У Пушкина: «...бледен он и чуть ноги волочит»; у Мериме: «Он был молод; однако его волосы были седыми, взгляд – хмурый, щеки – впалыми, походка – неверной».

Ненависть собак

На старика Горчу воеет пес, что есть общий признак реакции собак на нечистую силу.

Вурдалак и еда

Дочь «приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий...». У Мериме / Пушкина он испытывает жажду; во французском оригинале пьет водку и молоко.

Оружие против вампиров

Сын Георгий, заподозрив, что отец превратился в вурдалака, готовит – в согласии с Мериме / Пушкиным – кол, которым собирается поразить монстра.

Атака вампира

Горча охотится на членов семьи, начав с любимого внука, что отвечает описанию Мериме. Для мрачного колорита повести Толстого показательным, что если в песне Мериме / Пушкина укушенного сына хозяина спасают, то в «Семье вурдалака» он – а следом и другие члены семьи – умирает.

Вампир и окно

У Толстого маркиз видит, как Горча говорит внуку: «...открой окошко да поцелуй меня!» И в финальной сцене вся семья вурдалака, прильнув к окнам, следит за Зденкой и д'Юрфе, что напоминает подробность из статьи Мериме «О вампиризме»: девушка рассказывает, что «видела бледного человека в саване, который влез в окно, бросился на нее, укусил, и чуть было не задушил. Она прибавила, что узнала в нем одного поселянина по имени Виркцнана, умершего перед тем за две недели». Окно как отверстие из «своего» в «чужое» соприродно лесу, откуда первоначально является вампир, а также

заставляет вспомнить о невозможности для вампира проникнуть в дом, если его не приглашают хозяева, – топос, характерный для позднейшей вампирической литературы.

Макабрические каламбуры

Д'Юрфе, влюбившись в дочь Горчи, произносит галантную клятву, которая, однако, в вампирическом контексте приобретает «хоррорный» смысл: «Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя и кровь – твои...» (ср. у Мериме: «Я испытываю сильную жажду и хотел бы напиться»).

Несовместимость с молитвой

Георгий, убежденный в том, что отец – вурдалак, требует, чтобы тот помолился, но Горча отказывается. У Мериме / Пушкина сатанинская ненависть вампиров к христианству и его атрибутам выражается в страхе перед молитвами отшельника / «калуера», Толстой же прибегает к конкретизирующей детали.

Существует устойчивое мнение, что романтик Толстой в стилистическом плане ставит перед собой задачу «не передавать точное описание, а создавать определенное настроение, вызывать у читателя определенное ответное чувство посредством определенных слов»⁵⁴. Вместе с тем И.Ф. Анненский пронципально акцентировал противоположную стилистическую тенденцию – представлять «фантастическое в виде объективированной человеческой мысли»: «Так, живопись часто сильна тем, что, не давая нашей мысли расходиться, приковывает ее к одному яркому моменту»⁵⁵. Реализуя установку на «фантастическое в виде объективированной человеческой мысли», Толстой обогащает столкновения с вампирами такими эффектными пластическими подробностями, как боязнь молитвы и креста, следы от укусов и т. п.

Бегство вампира

Когда Георгий бросился на отца-вурдалака с осиновым колом, «тот дико завыл и побегал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной».

Ср. у Пушкина:

Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился.
Он бежал быстрее, чем лошадь...

Значимо также, что у Толстого вслед за Мериме и Пушкиным вампир ищет убежище в «чужом» лесу, откуда вначале явился в деревню.

Вампирическая эпидемия

Читатель догадывается, что Георгий догнал отца и пронзил его колом. Однако вскоре вся семья стала жертвой вампирической заразы. Монах из соседнего монастыря поведал маркизу, что Горча ведь успел у второго сына высосать кровь, «мальчик и вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хоронила, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище, – она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшего мальчика, потом – у мужа, а потом у деверя. Всем – один конец» (ср. описание «случая» Петра Плохойовица у Кальме и Мериме: «В эту ночь отец не появлялся, но на следующую опять явился и попросил есть. Неизвестно, дал ли ему сын поесть, но наутро сына нашли мертвым в постели. В тот же день в деревне заболели пять или шесть человек, которые и умерли один за другим через несколько дней»).

Встреча с вампирессой

Маркиз, вернувшись после отлучки, встречает Зденку, которая прямо на его глазах завершает вампирическую трансформацию, однако влюбленный маркиз ничего не замечает.

«...На шее у нее не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти», что снова пластически конкретизирует ненависть вампиров к истинной религии.

Зденка из скромной девушки превратилась в сладострастную соблазнительницу (ср. сексуальность женского персонажа в балладе Гёте «Коринфская невеста»).

Зденка напоминает маркизу о его «кровавой клятве», так же как девушка из «Коринфской невесты» в вампирическом варианте реализует брачные обязательства. В финале повести д'Юрфе, однако, снова переводит роковую клятву в галантный план: «...я не только ничуть не жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою кровь за вас!», что в композиционном плане создает новеллистический пуант⁵⁶.

Спасение маркиза

Нательный крест, «вонзившись» в маркиза, разрушает чары, и маркиз видит, что обнимается с «трупом», т. е. крест спасает маркиза. В текстах Толстого ненависть к кресту – отнюдь не исключительно вампирический атрибут: в повести «Амена» полудемонический-полуязыческий женский персонаж молит героя-христианина снять крест (ср. в романе Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» многократные усилия двух красавиц, которых читатель вправе подозревать в оборотничестве и вампиризме, заставить героя снять с шеи медальон, содержащий частицу животворного креста).

Толстой расцветил эпизод погони вурдалаков за маркизом гротескными подробностями (Зденка прыгает на коня и пытается сзади укусить маркиза, Горча опирался на кол и «делал прыжки, подобно тирольцам», а потом, «действуя колом, как пращей», швырял вслед беглецу младенцев-вампиров), близкими общеготической топике «дикой охоты» (ср. в романе «Рукопись, найденная в Сарагосе» (2-й день): «Через несколько мгновений я подумал, что счастливо отделался от ужасных призраков, но, обернувшись, увидел, что висельники гонятся за мной. Я пустился со всех ног вперед и вскоре оставил висельников далеко позади. Но радость моя недолго длилась. Гнусные создания пошли колесом, путив в ход руки и ноги, и в одну минуту догнали меня. <...> Вдруг я почувствовал, что один из повешенных схватил меня за левую лодыжку; я хотел ее выдернуть, но тут второй встал мне поперек дороги. <...> Одной рукой он схватил меня за горло, а другой – вырвал вот этот глаз, – до сих пор рана не заживает. Потом всунул в пустую глазницу свой раскаленный язык и начал лизать мне мозг, так что я взревел от боли»).

* * *

Повесть «Упырь» построена более сложно, чем «Семья вурдалака»: Толстой изобретательно синтезирует собственно вампирическую топикау с готической, а также обращается к разным моделям вампирической традиции.

Повесть «Упырь»⁵⁷

Термин «упырь». Язык

Новая повесть, в противоположность «Семье вурдалака», написана по-русски, и действие начинается не в «чужом» экзотическом пространстве, а в «своей» Москве, которая оказывается инфицированной вампирами.

На балу в Москве протагонист Руневский встречает странного человека Рыбаренко, который рассказывает о вампирах, предлагая именовать их «упырями»: «Вы их, бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира*. Вампир, вампир! – повторил он с презрением, – это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения – *фантом* или *ревенант*!» Формула Рыбаренко в какой-то мере повторяет определение Пушкина («*Вурдолаки, вудкодлаки, упыри* – мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей»), однако с лингвистической точки зрения она более точна (современные ученые согласны с тем, что слово «вампир» вторично по отношению к слову «упырь»), а кроме того, она вписывается (несколько иронически) в славянский пафос Толстого.

Термин «упырь» / «вампир» сигнализирует о следовании фольклорно-модернизирующей модели. В повести Толстого вслед за Байроном / Полидори вампирами оказываются не обитатели «варварских» стран, но современные «цивилизованные» дворяне. Однако в «Упыре» это отнюдь не роковой байронический персонаж, а, казалось бы, комичные бригадирша Сугробина (чин которой апеллирует к комедии Фонвизина) и чудаковатый статский советник Теляев. Обыденность придает фантастике дополнительную эффектность (анахронистический пример – обыденность зла в фильмах А. Хичкока). Анализируя повесть «Упырь», Владимир Соловьев писал: «Хотя она насыщена фантастическим элементом, он везде растворен житейской реальностью и нигде не выступает в обнаженном виде»⁵⁸.

Псевдонаучная характеристика вампиров

«Гнусный упырь» Сугробина особенно опасна для близких (см. комментарии к «Семье вурдалака»): она некогда уничтожила собственную дочь («...в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью») и теперь рассчитывает «насытиться кровью» собственной внучки Дашеньки.

Обличитель кровососов Рыбаренко возмущен тем, что упырь Сугробина была похоронена, но теперь дерзко ходит среди людей (ср. подразумеваемые множественные смерти и воскресения Рутвена в «Вампире»).

Отличительный признак упырей – «они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют» – вымышлен, вероятно, Толстым в порядке объективирования фантастического.

Безумие борца с вампирами

Рыбаренко – борец с Сугробиной и другими вампирами – слышет (по словам Сугробиной) «помешанным»: безумие присуще многим духовидцам в готической литературе и, в частности, Обри, неудачливому противнику Рутвена из «Вампира».

Проклятое место

Протагонист Руневский, движимый любовью к Дашеньке, внучке Сугробиной, посещает усадьбу бригадирши. Здание «было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский...» и т. д. По словам исследователя, «для натренированного глаза читателя готических романов такого описания было бы вполне достаточно, чтобы отнести дом Сугробиной к проклятым местам и допустить наличие в нем призраков. В то же время налицо актуализация готического топоса. Дом действительно построен итальянским архитектором, однако он находится в России и принадлежит русской бригадирше»⁵⁹.

Старинный манускрипт

Руневский, Даша и другие гости случайно обнаруживают в доме Сугробиной древний манускрипт, содержащий балладу о родовом проклятии.

Во вставной балладе рассказано, как жена некоего старого барона составила заговор с врагом мужа рыцарем Амвросием

(можно догадаться, что по любви) и впустила его с дружиной в замок; «зарезан старик», победители пируют со «злодейкой-женой», а затем режут обитателей «от мала до стара» и поджигают замок; Амвросий оставляет предательницу-хозяйку, говоря: «Пора уж домой нам, ребята! / Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, / Сама ж ты впустила веселых гостей»; умирающий муж успевает проклясть жену: «Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, / Пусть бабушка внучкину высосет кровь! / И род твой проклятье мое да гнетет!» и т. д.

По точному замечанию исследователя, «схема этого проклятия характерна для готической литературы: потомки рода будут подвергаться каре за грехи предков до того момента, пока не будут выполнены определенные условия, которые при перечислении кажутся абсолютно невыполнимыми либо просто лишены смысла»⁶⁰; в качестве примера можно назвать «готический» роман Г. Уолпола «Замок Отранто», а в качестве общего источника – «Макбет» Шекспира⁶¹; И. Ямпольский также привел список актуальных готических текстов о родовом проклятии, в их числе пьеса Ф. Грильпарцера «Праматерь» и роман Гофмана «Эликсиры сатаны»⁶².

Поэтика вставной баллады определена тем, что ее строфа и стихотворный размер сигнализируют о балладном жанре, в то время как сюжет (ср. балладу Гёте «Коринфская невеста») инороден балладной традиции. Этот сюжет представляет собой «рыцарское» перекодирование южнославянской песни из собрания Вука Караджича («Женитьба короля Вукашина»), где Видосава – коварная жена богатыря-воеводы Момчилы – предает мужа и помогает королю Вукашину в его убийстве, а Вукашин убивает Момчилу и, в свою очередь, убивает Видосаву, карая ее за предательство.

В готическую топику родового проклятия вмонтировано и вампирическое проклятие («Пусть бабушка внучкину высосет кровь!»).

Оживший портрет

В доме Сугробиной Руневский переживает встречу с привидением – ожившим портретом Прасковьи Андреевны, приходящейся сестрой бабушке бригадирши, а потому внешне напоминающей Дашу. «Мотив гипнотически действующего или прямо оживающего портрета» очень распространен в готической литературе:

И. Ямпольский указал на роман Метьюрина «Мельмот Скиталец», повести В. Ирвинга «Дом с привидениями» и «Таинственный портрет» и «Портрет» Н.В. Гоголя⁶³; современный исследователь дополнил «готический» список повестью В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье», романами Льюиса «Монах» и Гофмана «Эликсиры сатаны»⁶⁴; в творчестве Толстого этот мотив повторится в поздней поэме «Портрет».

Мотив ожившего портрета сопровождается метатекстовыми комментариями Руневского: «Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть». Этот комментарий, во-первых, отдаленно соотносится с эпизодом из «Семьи вурдалака» (д'Юрфе размышляет, остаться ли ему в безопасном монастыре, фактически превратившемся в постоялый двор, или отправиться в деревню вурдалаков), а во-вторых, представляется аллюзией на новеллу Ш. Нодье «Иньес де Лас Сьеррас», в которой несколько офицеров отказываются от корчмы и решают провести ночь в замке с привидениями.

Проклятое место в Италии («чертов дом» в Комо)

Возвратившись из усадьбы Сугробиной, Руневский в ночном Александровском (Кремлевском) саду (современная реалья) встречает Рыбаренко, который, увязывая историю Прасковьи Андреевны с упырем Сугробиной, повествует о поездке в Италию («три года тому назад»).

Рассказ в рассказе – характерный композиционный прием в готическом тексте (см. «Семья вурдалака»).

Действие происходит в городе Комо, который, в отличие от Сербии в «Семье вурдалака», описан по собственным впечатлениям (юный Толстой посетил его в 1838 г.; ср. посещение, описанное в письме жене от 2 (14) апреля 1872 г., «где упоминаются вилла Ремонди, Пепина и пр.»⁶⁵), причем топографическая точность способствует конкретизации фантастического.

В повести Толстого путешествие из России в Италию – это перемещение из «своего» в «чужое» (ср. тур Рутвена и Обри в «Вампире») и одновременно из одного проклятого места в другое (зловещие приключения произойдут в усадьбе Пьетро д'Урджина – того самого, который был женихом Прасковьи Андреевны и построил усадьбу Сугробиной), т. е. из подмосковной Италии в собственно Италию, а «Италия всегда играла важнейшую роль в готической литературе»⁶⁶.

История Пьетро д'Урджина – вариант истории великого грешника: когда наступает момент inferнальной расплаты, демон – в черном домино, на черной лошади – уносит грешника «в халате и в ночном колпаке». Это не только знак неожиданной расплаты, но и аллюзия на повесть В. Ирвинга «Дьявол и Том Уокер» (ср. также похищение грешника всадником в переводе В.А. Жуковского из Саути «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди»), где ростовщика-грешника забирает черный человек на вороном коне: «Черный человек вскинул его, точно ребенка, в седло, хлестнул коня, и конь помчался среди грозы и ненастья, унося на своей спине Тома. Его клерки, заложив за ухо перья, пялили на него глаза из окон: Том несся по улицам прочь из города, его колпак болтался из стороны в сторону, халат развеялся по ветру, конь при каждом ударе копыта высекал искры из мостовой». К слову, Толстой обыгрывал имя Вашингтона Ирвинга в шутовском тексте «О том, как юный президент Вашингтон в скором времени стал человеком», который датируется концом 1830-х годов.

Вампиры в Италии

Рыбаренко и два его друга, Владимир и Антонио, рискованно экспериментируя со сверхъестественным, проводят ночь в проклятом месте – усадьбе Пьетро д'Урджина (ср. зачин романа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» или новеллу Нодье «Иньес де Лас Сьеррас»).

Три друга ради чистоты эксперимента ночуют в разных комнатах, и с каждым происходят чудесные события. Все три происшествия объединяет то, что призраки стремятся укусить героев в шею, т. е. оказываются вампирами. Рыбаренко и Антонио получают вампирическую метку и погибают (Антонио почти сразу, Рыбаренко – в финале повести), а Владимир уберегается и остается жив.

У Антонио «на шее маленькая синяя ранка» (ср. в «Вампире» Полидори: «...на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену»).

Вампиры и античные боги

Приключение, пережитое Антонио, заключалось в том, что он по подземным ходам переносится в обитель античных богов, где Юнона кусает его в горло. Более того, по сообщениям местных жителей, «*чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились» (ср. финальную сцену в фильме 1996 г. Р. Родригеса / К. Тарантино «От заката до рассвета», где притон вампиров размещен на верхнем этаже старинного индейского храма). Античные боги оказываются маскированными бесами, что есть не только выражение религиозно-историософских построений Толстого (см. сюжет повести «Амена»), но и реализация фольклорно-антиквизирующей модели, представленной в балладе Гёте «Коринфская невеста».

Сон о вампирах

В Москве Руневский просит руки Даши; его вызывает на дуэль брат другой, отвергнутой им девушки; во время дуэли секундант Руневского Рыбаренко узнает в этом брате своего друга Владимира, участника итальянского эксперимента; раненный на дуэли, Руневский перенесен в усадьбу Сугробиной. В первом лихорадочном сне он видит, как бригадирша в одеянии предательницы-баронессы из старинной баллады и Теляев в обличии рыцаря Амвросия пытаются выпить кровь Дашеньки, однако ее воспитательница Клеопатра Платоновна разбивает каббаллистическую доску, и грешников уносит некто в домино – дьявол (который уже встречался в сцене визита Антонио к языческим богам и который увлек грешника Пьетро д'Урджина в кратер Везувия).

Сон о «чертовом доме»

Во втором сне Руневский якобы в сопровождении Рыбаренко оказывается в «чертовом доме», который окончательно обнаруживает сатанинскую суть: в подземельях Руневский видит бригадиршу (в предыдущем видении унесенную в ад), которая «облизывала свои кровавые губы».

Исполнение проклятия

Руневский выздоравливает и женится на возлюбленной. Клеопатра Платоновна толкует происшедшие события: содержание баллады – якобы истинное происшествие из истории аристократической венгерской (Венгрия – привычный вампирический топос) рода Ostroviczy; умирающий барон проклял род – потомков жены-злодейки; бригадирша, урожденная Островичева, происходила из этого рода; финал повести – исполнение проклятия: бабушка-бригадирша попыталась высосать кровь внучки, Руневский женился на «портрете» – Дашеньке, которая удивительно походила на Прасковью Андреевну; наконец, Рыбаренко (который оказался незаконным сыном Сугробиной) бросился с колокольни Ивана Великого и разбился (ср. финал повести Гофмана «Песочный человек»⁶⁷). Снова – как и в других эпизодах – вампирический сюжет вмонтирован и фактически растворен в готической топике.

Зловещий финал с намеком

В самом конце повести Руневский делает тревожное открытие: «...он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавнего зажившей ранки.

– Откуда у тебя этот шрам? – спросил он.

– Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-то укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

– А когда это было? Не помнишь ли ты?

– В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится».

Шрам, ранка (как у Рыбаренко и Антонио) – следы вампирического укуса. Более того, Теляев, который «принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной», продолжает функционировать в земном облиции. Однако если в позднейшей традиции вампирическая ранка – верный признак фатального заражения и почти неизбежного монструозного пре-

вращения, то в «Упыре» ситуация несколько иная: Антонио действительно умирает, Рыбаренко кончает жизнь самоубийством, но Даша, похоже, вообще избегает опасности. Другими словами, если позднее (см., например, фильмы Р. Поланского «Бал вампиров» (1967) или К. Рассела «Логово белого червя» (1988)) ранка – симптом трагического финала, предвещающий вампиризацию одного персонажа и опасность для других, то у Толстого ранка – симптом злключения, последствия которого можно предотвратить. Ранка Даши не должна омрачать happy end повести, а для Теляева – «когда бы ни приехал» – счастливых Руневского и его жены «нет дома. Слышишь ли? никогда!»⁶⁸.

Суммируя сказанное, правомерно предположить, что идею повести «Упырь» следует видеть не столько в «нравственной наследственности, устойчивости и повторяемости типов и деяний, искуплении предков потомками»⁶⁹ или в опасности «встречи с по-сторонним»⁷⁰, сколько в самодовлеющей игре с «литературной, преимущественно романтической традицией». Что и символизируется его установкой на конкретизацию сверхъестественного, обогатившую вампирическую топику.

Остается напомнить, что в 1867 г. Толстой – в пору совершенной зрелости – перевел балладу Гёте «Коринфская невеста». Он признавал, что «передал впечатление, часто не обращая внимания на подстрочность»⁷¹, но был удовлетворен результатом: «...по-моему, некоторые строфы вышли лучше по-русски, чем по-немецки»⁷².

¹ См. подробнее: Михайлова Т.А., Одесский М.П. Граф Дракула: опыт описания. М., 2009. С. 7–16.

² Цит. по: Вильнев Р. Обратни и вампиры. М., 1998. С. 117.

³ Мариньи Ж. Дракула и вампиры: Кровь за кровь. М., 2002. С. 48.

⁴ Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. СПб., 2007. Т. 2. С. 432.

⁵ Там же. Т. 1. С. 530.

⁶ Bunson M. Vampire: The Encyclopaedia. L., 1993. P. 109.

⁷ См.: Алексеев М.П. Байрон и фольклор // Алексеев М.П. Из истории английской литературы: Этюды. Очерки. Исследования. М.; Л., 1960. С. 316–318.

⁸ Цит. по: Summers M. The Vampire: His Kith and Kin. L., 1995. P. 282.

⁹ Ibid. P. 283.

- ¹⁰ *Полидори Д.У.* Вампир / Пер. С. Шик // «Гость Дракулы» и другие истории о вампирах / Сост. С.А. Антонова. СПб., 2007. С. 114.
- ¹¹ Цит. по: *Вацуро В.Э.* Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. СПб., 1992. С. 42.
- ¹² *Вацуро В.Э.* Готический роман в России. М., 2002. С. 506.
- ¹³ *Эккерман И.П.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. Н. Ман. Ереван, 1988. С. 591–592.
- ¹⁴ *Полидори Д.У.* Указ. соч. С. 97. См. также романтическую драму Адама Мицкевича «Дзяды»: ее публикация открылась II и IV частями, которые вошли в состав II тома «Стихотворений» (1823) и предварялись балладным вступлением «Упырь».
- ¹⁵ Выражение С.А. Антонова: *Антонов С.А.* Тонкая красная линия: Заметки о вампирической парадигме в западной литературе и культуре // «Гость Дракулы» и другие истории о вампирах. С. 23.
- ¹⁶ *Ягчи И.В.* История славянской филологии. СПб., 1910. С. 408–409.
- ¹⁷ *Эккерман И.П.* Указ. соч. С. 592.
- ¹⁸ *Мериме П.* О вампиризме / Пер. Н. Рыковой // «Гость Дракулы» и другие истории о вампирах. С. 140.
- ¹⁹ Там же. С. 141–142.
- ²⁰ Цит. по: Атений. 1828. Ч. 6. № 24. Смесь. С. 380–387.
- ²¹ *Михайлов А.Д., Смолицкая О.В.* Комментарии <к тексту сборника «Гузла»> // Мериме – Пушкин: Сборник / Сост. З.И. Кирнозе. М., 1987. С. 112.
- ²² *Измайлов Н.В.* Тема «вампиризма» в литературе первых десятилетий XIX в. // Сравнительное изучение литератур: Сборник статей к 80-летию академика М.П. Алексеева. Л., 1977. С. 511; ср. также: *Одесский М.П.* Вампир в романтической России: Материалы к исследованию // Солнечное сплетение. 2004. № 8 (27).
- ²³ См.: *Измайлов Н.В.* Указ. соч.
- ²⁴ *Вацуро В.Э.* Готический роман в России. С. 497–514.
- ²⁵ *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 235.
- ²⁶ Стихотворения Александра Пушкина / Изд. подг. Л.С. Сидяков. СПб., 1997. С. 616.
- ²⁷ *Вацуро В.Э.* Готический роман в России. С. 503.
- ²⁸ Цит. по: *Вацуро В.Э.* Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х гг.: (Этюды и разыскания) // Русско-болгарские

- фольклорные и литературные связи: В 2 т. Л., 1976. Т. 1. С. 243–245.
- ²⁹ *Сомов О.М.* Оборотень. Народная сказка // Русская литературная сказка. М., 1989. С. 90.
- ³⁰ *Сенковский О.И.* Сочинения барона Брамбеуса. М., 1989. С. 253.
- ³¹ *Лермонтов М.Ю.* Герой нашего времени / Предисл. В.А. Мануйлова. Комментар. В.А. Мануйлова, О.В. Миллер. СПб., 1996. С. 196.
- ³² Там же. С. 155.
- ³³ *Набоков В.В.* Комментарии к «Евгению Онегина» Александра Пушкина. М., 1999. С. 510.
- ³⁴ Готическая традиция в русской литературе / Под ред. Н.Д. Тмарченко. М., 2008. С. 63–64.
- ³⁵ *Сурат И., Бочаров С.* Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 198.
- ³⁶ См. свод суждений: Стихотворения Александра Пушкина. С. 448–450.
- ³⁷ Там же. С. 617–618.
- ³⁸ *Муравьева О.С.* «Гюэла» и «Песни западных славян» // Мериме – Пушкин: Сборник. С. 126.
- ³⁹ *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 114–115.
- ⁴⁰ См.: *Васильев С.Ф.* Проза А.К. Толстого: направление эволюции и контекст. Ижевск, 1989.
- ⁴¹ *Илюшин А.А.* Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999. С. 25.
- ⁴² *Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 195.
- ⁴³ Цит. по: *Котляревский Н.А.* Граф Алексей Константинович Толстой // Толстой А.К. Стихотворения. Поэмы. Князь Серебряный. Сочинения Козьмы Пруткова / Сост. С.Ф. Дмитренко. М., 1999. С. 509–510.
- ⁴⁴ *Толстой А.К.* Собр. соч.: В 4 т. / Вступ. статья И.Г. Ямпольского. М., 1963–1964. Т. 3. С. 562.
- ⁴⁵ Характерно, что первой оригинальной публикацией А.И. Герцена стал в 1836 г. очерк «Гофман» (журнал «Телескоп»).
- ⁴⁶ *Погорельский А.* Избранное / Сост., примеч. М.А. Турьян. М., 1985. С. 401.
- ⁴⁷ Цит. по: *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 3. С. 69–93.
- ⁴⁸ *Ямпольский И.* Об эстетических взглядах и литературных мнениях А.К. Толстого // Ямпольский И. Поэты и прозаики: Статьи о русских писателях XIX – начала XX в. Л., 1986. С. 211–215.
- ⁴⁹ *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 4. С. 80.
- ⁵⁰ Готическая традиция в русской литературе. С. 116.

- ⁵¹ *Васильев С.Ф.* Указ. соч. С. 43; ср. имя «Амвросий» в повести А. Толстого «Амена» (Готическая традиция в русской литературе. С. 149).
- ⁵² *Никольский С.В.* Ян Коллар – поэт и культурный деятель // Ян Коллар – поэт, патриот, гуманист: К 200-летию со дня рождения. М., 1993.
- ⁵³ *Рокина Г.В.* Ян Коллар и Россия: история идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998. С. 62. Ср. также: *Кацис Л.Ф., Одесский М.П.* Тютчев и славянский вопрос // Известия АН. Сер. литературы и языка, 2003. Т. 62. № 6.
- ⁵⁴ *Graham S.D.* The Lyric Poetry of A.K. Tolstoi. Amsterdam, 1985. P. 151.
- ⁵⁵ *Анненский И.Ф.* Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический материал // Толстой А.К. Стихотворения. Поэмы. Князь Серебряный. Сочинения Козьмы Пруткова. С. 500.
- ⁵⁶ Готическая традиция в русской литературе. С. 122.
- ⁵⁷ *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 3. С. 7–68.
- ⁵⁸ *Соловьев В.С.* Предисловие <к книге А.К. Толстого «Упырь»> // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 611.
- ⁵⁹ Готическая традиция в русской литературе. С. 140.
- ⁶⁰ Там же. С. 137.
- ⁶¹ Там же. С. 322.
- ⁶² *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 3. С. 562.
- ⁶³ Там же.
- ⁶⁴ Готическая традиция в русской литературе. С. 138–139.
- ⁶⁵ *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 3. С. 563.
- ⁶⁶ Готическая традиция в русской литературе. С. 140.
- ⁶⁷ Там же. С. 147.
- ⁶⁸ Создатели экранизации «Упыря» – фильма «Пьющие кровь» (1991 г.; режиссер Е. Татарский, автор сценария А. Макаров, в роли Сугробиной Марина Влади) – изменили финал, придав лицу Даши в заключительной сцене зловещее выражение и тем самым намекая на вампирическую трансформацию.
- ⁶⁹ *Соловьев В.С.* Предисловие <к книге А.К. Толстого «Упырь»>. С. 612–613.
- ⁷⁰ Готическая традиция в русской литературе. С. 144.
- ⁷¹ *Толстой А.К.* Собр. соч. Т. 4. С. 219.
- ⁷² Там же. С. 214.

Достоевский и четвертое измерение

В книге 5 части II романа «Братья Карамазовы» брат Иван, беседуя с братом Алешей, произносит знаменитый монолог: «А потому и объявляю, что принимаю Бога прямо и просто. Но вот, однако, что надо отметить: если Бог есть и если Он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее – все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. <...> Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего»¹.

Комментируя этот монолог, толкователи Достоевского поначалу не испытывали особых затруднений. Так, В.В. Розанов в 1891 г. писал: «Возникновение так называемой неевклидовой геометрии, которая разрабатывается теперь лучшими математиками Европы и в которой параллельные линии сходятся, а сумма углов треугольника несколько меньше двух прямых, есть факт бесспорный, для всех ясный, и он не оставляет никакого сомнения в том, что *действительность* бытия не покрывается *мыслимым* в разуме. К тому, что немислимо и однако же существует, может относиться и бытие Божие, недоказуемость которого не есть какое-либо возражение против его реальности. Исходя из этой относительности

человеческого мышления, Иван отказывается судить, правы или нет утверждения религии о Том, Кто есть источник всякого бытия и определитель и законодатель всякого мышления»². Понятие «неевклидовой геометрии» Розанов снабжает сноской, в которой сообщает как нечто само собой разумеющееся: «Она была открыта впервые Лобачевским...»³

Парадигматические комментарии в фундаментальном тридцатитомном собрании сочинений Достоевского содержат сходное толкование слов Ивана Карамазова: «Одна из аксиом геометрии Эвклида (IV–III вв. до н. э.) заключается в том, что параллельные линии, как бы они ни были продолжены, никогда не пересекаются, даже в бесконечности. Русский математик Н.И. Лобачевский (1792–1856) создал новую систему геометрии, заменив аксиому Эвклида о параллельных линиях противоположной. Основные положения новой геометрии Лобачевский сформулировал в 1826 г., опубликовав в конце 1820-х и в 1830-е годы ряд работ на эту тему. Однако всеобщее признание и широкое распространение неевклидова геометрия получила уже после смерти ее автора, в конце 60-х годов прошлого века. Достоевский был знаком с основными принципами геометрии Н.И. Лобачевского, по-видимому, еще в Инженерном училище»⁴. Эта информация в расширенном варианте включается и в общую характеристику романа «Братья Карамазовы»: «Отталкиваясь от геометрических идей Н.И. Лобачевского, Достоевский непосредственно устами Ивана перекидывает мост к великим физическим открытиям и новым философским идеям XX в. Не случайно сотрудник А. Эйнштейна и автор книги о нем А. Мошковский приводит слова ученого в беседе с ним: “Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!” В этих словах получило выражение признание одним из великих преобразователей науки XX в. новаторского характера художественно-эстетических и философских идей автора “Карамазовых”»⁵.

Явно слабое звено в этих рассуждениях – связь неевклидовой геометрии Достоевского непосредственно с сочинениями Лобачевского. Ведь сами комментаторы вынуждены признать, что концепция казанского ученого получила «широкое распространение» только в конце 1860-х годов, и честно квалифицируют факт знакомства с нею романиста во время обучения в Инженерном

училище как гипотетический. Более того, Лобачевский именовал свою геометрию «воображаемой», да и вообще, по словам специалиста, «идеи Н.И. Лобачевского нельзя считать источником размышлений Достоевского о гипотезе пересечения в бесконечности параллельных линий, так как в геометрии Лобачевского – первой неэвклидовой геометрии – такого утверждения нет. Вместо знаменитого V постулата (или XI аксиомы) Эвклида в геометрии Лобачевского принято, что через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямых, лежащих в одной плоскости с данной прямой и не пересекающих эту прямую»⁶. Кстати, Эйнштейн тоже говорил не о Лобачевском, а о Гауссе.

В порядке корректировки гипотезы было предложено считать источником информации о неэвклидовой геометрии не сочинения Лобачевского, а статью Г. Гельмгольца «О происхождении и значении геометрических аксиом» (журнал «Знание», № 8 за 1876 г.). При этом, впрочем, все равно приходится оговаривать, что Достоевский ни разу не упоминал ни Гельмгольца, ни его статью, ни журнал «Знание», что статью документированно читал только собеседник Достоевского Н.Н. Страхов, который сообщил о ней Л.Н. Толстому, «не называя, однако, ни ее автора, ни издания, в котором она появилась»⁷. Стоит также отметить, что, насколько можно судить, Страхов, реферируя работу Гельмгольца, не использует термины «эвклидова» или «неэвклидова» геометрия.

Согласно уточненной таким образом позиции, во-первых, Достоевский заимствовал представления о неэвклидовой геометрии из статусного, научного источника, во-вторых, в качестве источника функционируют сочинения о математике, наконец, в-третьих, идеи Карамазова–Достоевского рассматриваются не в исторической, а в футурологической перспективе, оказываясь «мостом к великим физическим открытиям и новым философским идеям XX в.».

Однако, как представляется, наиболее правдоподобным источником монолога Ивана следует считать статью «Четвертое измерение пространства и медиумизм». Знаменитый химик и неутомимый пропагандист спиритизма А.М. Бутлеров опубликовал эту статью в февральском номере журнала «Русский вестник» за 1878 г. (Достоевский работал над 5-й книгой «Братьев Карамазовых» весной 1878 г., и роман также предназначался

журналу М.Н. Каткова). Статья представляет собой снабженный попутными замечаниями добросовестный реферат первого тома сочинений немецкого астрофизика и спирита Фридриха Цельнера (1834–1882).

Бутлеров начинает с того, что вслед за Цельнером цитирует слова общепризнанного создателя неевклидовой геометрии Гаусса, который отдавал должное заслугам Лобачевского: «Действительно, нового в книжке Лобачевского для меня нет, но он проложил к своим выводам путь отличный от указанного мной и сделал это мастерски, в духе истинного геометра»⁸. Бутлеров, поделившись собственными казанскими воспоминаниями о Лобачевском, добавляет: «Ясно, что Лобачевскому вполне принадлежит честь самостоятельного входа в новую область, и мы, русские, во всяком случае вправе гордиться именем этого глубокого мыслителя»⁹.

Далее Бутлеров, оставив заботы о приоритете русской науки, обобщает (по Цельнеру) наблюдения Лобачевского и Гаусса: «Оба они нашли недоказанным в Евклидовой геометрии то положение учения о параллельных линиях, по которому сумма обоих внутренних углов, образуемых двумя параллельными прямыми линиями, пересеченными третьей прямою, абсолютно равна 180 градусам, т. е. двум прямым углам. <...> Эта “особая”, “абсолютная” геометрия, – не Евклидова геометрия Гаусса, *воображаемая* геометрия Лобачевского – имеет дело с пространством “анти-Евклидовским”, “абсолютным”. Она серьезно занимала различных исследователей и, по мнению Цельнера, может иметь практическое значение»¹⁰.

Прежде всего, неевклидова геометрия требует признания новой – не трехмерной, но четырех- или многомерной – структуры мира: «По словам Цельнера, сознание человечества, по отношению ко всем явлениям, воспринимаемым чувствами, находится ныне в стадии развития, подобной той, в которой 340 лет тому назад находился ум Коперника по отношению к астрономическим явлениям. “Третье измерение небесного пространства, кажущегося нам поверхностью, дало тогда ключ к объяснению небесных движений; точно так же допущение *четвертого* измерения даст в будущем ключ к объяснению всех явлений, имеющих место в *трехмерном* пространстве»¹¹.

По Цельнеру–Бутлерову, гипотеза четырехмерной структуры мира способна истолковать некоторые факты, которые необъяснимы в рамках традиционной науки. В качестве примера, имеющего «практическое значение», Цельнер подробно, с рисунками анализирует опыт, поставленный в 1877 г. популярным американским медиумом Генри Слэйдом. Медиум завязывал узлы на нитке, оба конца которой были связаны и запечатаны¹².

В завершение же реферата Бутлеров подводит идейный, агитационный итог: «Итак, к числу свидетельств в пользу фактического существования медиумических явлений, свидетельств, данных людьми науки и уже не малочисленных, прибавилось еще одно веское свидетельство. Веско оно не потому только, что принадлежит человеку, занимающему весьма видное место между германскими учеными, но потому, что самый факт, констатируемый им, прост и разителен до крайности, и это первый из медиумических фактов, поставленный в прямую связь с научною, независимую от медиумизма, теорией»¹³.

Пафос статьи Бутлерова ясен. Опираясь на неэвклидову геометрию, он стремился привести строго научные аргументы в пользу спиритизма и тем самым в пользу бессмертия души, пространство пребывания которой и есть четвертое измерение.

Достоевский, конечно же, видоизменил соображения химика-окультиста: для Ивана Бог и бессмертие души явлены человеку не благодаря, но вопреки научным доктринам. Однако текстуальные совпадения монолога среднего Карамазова со статьей Бутлерова вполне очевидны. Впрочем, можно указать и на другие обстоятельства, подтверждающие, что источник сведений Достоевского о неэвклидовой геометрии – именно работы Бутлерова.

Интересуясь спиритизмом, писатель с 1875 г. внимательно следил за статьями Бутлерова по медиумизму: «Я прочел статью Бутлерова, и она меня раздражила еще более. Я решительно не могу, наконец, к спиритизму относиться хладнокровно»¹⁴. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский, критикуя позитивизм Д.И. Менделеева и других противников спиритизма, пытался сформулировать собственное, непростое отношение к этому, по его выражению, специфическому виду «обособления» русских людей: «Увы, если б комиссия представила даже самые явные и

прямые доказательства “подлогов”, даже если б она изловила и изобличила “плутующих” на деле и, так сказать, поймав их за руки (чего, впрочем, отнюдь не случилось), то и тогда бы ей никто не поверил из увлекшихся спиритизмом, даже из желающих только увлечься, по тому вековечному закону человеческой природы, по которому, в мистических идеях, даже самые математические доказательства – ровно ничего не значат. А тут, в этом-то, в нашем возникающем спиритизме, – клянусь, на первом плане, лишь идея мистическая, и – что же вы с нею можете сделать? Вера и математические доказательства – две вещи несовместимые. Кто захочет поверить – того не остановите. А тут, вдобавок, и доказательства далеко не математические».

По наблюдению исследователей, «для Достоевского спиритизм – материализованный спиритуализм, и потому отвратителен. Спиритизм, рядящийся в профессорскую мантию, – плоский опыт, эмпирия, статистически вероятный факт – статистическое резюме <...> иллюзия объективности, объектности, экспериментальной проверки и т. д. – все это слишком “похоже” на науку. Высшие силы онаучиваются, Сам Бог подлежит “научному” обоснованию <...> Исчезает духовность. Во всем этом – первоначальный мотив вхождения Достоевского в полемику»¹⁵. Но показательно, что и до прочтения статьи 1878 г. писатель воспринимал спиритизм в аспекте соотношения веры и научного, математического знания.

Что же касается статьи «Четвертое измерение пространства и медиумизм», то Достоевский посвятил ей даже открытое письмо от 27 марта 1878 г., адресованное в редакцию суворинской газеты «Новое время». Письмо знаменательно озаглавлено «Вопрос о четвертом измерении»: «Преподаватель механики Осип Николаевич Ливчак, прибывший на днях из Вильно по делу, касающемуся некоторых современных военно-технических вопросов, сообщил мне, между прочим, весьма любопытный документ. Он завязал три узла на нитке, припечатанной по концам печатями, – одним словом, разрешил задачу Цольнера и Следа, касающуюся “четвертого измерения”, о которой, как известно, был поднят в последние два месяца спор в печати и в публике. Я видел даже и документ: нитку, припечатанную к бумаге печатями, с завязанными на ней узлами, а на этой же бумаге и 12 подписей лиц, бывших свидетелями успешного разрешения г-ном Ливчаком хитрой задачи. По крайней мере

этим кой-что разъяснится. Мне показалось, что об этом даже нужно сказать хоть два слова в печати, вот почему и адресую вам это»¹⁶.

Если учитывать, что в предшествующих выступлениях о спиритизме Достоевский жестко различал области веры и научного знания, то приходится признать правоту Н.О. Лернера, заметившего по поводу этого открытого письма: «Достоевского подвела подсознательная вера в то, во что не хотелось верить его сознательной мысли. Он и не заметил, что впал в противоречие самому себе, пытаясь логически доказывать то, что сам же объявил исключительным достоянием нерассуждающей веры»¹⁷.

Газета «Новое время» опубликовала письмо Достоевского, и Бутлеров, разумеется, принял вызов. В статье «Эмпиризм и догматизм в области медиумизма», увидевшей свет снова на страницах «Русского вестника» (1879), он подверг обстоятельной критике технику и идеологию опыта Ливчака.

Бутлеров возражал и Достоевскому, снова подчеркивая, что спиритизм научно доказывает бессмертие души и писателю следовало бы приветствовать это, ведь «идея о бессмертии», согласно «Дневнику писателя» самого Достоевского, «это – сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества»¹⁸.

Итак, отвлекаясь от сути дискуссий о «четвертом измерении», правомерно предложить новый комментарий к «неэвклидовой геометрии» брата Ивана. Во-первых, Достоевский явно заинтересовался ею, штудируя не научно-академические, а спиритические источники. Во-вторых, таким источником была журнальная статья Бутлерова «Четвертое измерение пространства и медиумизм», где, как впоследствии и в романе Достоевского, геометрические идеи привлекались для решения вечных вопросов веры и знания. В-третьих, эффектную апелляцию к неэвклидовой геометрии – при всем уважении к Эйнштейну – корректно анализировать в контексте не столько новой физики (и философии) XX в.¹⁹, сколько традиционной физики XIX в., кризис которой продуцировал интерес к рискованным, паранаучным доктринам, весьма, впрочем, плодотворный для философских и художественных экскурсов «в сторону оккультизма» нескольких поколений европейских интеллектуалов.

- ¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972–1990. Т. 14. С. 214.
- ² *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского // *Розанов В.В. Собр. соч.* / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 1996. С. 52.
- ³ Там же.
- ⁴ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 551.
- ⁵ Там же. С. 473.
- ⁶ *Кийко Е.И.* Восприятие Достоевским неэвклидовой геометрии // *Достоевский: Материалы и исследования.* Л., 1985. Вып. 6. С. 120.
- ⁷ Там же. С. 123–124.
- ⁸ Цит. по: *Бутлеров А.М.* Статьи по медиумизму. СПб., 1889. С. 76–77.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же. С. 80–81.
- ¹¹ Там же. С. 89–90.
- ¹² См. о Слэйде: *Конан Дойль А.* История спиритизма. СПб., 1998. С. 207–219.
- ¹³ *Бутлеров А.М.* Указ. соч. С. 106.
- ¹⁴ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 22. С. 100–101.
- ¹⁵ *Волгин И.Л., Рабинович В.Г.* Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог // *Вопросы философии.* 1971. № 11. С. 113.
- ¹⁶ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 16.
- ¹⁷ *Лернер Н.О.* Таинственные узелки: Случай с Достоевским // *Литературно-художественный сборник «Красной панорамы».* Л., 1928. № 10. С. 42.
- ¹⁸ Цит. по: *Бутлеров А.М.* Указ. соч. С. 233.
- ¹⁹ См., напр.: *Кузнецов Б.* Образы Достоевского и идеи Эйнштейна // *Вопросы литературы.* 1968. № 3.

2004 г.

Впервые: Известия АН. 2004. Сер. литературы и языка. Т. 63. № 2. С. 53–56.

Алексей Кручёных и миф: возвращение древних богов

В годы Гражданской войны Алексей Кручёных оказался на Кавказе. Пребывание футуриста в Тифлисе и Баку ознаменовалось публикацией множества текстов и стало важной вехой в развитии его авангардной поэтики. Поиски велись в области литературной практики и теории, варьировалась степень радикальности эксперимента. Эти особенности присущи и бакинскому сборнику «Мятеж», который вышел в нескольких выпусках и текстологическое описание которого до сих пор сопряжено с серьезными трудностями.

Стихотворение «Женщина в пещере», включенное в «Мятеж», по меркам русского авангарда может квалифицироваться как сравнительно понятное:

Первоначально самки пахли
Цветочным илом
И брызги чебреца в глазах,
И ветви кос дремучих
Не выпускали пленных никогда!

Рев в девственном саду могуч –
Испуганное стадо шимпанзе
На вертеле лиан узлом кишечным скрючилось –
Их ловит Айша,
не насытная в своей дурманящей грозе!

И вот самец большой широко-задый
Уж чавкнул в стиснутых руках,

И Айша с шерстью поедает
Его любви расплавленной
Бурлящий Крастер!!!¹

Используя счастливое выражение Н.И. Харждиева, можно сказать, что здесь «элементы эмоционально-экспрессивной зауми поэт внедряет в семантически прозрачные конструкции»². Женская («самочная») сексуальность – это характерно для будетлян и особенно для Кручёных³, а в кавказский период поддерживалось интересом к фрейдизму⁴ – агрессивна и внушает упоительный ужас. Завлеченный в эротическую ловушку мужчина («самец») не столько обольщен, сколько пленен. Эротическая сцена перенесена, так сказать, в «дарвинистское» прошлое («первоначально самки пахли цветочным илом») – в пространство «девственного леса», увитого лианами, где человеческая сексуальность предваряется и смешивается с сексуальностью шимпанзе. Покрытый шерстью «самец большой широко-задый» гибнет в акте коитуса-трапезы, который осуществляет «женщина в пещере» – «не насытная» Айша. Фонетика ее имени соответствует экзотическому хронотопу.

Однако интерпретация имени «Айша» не должна ограничиваться фонетическим уровнем. Почти в одно время с «Мятежом» Кручёных опубликовал принципиальный теоретический документ – «Декларацию заумного языка» (Баку, 1921). Согласно «Декларации», «к заумному языку прибегают», в частности, «когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть»: «Сюда же относятся выдуманные имена и фамилии героев, названия народов, местностей, городов и проч., напр.: Ойле, Бляяна, Вудрас и Барыба, Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др. (но не аллегорические, как-то: Правдин, Глупышкин, – здесь ясна и определена их значимость)»⁵. Но коль скоро топонимы, этнонимы, антропонимы и т. п. «относятся» к «заумному языку», то они должны восприниматься двояко: фонетически и интертекстуально. К примеру, имя Барыба на фонетическом уровне – заумь, а на интертекстуальном уровне – апелляция к сатирической повести Е.И. Замятина «Уездное», где Барыба – литературный персонаж, жестокий, коррумпированный представитель российской государственности.

Аналогично имя «Айша» на фонетическом уровне – заумь, а на интертекстуальном уровне – цитата, маркер текста-источника.

Дело в том, что Айша, как и Барыба, литературный персонаж, фигурирующий в произведениях английского писателя Райдера Хаггарда (1856–1925)⁶. Широкую известность этому автору образцовых приключенческих романов принес опубликованный в 1885 г. роман «Копи царя Соломона», где предприимчивые англичане пытались найти в таинственных пустынях Южной Африки сказочные сокровища библейского царя и где впервые показался неустрашимый охотник Алан Квотермейн. Отнюдь не интеллеktуал, молчаливый, мужественный, никогда не теряющий присутствия духа, мастерски владеющий ружьем, верный друг и заботливый отец, он воплотил тип английского джентльмена эпохи колониализма. В 1887 г. Хаггард развил успех в романе, который так и назывался – «Алан Квотермейн». В дальнейшем охотник стал главным персонажем масштабного сериала, включавшего почти 20 романов и сборников рассказов.

В 1887 г. одновременно с «Аланом Квотермейном» Хаггард предложил другую версию африканского приключения. В романе «Она. История приключения» английские искатели приключений и сверхъестественного встретили – опять же в глубинах Африки – бессмертную белую женщину, красавицу и колдунью. Это была Айша / Аэша / «Та-Которой-Следует-Повиноваться». Роман снова оказался успешным, и спустя 20 лет романист превратил «Ее», Айшу, по образцу Квотермейна в героиню сериала: в XX в. последовали романы «Айша. Она возвращается» (1905), «Она и Алан» (1921), «Дочь Мудрости. Жизнь и Любовь Той-Которой-Следует-Повиноваться» (1923). Хаггард даже решил объединить оба цикла, столкнув супергероев в романе с эмблематическим заглавием «Она и Алан».

Тем не менее шедевром принято считать только роман «Она», открывший «сериал». В начале XX в. роман неоднократно переводился на русский язык. Этот «африканский» текст явно подразумевается и в авангардном стихотворении Кручёных.

В романе Хаггарда «к мирному обитателю Кембриджского университета является его стремительно приближающийся к смерти друг давних лет, завещает приятелю воспитать своего сына и после совершеннолетия передать ему ряд документов,

свидетельствующих о происхождении от египетских жрецов и о загадочном приключении в центре Африки. Когда Лео (приемный сын героя) получает сохранившиеся документы, он решает отправиться в таинственную страну Кор. После ряда приключений они попадают в эту страну и обнаруживают, что во главе ее стоит почитаемая своими подданными богиней женщина по имени Аэша, возраст которой – более двух тысяч лет: она помнит Древний Египет, Иудею, ожидания Мессии, знакома с Древней Грецией и Римом... Красота Аэши производит неизгладимое впечатление как на Лео, так и на его воспитателя. А она в свою очередь понимает, что Лео – телесное воплощение ее давнего возлюбленного, египетского жреца, предка Лео. Однако ее попытка сделать Лео столь же бессмертным, как и она сама, заканчивается трагически: она моментально, на глазах, стареет и умирает, перед смертью обещая возродиться в новом телесном облике»⁷.

Сходство сюжетики английского романа и русского авангардного стихотворения очевидно.

1. Стихотворение Кручёных озаглавлено «Женщина в пещере», и образ пещеры играет важную роль в романе. Гораций Холли, от лица которого ведется повествование, и его приемный сын Лео Винцей первоначально были приведены к «Ней» в «мрачную пещеру» (глава «Равнина царя Кора»), да и великое таинство – огонь бессмертия («столб огня, подобный ослепительной молнии»), завещанный древней (доегипетской) цивилизацией Кор, также находится в пещере, настолько «огромной, что свод ее терялся во мраке» (глава «Огонь жизни»). Айша – не столько божество или волшебница, сколько знаток древних практик. Ее загадочное бессмертие – бессмертие вечной природы, и пещера – символ этого «натурного» бессмертия. Айша объясняет путешественникам: «Я разгадала одну из величайших загадок мира. Скажи, чужестранец, если жизнь существует, то почему она не может длиться вечно? Что такое десять, двадцать, пятьдесят лет для вечности? Почему гора стоит десятки тысяч лет? Или эти пещеры – они не изменились за две тысячи лет. Не изменились и животные, и человек, который подобен животному. В этом нет ничего удивительного. Природа имеет живительную силу, а человек – дитя природы и должен проникнуться этой силой и жить ее жизнью» (глава «Аэша»)»⁸.

2. Атрибут Айши в стихотворении Кручёных – «дурманящая гроза», и в романе Айша грозно правит подвластными ей дикарями:

«– Разве ваши отцы не учили вас повиноваться мне? Вы достойны смерти! Вас поведут в пещеру пыток и предадут мучениям!

Она умолкла. Ропот пробежал по толпе. Осужденные бросились на землю, умоляя о пощаде. <...>

– Этим народом можно управлять, только внушая им страх» (глава «Суд Аэши»).

3. У Кручёных Айша губительно сексуальна: схватив самца шимпанзе, она «поедает // Его любви расплавленной // Бурлящий Кратер!!!». У Хаггарда Айша – также воплощение сексуальности и одновременно опасности. Холли свидетельствовал: «Я не мог предполагать, что красота может быть такой возвышенной и мрачной. Передо мной было лицо молодой женщины в расцвете сил и красоты, но с отпечатком пережитых страстей и страданий. Даже прекрасная улыбка, скользившая иногда в уголках ее губ, не могла сгладить греха и печали» («Аэша»). Кстати, хотя в романе Айша отнюдь не занимается скотоложеством, но забавно, что Холли, который ею околдован, прозван туземцами – по причине уродливой внешности – обезьяной.

Впрочем, функция имени «Айша» в стихотворении Кручёных, по-видимому, не ограничивается указанием на литературный источник, что обусловлено спецификой рецепции творчества английского писателя в русской (и, кстати, не только в ней) культуре.

С одной стороны, романы Хаггарда – легкое подростковое чтение, «pulp fiction». Это порождает шуточный тип аллюзии, когда словно бы извиняются за несолидную цитату. Так, в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (глава «В театре Колумба») Остап Бендер и Ипполит Воробьянинов знакомятся с афишей авангардной постановки «Женитьбы» Гоголя, где, в частности, указано, что «мебель – древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе». Умслопогас, как отмечали комментаторы романа⁹, – имя зулусского воина, спутника Алана Квотермейна из одноименного романа (к слову сказать, Хаггард в автобиографии настаивал на действительной встрече с суровым зулусом

и на аутентичности его имени), а в названии организации, изготовившей мебель, явно пародируются «неудобопроизносимые советские аббревиатуры»¹⁰.

С другой стороны, роман «Она», в отличие, например, от цикла о Квотермейне, – не чисто развлекательный, но мистический. Не входя в подробное рассмотрение проблемы взаимосвязей массовой литературы с так называемым оккультным возрождением XIX – начала XX в., достаточно привести ряд авторитетных показаний: основатель теософии Е.П. Блаватская в «Разоблаченной Изиде» с восхищением отзывалась о романах Эдварда Булвер-Литтона «Занони» (в современном русском переводе – «Призрак») и «Грядущая раса», в «Тайной доктрине» – о «Странной истории д-ра Джекиля и м-ра Хайда» Р.Л. Стивенсона, продолжатель дела Блаватской Чарлз Ледбитер – о романе Брэма Стокера «Дракула»¹¹, рафинированный апологет традиции Рене Генон (в классическом труде «Царь Мира») – о сочинениях Луи Жаколио и путевых заметках русского эмигранта Фердинанда Оссендовского и т. д. Сходным образом, как подчеркивается в упоминавшейся статье Н.А. Богомолова, роман Хаггарда «Она» «особо почитался в оккультных кругах. Так, Е.П. Блаватская писала: “Не видел ли также и многообещающий романист Райдер Хаггард пророческого сна или, точнее, ретроспективного сна в глубь прошлого перед тем, как он написал свою книгу “Она”? Его имперский Кор, великий город мертвых, выжившие обитатели которого отплыли к северу... в своих общих линиях кажется как бы выступающим из нерушимых страниц древних, архаических рекордов»¹².

Мистический аспект романа «Она», бесспорно, осознавался русскими литераторами¹³. Статьи о Хаггарде помещались в теософском журнале «Ребус» (1905, 1907 гг.), позднее – в рериховском эмигрантском издании «Оккультизм и Йога» (Асунсион, 1958)¹⁴.

Более того, исследователь литературы Серебряного века прямо связывает с романом «Она» заглавие, основные темы и вообще «оккультный» пафос сборника Н.С. Гумилева «Огненный столп»: «Дело в том, что главный источник практического бессмертия Аэши – загадочный огненный столб, вырывающийся из подземелья и уходящий в расселину в своде пещеры. Входя в этот

огненный столб, она снова обретает молодость. Но когда она предлагает совершить ту же процедуру своему возлюбленному Лео и сама показывает пример, столб возвращает ей все прожитые годы одновременно, и она умирает с тем, чтобы потом, в следующем романе, еще более мистически окрашенном, воскреснуть вновь. Любовь, вечность, тайное знание в связи с нынешним устройством мира, смерть (с обещанием грядущего перевоплощения) – все это сквозные темы “Огненного столпа”, и потому аналогия его названия с одним из центральных эпизодов романа Хаггарда вполне уместна»¹⁵.

Аналогично Кручёных нередко синтезировал в заумных опусах лингвистический эксперимент с реконструкцией и / или порождением мифа. Он утверждал в «Декларации заумного языка»: «Заумная речь рождает заумный пра-образ (и обратно) – неопределимый точно, например: безформенные бука, Горго, Мормо; Туманная красавица Иллайяли; Авоська да Небоська и т. д.»¹⁶. Согласно подобной логике, в имени «Айша» фонетическая экстравагантность закономерно сопряжена не только с аллюзией на некий популярный литературный текст, но и с уровнем мифа – с актуализацией мистического послания, заключенного в романе Хаггарда.

Обратившись к толкованиям романа «Она», предложенным авторитетными мыслителями XX столетия, можно резюмировать, что это миф о поверхностно-каждодневном и глубинно-древнем, об эроте и танатосе, личности и природе.

Карл Густав Юнг: «Нет мужчины, который был бы настолько мужественным, чтобы не иметь в себе ничего женственного. <...> Мужчине вменяется в добродетель в максимальной степени вытеснять женственные черты, так же как для женщины, по крайней мере до сих пор, считалось неприличным быть мужеподобной. Вытеснение женственных черт и склонностей ведет, естественно, к скоплению этих притязаний в бессознательном <...> из-за чего мужчина в выборе любимой частенько подвергается искушению желать ту женщину, которая лучше всего соответствовала бы особому типу его собственной бессознательной женственности, т. е. женщину, которая могла бы по возможности безоговорочно принять проекцию его души. <...> Пожалуй, большинство мужчин, в принципе обладающих психологической проницательностью,

знают, что имеет в виду Райдер Хаггард, говоря о “She-who-must-be-obeyed”, или о том, какие струны в них звучат, когда они читают об Антинее в изображении Бенуа (роман П. Бенуа “Атлантида”, 1919. – М. О.). Поистине широкое признание, которое находят эти произведения, указывает на то, что в этом образе женственной анимы заключается нечто сверхиндивидуальное, нечто такое, что не просто обязано своим эфемерным бытием индивидуальной уникальности, а скорее является тем типичным, что имеет более глубокие корни, нежели просто очевидные поверхностные связи <...> Райдер Хаггард и Бенуа недвусмысленно выразили это в *историческом аспекте* своих анима-персонажей. <...> Автономия душевного комплекса, естественно, поддерживает представление о невидимом, личностном существе, которое живет якобы в одном из наших различных миров. <...> Безусловно, нельзя упускать из виду, что раз некое самостоятельное существо невидимо, это одновременно должно обозначать и его бессмертие. Свойство бессмертия, пожалуй, должно быть обязано своим существованием другому, уже упомянутому факту, а именно – своеобразному историческому аспекту души. Райдер Хаггард дал, пожалуй, одно из лучших изображений этого характера в “She”»¹⁷.

Генри Миллер: «Аиша, чье имя означает нетленную красоту, с этой погибшей душой, которая отказалась умереть, пока возлюбленный ее не вернется на землю. Аиша занимает – по крайней мере в моем представлении – место, сравнимое с Солнцем, в галактике бессмертных любовников, получивших в дар вечную красоту. На этом звездном небосклоне Елена Троянская – всего лишь бледная луна. Ведь Елена <...> никогда не была для меня реальной. Аиша более чем реальна. Она суперреальна во всех смыслах этого опороченного слова. Вокруг этой фигуры автор соткал паутину таких размеров, что она почти заслуживает наименования “космогонической”. <...> Аиша принадлежит вечным стихиям, как воплотившимся в ней, так и бесплотным. <...> Райдер Хаггард неспешно, но искусно раскрывает перед нами это загадочное существо – Аишу. Ее нетленная красота, ее кажущееся бессмертие, ее вековая мудрость, сила ее волшебства и чар, ее власть над жизнью и смертью – во всем этом можно увидеть изображение души Природы. <...> Ей словно бы дается время, чтобы пересмотреть свое прошлое, взвесить свои деяния, мысли и чувства. Бесконечное вре-

мя для подготовки к единственному уроку, который она еще не усвоила, – уроку любви. Подобная божеству, она уязвима куда больше, чем самый жалкий из смертных. Ее вера рождена отчаянием, но не любовью, не пониманием. Эта вера будет подвергнута жесточайшему из испытаний. Обволакивающий ее покров, сквозь который не проникал ни один смертный мужчина – речь идет о ее божественной девственности, – будет совлечен, сорван с нее в решающий момент. Тогда она поймет себя. Тогда, открывшись для любви, соединит душу и дух. Тогда она будет готова к чуду смерти – той смерти, что приходит один раз. С приходом этой окончательной смерти она вступит в бессмертную сферу бытия. <...> В сфере секса я, кажется, поочередно теряю и нахожу себя <...> это конфликт между Духом и Реальностью. <...> Долгое время реальностью для меня была Женщина. Иначе говоря – Природа, Миф, Страна, Мать, Хаос. <...> Вместо великих гробниц Кора я описал бездонный черный колодец. <...> когда бы ни приходилось мне созерцать Красоту, особенно красоту женщины, я всегда испытывал чувство страха. Страх и еще нечто вроде ужаса. Откуда этот ужас? Смутное воспоминание о том, что я был другим, чем сейчас, что был (некогда) способен получить благословение красоты, дар любви, Божью истину. Разве не спрашиваем мы себя порой, отчего в великих героинях любви во все века есть нечто роковое? Отчего их смерть кажется такой логичной и естественной, отчего склонны они к преступлению, отчего вскормлены злом?»¹⁸.

Если суммировать – при всем их различии – толкования Юнга и Миллера, то в хаггардовском мифе о «Той-Которой-Следует-Повиноваться» женская сексуальность предстанет соотнесенной – как план выражения с планом содержания – с комплексом мотивов, который можно назвать мифом о возвращении древних богов. Этот миф напористо развивался в авантюрно-окультурной литературе конца XIX – начала XX в. Например, в прозе английских писателей, близких к кругу «Золотой Зари» (Э. Блэквуд, Б. Стокер, А. Мейчен, С. Ромер и др.), носителями пробудившейся разрушительной силы выступали языческие божества, их адепты, демоны, желтая раса¹⁹ и т. п.

В литературе русского авангарда, избегая детального изучения, миф о древних богах замечательно реализован в стихотворении В. Хлебникова «Перуну»:

.....
Бог, водами носимый,
Ячаньем встречен лебедей,
Не предопределил ли ты Цусимы
Роду низвергших тя людей?
Не знал ли ты, что некогда восстанем,
Как некая вселенной тень,
Когда гонимы быть устанем
И обретем в временах рень?

.....
Ты знаешь: путь изменит пря,
И станем верны, о Перуне,
Когда желтой и белой силы пря
Перед тобой вновь объединит нас в уне²⁰.

В литографированном приложении к книге Хлебникова «Изборник стихов» (1914) стихотворение «Перуну» сопровождалось знаменитыми иллюстрациями Павла Филонова²¹. Кручёных относил иллюстрации Филонова к «графическим шедеврам» и подчеркивал, что «самое интересное в них – полное совпадение – тематическое и техническое – с произведениями и даже рисунками самого В. Хлебникова...»²². По словам исследователя, «страшный факт – поражение русского флота при Цусиме – заставляет Хлебникова искать объяснение ему в истории России. В понимании поэта всякое “возмездие” имеет свое основание в прошлом. Своим внутренним взором он видит плывущего по реке деревянного идола. Это – сброшенный во время принятия Русью христианства в воду Днепра идол древнеславянского бога Перуна. Связь между двумя этими фактами – связь события и противоположного события. Вот отчего так грозны филоновские идолы. Их суровое противостояние чреватو бедой»²³.

В этой характеристике книги Хлебникова / Филонова поражает типологическое сходство русского авангарда с писателями «Золотой Зари» – вплоть до пророчеств о грядущей апокалиптической борьбе «желтой и белой силы». Кажется бы, автор книги с мнимополитическим заглавием «Мятеж» должен присоединиться к подобному пониманию мифа. Однако в стихотворении «Женщина в пещере» Кручёных отнюдь не солидаризировался с

Хлебниковым – так же как разошелся с ним в принципах использования зауми²⁴ или в отношении к идеологии славянского единства²⁵. Напротив, «бука русской поэзии» на исходе Гражданской войны предложил альтернативное чтение мифа о древних богах, манифестирующее не глобальную гибель «старого мира», но скорее «аполитичный» Эрос.

* * *

Любопытно, что в поэтическом наследии Н.С. Гумилева имя «Айша» также встречается в «эротическом» контексте. В инскрипте Г.И. Иванову «Надпись на книге» (1912 г., впервые опубликован в «Посмертном сборнике» 1922 г.) «нескромная» Айша (персонаж не комментируется публикаторами) противопоставлена идиллической Хлое:

Милый мальчик, томный, томный,
Помни – Хлои больше нет.
Хлоя сделалась нескромной,
Ею славится балет.

Пляшет нимфой, пляшет Айшей
И грассирует «а у est».
Будь смелей и подражай же
Кавалеру де Грие.

Пей вино, простишься с тоскою,
И заманчиво-легко
Ты добудешь – прежде Хлою,
А теперь Манон Леско²⁶.

¹ Кручёных А. Стихотворения, поэмы, романы, опера / Сост. С.Р. Красицкого. СПб., 2001. Сер. «Новая библиотека поэта». С. 118–119.

² Харджиев Н.И. От Маяковского до Кручёных: Избр. работы о русском футуризме. М., 2006. С. 391.

³ Weststeijn W.G. The Lyric Subject in Krucenyh's Poetry // Russian Literature. 1995. Vol. XXXVII–IV.

⁴ Ziegler R. Aleksej E. Krucenyh // Russian Literature. 1986. Vol. XIX–I.

- ⁵ Цит. по: Книги А.Е. Крученых кавказского периода из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского: Каталог / Авт.-сост. Л.Г. Жукова, Д.В. Карпов. М., 2001. С. 77.
- ⁶ Имя хаггардовской героини Ayesha напоминает имя другой африканской девушки: это Айше (Ayshe) из новеллы П. Мериме «Таманго» (1829), впрочем, Айше – девушка совсем другого склада (негритянка, весьма простодушная и далекая от женской агрессивности), как равным образом и Аиша (в английской транскрипции Aisha) – любимая жена пророка Мухаммеда.
- ⁷ Богомолов Н.А. Гумилев и оккультизм // Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 115–116.
- ⁸ Цит. по изд.: Хаггард Р. Авантюрный роман: Она. Аэша. Элиста, 1991.
- ⁹ См., напр.: Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман; Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М., 1995. С. 604.
- ¹⁰ Одесский М., Фельдман Д. Комментарий // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Первый полный вариант романа. М., 1997. С. 521.
- ¹¹ Webb J. The Flight from Reason. L., 1971. P. 56.
- ¹² Богомолов Н.А. Указ. соч. С. 118.
- ¹³ Ср. проблему мистического толкования «Дракулы» Стокера в литературе Серебряного века: Баран Х. Некоторые реминисценции у Блока: Вампиризм и его источники // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993; Лавров А.В. «Другая жизнь» в стихотворении Блока «Было то в темных Карпатах...» // Лавров А.В. Этюды о Блоке. СПб., 2000; Одесский М.П. Миф о вампире и русская социал-демократия: Очерки истории одной идеи // Литературное обозрение. 1995. № 3.
- ¹⁴ Богомолов Н.А. Указ. соч. С. 483.
- ¹⁵ Там же. С. 140.
- ¹⁶ Книги А.Е. Крученых кавказского периода из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. С. 77.
- ¹⁷ Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1998. С. 189–192.
- ¹⁸ Миллер Г. Книги в моей жизни. М., 2001. С. 90–109.
- ¹⁹ Гюйо Л. Писатели-фантасты «Золотой Зари» // Волшебная гора. 1995. № 3.
- ²⁰ Хлебников В. Творения. М., 1987. С. 85.

- ²¹ См. современное издание: Будетлянский клич: Футуристическая книга. М., 2006.
- ²² *Кручёных А.Е.* Наш выход // Кручёных А.Е. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006. С. 116.
- ²³ *Поляков В.* Книги русского кубофутуризма. М., 2007. С. 279.
- ²⁴ См., напр.: *Марков В.* О Хлебникове (попытка апологии и сопротивления) // Марков В. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб., 1994. С. 180.
- ²⁵ *Кручёных А.* Наш выход. С. 80–81.
- ²⁶ *Гумилев Н.С.* Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 458. Текст любезно указан Г.А. Левинтоном при обсуждении доклада на международной конференции «Мерцающий авангард» (Амстердам, 2008).

2008 г.

Борьба магов
Необычайные похождения Гурджиева
в романе Эренбурга

В 1920 г., откликаясь на известия о большевистских злодеяниях, Альфред Орэдж, мэтр английской журналистики и удачливый литературный продюсер, объявил *urbi et orbi*, что коммунизм – лишь очередная «замаскированная» форма русской эзотерической экспансии¹.

Действительно, многие наши соотечественники, подвизавшиеся на мистической ниве, успели внушить к себе уважение, но обращает также внимание и подразумеваемый призыв остановить агрессию Востока единственно адекватными средствами – средствами магии же. Мотив противоборства адептов белой и черной магии, ныне привычно ассоциируемый лишь с детской и / или массовой культурой, в ту пору выглядел «весомо, грубо, зримо». И впрямь, как не вспомнить о магии, когда явлено всеобщее стремление достичь – пусть при помощи передовых технологий и рафинированно-рациональных способов управления социумом – сверхчеловеческих возможностей, т. е. цели традиционно магической. Человечество приближалось к безднам XX столетия, и не стоит удивляться, что в кровавых гекатомбах современники и потомки заподозрили сокровенные ритуалы, таинственную эмблематику и манифестацию неведомых энергий. Впрочем, век на дворе был все-таки просвещенный, разумный, сциентистский, и признаваться в подобных амбициях и контактах представлялось несолидным, потому надежно картографировать «подводные ручьи» современного оккультизма в каждом отдельном случае значит распутать подлинный детектив.

Георгий Иванович Гурджиев принадлежал к числу самых экстравагантных и зловещих «учителей» своего времени: даже

признанный эксперт по эзотерической части барон Ю. Эвола «со значением» поминал влиятельные в европейском оккультизме «русско-кавказские круги»².

Если объяснять значение Гурджиева в терминах «светской хроники», достаточно указать, что «сам» Питер Брук экранизировал его мемуары, а лидер элитарной рок-группы «King Crimson» Р. Фрипп пропагандировал учение. Если подражать «книге рекордов», Гурджиева уважительно подозревали в пагубном влиянии сразу на обоих ужаснейших диктаторов современности – Гитлера и Сталина. Наконец, Гурджиевым были очарованы тот же Орэдждж, О. Хаксли, Дж.Б. Пристли и другие блестящие представители интеллектуальной элиты в разных странах и на разных континентах. Дабы соответствовать подобному реноме и его одновременно провоцировать, Гурджиев не стеснялся в хвалебных автохарактеристиках. На сравнения с Христом не обижался. Вообще Гурджиев – это прежде всего «феномен Гурджиева», так же ускользающий от ясных определений, как сам «гуру» уходил от однозначных ответов.

Количество работ, посвященных жизни и учению Гурджиева, внушительно. Прежде всего необходимо указать на его посмертно изданные «Встречи с замечательными людьми» (1963), составленные по-английски, в последние годы не раз печатавшиеся в России. Мемуарные «Встречи», правда, заслуживают того, чтобы быть осторожно отнесенными скорее к псевдомемуарам по причине их эпатажно-мистификационного (или, по крайней мере, зашифрованного) характера. Зато совершенно ясным изложением отличается книга П.Д. Успенского «В поисках чудесного» (издана по-английски в 1950 г., пер. – СПб.: Изд-во Чернышева, 1992). Эта книга, отдаленно напоминающая «сократические тексты» Ксенофонта или Платона, содержит речения «гуру» вперемешку с биографическими подробностями. Достоинства книги Успенского признавал и Гурджиев, несмотря на ревнивое отношение к собственному литературному творчеству. Кстати, сохранились трогательные свидетельства того, как нравились «русско-кавказскому» магу его сочинения. «Мы расположились на полу вокруг чтеца, – вспоминал один из учеников, – причем в неудобнейших позах. Сам же Гурджиев погрузился в глубокое кресло и смолил сигареты одну за другой (уточню – «Сельтик»;

предложенные как-то «Голуаз» отверг, обозвав дерьмовыми). Отдельные пассажи его веселили, и время от времени он разражался самым могучим хохотом.

В 1954 г. французский журналист Луи Повель, впоследствии в соавторстве с Ж. Бержье завоевавший всемирную известность паранаучным бестселлером «Утро магов», описал собственный негативный опыт занятий по системе «русско-кавказского» мага в пространной богато документированной работе, прямо так и названной – «Господин Гурджиев» (фрагменты публиковались в специально мистическом номере журнала «Согласие», 1994, № 3). Наконец, чрезвычайно информативна монография «The Harmonious Circle. The Lives and Work of G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky and Their Followers» (London: Thames and Hudson, 1980), принадлежащая замечательному специалисту по новейшему оккультизму Джеймсу Уэббу, чье случившееся в 1980 г. загадочное самоубийство порой увязывают с происками трепетавших огласки тайных обществ.

Материализовался «русско-кавказский» маг незадолго перед Первой мировой войной в России. Кто он такой и откуда, известно приблизительно. Согласно «скучной», «умеренной» версии, родители Гурджиева были армянскими греками. Однако и при жизни этого виртуоза от мистики курсировали слухи о том, что под именем бурята Оше Норзунова он играл ведущую роль в так называемой большой игре – ожесточенной борьбе России и Великобритании за Тибет, что общался с Далай-ламой XIII и Николаем II, посещал недоступные ламаистские монастыри, обвинялся англичанами в шпионаже и т. д.

В Москве и Петербурге Гурджиев, взимая за наставление немалые суммы, сплотил группу преданных последователей, причем в их числе удачно оказался Петр Демьянович Успенский, одаренный беллетрист-эзотерик.

«Работа» с учениками начиналась уже при знакомстве, которое Гурджиев превращал в незабываемый «театр одного актера». Успенский вспоминал, насколько Учитель был «потусторонен» по отношению к банальной современной жизни. «Мы вошли в небольшое кафе на шумной, хотя и не центральной улице. Я увидел человека восточного типа, уже немолодого, с черными усами и пронзительными глазами; более всего он удивил меня тем, что

производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере».

Кафе, рестораны не только составляли для Гурджиева искомый контрастный фон, но и позволяли вести двусмысленно неопределенные разговоры, дразня доверчивых собеседников близостью последних ответов на «роковые вопросы» и останавливаясь на пороге «самого интересного». Успенский, обедая с Гурджиевым в петербургском ресторане, напрямик спросил находившегося в добродушном настроении Учителя, что тот думает «о вечном возвращении. Есть в этом какая-то истина или нет?». Гурджиев произнес краткую, но многозначительную речь, которую в завершение неожиданно свел к шутке: «А что если я просто придумал все это для вас, и никакого вечного возвращения нет? Что за удовольствие: сидит мрачный Успенский, не ест и не пьет? Попробую-ка развеселить его...».

Что касается «работы», она строилась в согласии с основным тезисом Гурджиева о «непробужденном» состоянии современного человека, который не знает себя, во сне живет и умирает, не имея сердцевины, души, лишен и надежды на загробное бытие. А значит, задача заключается в «пробуждении», в приобретении навыков самонаблюдения и постепенном осознании подлинного себя. «Педагогические» приемы при этом использовались почти гротескные – вроде упражнения «стой!», при котором по команде гуру требовалось замереть, стараясь не двигаться, не глядеть по сторонам, не отвечать на вопросы. «Восклицание “стой!” – повествует Успенский, – раздавалось в любое время дня. Однажды мы пили чай, и сидевший напротив меня П. поднес к губам стакан только что налитого горячего чая и дул на него. В это мгновение мы услышали из соседней комнаты: “Стой!” Лицо П. и его рука, державшая стакан, находились как раз у меня перед глазами. Я видел, как он побагровел, а маленький мускул около глаза задрожал. Но П. продолжал держать стакан». Среди «интеллектуальных» упражнений было, к примеру, овладение навыками мгновенного понимания сообщения, переданного азбукой Морзе, которое отсутствовало на фортепьяно, и т. д., и т. п.

Первая мировая война, как и катастрофические события 1917 г., Гурджиева не смутили. Однако, несмотря на специфический оптимизм с эсхатологической окраской, столиц избегал и

странствовал по Югу России, охваченному Гражданской войной. Летом 1920 г., сочтя, вероятно, дальнейшее экспериментирование с русским тоталитаризмом излишним, «со товарищи» отправился в эмиграцию. Первоначально – в Стамбул.

Но фантастический успех выпал Гурджиеву во Франции, где под осуществление амбициозного проекта по созданию Института гармонического развития человека он приобрел в окрестностях Фонтенбло замок с парком. Здесь он изведal новые победы и поражения; среди последних самым скандальным обернулось безуспешное излечение от туберкулеза обворожительной новеллистки из Новой Зеландии Кэтрин Мэнсфилд, что у современников образцово вписывалось в ужасную историю погубления западной красавицы восточным чудовищем. Как бы то ни было, число учеников росло, в сферу влияния Гурджиева постепенно попали США, и скончался он в 1949 г., оставив и ныне верных «работе» последователей.

Источником сведений о «феномене Гурджиева» неожиданно выступает известный фельетонно-сатирический роман И.Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921). Илья Григорьевич Эренбург – популярный советский писатель, у которого образцово получилось, используя крылатое выражение, прожить «от Ильича до Ильича», сохраняя благосклонность вождей и массово-интеллигентского читателя. Казалось бы, ничего общего между ним и Гурджиевым нет, в знаменитых мемуарах Эренбурга по этому поводу информация отсутствует. И тем не менее не стоит торопиться с выводами.

«Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» – пожалуй, любимое литературное детище Эренбурга. Напечатанный в Берлине (1922, изд-во «Геликон»), роман принес создателю немедленный успех, заслужив похвалу В.И. Ленина, которому, кстати, была отведена специальная глава. Затем для «Хуренито» наступили годы замалчивания, в «оттепель» его с сокращениями перепечатали и только в «перестройку» воспроизвели и с «ленинской» главой, и с предисловием Н.И. Бухарина к первому советскому изданию.

Центральный персонаж романа, некий странный Учитель, в сопровождении интернациональной группы учеников, среди которых российских евреев представляет рассказчик – «Илья

Эренбург», скитаются по странам Западной Европы накануне и во время Первой мировой войны, а затем втягиваются в разнообразные авантюры на территории революционной России. По ходу дела все ценности – «буржуазной» цивилизации с решительной определенностью, «социалистической» с оговорками – предаются напористому нигилистическому отрицанию, что составляло специфику тогдашней прозы писателя.

Теперь самое время произнести «слово»: судя по всему, среди прототипов Хуренито – Гурджиев. Строгие документальные свидетельства личного общения писателя с «магом», насколько известно, отсутствуют. Но, с одной стороны, Эренбург должен был умалчивать о подобных «связях» по причинам как общеевропейским, так и конкретно советским, табуируя причастность к сомнительным, едва ли не контрреволюционным кругам. А с другой стороны, уже опубликованы признания Эренбурга о тревожных томлениях на «мистическом перекрестке»³, да и в принципе можно предположительно указать, где пересекались пути будущего создателя «Хуренито» с Гурджиевым.

В 1908–1917 гг. политический эмигрант Эренбург находился в Париже, общедоступная информация о доктрине и личности Гурджиева не печаталась, соответственно их очное или заочное знакомство могло состояться только во время Гражданской войны, когда оба – писатель и Учитель – оказались в «кровью умытой» России. Действительно, в сентябре 1920 г. Эренбург, вырвавшись из голодного Крыма, провел две счастливые недели в гостеприимном меньшевистском Тбилиси, откуда незадолго перед тем после годичного пребывания, отмеченного разнообразной кипучей активностью, уехал Гурджиев.

Более того: в качестве самого яркого тбилисского впечатления Эренбург впоследствии вспоминал о поэте Паоло Яшвили, с которым они стали друзьями. А Яшвили входил в круг столичной богемы, проявившей заинтересованность грандиозными проектами, что Гурджиев пытался реализовать в Тбилиси⁴. Так что Эренбург о Гурджиеве, очевидно, был наслышан и вот, при помощи школьного друга Бухарина попав в зарубежную командировку, менее чем через год представил «Хулио Хуренито». Роман был завершен в один присест – по словам автора, за двадцать восемь дней.

«Гурджиевская» версия происхождения образа Учителя позволяет дополнить и уточнить общепринятую, согласно которой еще в 1916 г. «впервые возник замысел сатирической антивоенной прозы, образы некоторых ее героев, в частности образ Великого Провокатора, на который натолкнул Илью Эренбурга Диего Ривера»⁵. В самом деле, советские интеллектуалы были явно наслышаны о том, что прототипом мексиканского Учителя послужил знаменитый мексиканский художник. В.В. Маяковский в очерке «Мое открытие Америки» (1926) свидетельствовал: «Я раньше только слышал, будто Диего – один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург попытался писать с Диего»⁶.

Эренбург санкционировал «версию Риверы» с существенными ограничениями: «Слушая Диего, я начинал любить загадочную Мексику; древняя скульптура ацтеков как бы сливалась с партизанами Сапаты. Хулио Хуренито – мексиканец; когда я писал мой роман, я вспомнил рассказы Диего. Мне привелось читать, что Хуренито – портрет Риверы; сбивают некоторые черты биографии – и мой герой, и Диего родились в Гуанахуато; Хуренито в раннем детстве отпилил голову живому котенку, желая понять отличие смерти от жизни, а Диего, когда ему было шесть лет, распотрошил живую крысу, – хотел проверить, как рождаются дети. Много других деталей детства Хуренито навеяно рассказами Риверы. Но, конечно, Диего не похож на моего героя: Хуренито думал больше, чем чувствовал, он брал ненавистную ему догму общества и доводил ее до абсурда, чтобы показать, как она порочна. Диего был человеком чувств, и если он иногда доводил до абсурда дорогие ему самому принципы, то только потому, что мотор был силен, а тормозов не было»⁷.

Понятно, что слова Эренбурга взяты из написанных спустя несколько десятилетий воспоминаний, что текстология романа вообще неясна и основывается исключительно на позднейших мемуарных источниках. Тем не менее в одном создателе «Хуренито» верить допустимо: Ривера – не Учитель, и именно в «феномене Гурджиева» Эренбург мог почерпнуть необходимые подробности.

Серьезнейший аргумент в пользу Гурджиева – сам роман. Не говоря уж о сходстве звучания имен (*Георгий Гурджиев / Хулио Хуренито*), заглавный герой Эренбурга родом из Мексики, что, безусловно, аллюзия на Риверу, но вместе с тем рифмовалось с анекдотами о происхождении «русско-кавказского» мага.

Гурджиевский «театр одного актера» воспроизводится в манере мексиканского Учителя подавать себя: рассказчик обретает Хуренито, сидя «трезвым и отменно смирным» в знаменитом артистическом парижском кафе, причем по контрасту с ordinary котелком и серым плащом пришелец произвел такое впечатление, будто прятал под цивильным одеянием рожки и «острый, воинственно приподнятый хвост».

Знаменательно, что в некоторых частностях мексиканец повторяет также суждения прототипа Хуренито: как и положено критику современной цивилизации, приветствует планетарную войну и (еще в большей степени) революцию, видя в кровавых социальных катаклизмах путь к отказу от буржуазной «лжи» и постижению истинного состояния мира. Соответственно Гурджиев поражал благонамеренных слушателей, далеких от политического радикализма, испуганных «массовым безумием», загадочно изрекая: «События вовсе не против нас. Просто они движутся чересчур быстро, в этом вся беда. Но подождите пять лет, и вы сами увидите, как то, что сегодня нам препятствует, окажется для нас полезным».

Специфическое приятие революции выразилось в упоминавшейся «ленинской» главе. Вслед за Г. Уэллсом Учитель, сопровождаемый «Ильей Эренбургом», посещает «кремлевского мечтателя» и расспрашивает его о «проклятых» вопросах: о статусе искусства при новом строе, о претензиях большевиков на монопольное обладание истиной, о «красном терроре». Ленин «забежал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова»: «Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам, прячась за кусты, стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. <...> Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали всю сладость грядущей

коммуны!.. <...> Пришли?.. Кто? – я, десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из изб, из казарм сюда, в эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю – тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..»

Мотив ответственности, снимаемой вождем с неспособного вынести тяжкое бремя большинства, явно напоминает «Легенду о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых». В финале главы «Илья Эренбург» видит, как Хуренито, выслушав речи Ленина, «подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб». Сомнений в источнике цитаты нет, да и глава называется «Великий Инквизитор вне легенды». Однако для совсем непонятливых мексиканский Учитель комментирует свой поцелуй: «Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй».

Очевидно, таким образом, что большевики не осуждаются, что не осуждаются они на особый (далекий от коммунистически-официального) лад и что Хуренито повторяет жест Христа (по Достоевскому). Символическое подражание Христу такого персонажа, как Хуренито, применительно к такому человеку, как Ленин, позволяет прямо квалифицировать поведение мексиканского Учителя как Антихристово (что, естественно, в системе Эренбурга не подразумевает негативной оценки).

Именно на фоне Христа у Хуренито эпатажно другое число учеников. Не двенадцать («как положено»), а семь. Если оперировать правилами оккультной математики, это одно число. Ведь 12 сводимо к результату перемножения трех и четырех, семь – к сумме тех же чисел. Но тем значимее несовпадение, особенно учитывая, что в доктрине Гурджиева число «семь» занимает центральное место (вселенский «закон семи»⁸).

Эренбург, ориентируясь на Гурджиева, наделил своего персонажа узнаваемыми чертами известного типа мудреца – малосимпатичного, агрессивного парадоксалиста, который, подобно греческим киникам, тибетским ламам линии Кагью, православным юродивым и т. п., реализует не благостную, но эпатажную поведенческую модель. «Профанное» большинство подозревает

таких в корыстном шарлатанстве. Зато избранные и призванные ценят добровольное самоуничужение Учителя ради их всемерного наставления.

У мастеров эзотерики, близких к этому типу, отталкивающий имидж – необходимый компонент сознательно соблазнительного, оскорбительного для непосвященных и даже адептов общего характера их «работы», и определение «великий провокатор», которым Эренбург наделяет Хуренито, в метафизическом (а не политическом) плане подходит Гурджиеву.

Не исключена и другая, упрощенная, дефиниция загадочного «феномена Гурджиева» – «черный маг». Ведь, несмотря на уклончивые формулировки, Гурджиев бесспорно позволял себе кокетливую игру «за черных». То сообщит, что на Тайной вечери апостолы и Христос занимались обменным переливанием крови. То причудливо успокоит учеников, вопрошающих, не черную ли магию практикует их почтенный Учитель: «Хуже. Подождите, вы увидите вещи похуже».

А где «черные маги» – там не обойтись без «белых». Эта закономерность, как уже упоминалось, справедлива не только для «детской литературы», но и для образа жизни интеллектуальной элиты рубежа XIX–XX вв. Нетрудно привести несколько исторических эпизодов, иллюстрирующих конфликты адептов «белой» (т. е. декларирующей совместимость с христианством) и «черной» (в пределе – сатанинской) магии, в которые оказывались втянуты и «профессиональные оккультисты», и выдающиеся деятели культуры. Так, в 1903 г. происходит раскол в английском «Герметическом ордене Золотой Зари» (среди участников – поэт У.Б. Йейтс, прозаики А. Макен, О. Блэквуд, Ч. Уильямс), где Йейтс возглавляет сопротивление сатанистам А. Кроули. Спустя примерно 10 лет в силу сходных причин порвал с теософией лидер немецкой группы Рудольф Штейнер. В результате он основал антропософию, которая на фоне оккультизма того времени выделялась программным нежеланием ввязываться в сатанинские игры.

Как и следовало ожидать, Гурджиев не жаловал штейнерианцев. С этой точки зрения показательно, что в «Необычайных похождениях» фигурирует карикатурный антропософ Вольф, который обыкновенно жил-поживал, «имел нечто вроде жены, то есть худосочную девицу Матильду», но вдруг вспоминал, как в

прошлых воплощениях был «жаворонком, вождем племени ацтеков и любовницей Людовика XIV», обнаруживал блистательные познания в области топонимики городов Атлантиды, а то и «направлялся в Дорнах к своему наставнику Штейнеру и там таскал камни, строя какое-то капище».

Разумеется, никто не сводит проблематику романа Эренбурга к изображению конфликта оккультистов. Seriously об этом писали прежде всего авторы круга «Золотой Зари». Да и Гурджиев (в частности, в тбилисский период) работал над постановкой двусмысленно-эзотерического балета «Борьба магов».

У Эренбурга же оккультный Учитель явно функционирует только как «прием» выстраивания сюжета, позволяющий выразить его видение мира, как прообраз (по крайней мере, один из них) «метафизического утешителя-вождя человечества на путях самоуничтожения»⁹. Аналогично, т. е. в качестве формального хода, им впоследствии использовались хасидизм в романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», идеологема «термидор» в «Заговоре равных» и т. д.

Итак, советская мистика вызывала, с одной стороны, попытки синтеза магического знания с учением об обществе светлого будущего (А.А. Богданов и его программа «обменного переливания крови»¹⁰, двусмысленная деятельность многостороннего Н.К. Рериха¹¹), с другой – более или менее радикальный протест против коммунистического тоталитаризма (анархизм тамплиеров¹², антропософия). Соответственно магический Учитель, его враги и друзья в романе Эренбурга могут быть отнесены к «эстетической» интерпретации оккультной проблематики.

¹ Цит. по: *Webb J. The Harmonious Circle: The Lives and Work of G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky and Their Followers. L., 1980. P. 198.*

² *Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996. С. 383.*

³ Эренбург, Савинков, Волошин в годы Смуты (1915–1918) / Публ. Б. Фрезинский, Д. Зубарев // Звезда. 1996. № 2. С. 171.

⁴ *Webb J. Op. cit. P. 172–178.* Симптоматично, что М.Б. Мейлах также объяснял гипотетическое воздействие Г.И. Гурджиева на О.Э. Мандельштама информацией, полученной последним в Тбилиси в сентябре 1920 г., см.: *Мейлах М. Об одном экзоти-*

ческом подтексте «Стихов о неизвестном солдате» // Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума. Tenaflly, N.J., 1994. С. 113–116. См. также отклик футуриста И. Терентьева на тбилисские проекты Гурджиева (1919): *Терентьев И.* Вечер Жанны Матинион и Гурджиева // Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988 (Eurasistica Quaderni dell Dipartimento di Studi Eurasiatici Universita degli Studi di Venezia. Vol. 7). С. 235–236. Что касается других возможных изображений Гурджиева в русской литературе, то существует версия, согласно которой «русско-кавказский» маг послужил прототипом демонического персонажа Шишнарфне в романе А. Белого «Петербург», см.: *Reichard Chr.* Azien in Andrey Belyjs *Peterburg*: Materialien zu einer neuen Lesart / Literaturwissenschaftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines magister artium am Fachbereich für Neuere Fremdsprachliche Philologien an der Freien Universität Berlin. Berlin, 1995 (ознакомиться с текстом диссертации мне удалось благодаря любезному разрешению сотрудников «Мемориальной квартиры А. Белого», ГМП). Самое раннее (насколько известно) изложение доктрины Гурджиева – «Проблески Истины» (1914) – предназначалось для своих и в печать не попало. См. текст в изд.: *Гурджиев Г.* Взгляды из реального мира. М., 1997. С. 31–70.

⁵ *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). СПб., 1993. Т. 1: 1891–1923. С. 120.

⁶ *Маяковский В.В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 7. С. 275.

⁷ *Эренбург И.Г.* Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. М., 1990. Т. 1. С. 196.

⁸ Согласно «закону семи, или закону октав», «необходимо рассматривать вселенную как состоящую из вибраций. <...> Отметим в этой связи, что, согласно принятым на Земле взглядам, вибрации непрерывны. <...> В этом случае точка зрения древнего знания противоречит точке зрения современной науки, ибо в основу понимания вибраций древнее знание полагает принцип отсутствия непрерывности вибраций. Принцип отсутствия непрерывности вибраций выражает характерный признак всех вибраций в природе, возрастающих или нисходящих: они развиваются не однообразно, а с периодическими ускорениями и замедлениями. <...> Законы, управляющие замедлением или отклонением вибраций от

их первоначального направления, были известны древней науке и включены в особую формулу, или диаграмму, сохранившуюся до нашего времени. В этой формуле период удвоения вибраций был разделен на восемь неравных ступеней в соответствии с темпом возрастания вибраций. Восьмая ступень повторяет первую, но с удвоенным числом вибраций. <...> Если мы полностью осмыслим закон октав, он даст нам совершенно новое объяснение жизни в целом, прогресса и развития явлений на всех планетах вселенной, доступных нашему пониманию. Этот закон объясняет, почему в природе нет прямых линий, а также то, почему мы не способны ни думать, ни что-нибудь делать, почему все для нас – только мысль, почему с нами все случается – и обычно случается особым образом, противоположным тому, чего мы хотим или ожидаем. Все это – явные и непосредственные следствия “интервалов”, или замедлений в развитии вибраций» (*Успенский П.Д.* В поисках чудесного. СПб., 1992. С. 145–149).

⁹ *Rubenstein J.* Tangled Loyalties: The Life and Times of Ilya Ehrenburg. N.Y., 1996. P. 75. Ср. столь же поверхностно-оккультную подпись Эренбурга под памфлетом 1922 г., направленным против знаменитого в будущем (при Третьем рейхе) антисемита Бостунича: «Масон ложи “Хулио Хуренито”, мексиканского толка, 32 ст. (“принц королевской тайны”), хасид и цадик, чекист в 4 личинах (жид – мадьяр – латыш – китаец) Илья Эренбург» (цит. по: *Попов В., Фрезинский Б.* Указ. соч. С. 246).

¹⁰ *Одесский М.П.* Миф о вампире и русская социал-демократия: Очерки истории одной идеи // Литературное обозрение. 1995. № 3.

¹¹ См., напр.: *Прокофьев С.О.* Восток в свете Запада. Ч. 1: Учение Агни Йоги в свете христианского эзотеризма. СПб., 1995.

¹² См., напр.: *Никитин А.Л.* Легенды московских тамплиеров // Литературное обозрение. 1994. № 3/4; *Он же.* Мистические ордена в культурной жизни Советской России // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1995. Т. 1. Вып. 4.

1998 г.

Москва Плутоническая

Писатель Глеб Васильевич Алексеев (1892–1938) после нескольких лет эмиграции в 1923 г. вернулся в Советскую Россию и в 1925 г. опубликовал роман «Подземная Москва» (в издательстве «Земля и Фабрика», благоволившем идеологически корректной приключенческой прозе).

Сюжет романа, который разворачивается в колоритно изображенной нэпмановской Москве, реализует вполне трафаретную авантюрную схему – погоня за сокровищами. Только в роли чаяемого сокровища выступают не золото, бриллианты и т. п., а библиотека Ивана Грозного.

Хорватский миллиардер Фредерико Главич, компенсируя мужское бессилие и желая сохранить имя в потомстве иным способом – великим деянием, спонсирует поиски таинственной библиотеки русских царей. Он договаривается с советским правительством о концессии, занимающейся строительством метро. Под этим солидным прикрытием в Москву прибывает бывший эмигрант в сопровождении немцев-исполнителей, готовых и к работе, и к физическому устранению конкурентов. Концессионеры ведут подземные работы, якобы прокладывая в центре города линии метро, а на самом деле пробираясь по древним ходам в подземный Кремль, где и должна храниться библиотека.

Однако о замысле Главича узнает юный «товарищ Боб» – проживающий в Италии русский итальянец родом из Казани. Он также приезжает в Москву и организует параллельную экспедицию, которая должна опередить преступных концессионеров: кроме «товарища Боба» экспедицию составляют старый опытный археолог Павел Петрович Мамочкин и трое сознательных рабочих завода «Динамо».

По ходу действия персонажи рассказывают друг другу, а значит, и читателям историю вопроса. Слово берет всезнающий Мамочкин: «Человечество никогда не могло забыть о “неведомом сокровище”, как назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин. Ее видели многие. В шестнадцатом веке – Максим Грек и Ветерман, ученый патер из Дерпта, которого Грозный пригласил “прочитать ученые книги”. Ветерман спускался в подземелье, составил даже “связку”, то есть каталог книг, но, испугавшись, что Грозный замурует его, как живого свидетеля его несметных богатств в подземном Кремле, уехал из России. В семнадцатом веке о библиотеке Грозного вспоминали в письмах Аркудий, Сапега, Паисий Лигарид. <...> Но только в девятнадцатом веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе, о богатствах грозного царя, – апологетами библиотеки впервые выступают ученые: Дабелов, Клоссиус, Тремер, приехавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Стеллецкий. Щербатов, бывший помощник директора Исторического музея, спускался в подземелье и даже шел его ходами. Он жив и поныне...»¹

Все упомянутые Мамочкиным имена нетрудно откомментировать: это либо те, кто видел или искал библиотеку Грозного в XVI–XVII вв., либо ученые, которые занимались проблемой исчезнувшего книгохранилища. Ключевая фамилия здесь – Стеллецкий.

Игнатий Яковлевич Стеллецкий (1878–1949), выпускник Киевской духовной академии и кандидат богословия, страстно увлекался археологией и спелеологией. Особенно его интересовала подземная Москва: это словосочетание, кстати, не художественная находка Алексева, а рабочий термин. В 1912 г. Стеллецкий прочитал доклад «План подземной Москвы», где доказывал, что создатели московского Кремля – итальянские зодчие Фиорованти, Солари, Алевиз – нашли неолитические пещеры в кремлевском холме и переустроили их в систему подземных ходов, связавших самые разные постройки Москвы. В 1923 г. Стеллецкий, как и Алексеев, после треволнений гражданской смуты снова оказался в Москве. Теперь он страстно агитировал не просто за изучение «подземной Москвы», но за поиск библиотеки Ивана Грозного, которая, на его взгляд, сокрыта в этих подземных лабиринтах:

«...я вернулся, наконец, накануне рокового 1924 года, унесшего великого Ленина. Впечатление от новой Москвы получилось смутное: старая Москва таяла на глазах, превращаясь с каждым днем в Москву “уходящую”; контуры же новой навсегда были отчетливо ясны. Чувствовал себя без корней, на зыбкой почве, в затруднении – с кого и с чего начать, чтобы оживить, продолжить “старую погудку на новый лад”. Одно было ясно: начинать надо с азав...»²

Мамочкин продолжает лекцию: «Вы помните, когда цари праздновали трехсотлетие, один из современных знатоков подземной Москвы профессор Стеллецкий подавал докладную записку о необходимости широчайших исследований... Ему не только не дали денег, но старались всячески затормозить работу... Я не знаю, что предпринимает сейчас профессор Стеллецкий, но я решился тогда же искать за свой риск и страх. В Собакиной башне, против Исторического музея... я нашел наконец щель, перегороженную белокаменным арсенальным столбом. Я думаю, что это и есть ход дьяка Макарьева. Он назван его именем потому, что дьяк царевны Софьи, Макарьев, был первый человек, спустившийся в подземную Москву. Наткнувшись на столб, Макарьев прекратил дальнейшие поиски. Но, умирая, он открыл тайну дьяку Конону Осипову. Конон Осипов тоже умер ровно двести лет назад, 24 декабря 1724 года»³.

Персонаж романа явно лукавит: не было никакой тайны в том, что «предпринимает сейчас профессор Стеллецкий», а дьяки Макарьев и Осипов – его любимые исторические фигуры. Стеллецкому не удалось заинтриговать своими идеями ни одну из государственных инстанций, и находчивый энтузиаст дерзнул придать делу публичный характер: «Тогда я решил обратиться к всемогущему, далеко и верно быющему печатному слову; проще говоря, я направил стопы свои в редакцию “Известий”. Тут я действительно нашел внимание и понимание. 21 марта 1924 г. – историческая дата, переломная фаза в истории поисков библиотеки Грозного в советские дни: в этот день в “Известиях” появилось – всколыхнувшее не только Москву! – историческое интервью под лаконичным заголовком “Библиотека Грозного”. Взметнулся вихрь. Москва, казалось, вдруг вспомнила о давно забытом: в ней с удвоенной силой вспыхнул интерес к тайне, так ее волновавшей

когда-то, к затерянной кремлевской книжной сокровищнице! <...> Откликнулась и “Вечерняя Москва”, в двух номерах, 81 и 82, от 7 и 8 апреля, пересказом Корнелия Зелинского (Корзелин) “Кремль под землей”. Вторила и “Рабочая газета”, разразившаяся статьей от 3 марта 1924 года “Подземная Москва” и даже взявшая на себя шефство. Москва, казалось, бредила Грозным и его таинственным кремлевским кладом»⁴.

Вслед за прессой реагировала академическая наука – было проведено несколько публичных диспутов. Голоса подавались и «за», и «против». В целом отношение было настороженным.

Например, историк Ю.В. Готье подал ехидную реплику: «В лице докладчика мы имеем единственного человека, убежденного глубоко в том, что библиотека Грозного именно в Кремле. Это не был строго научный доклад: нет критики и скептицизма; это была горячая агитационная речь, проповедь!

Обрисовались путь докладчика и свободное обращение с историческими фактами. Например, стоило или не стоило Грозному прятать библиотеку? Докладчик не обратил внимания на библиотеку Московской духовной академии. Вопрос о существовании библиотеки Грозного как был темен до Игнатия Яковлевича, таким и остался после него.

Докладчик затронул цель более важную – исследование кремлевских подземелий. Безмерно приветствую начинание, которое мы имеем в лице докладчика Игнатия Яковлевича. Найдут ли что-нибудь, я лично сомневаюсь <...> Вместе с тем будет исследована топография подземного Кремля. Если раскопки будут осуществлены, то разрешатся научно весьма значимые задачи»⁵.

Официальная пресса осудила ученых-консерваторов: 19 июня 1924 г. в «Известиях» вышла заметка «Кастовая наука». По словам ее автора, знаменательно, что «помимо скептического и часто злоиронического отношения к мерам, предлагаемым тов. Стеллецким для отыскания библиотеки Грозного, и обвинений его в неправильном толковании некоторых исторических фактов, было возмущение той “шумихой”, которую вызвал докладчик своими фельетонами о подземной Москве». Напротив, полагал советский журналист, «т. Стеллецкому принадлежит большая заслуга в том смысле, что он именно на страницах газеты, а не в каком-нибудь историческом журнале или специальных, до-

ступных лишь немногим археологических статьях осветил этот интересный вопрос. Но члены ученого ареопага, археологи из общества «Старая Москва», очевидно, смотрят на это дело иначе и обрушились на тов. Стеллецкого именно за профанирование науки, монополистами которой они, вероятно, себя считают»⁶.

Жанр «горячей агитационной речи, проповеди» не устраивал ученых, однако идеально подходил для авантюрного романа и массовой мифологии. Потому, с одной стороны, Стеллецкому пришлось ожидать положительной правительственной реакции на проект еще пять лет – до 1929 г., а с другой – идея получила общественный резонанс, в частности спровоцировав Алексеева на скоропалительное написание романа (в конце текста самим автором в качестве времени работы указан сентябрь 1924 г.).

Отталкиваясь от «шумихи» вокруг библиотеки Грозного, Алексеев реализовал миф о подземной Москве, одновременно усложнив его.

«Подземная Москва» – это, во-первых, результат деятельности Ивана Грозного, личности, как нарочно, придуманной для роли создателя таинственного клада. Убийца, интеллигент, насильник – кому же и прятать сокровища? И вот экспедиция натывается на «подземное кладбище царя Ивана»: «Скелеты лежали в страшном, дьявольском порядке»⁷. Сюжетный штамп приключенческой прозы – «скелеты близ клада» – значимо перекликается с практикой мистериальных ритуалов, при которых посвященные должны ради счастливого проникновения в мир сверхчувственного преодолеть сопротивление «стража порога». Но в романе «скелеты» функционируют еще и в качестве повода для лекции об их «авторе» – Грозном царе: «...эти подземелья, муравленые ходы, кладбище костяков, горящих страшным, мертвым светом в темноте пещер, – все это связано с личностью Грозного царя, насмешника и тирана, личностью, до сих пор еще тусклее освещенной русской историей, чем наши изнемогающие фонарики. <...> странная и зловещая, как хлебнувшая крови сова, фигура московского царя <...> Кто же он? Вампир, садист, которому один только запах крови бередил ноздри, как хищнику, оголодавшему в пустыне?»⁸.

Согласно фольклорным представлениям, клады прячут разбойники и колдуны, «разбойники используют волшебные

предметы, едят человеческое мясо, умеют превращаться в зверей и птиц, им ведомы “запретные слова”, которым повинуются люди, животные и предметы <...> Фольклорные грабители не только умеют грабить, они знают, как хранить награбленное. Такое знание доступно не всякому смертному и, судя по фольклорным текстам, есть знание вполне волшебное»⁹. Алексеев именует Грозного вампиром: действительно, с «демонической» точки зрения достойно внимания, что одной из причин «неупокоенности мертвеца» бывают спрятанные им при жизни сокровища. Ценность золотых монет и украшений не определяется только их реальной стоимостью: это, как указывает В.Я. Пропп, «утратившие свою магическую функцию предметы из потустороннего мира, дающие долголетие и бессмертие»¹⁰.

«Грозный собирал сокровища всю жизнь. Его глаза загорались огнем жизни только при виде крови и золота. <...> Сейчас, когда золото только разменный знак и люди, по крайней мере у нас в России, понемногу уже отвыкают от дурной привычки украшать свои лбы и уши его желтым блеском, мы даже представить себе не можем расточительного блеска московских царей. И не было средства, будь то обман, вероломство, грабеж, убийство, какого ни употребил бы Грозный, преумножая свои сокровища...»¹¹

«Московский подземный Кремль». «...Сюда, куда теперь и мы с вами пробрались с помощью упорства и настойчивости, он прятал лучшее, что имел. Здесь, и нигде больше, по всем данным истории, логики и здравого смысла, им запрятана не только большая и лучшая часть богатства, но и “бесценное сокровище” – библиотека»¹².

Вампир-колдун спрятал сокровища: золото и – как инвариант золота – «бесценное сокровище» – библиотеку.

Следовательно, во-вторых, «московский подземный Кремль» – библиотека Грозного, которая, по убеждению Стеллецкого, была не просто царским книгохранилищем, но уникальной коллекцией, где осели сверхраритетные рукописи византийских императоров и – через византийское посредство – документы вовсе уже непредставимой древности. Эта библиотека –местилище не информации, но Знания. Когда в финале советская экспедиция, разрушив каверзы «концессионеров», нашла библиотеку, «тут оказались: Пиндаровы песнопения, Аристофановы ко-

меди, Гелиодоров эротический роман “Эфиопика”, Поливниевы “Истории”, Гефеотинова “География”, Замолеи, Ефанов – перевод Пандектов, Левиевы, Саллустиевы и Юстиновы “Истории”, Цезаревы записки о Галльской войне и Кедровы эпиталамы, Цицеронова книга о республике, Виргилиевы “Энеиды” и “Идиллии”, Калвовы речи и поэмы, книга римских законов, кодексы Юстиниана, Феодосия, Федора Заморета и сотни других книг, которые остались только в единственном экземпляре во всем мире, о существовании которых историки только догадывались...»¹³.

Перечень книг, извлеченных из тьмы забвения героями Алексева, представляет собой интерпретирующее воспроизведение так называемой «Рукописи профессора Дабелова» – апокрифического черного каталога библиотеки Грозного. Это сочинение, впервые опубликованное в 1834 г. Ф.В. Клоссиусом (см. упоминание фамилий Дабелова и Клоссиуса в речах Мамочкина), большинством специалистов оценивается как подделка¹⁴, хотя существуют и авторитетные защитники документа¹⁵. Стеллецкий, как и следует ожидать, считал «Рукопись Дабелова» подлинной и даже утверждал, что видел ее в Пярну, где оригинал – после повторного обнаружения – якобы снова исчез.

Кстати, неслучайность, системность интереса Стеллецкого к эпохальным библиотечным находкам подтверждается тем, что во время обучения в духовной академии он поправил «скудный студенческий бюджет», переведя с французского книгу Николая Нотовича «Тайна жизни Иисуса Христа». Эта книга, которой увлекались в окружении Рериха, сообщает о старинном тибетском сказании, повествующем о посещении Христом гималайских центров тайного знания¹⁶.

Персонажи Алексева вслед за Стеллецким также рассматривают библиотеку Грозного как находку мирового масштаба: «В конце концов, не только Фредерико Главич, но вся Европа заинтересована в тайнах Московского подземного Кремля. Вы понимаете?»¹⁷.

«Подземная Москва» в одноименном романе Алексева – это, в-третьих, Аристотель Фиорованти: экспедиция «товарища Боба» и Мамочкина (библиотеки им мало) обнаруживает неизвестную науке могилу архитектора.

С мифологической точки зрения Фиорованти дублирует Ивана Грозного в роли создателя сокровища: царь – идеолог, зодчий – технический исполнитель (великий князь Иван III, при котором Фиорованти работал в Москве, в романе мимолетно упомянут как трусоватый современник великих событий). Фиорованти, подобно Грозному, наделяется впечатляющей характеристикой: «Ни до него, ни после него не было зодчего, который сумел бы выпрямить падающую колокольню. Он выпрямил скривившиеся башни по всей Италии, он, наконец, стал... перетаскивать колонны и колокольни с места на место. Так, он перетащил храмы в Риме, в Мантуе, в Ченто и в Болонье. За это его звали Архимедом наших дней, но никто не знал математических формул – его чудес. Их в запаянном браслете носил он на левой руке, и разве только с рукой можно было снять этот браслет. <...> На месте разрушенного выстроил новый Успенский собор. Вывел под Кремлем первый подземный ход. Вымуровал в нем каменную палату, в которую Софья сложила привезенные с собою книги. Он был, наконец, первым денежником царя Ивана. <...> Это он вместе с Софьей Палеолог побудил нерешительного царя Ивана свергнуть татарское иго в 1480 году. Он, наконец, был организатором на Руси артиллерии и управлял артиллерией при взятии Новгорода и Пскова. <...> Это произошло около 1485 года. И до сих пор ни о причинах его смерти, ни о местонахождении его могилы – в России она или за границей – ничего не известно...»¹⁸

Такого рода гиперболизированное изображение итальянского зодчего восходит к Стеллецкому, но Алексеев пошел еще дальше. Писателя, в отличие от археолога, сами книги, похоже, впечатляли не полностью, и Фиорованти – уже без всякой опоры на Стеллецкого – оказывается хранителем утерянных технических секретов (ср.: «Их в запаянном браслете носил он на левой руке, и разве только с рукой можно было снять этот браслет»), которые экспедиция и вернула человечеству (попутно выяснив, что «товарищ Боб» – прямой потомок Фиорованти).

В-четвертых, «подземная Москва» обладает таким заманчивым атрибутом, как, метафорически выражаясь, историческая глубина. Не только книги из царской коллекции очень древние, но и само место столь же древнее. Ссылаясь на совсем ненадежного Иловайского и порой ненадежного Забелина, Мамочкин

напоминает: «На каждом шагу мы попираем подземную Москву, этот зачарованный подземный мир, такой далекий от надземной прозы с ее откровенной погоней за рублем. Если бы внезапно Москву – по-японски – встряхнуло землетрясение, мы с вами, провалившись в тартарары, обязательно угодили бы в лабиринт хитро сплетенных ходов, тайников и пещер <...> с совершенной достоверностью можно сказать, что Язон действительно побывал на Москве-реке. Здесь он менял свои милетские лекифы и светильные лампочки с нескромными барельефами на носильные шкуры, костяные шилья, пряслицы и гарпуны...»¹⁹

Наконец, в-пятых, мифологичность «подземной Москвы» обусловлена самой ее «подземностью», во многом и создающей обаяние этой мифологемы. Подземная Москва напоминает храм, воздвигнутый представителями могущественной исчезнувшей цивилизации: «Было похоже, что путники попали в большой забытый храм, прозрачные потолки которого занесло песками, но колонны внутри еще не обвалились, и стены еще удерживают тысячелетнюю давность от тяжелой поступи времени»²⁰.

Суммируя миф «подземной Москвы» по Алексееву (отчасти и по Стеллецкому), соблазнительно увидеть в нем вариант мифа о подземной таинственной цивилизации, очаровавшего интеллектуалов Серебряного века. Классическую его версию предложил французский оккультист Александр Сент-Ив д'Альвейдр (1842–1909). В посмертно изданной книге «Миссия Индии в Европе» он описал сокровенную подземную Агартху: «...при взаимных притязаниях, распространяющихся на всю Азию, некоторые государства, сами того не подозревая, касаются этой священной территории <...> в одной только Азии около полумиллиарда людей знают более или менее хорошо об ее существовании и величине»²¹. Неисчерпаемые с технической и паранаучной точки зрения информационные кладовые Агартхи откроются «в день, когда Европа возведет на престол Триединую Синархию, вместо ныне царствующей Анархии. <...> Но пока что горе любопытным, которые стали бы рыть землю; они ничего бы не нашли в ней, кроме неизбежной смерти!»²². Согласно характеристике Юрия Стефанова, Агартха «виделась Сент-Иву чем-то вроде земного рая, населенного, однако, не святыми в обычном понимании этого слова, а скорее просвещенными технократами»²³.

Образ Агартхи особенно пришелся ко двору в пору российской смуты. По словам классика эзотерики Рене Генона, «упоминания об Агартхе и ее владыке Брахатме до сих пор встречались только в романах Луи Жаколио (яркий пример тому «Покоритель джунглей» 1888 г. – М. О.), писателя весьма малосерьезного, на чей авторитет полагаться ни в коем случае нельзя. Впрочем, лично мы думаем, что в бытность свою в Индии он мог получить кое-какие сведения относительно Агартхи, но в его романах они получили совершенно превратное и фантастическое толкование. Так обстояло дело до 1924 г., когда произошло новое и в какой-то мере неожиданное событие: выход в свет книги Фердинанда Оссендовского “И звери, и люди, и боги”, в которой он описывает свое полное приключений путешествие по Центральной Азии в 1920–1921 гг. В заключительной части книги содержатся сведения, почти полностью совпадающие с сообщениями Сент-Ива. Шумиха, поднятая вокруг этой публикации, является, на наш взгляд, подходящим поводом, для того чтобы прервать заговор молчания вокруг вопроса об Агартхе»²⁴.

Поляк Фердинанд Оссендовский (1878–1945) – ученый-естественник, автор авантюрных и фантастических произведений, министр в правительстве Колчака – выпустил книгу «И звери, и люди, и боги» в Лондоне. Это рассказ о его бегстве из Советской России через Монголию и Китай, «увлекательная повесть об отчаянной схватке “белых” и “красных”, о перестрелках, переправах через бурные таежные реки и ночевках у походного костра»²⁵. Однако от других «путевых записок» и мемуаров о Гражданской войне книга Оссендовского отличалась мистическим измерением – ее пятая часть посвящена легенде об Агартхе, которую автор излагает не со слов Сент-Ива, но якобы по собственным источникам²⁶: «Более шестидесяти тысяч лет тому назад некий святой скрылся со своим племенем под землей и никто их больше не видел. В подземном царстве побывали многие <...> Ныне же никто не знает, где находится это царство. Кто говорит – в Афганистане, кто – в Индии. Люди там не ведают зла, в царстве не бывает преступлений. Там мирно развиваются науки, и погибель ничему не грозит. Подземный народ достиг необыкновенных высот знания. Теперь это большое царство с многомиллионным населением, которым мудро управляет Царь Мира. <...> Это царство называется

Агарты. Оно тянется под землей по всей планете. <...> В глубоких пещерах существует особое свечение, позволяющее даже выращивать овощи и злаки, люди живут там долго и не знают болезней. <...> Если даже свихнувшееся человечество развяжет против подземных жителей войну, те могут с легкостью взорвать земную кору, обратив планету в пустыню. Они в силах осушить моря, затопить сушу и воздвигнуть горы среди песков пустыни. <...> Царь Мира постигает мысли тех, кто оказывает влияние на судьбы человечества, – царей, королей, ханов, полководцев, первосвященников, ученых и прочих власть предержащих. Он узнает все их помыслы. Если те угодны Богу, то Царь Мира тайно поможет их осуществлению, если нет – помешает»²⁷.

Герои другой книги странствий – фантастического романа «Плутония» (1924) – сами обнаружили под землей доисторический мир с «правдоподобной» фауной и флорой, а также обитающих там людей. Автор «Плутонии» Владимир Афанасьевич Обручев (1863–1956), геолог, путешественник, подобно Оссендовскому, во время революции не сочувствовал большевикам, но после их утверждения у власти нашел возможность компромисса и сделал удачную карьеру академического ученого и литератора. Он позднее настаивал, что роман был написан в 1915 г., но не исключено, что это мистификация. Ведь мог же Обручев позволить себе в предисловии к «Плутонии» очаровательные по наивности строки о романе А. Конан Дойла «Затерянный мир»: «...произвел на меня такое слабое впечатление, что я забыл его название, хотя читал его два раза и не очень давно»²⁸. Или ученый-профессионал, составитель библиографий по своей специальности, не знал, как проверяют выходные данные книги, или он сознательно противопоставлял требования к научному и литературному тексту, или «играл» с читателем.

Если верно последнее предположение, то можно угадать и намерение автора. «Плутония» – такая же реакция на Гражданскую войну, как и книга воспоминаний Оссендовского. Например, с учетом возможной фальсификации даты написания романа настораживает, что самые опасные противники героев Обручева в доисторическом мире – не саблезубые тигры или динозавры, а гигантские муравьи. Путешественники безжалостно убивают их, травят газом, сжигают муравейник, но все тщетно –

перед примитивным, но организованным сообществом насекомых люди вынуждены отступить. И трудно избавиться от мысли, что неуничтожимые агрессивные муравьи, коллективизм которых традиционно было принято сравнивать с коммунизмом, отчетливо напоминают большевиков.

В фантастическом произведении Обручева, как и в мемуарах Оссендовского, кошмар современной политики интерпретируется или компенсируется при помощи оккультных паранаучных концепций. Правда, подземное человечество, с которым вступили в контакт посетители Плутонии, было первобытным и никак не демонстрировало высокого технического уровня утопий Сент-Ива и Оссендовского. Однако само по себе путешествие под землю реализовывало ту же сюжетную и мифологическую парадигму.

Тем более что заглавие романа сигнализирует о причастности к определенной традиции: «В этой стране всегда господствует день. Центральное светило, скрытое в недрах нашей планеты, как бы соответствует представлениям древних народов о боге огня, таящемся под землей. Я предлагаю назвать светило Плутоном, а страну – Плутонией...»²⁹ Это любопытным образом перекликается с книгой французского оккультиста, который допускает именование Агартхи царством Плутона: «Агартта не единственный храм, сообщающийся с недрами Земли, ибо жрецы и жрицы Кельтиды делали то же самое, что и дало друидической Европе название империи Плутона, сына Аменти»³⁰.

Да Обручев и не очень маскируется. В романе содержится подробное изложение еретической с нормативной точки зрения теории полой земли (вызывавшей позднее симпатии руководителей Третьего рейха), в частности, упоминается ученый XVIII в. Лесли, который «утверждал, что внутренность Земли заполнена воздухом, самосветящимся вследствие давления (ср. «особое свечение» в Агартхе Оссендовского. – М. О.). В этом воздухе движутся две планеты – Прозерпина и Плутон...»³¹

Впрочем, теория полой земли была настолько одиозной, что Обручев, пользуясь ею как сюжетной мотивировкой, одновременно отмежевался от нее как доктрины откровенно несолидной. Зато в качестве геолога и исследователя Центральной Азии он полностью разделял концепцию «древнего теменн Азии», т. е. наличия

некоего участка континента, никогда не затоплявшегося, никогда не уходившего под воду. Эта концепция, которую ныне строгая наука отвергает, более основательна, чем ересь полой земли, и, казалось бы, отнюдь не фантастична. Но ведь именно идеи такого рода позволяли аргументировать саму возможность существования древнейшей территории, а значит, и гипотетического народа, что сохранил таинственную доисторическую культуру.

В порядке «странных сближений» также забавно, что знаток подземной Москвы Павел Петрович Мамочкин явно напоминает одного из участников экспедиции в подземную Плутонию, зоолога Семена Семеновича Папочкина.

Аналогично поклонником книги Сент-Ива выступил экстравагантный Александр Васильевич Барченко (1881–1938). Позднее, на допросах у ежовских следователей, он рассказывал: «В период 1920–1923 гг. в Петрограде я добыл книгу Сент-Ив де Альвейдера. <...> В этой книге Сент-Ив де Альвейдер писал о существовании центра древней науки, называемого Агарттой, и указывал ее местоположение на стыке границ Индии и Тибета, Афганистана. По возвращении из Мурманска я поселился в конце 1923 года в ламаистском дацане в Ленинграде. Здесь я установил непосредственные отношения с тибетскими ламами, приехавшими из Лхасы. <...> К этому времени у меня оформилось представление, что “кровавый кошмар современности” есть результат молодости исторического опыта русской революции, который вместе с возникновением и развитием марксизма насчитывает каких-нибудь семьдесят лет. А где же пути и средства бескровного решения возникающих вопросов? В этот же период происходит обогащение сведениями об Агартте у Сент-Ива де Альвейдера, о Шамбале от тибетцев из Лхасы, как о центре “Великого Братства Азии”, объединяющем все мистические общины Востока...»³²

Для Барченко информация о подземной Агартхе оказалась побудительной причиной как изучения телепатии, так и организации тайного общества, стремившегося под покровительством НКВД установить связи с Агартхой-Шамбалой в целях распространения и коррекции идей большевизма. Эволюция этого идейного комплекса, равным образом его связь с деятельностью в Азии Н.К. Рериха обстоятельно рассмотрены в монографии О. Шишкина.

Итак, ситуация Мировой войны и Гражданской смуты способствовала актуализации мифа о подземном мистическом центре, сформулированного в среде оккультистов рубежа веков. Эмигрант-«возвращенец» Глеб Алексеев вполне осознавал катастрофический аспект современности, позволяя себе невнятные рассуждения о «бешеном землетрясении петровских времен, вздернувших Россию не хуже, чем сейчас, на дыбу»³³. Кроме того, он в своем романе – вслед за научными теориями Стеллецкого удачно вписал миф о подземном мистическом центре в рамки московского текста³⁴, к тому же добавив технократический компонент метро.

Идейный конструктор оказался жизнеспособным: миф о подземной Москве – и в чистом виде о поиске библиотеки Ивана Грозного, столичных подземелий, и в трансформированном варианте «московского метро»³⁵ – имел большое будущее.

В качестве своего рода эпилога остается отметить, что Стеллецкий, воспользовавшись строительством метро и при поддержке Сталина провел в 1930-х годах раскопки в Кремле. Как и предполагал скептик Готье, нашлось много интересного, кроме библиотеки Грозного и его сокровищ. Глеб Алексеев, надо признать, тоже не был столь прямолинеен, чтобы просто позволить своим персонажам обнаружить и библиотеку, и тайны Фиорованти и т. д. Он не стал прибегать к обычным для такого типа сюжетов трюкам: находки потерялись, подземелье обвалилось и т. п. Но он воспользовался более изысканным приемом. В финале вся история оборачивается грезой автора: «...мельница под окном ревела густым размеренным шумом, словно большой, уставший верблюд, а я сидел у окна и глядел, как по двору, приликая лапами к весенней грязи, прохаживаются гуси, индюки, куры и всякая другая живность, включительно до большой измазанной свиньи, вышедшей на солнце почесать бок о перевернутую телегу... На этой самой мельнице, у окошка с фикусами, я и придумал все эти штуки о подземной Москве. И конечно, у меня хватило бы изобретательных средств описать весь ход московских торжеств, если бы полчаса назад в комнату не ворвался мельник и не заорал в самое ухо:

– Скорее! Скорее! Мельницу прорвало!»³⁶

- ¹ Алексеев Г. Подземная Москва. М., 1991. С. 5.
- ² Стеллецкий И.Я. Поиски библиотеки Ивана Грозного. М., 1999. С. 245.
- ³ Алексеев Г. Указ. соч. С. 4–5.
- ⁴ Стеллецкий И.Я. Указ. соч. С. 246–247.
- ⁵ Там же. С. 256–257.
- ⁶ Там же. С. 258.
- ⁷ Алексеев Г. Указ. соч. С. 42.
- ⁸ Там же. С. 63–65.
- ⁹ Богданов К.А. Деньги в фольклоре. СПб., 1995. С. 18.
- ¹⁰ Протт В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 297; ср.:
Одесский М.П. Кровавый нюсмейкер XV века: Дракула и его государство в древнерусском «Сказании» // Солнечное сплетение. 2001. № 18/19. С. 301.
- ¹¹ Алексеев Г. Указ. соч. С. 65–66.
- ¹² Там же. С. 70.
- ¹³ Там же. С. 87.
- ¹⁴ Козлов В.П. Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических источников XVIII–XIX веков. М., 1996. С. 113–132; см. на с. 116–117 текст «Рукописи Дабелова».
- ¹⁵ См.: Стеллецкий И.Я. Указ. соч. С. 368–397.
- ¹⁶ Профет Э.К. Утерянные годы Иисуса: Документальное подтверждение 17-летнего странствия Иисуса по Востоку. М., 1997. С. 71–196.
- ¹⁷ Алексеев Г. Указ. соч. С. 6.
- ¹⁸ Там же. С. 35–37.
- ¹⁹ Там же. С. 7.
- ²⁰ Там же. С. 74.
- ²¹ Сент-Ив д'Альвейдр А. Миссия Индии в Европе: Миссия Европы в Азии. Пг., 1915. С. 25–26.
- ²² Там же. С. 31–32.
- ²³ Стефанов Ю. Скважины между мирами: Литература и традиция // Контекст-9: Лит.-филос. альманах. М., 2002. С. 312.
- ²⁴ Генон Р. Царь Мира // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 97.
- ²⁵ Стефанов Ю. Указ. соч. С. 314.
- ²⁶ Ср. обсуждение их надежности: Генон Р. Царь Мира. С. 97–99.
- ²⁷ Оссендовский Ф. И звери, и люди, и боги. М., 1994. С. 310–316.
- ²⁸ Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова. М., 1958. С. 9.
- ²⁹ Там же. С. 82.
- ³⁰ Сент-Ив д'Альвейдр А. Указ. соч. С. 47.

³¹ Обручев В.А. Указ. соч. С. 301.

³² Цит по: Шишкин О. Битва за Гималаи: НКВД: магия и шпионаж. М., 1999. С. 358, 366.

³³ Алексеев Г. Указ. соч. С. 63.

³⁴ См. связь «подземной Москвы» с основным созданием Фиорованти – Успенским храмом Московского Кремля – объектом, смыслообразующим для традиционного «московского текста»: Одесский М.П. Москва – град св. Петра: Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв. // Москва и московский текст русской культуры: Сб. статей. М., 1998. С. 9–25.

³⁵ Рыклин М. Метродискурс // Соцреалистический канон. М., 2000. С. 713–728.

³⁶ Алексеев Г. Указ. соч. С. 89–90.

2003 г.

Впервые: Солнечное сплетение. Иерусалим. 2003. № 5–6 (24–25). С. 262–271.

«Физиологический коллективизм»
А.А. Богданова
Наука – политика – вампирический миф

Буквально вырази обмен, –
Базарный выйдет феномен.

В этих строках М.А. Кузмина (поэтический цикл «Форель разбивает лед», 1927 г.; издан в 1929 г.), по тонкому замечанию Б.М. Гаспарова, содержится намек на экстравагантные научные эксперименты А.А. Богданова, которые ветеран Серебряного века иронически поместил в «вампирический контекст»¹.

И впрямь, деятельность Богданова (Александр Александрович Малиновский; 1873–1928) не могла не вызвать удивления. С одной стороны, он врач, авторитетный большевистский лидер революции 1905–1907 гг., философ-марксист, естествоиспытатель, создатель тектологии (материалистическая наука управления), а с другой – внимательный исследователь «вампирического мифа».

Прежде всего, образ вампира играет значительную роль в научно-фантастической диалогии Богданова о марсианской цивилизации – романах «Красная звезда» (СПб., 1907; на титульном листе – 1908) и «Инженер Мэнни» (М., 1912; на титульном листе – 1913).

Действие «Инженера Мэнни» разворачивается на планете Марс в условиях «развитого капитализма»: главный герой руководит строительством пресловутых каналов, он честен, но слишком жесток в стремлении учитывать исключительно организационный аспект общественных отношений. Инженеру Мэнни идеологически противостоит его сын Нэтти, также осознающий важность строгой организованности, но в первую очередь защи-

щающий интересы рабочих при помощи социальной доктрины «великого ученого» Ксарма (прозрачная анаграмма Маркса). В финале жестокий организатор добровольно уходит из жизни, потому что Нэтти с точки зрения общественной пользы уже вполне способен заменить отца, а с точки зрения идеологии Мэнни воплощает прошлое.

Последним обстоятельством, подтолкнувшим Мэнни к самоубийству, стала встреча с Вампиром. Сюжетный ход, казалось бы, не подходящий для автора-атеиста.

«Вампирическая» тема вводится задолго до финала. В главе «Легенда о вампирах» Нэтти, споря с отцом, поминает упырей, а Мэнни недоумевает, при чем здесь «нелепая сказка о мертвецах, которые выходят из могил, чтобы пить кровь живых людей». «Взятое буквально, – возражает сын, – это, разумеется, нелепая сказка. Но у народной поэзии способы выражать истину иные, чем у точной науки. На самом деле в легенде о вампирах воплощена одна из величайших, хотя, правда, и самых мрачных истин о жизни и смерти».

Согласно Богданову-Нэтти, «вреден и обыкновенный, физиологический труп: его надо удалить или уничтожить, иначе он заражает воздух и приносит болезни». Так же, как труп, вреден для окружающих человек, «когда он начинает брать у жизни больше, чем дает ей. <...> Это – не человек, потому что существо человеческое, социально-творческое, уже умерло в нем; это труп такого существа».

Рассуждения Нэтти основаны на тезисах, сформулированных в первом романе «марсианской» дилогии. В «Красной звезде» Богданов изложил программу «обновления жизни» – способ отвоевать у природы дополнительное время для «социально-творческой» активности человека, способ, применение которого возможно только в условиях «коллективистского строя», т. е. коммунизма. Ради получения этого дополнительного времени необходимо «одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани».

Обобщая «рецепты» обоих романов, можно сказать, что, по Богданову, если человек «слишком долго живет, рано или поздно переживает сам себя», то он либо (в коллективистском обществе) «обновится» кровью товарищей, либо (в обществе индивидуалистическом) превратится в мучимого неутолимой жаждой «социального» вампира, причем «вампир, живой мертвец, много вреднее и опаснее, если при его жизни он был сильным человеком».

Нэтти между тем нанизывает новые «анalogии»: «Идеи умирают, как люди, но еще упорнее они впиваются в жизнь после своей жизни», и вампиризм идеи страшнее элементарного вампиризма: в число его жертв попадают не физические или духовные старики, а «благородные и мужественные борцы».

Печальные сентенции о «благородных и мужественных борцах» почти дословно воспроизводят суждения Богданова из статьи «Вера и наука» (1910), которая была ответом на философский памфлет Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В этой статье Богданов утверждал, что если идеология, пусть даже революционная, «переживает свою социально-трудовую основу», то «становится консервативною, а затем реакционною», превращаясь в «мертвеца, который хватает живого». В частности, на погибель русских пролетариев старый мир «сотворил вампира, по внешнему образу и подобию своего врага, и послал его бороться против молодой жизни. Имя этому призраку – “абсолютный марксизм”. Вампир исполняет свою работу. Он проникает в ряды борцов, присасывается к тем, кто не разгадал его под оболочкой, и иногда достигает своей цели: превращает вчерашних полезных работников в озлобленных врагов необходимого развития пролетарской мысли. Наше отечество – страна молодого рабочего движения, не укрепившейся культуры, страна мучительно-изнуряющей борьбы – дало этому призраку едва ли не лучшие его жертвы: Г. Плеханова еще недавно, В. Ильина (псевдоним Ленина, которым подписан “Материализм и эмпириокритицизм”. – М. О.) теперь, не считая иных, менее крупных сил, но в свое время также полезных для общего дела. Товарищей, попавших во власть злого призрака, мы пожалеем и постараемся вылечить, хотя бы суровыми средствами, если нельзя иначе. А с вампиром поступим так, как со всякими вампирами поступать полагается: голову долой и осиновый кол в сердце!»².

Другими словами, жертва вампиризма идеи должен выбрать: либо, предавшись индивидуалистической самоизоляции, совершенно переродиться, либо, раскаявшись, вернуться в лоно спасительного «коллектива».

«Иногда я думал: вот, я встречаю разных людей, – заключает Нэтти толкование “легенды о вампирах”, – живу с ними, верю им, даже люблю их; а всегда ли я знаю, кто они в действительности? Может быть, именно в эту минуту человек, который дружески беседует со мной, невидимо для меня и для себя переходит роковую границу: что-то разрушается, что-то меняется в нем – только что он был живым, а теперь... И меня охватывал почти страх».

С художественно-функциональной точки зрения слова Нэтти готовят читателя к встрече Мэнни с Вампиром – последнему искушению великого организатора. Но тут есть еще один важный аспект: это своего рода отклик на психическую травму расставания с Лениным. Отсюда и замечание об особой опасности вампиризма идеи, когда гибнут не средние люди, а «благородные и мужественные борцы», революционная элита.

Кстати, «вампирическое» объяснение дискуссий и расколов, раздиравших большевиков после поражения революции 1905–1907 гг., роднит Богданова с А.А. Блоком или А.В. Амфитеатовым, прозревавшими в наступлении реакции магическое влияние упырей. А в порядке «странных сближений» на исходе 1917 г. Д.С. Мережковский писал: «Когда убивают колдуна, то из могилы его выходит упырь, чтобы сосать кровь живых. Из убитого самодержавия Романовского вышел упырь – самодержавие Ленинское»³.

Инженер Мэнни, во всеоружии теории своего сына, напрямую сталкивается с вампиром, принявшим облик некоего Маро – прислужника угнетателей, который ранее был заслуженно убит самим Мэнни. Зловещий фантом не скрывает своей природы: «Да, я – Вампир, не специально ваш друг Маро, а Вампир вообще, властитель мертвой жизни. Я принял сегодня этот образ, как наиболее подходящий для нашей беседы и, пожалуй, один из лучших». Не скрывает Вампир и агрессивных намерений: «Но у меня есть и сколько угодно других; а очень скоро я приобрету еще один, много лучше».

Этот созданный воображением марксиста Вампир отнюдь не аллегоричен, но демонстративно демоничен. И неудивительно,

что его описание перекликается с соответствующими сценами из парадигматического романа Б. Стокера «Дракула» (1897)⁴.

Сходны, например, изображения первого явления Вампира. Богданов: «В самом далеком от него (Мэнни. – М. О.) углу мрак сгустился и принял, сначала неопределенно, очертания человеческой фигуры; но уже резко выделялись горящие глаза», «лицо было гораздо бледнее, губы краснее». Стокер (в русском переводе Нины Сандровой, распространенном в начале XX в.): «Тень подняла голову, и со своего места я ясно различила бледное лицо с красными сверкающими глазами» (слова Мины Харкер в гл. VIII).

Имеются черты сходства и в атрибутах Вампира. Богданов: «Фосфорические огоньки носятся вокруг, вспыхивают ярче, погасают... В колеблющемся свете изменяется пустая улыбка; оживляются пыльно-желтые черты». Стокер: «Воздух полон кружащимися и ветрящимися мошками, и огоньки в глазах волка светятся каким-то синим тусклым светом».

Напоминает «Дракулу» и угроза Вампира, на первое время приводящая в смущение Мэнни. Поначалу Вампир искушал жертву идеалами постоянства, верности себе, но Мэнни, наученный сыном, распознал под благородной оболочкой ненавистное ему неприятие развивающейся жизни. Тогда фантом прибег к новому аргументу: «Знай же, твоя судьба решена, ты не можешь уйти от меня! Пятнадцать лет ты живешь в моем царстве, пятнадцать лет я пью понемногу твою кровь. Еще осталось несколько капель живой крови, и оттого ты бунтуешь... Но это пройдет, пройдет! Я – необходимость, и потому я – истина. Ты мой, ты мой, ты мой!» Здесь богдановский Вампир воспроизводит теорию Нэтти: индивид не может не стать жертвой вампиризма жизни – это «необходимость», закон старения. Однако речи Вампира связаны и с речами Дракулы: «Мщение мое только начинается! Оно будет продолжаться столетия, и время будет моим верным союзником. Женщины, которых вы любите, уже все мои, а через них и вы все будете моими – моими тварями, исполняющими мои приказания, и моими шакалами!» (гл. XX).

Учет «дракулического» контекста позволяет парадоксально интерпретировать исход схватки Мэнни с Вампиром. Инженер решает, что если при капитализме нельзя избежать старения, то по крайней мере можно освободиться от вампиризма идеи

посредством самоубийства. И, таким образом, не превратиться в игрушку сил прошлого, но открыть дорогу Нэтти к социализму. Дракула тоже оставляет жертвам возможность освободиться через добровольное самоубийство, но это оборачивается очередным искушением: самоубийца окончательно попадает во власть вампира. В системе ценностей Стокера (и в полном соответствии с христианской и магической традициями) самоубийство – пособничество вампиру, а по Богданову, наоборот, – акт сопротивления. Что предсказуемо: радикалы любили примерять на себя демонические личины.

Во время Первой мировой войны Богданов как врач служил в русской армии. После революции он, продолжая дистанцироваться от ленинцев, посвятил себя Пролеткульту – просветительской и литературно-художественной организации, преследовавшей цель создания новой культуры посредством развития творческой самодеятельности пролетариата. Богданов оказался бесспорным идеологом Пролеткульта. Так, в 1918 г. критик С.С. Динамов, рецензируя второе издание романа «Инженер Мэнни», декларировал: «Наш журнал как раз и является попыткой осуществить мечты Нэтти»⁵.

Напротив того, Ленин всегда относился к пролеткультовцам настроенно, – видимо, по причине их лояльности к Богданову. Перспектива борьбы с Богдановым за влияние на рабочий класс показалась большевистскому руководству вполне реальной, и оно приняло решительные меры. В 1920–1921 гг. – сразу после Гражданской войны – Пролеткульт по прямому указанию Ленина был реформирован и подчинен государственным структурам, т. е. разгромлен⁶.

Однако, изолировав давнего оппонента от пролеткультовцев, Ленин не стал его уничтожать, а рекомендовал сосредоточиться на другой идее – опытах по обменному переливанию крови, которыми как раз увлекся Богданов.

Позднее ученый вспоминал, что в 1922 г. ему удалось в Англии «добыть необходимые средства и кое-какие приборы для этих опытов»⁷. Оборудование было получено из Англии, похоже, при содействии большевистского руководства. Используя в качестве лаборатории частные квартиры, Богданов во главе нескольких врачей-энтузиастов приступил к медицинским экспериментам.

В 1923 г. Богданов был арестован ГПУ по подозрению в причастности к антипартийным пролетарским организациям, но смог убедить следствие (в лице самого Ф.Э. Дзержинского) в своей невинности и объективной нецелесообразности его причисления к открытым оппозиционерам. Богданов, в частности, писал: «Благодаря исследованиям английских и американских врачей, делавших многие тысячи операций переливания крови, стала практически осуществима моя старая мечта об опытах развития жизненной энергии путем “физиологического коллективизма”, обмена крови между людьми, укрепляющего каждый организм по линии его слабости. И новые данные подтверждают вероятность такого решения. <...> И этим рисковать, этим жертвовать ради какого-то маленького подполья?»⁸.

В итоге Богданов добился значительных успехов: при поддержке И.В. Сталина, Н.И. Бухарина и наркома здравоохранения Н.А. Семашко им был создан Институт переливания крови. «В конце 1925 г., – указывал Богданов, – тов. Сталин предложил мне взять на себя организацию Института, причем обещал, что будут предоставлены все возможности для плодотворной работы»⁹. В 1926 г. Институт разместился на Большой Якиманке, в бывшем особняке купца Игумнова, который позднее был передан французскому посольству.

В 1927 г. Богданов, суммируя в специальной монографии итоги многолетних исследований, почти дословно воспроизвел формулировку «Красной звезды», правда, в «тектологической» аранжировке: сопоставление «разного рода жизненных сочетаний привело меня к мысли, что и для высших организмов возможна “конъюгация” не только половая, но и иного рода – “конъюгация” для повышения индивидуальной жизнеспособности, а именно в форме обмена универсальной тканью организмов – их кровью»¹⁰.

Как и прежде, Богданов не пренебрегал «аналогиями» с «мечтами далекого прошлого», на этот раз прямо называя среди предшественников «физиологического коллективизма» Жила де Ре, в XV в. заслужившего славу чернокнижника и обвинявшегося в магическом использовании крови.

Богданов мечтал связать узами «кровного родства» все человечество, победив старость и избавившись от вампиризма жизни. Но поскольку, по его убеждению, коллективистский строй

в России – несмотря на победу большевиков – не установлен, объективные условия для полной реализации спасительной методики пока отсутствуют: «В нашу эпоху господствует культура индивидуалистическая; ее атмосфера неблагоприятна для нашего метода и точки зрения, лежащей в его основе. Трудовой коллективизм еще только пробивается к жизни. Когда он победит, тогда будут устранены трудности и препятствия, стоящие теперь на пути коллективизма физиологического, тогда наступит его расцвет»¹¹.

В ожидании коммунистического будущего Богданов, казалось бы, ограничился проведением исследовательских работ, решением прикладных медицинских задач (среди исцеленных посредством обменного переливания крови – сын самого экспериментатора). Однако есть основания полагать, что создатель тектологии не смирился с отказом от «генеральных» целей.

Дело в том, что особую категорию пациентов Богданова составляли ветераны партии: В.А. Базаров, давний товарищ по марксистскому движению; М.И. Ульянова, сестра Ленина, болезнь которой, несмотря на предсказанный кремлевскими врачами летальный исход, была излечена благодаря обменному переливанию крови, и другие.

Конечно, «физиологический коллективизм» функционировал в рамках системы специальных услуг высокопоставленным номенклатурным работникам. Но вместе с тем Богданов, так сказать, практиковал «тектологическую магию». Ведь согласно принципам «обменного переливания крови» операция в идеале требует участия старика и юноши, а значит, «партнерами» ветеранов должны быть молодые люди. Ветераны партии передают свою «голубую кровь» подрастающему поколению, связывая «кровными узами» молодежь псевдокоммунистического государства Ленина / Сталина с проверенными борцами за истинный коллективизм.

Своего рода «мостик» перебрасывался от уходящих к людям будущего, минуя живых. Идея, что называется, носилась в воздухе. В сборнике «Жизнь и техника будущего» сообщалось: «Тщательное изучение мозга нашего гениального современника В.И. Ленина и сравнение тонкого архитектурного строения его мозга с мозгами людей среднего психического уровня выявляет необычайное богатство материального субстрата – архитектуру

строения и развития нервных клеток и нервных отпечатков коры мозга В.И. Ленина, который (т. е. мозг) является несомненным прототипом мозга грядущего сверхчеловека»¹².

Ветераны партии, однако, не только выполняли миссию идейно-кровяного донорства, но и, в свою очередь получая кровь, «причащались» массам, что могло придать им сил жить «по-человечески», т. е. «социально-творчески». Иными словами, Богданов надеялся, что «старая гвардия» получит шанс в борьбе с вампиризмом жизни, а может, и идеи.

«Дракулическая» идея магического вампиризма, использованная для нужд коммунистического строительства, была преобразована в эзотерическую доктрину, предполагавшую укоренение общества будущего (на первых порах – элиты «истинных коллективистов») в «физиологическом коллективизме», где индивиды соединены цепью «кровавых» взаимообменов.

Богданов возглавлял Институт переливания крови до самой смерти, произошедшей в результате очередного – в его жизни одиннадцатого – обменного переливания крови.

Представлявший Политбюро Бухарин произнес на похоронах речь, сочтя нужным напомнить собравшимся, что Богданов «был коллективистом и по чувству, и по разуму одновременно. Даже его идеи о переливании крови покоились на необходимости своеобразного физиологического коллективизма, где отдельные сочеловеки смыкаются в общую физиологическую цепь и повышают тем жизнеспособность всех вместе и каждого в отдельности»¹³.

Впрочем, единомышленники Богданова предполагали, что он был отравлен. И как показали дальнейшие события, основания для такого рода подозрений существовали. Действительно, хоть Сталин, в отличие от Ленина (возможно, даже в пику «учителю»), покровительствовал Богданову, но в 1930-х годах идеи основателя «тектологии» были официально объявлены антиленинскими. В связи с этим один из руководителей Института переливания крови, каюсь, писал, что «теория т. н. “физиологического коллективизма” и теория борьбы со старостью являются методологически ошибочными, чуждыми марксизму установками»¹⁴. Значит, и ранее, в 1928 г., причины для устранения Богданова имелись, тем более что разгоралась борьба Сталина с Бухариным, которого еще Ленин обвинял в «богдановщине».

Итак, Институт переливания крови сохранился как вполне «корректное» медицинское учреждение и ныне носит имя Богданова, а его идеи, адаптировавшие «вампирический миф» к условиям научной и социальной революции, были табуированы.

- ¹ *Гаспаров Б.М.* Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме «Форель разбивает лед» // *Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin*. Wien, 1989. С. 91–92.
- ² *Богданов А.А.* Падение великого фетишизма. Вера и наука. М., 1910. Ср. также очерк: *Богданов А.А.* Великий упырь нашего времени // *Неизвестный Богданов: В 3 кн.* / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1995. Кн. 1.
- ³ *Мережковский Д.С.* Упырь // *Странник*. 1991. Вып. 2. С. 74.
- ⁴ См. подробнее: *Одесский М.П.* Миф о вампире и русская социал-демократия: Очерки истории одной идеи // *Литературное обозрение*. 1995. № 3. Роман Стокера цит. по русскому переводу Н. Сандровой (Н.Я. Гольдберг), вышедшему в 1912 г. как приложение к еженедельнику «Синий журнал».
- ⁵ Пролетарская культура. 1918. № 3. С. 34.
- ⁶ См. подробнее в коммент. к изд.: *Богданов А.А.* Пять недель в ГПУ / Вст. ст., коммент. М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана // *De visu*. 1993. № 7.
- ⁷ *Богданов А.А.* Борьба за жизнеспособность. М., 1927. С. 123.
- ⁸ *Богданов А.А.* Пять недель в ГПУ. С. 28.
- ⁹ *Богданов А.А.* Борьба за жизнеспособность. С. 40.
- ¹⁰ Там же. С. 122.
- ¹¹ Там же. С. 154.
- ¹² *Мелик-Пашаев Н.Ш.* Человек будущего: (В свете современных достижений биологии и медицины) // *Жизнь и техника будущего: (Социальные и научно-технические утопии)*. М.; Л., 1928. С. 367–368. См. об этом проекте: *Спивак М.Л.* Посмертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, Владимир Маяковский в коллекции Института мозга (материалы из архива Г.И. Полякова). М., 2001; забавно, что Институт мозга располагался в том же особняке на Большой Якиманке, что и богдановский Институт переливания крови.

¹³ Труды Государственного научного института переливания крови им. А.А. Богданова. М., 1928. Т. 1. С. X.

¹⁴ Переливание крови как научный метод. М.; Л., 1935. С. 90.

2004 г.

Впервые: Проектное мышление сталинской эпохи. М.: РГГУ, 2004. С. 7–17.

Вампирическая топика и современный антисемитизм

Современную версию поэтики вампиризма продуктивно отсчитывать от фильма Форда Ф. Копполы «Дракула Брэма Стокера» (1993). Традиция вампирического кино получила новый импульс. В третьем тысячелетии авангардный «Дракула» канадского режиссера Г. Медина (2002) продолжил интеллектуальную линию – роман Стокера представлен как эстетский балет, где персонажи загримированы «под» героев Копполы, а действуют в черно-белом немом фильме «под» экспрессионистский шедевр Ф. Мурнау «Носферату, симфония ужаса» (1922), манифестируя вечное противостояние викторианской непорочности и вампирической сексуальности. В фильмах «Вампиры» (1998) Дж. Карпентера и «Ван Хелсинг» (2004) С. Соммерса борьба с вампирами экстравагантно преобразована в боевик, а истребители вампиров – в элитный спецназ на службе Ватикана.

В этом же ряду следует рассматривать фильм «Дракула 2000». Режиссер П. Луссьер (Lussier, в русских СМИ фамилия передается разными способами) снял фильм по оригинальному сценарию (написан им в соавторстве с П. Суассоном). Фильм не ориентирован на семейный просмотр и адресован интеллектуалам (о чем свидетельствует марка фирмы «Miramax»).

Сюжет привычно построен на очередном воскрешении Дракулы, но содержит неожиданный постмодернистский поворот: великий вампир предстает реинкарнацией великого предателя – Иуды. Этот поворот позволяет «обогащить» традиционный образ, мотивировав ненависть вампира к Христу, христианской конфессии и т. д.

Восприятие фильма Луссьера в России ознаменовалось специфическим побочным эффектом, который обусловлен несложной логической операцией: Дракула – Иуда Искарот; Иуда – еврей, значит, и Дракула – еврей.

Одна из участниц интернет-диалога делится такими сообщениями:

Недавно мне наконец-то удалось посмотреть этот фильм. И я сделала такой вывод – слишком слабая раскрутка для этого весьма неплохого фильма. <...> Фильм очень классический и следует устоявшимся мифам о вампирах – они боятся крестов, святой воды и т. д.; убить их можно осиновым колом, предварительно отрубив голову. Все, укушенные Дракулой, смогут вернуться обратно в человеческий облик, если того убьют. Но! Есть <две> вещи, которые выделяют этот фильм из всех остальных: <...>

2. Дракула – это не известный всем Влад Цепеш, а еще более известный Иуда Искарот.

В общем, вспомнили авторы о том, что есть еще больший грешник в истории, чем какой-то там польский князек (ну подумаешь, на кол он людей сажал и на трупах пирует, зато Иуда – круче, на самого Бога замахнулся). И тут меня осенило – Дракула, получается, еврей! Ух, какой националистский фильм получился – опять евреи во всем виноваты!

Интернет-автор, очевидно, иронизирует. Напротив того, сочинение Владимира Попова «Возвращение Руси. (На пути к Русскому государству)», примерно в те же годы размещенное в Интернете, вполне серьезно. Попов (главный редактор газеты «Эхо России»), синтезируя результаты антисемитской историографии, теософии и разысканий о паранаучных авантюрах начала XX в. (советский проект скрещивания человека с обезьяной), сформулировал масштабные выводы: «Легенда о Дракуле открывает нам самую тайную реальность этих нечеловеческих существ. Дракула – это автобиография обезьяны-еврея. Чтобы продлить свою жизнь вампира, он должен сосать арийскую кровь, продлевая таким образом до бесконечности свое существование зомби, впитывая магическую субстанцию, содержащуюся в ней. Правда о ритуальных преступлениях евреев исторически доказана великим

русским исследователем Владимиром Далем, автором знаменитого Толкового словаря русского языка. <...> Те, кто верит, будто потомки лемурийских обезьян – такие же существа, как остальные люди, никогда не сможет понять их»².

Также в интернет-версию сочинения Попова включена актуальная информация к размышлению: «Весной 2002 года Москва была заклеена рекламой “романтического мюзикла” “Дракула”, посвященного жизни румынского князя-вампира. Субкультура вампиров вышла из подвалов на белый свет и распространяется уже не только магазином элитарной музыки “Трансильвания-2000” на Тверской улице, д. 6/1. Теперь пропагандой вампиризма занимаются наряду с Голливудскими кинокомпаниями “Русское радио”, “Независимая газета”, “Аргументы и факты”, “Новые известия”, ГАЗПРОМ, СЛАВНЕФТЬ, ЮКОС и другие менее известные конторы».

Для сравнения: автор «Майн кампф» размышлял в направлении, казалось бы, близком Попову и его читателям-единомышленникам. Обличая диктатуру евреев в России, он декламировал: «Однако конец свободе поработенных евреями народов становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов. После смерти жертвы раньше или позже издыхает и сам вампир».

Однако в «Майн кампф» это не столько мифологическое утверждение, сколько адаптированный к антисемитизму риторический штамп. Ведь еще в XVIII в. слово «вампир» (едва успев актуализироваться) было трансплантировано в область социологии, где удобно указывало на паразитов-эксплуататоров.

В специальной статье «Вампиры», вошедшей в знаменитый «Философский словарь» (1764), Вольтер саркастически иронизировал: «Что! Это в нашем-то восемнадцатом веке есть вампиры! В них поверили; и это после Локков, Шефтсбери <...> во времена Д’Аламберов, Дидро <...> преподобный отец Дон Августин Кальме, священник, бенедиктинец конгрегации Сен-Вана и Святого Гидульфа, аббат Сенона – аббатства, приносящего 100 000 ливров ежегодно, соседствующего еще с двумя аббатствами с теми же доходами – опубликовал, и не один раз, историю о вампирах с одобрения Сорбонны <...> Эти самые вампиры – мертвецы, которые выходят ночью из своих могил, чтобы приходить к живым и высасывать их кровь либо из горла, либо из живота,

после чего они снова укладываются в свои ямы. Живые от укуса вампира худеют, бледнеют, чахнут, а мертвецы-кровососы жиреют, приобретают здоровый цвет лица и вообще выглядят весьма аппетитно. Они устраивали свои застолья в Польше, Венгрии, Силезии, Моравии, Австрии, Лотарингии. Ни в Лондоне, ни даже в Париже о вампирах и не слышали. Я признаю, в этих городах есть биржевые игроки, трактирщики, деловые люди, которые средь бела дня пьют кровь народа; они, конечно, испорченные, но не мертвые. И проживают эти настоящие кровососы отнюдь не на кладбищах, а в очень удобных дворцах»³.

Автор современной содержательной статьи, приведя также цитату из написанного Ф. Клингером – представителем немецкой генерации «Буря и натиск» – романа «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1791) (где король Людовик XI пьет кровь младенцев «в безумной надежде, что его старое, дряхлое тело помолодеет от свежей и здоровой детской крови»), справедливо замечает, что «эта аллегорическая интерпретация темы в дальнейшем глубоко укоренится в общественно-политической речевой практике и, наложившись на новые социально-экономические реалии XIX века, породит известную формулу Маркса о присущей капиталистическому производству “вампировой жажде живой крови труда”»⁴.

В русской леворадикальной традиции с последней трети XIX в. наряду с другими клише от мифопоэтической риторики фигурирует «царь-вампир»⁵. В памфлете А.В. Амфитеатрова (1907) в вампира превратился Победоносцев, причем штамп обогащен колоритными эмоциональными деталями. «Вездесущий, всевидящий, всеслышавший, всепроникающий, всеотравляющий туман кровососной власти, от которого нечем дышать русскому обывателю и напитываясь которым дуреет и впадает в административное неистовство русский государственный деятель, министр. Он – медленное убийство в среде правящих и медленная смерть среди управляемых»⁶. И т. д.

Таким образом, если вампиры-паразиты и эксплуататоры – публицистический штамп, то буквальное отождествление евреев с Дракулой и вампирами – дифференциальный признак именно современной версии вампиризма.

Напротив того, в фольклорной традиции евреи, вопреки «всем известной» тяге к христианской, арийской и т. п. крови, отнюдь не

включались в класс упырей. Это утверждение – в силу необъятности материала фольклорного, литературного и т. д. – имеет предварительный характер, однако правомерно указать на некоторые факты.

Дж. Трахтенберг в фундаментальной работе о дьяволе и евреях (впервые 1943 г.) писал: «Мы уже отмечали, что евреев подозревали в нездоровом интересе не только к крови, но также и к органам человеческого тела». Горько констатируя живучесть «средневековых представлений» (со ссылкой на авторитетный немецкий словарь суеверий 1927–1939 гг.), ученый приводил разные мотивации этих устойчивых «представлений»: евреи якобы признают превосходство крови христиан; используют ее в медицинских и магических целях; буквально реализуют евангельское проклятие о крови Иисуса⁷ и т. д. Симптоматично, что среди перечисленных мотиваций нет вампиризма как своего рода квазифизиологической потребности.

Аналогично О. Белова указывает на распространенное в «славянской народной культуре» «представление, что у инородцев (иноверцев) нет души, и потому все они причисляются к разряду “нелюдей”, выступая как возможные воплощения нечистой силы»⁸. Соответственно евреи на фоне многовекового бытования «кровавого навета» вроде бы должны обретать отличительные признаки кровососов: «Согласно верованиям поляков, вредоносные ходячие покойники (упыри) активизируются в дни еврейских праздников (а также в новолуние или полнолуние, в пятницу или в тот день недели, когда он умер, а также в годовщину своей смерти или когда в окрестностях кто-нибудь кончает самоубийством)»⁹. Как нетрудно убедиться, отчетливая и особая связь упырей с евреями снова не акцентирована: «еврейская» мотивация (иудейские праздники) безразлично вписана в ряд других мотиваций. По мнению современного польского антрополога, антисемитские / антииудейские «легенды о крови» связаны «не с тем, что евреи – вампиры, а с тем, что они – чародеи»¹⁰.

Известно, что европейская беллетристика освоила вампирическую топику в первые десятилетия XIX в. Если отвлечься от своеобразной модели, представленной Гёте в балладе «Коринфская невеста», то вампир, по-видимому, впервые мелькнул в необъятной поэме Р. Саути «Талаба-Разрушитель» (1801). В поэме помещено фольклорное примечание, которое сообщает о

характерной для турок вере в оживших мертвецов. В частности, реферируется «хоррорный» эпизод: путники, «проезжая мимо еврейского кладбища», видят старого еврея, «сидящего на могиле. Янычар поскакал к нему, выбрал за то, что тот поганит мир во второй раз, и приказал снова вернуться в могилу»¹¹.

Романтики поддержали вампирический почин Саути, но в их хрестоматийных текстах еврей-покойники более не встречаются. В 1819 г. Джон Полидори, врач и секретарь Байрона, опубликовал повесть «Вампир», выдав ее за текст патрона. В журнальной публикации повесть сопровождалась редакторской заметкой, суммирующей достижения вампирологии: «Суеверие, на котором основана повесть, очень распространено на Востоке. Оно присуще арабам; греки его не знали до установления христианства; оно приняло настоящую форму только после разделения латинской и греческой церкви; в это время стала преобладать идея, что тело католика не подвержено тлению, если оно захоронено в своей земле, популярность идеи постепенно росла и создавалось множество чудесных историй, все еще бытующих, о мертвецах, восстающих из могил и питающихся кровью молодых и прекрасных жертв. На Западе суеверие известно, с незначительными вариациями, в Венгрии, Польше, Австрии и Лотарингии...»¹²

В легендарной мистификации П. Мериме «Гузла, или Сборник иллирийских песен» (1827) соответствующие песни составили особый отдел. В справочном этюде «О вампиризме» Мериме, в частности, писал: «Некоторые полагают, что человека делает вампиром Божья кара, другие – что это проклятие рока. Наиболее распространено мнение, что еретики и отлученные от Церкви, которых похоронили в освященной земле, не могут найти в ней покой и мстят живым за свою муку»¹³. А в якобы фольклорной песне «Константин Якубович» Мериме указал вину героя, облегчившую атаку вампира: он похоронил незнакомца на родовом кладбище, «не разузнав, примет ли латинская земля в свое лоно тело грека-схизматика». Это сопровождается авторским примечанием: «Православный, похороненный на католическом кладбище, становится вампиром, et vice versa».

Другими словами, если в «народной культуре» (Балканы и т. п.) еврей – тотально «чужой», то вампир – это «свой», который при определенных обстоятельствах оборачивается «чужим».

Вампиризм евреев – «открытие», актуализированное в массовом сознании третьего тысячелетия. Вместе с тем культурологическое объяснение этого открытия – помимо психического, социального, политического – следует искать в имманентных особенностях вампирической традиции, а именно в комплексной структуре образа зловещего кровососа, включающей по крайней мере пять элементов¹⁴.

1. В традиционном фольклоре вампир, подобно ведьмам, привидениям, колдунам, – монструозный образ, который функционировал в верованиях разных народов как интерпретативная реакция на некие «события» (бытовые, медицинские, ритуальные и т. п.). Причем если в современной культуре образ вампира значим и разработан, то в фольклоре он смутен, нечеток, не ограничен от близких сверхъестественных существ.

2. С традиционным фольклором связаны «вампирические» репутации некоторых исторических деятелей, и прежде всего валашского воеводы Влада Дракулы. К тому же «вампиризм» воеводы был обнаружен исключительно в обратной перспективе – под влиянием стокеровского романа, а в исторической перспективе эта репутация либо вообще не существовала (по мнению патриотически мыслящих румынских историков), либо имела «сокровенный», имплицитный характер.

3. Вампир, в отличие от «соседних» пород оборотней, возвращающихся покойников и т. п., получил известность благодаря усилиям не столько фольклористов и любителей народной старины, сколько бюрократов и публицистов эпохи Просвещения.

4. Как уже упоминалось, в литературе востребованность вампиров, наряду с другими сверхъестественными существами, связана с романтизмом. А в конце XIX столетия в рамках так называемого неоромантизма Б. Стокер сконструировал впечатляющий квазифольклорный образ, подменив традицию литературной игрой.

5. Современный вампир – вампир Стокера, т. е. «правила» его поведения восходят не к фольклору, но к английскому роману. Одновременно, хотя современный вампир чаще всего носит имя «Дракула», он отнюдь не тождественен стокеровскому персонажу. Масскультовая интерпретация апеллирует сегодня не к роману Стокера, а к его переделкам (в разных искусствах), Дракула же

принадлежит к персонажам (Франкенштейн, Голем, Гарзан и т. д.), которые иллюстрируют, так сказать, «смерть автора»: их происхождения не имеют почти ничего общего с романами-источниками и тяготеют к «сериальной», кумулятивной композиции.

Более того, образ Дракулы переступил литературные рубежи и оказывает воздействие на социальное пространство. В коммунистической России А.А. Богданов пытался трансформировать вампиризм в проект «физиологического коллективизма» – кровного братства представителей общества будущего¹⁵. В посткоммунистической Румынии туристические маршруты прокладываются по местам «исторических деяний» воеводы Влада Дракулы и персонажа Стокера. Существует также молодежная мода (точнее – стиль жизни), ориентированная на готику и поэтику вампиризма.

Итак, вампирический миф при фольклорном генезисе продолжает развиваться в условиях постиндустриального общества, постмодернизма и т. п. и завоевывает все большую популярность. Вырабатываются новые правила. Усложняется структура образа традиционного кровососа, что и порождает оптимальные условия для дальнейших манипуляций. Дракула свободно совмещается с Иудой, а «обнаруженная» принадлежность его к евреям резонирует в социальном пространстве и направляет «озабоченную» аудиторию на актуальные размышления о евреях-упырях.

¹ См., напр.: <http://www.proza.ru/2004/10/26-222>

² <http://www.serrano.lenin.ru/golem.html>

³ Цит. по: *Мариньи Ж.* Дракула и вампиры: Кровь за кровь. М., 2002. С. 110–111.

⁴ *Антонов С.А.* Тонкая красная линия: Заметки о вампирической парадигме в западной литературе и культуре // «Гость Дракулы» и другие истории о вампирах / Сост. С.А. Антонова. СПб., 2007. С. 25.

⁵ *Вайскопф М.* Писатель Сталин. М., 2001. С. 167–169.

⁶ *Амфитеатров А.В., Аничков Е.В.* Победоносцев. СПб., 1907. С. 41. См. подробнее: *Михайлова Т.А., Одесский М.П.* Граф Дракула: опыт описания. М., 2009. С. 172–175.

⁷ *Трахтенберг Дж.* Дьявол и еврей: Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом. М.; Иерусалим, 1998. С. 130.

- ⁸ Белова О. Евреи и нечистая сила: (По материалам славянской народной культуры) // Трахтенберг Дж. Указ. соч. С. 259.
- ⁹ Там же. С. 270. Исследователь ссылается на: *Baranowski B.* W kregu ciorow i wilkolakow. Lodz, 1981.
- ¹⁰ *Tokarska-Bakir J.* Legendy o krwi: Antropologia przesadu. Warszawa, 2008. S. 264.
- ¹¹ Цит. по: *Summers M.* The Vampire: His Kith and Kin. N.Y., 1960. P. 280.
- ¹² Ibid. P. 282.
- ¹³ *Мериме П.* О вампиризме / Пер. Н. Рыковой // «Гость Дракулы» и другие истории о вампирах. С. 140.
- ¹⁴ См.: *Михайлова Т.А., Одесский М.П.* Граф Дракула: опыт описания. С. 7–16.
- ¹⁵ См.: *Одесский М.П.* «Физиологический коллективизм» А.А. Богданова: Наука – политика – вампирический миф // Проектное мышление сталинской эпохи. М., 2004.

2009 г.

ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ
VS
ПОЭТИКА СМИ

Русские газеты и «Незнакомка» А.А. Блока Убийство Гапона

Организация дач в России – продолжительный и сложный процесс, однако можно утверждать, что специфический «дачный текст», отличный, к примеру, от провинциального или усадебного, был освоен культурой только к рубежу XIX–XX вв. (пьесы А.П. Чехова, «Дачники» М. Горького)¹, в том числе мотив «темной стороны» дачной жизни.

Самое простое выражение этого мотива – *криминальное* – связано с базовой оппозицией «природа / цивилизация». Дача, которая удалена от цивилизации, есть место блаженного отдохновения и одновременно опасное место, где без городского освещения, без бдящей полиции человек превращается в легкую добычу злоумышленников. Нервозный персонаж «Дачников» бормочет: «...и кажется, что в лесу притаился кто-то... недобрый... Свистят сторожа и свист такой... насмешливо-печальный... Зачем они свистят?»². В популярной книге «Преступления, раскрытые начальником С.-Петербургской сыскной полиции И.Д. Путилиным» дачные топонимы то и дело выступают как место совершения преступления (события происходят в 1850–1880-х годах). Такова новелла, озаглавленная «Парголово-ские черти». Зачин – почти идиллический: «...я частенько навещал мою семью, проводившую лето на даче, в третьем Парголово. Наслаждаться прелестями дачной жизни приходилось, однако, немного. Приедешь, бывало, на своем Серке (о железных дорогах и т. д. тогда еще и помину не было) на дачу часам к пяти, пообедаешь с семьей, погуляешь, а уже часам к 10 вечера спешишь обратно в город...»³ И, по контрасту, «теплой августовской ночью» дачное шоссе обнаруживает inferнальную изнанку: «Вдруг моя лошадь неожиданно остано-

вилась и затем круто шарахнулась в сторону. Но в тот же момент чья-то сильная рука схватила Серко под уздцы и осадил его на месте... Я растерянно оглянулся вокруг и увидел по обеим сторонам своего кабриолета две самые странные и фантастические фигуры... Рожи их были совершенно черны, а под глазами и вокруг рта обрисовывались широкие красные дугообразные полосы. На головах красовались остроконечные колпаки с белыми кисточками. Черти, совершенные черти, как их изображают на дешевых картинках... Недостает только хвоста и рогов, подумал я; однако ясное дело – жулики!..»⁴ И т. п.

Более сложное выражение мотива «темной стороны» дачного текста – *социально-обличительное* – предполагает противопоставление самозабвенной «праздности», которой предаются дачники, тоскливой изнанке их жизни (ср. в «Дачниках» напыщенно-аллегорическую реплику человека из народа – ночного сторожа: «Сору-то сколько... черти! Вроде гуляющих, эти дачники... появятся, насорят на земле – и нет их... А ты после ихнего житья разбирай, подметай...»⁵).

Применительно к Петербургу это противопоставление могло поддерживаться привычкой столичных жителей использовать загородные дачи – Шувалово, Озерки – не только для летнего проживания, но и для прогулок и всякого рода развлечений. Здесь хрестоматийным может считаться стихотворение А.А. Блока «Незнакомка», при публикации которого автор счел необходимым указать в качестве места создания (и действия) Озерки.

Как писала З.Г. Минц, «в плане социальной интерпретации пространственных характеристик было бы интересно сравнить образы “дачи” и “дачников” у Блока с их решением в реалистической прозе начала XX в. (М. Горький, А. Kupрин, Л. Андреев, И. Бунин и др.)»⁶. Первоначально «Незнакомка» предназначалась для сатирического журнала З.И. Гржебина «Адская почта» (ср. постоянно цитируемое свидетельство В.Б. Шкловского⁷), в качестве «произведения комического или сатирического плана»⁸ вполне соответствуя обличительному дискурсу⁹. Однако вскоре стихотворение, завоевав широкую популярность, эмблематизировало и обогатило новыми нюансами текст петербургских дач. Григорий Чулков: «...эти “испытанные остряки”, этот “крендель булочной” и эти “загородные дачи” – лишь фантомы и призраки <...> остался лишь

призрак быта, лишь темный кошмар...»¹⁰ Вильгельм Зоргенфрей: «Помню, “Незнакомка”, недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке “загородных дач”, после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно тревожное и радостное впечатление...»¹¹ Борис Садовской: «По пути Александр Александрович указал мне исторический “крендель булочной”, воспетый в “Незнакомке”. На солнце он действительно золотился»¹². Корней Чуковский: «Я часто встречал Александра Александровича там, в Сестрорецке, а чаще всего в Озерках и в Шувалове, которые он увековечил в своей “Незнакомке” и в стихотворении “Над озером”»¹³. Константин Мочульский: «Таинственное видение включено в пошлую раму сестрорецкого пейзажа: переулочная пыль, крендель булочной, остряки в котелках, сонные лакеи, пьяницы с глазами кроликов»¹⁴.

Суммируя наблюдения о «темной стороне», можно сказать, что существенный признак дачного топоса – принципиальная двуприродность. Вспоминая – в устойчивой связи с блоковской «Незнакомкой» (ср., по Мочульскому, оппозиция «таинственное / пошное») – Озерки, В.А. Пяст назвал их «тревожно-будничными»¹⁵.

В апреле 1906 г., когда Блок работал над «Незнакомкой», «тревожно-будничная» природа озерковских дач приобрела шокирующий характер: именно в Озерках оборвалась бурная деятельность героя «кровавого воскресенья» священника Георгия Гапона (1871–1906). Вернувшись в Россию в декабре 1905 г., он с женой Марией Кондратьевной Уздалевой поселился на территории Великого княжества Финляндского – в Териоках, на даче Питкинен, откуда легко было выбираться в Петербург (где он также снимал квартиру под фамилией Гребницкий). Гапон был очень занят: он стремился восстановить в России функционирование своей рабочей организации и налаживал контакты с властью – вице-директором департамента полиции П.И. Рачковским.

Кроме того, с февраля 1906 г. в прессу стали проникать сведения о его финансовых махинациях. Гапон, борясь за спасение репутации, в числе прочих мер требовал общественного суда, избрав уполномоченным литератора В.М. Грибовского и пригласив в комиссию кадета П.Н. Милюкова, авторитетного журналиста А.А. Столыпина (брата политика) и других. 12 марта в открытом письме он возмущался некомпетентностью и ничто-

жеством российской журналистики: «Какая жалкая, болезненная подозрительность политических дегенератов и неврастеников... О, Феликсы из “Биржевых ведомостей”, Иуды из других газет и всякие мигающие совы на литературном болоте!.. Карлики и кро-ты! Вы видите только ближайшее, – вид золота вас тревожит и смущает, и вы, как продажная женщина, не в состоянии понять гордое сердце, чувствующее себя выше всяких искушений»¹⁶.

Одновременно Гапон затеял ту интригу, которая вскоре обернулась для него гибелью. Встретившись в московском ресторане с П.М. Рутенбергом, ближайшим знакомым в среде эсеров и соратником по событиям 9 января, Гапон неожиданно предложил ему от лица Рачковского сотрудничество с охранкой, т. е. оплачиваемую должность полицейского осведомителя. Как известно, пораженный Рутенберг известил о предложении руководство партии (Е.Ф. Азеф, М.А. Натансон, Б.В. Савинков, В.М. Чернов) и получил разрешение на ликвидацию прежнего революционно-го лидера. Далее Рутенберг самостоятельно работал с группой революционеров, стремясь заручиться свидетелями, готовыми подтвердить факт предательства Гапона перед теми, кто продолжал доверять вождю. Убедив группу в своей правоте, Рутенберг приступил к выработке конкретного плана.

Прежде всего, отвергли идею убить Гапона в Териоках. По воспоминаниям Рутенберга, «сначала, согласно инструкции Азефа, все было мною организовано в Финляндии. Но я вовремя увидел неуместность этого акта на финляндской территории и все отменил»¹⁷. «Никто, кроме меня, – пояснял Рутенберг, – до смерти Гапона не знал о даче в Озерках, которая была нанята мной неожиданно, вопреки инструкциям Азефа, поручившего все сделать на финляндской территории. (Может быть, он этим имел в виду скомпрометировать Финляндию.)»¹⁸ «Обсуждался и вариант ликвидации Гапона на его квартире в Петербурге»¹⁹. В итоге остановились на специально снятой даче близ Петербурга. Думали о Шувалове, даже осмотрели помещение, но там дача, согласно анонимному мемуаристу, «не подошла из-за слишком близкого соседства станového»²⁰. Потом сняли дачу в Озерках, на углу Ольгинской и Варваринской улиц, в глухом месте – в сосновой роще на берегу озера. Рутенберг вспоминал: «Была нанята дача Звержицкой, в Озерках, на имя И.И. Путилина, явившегося туда в

сопровождении своего “слуги”. Из конспиративных соображений пришлось потребовать, чтобы дачу убрали...»²¹ Пикантная деталь: Рутенберг назвал себя Иваном Путилиным, возможно, игриво напоминая полиции об известном сыщике. Мебель была только в одной комнате, и, как позднее живописал ее эсер-литератор С.Д. Мстиславский, «именно это придавало ей особенно нежилой вид. Стол овальный, с потрескавшейся, горбами скоробленной, ореховой фанерой, два стула, чуть осевший на одну ногу, розовым пыльным кретоном крытый, диванчик. Со стола чахлым огоньком мигала жестяная лампочка. Два стакана, четыре тарелки, горкой, одна на одну, вилки, столовый нож»²².

Все было готово, Рутенберг вызвал Гапона. На страстной неделе – 28 марта 1906 г. – Гапон отправился в Озерки с Финляндского вокзала, запасшись обратным билетом. На даче Рутенберг спровоцировал откровенный разговор о полиции, его сотрудники, заранее спрятавшись, слышали все необходимое, и Гапон был ими безжалостно казнен как предатель. П.М. Рутенберг: «Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник 28 марта 1906 года. Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только и укрыли шубой. <...> Все ушли. Дачу заперли»²³.

Убийство Гапона в течение некоторого времени оставалось тайной. На следующий день либеральная газета «Русское слово» сообщила: «...Георгий Гапон в настоящее время стал появляться в одном из ресторанчиков на Владимирской улице, где обыкновенно собирается мелкая пишущая братия. Среди этой братии упорно говорят, что Гапон приступает к изданию политико-сатирического журнала»²⁴.

Только 13 апреля 1906 г., пока другая либеральная газета, «Биржевые ведомости», продолжала брезгливо спорить с «гадостью» – открытым письмом Гапона от 12 марта, информированная газета «Новое время» поместила заметку «Убийство о. Гапона»: «По слухам, распространившимся сегодня ночью в городе, в посаде Колпино Николаевской железной дороги найден обезображенный труп Гапона, убитого неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах. Труп оказался зарытым в кучу мусора. При нем найдено сто рублей. Но правда ли? Те подробности, которые нам

переданы, мы не могли проверить за поздним часом. Несколько дней тому назад, в заметке об исчезновении о. Гапона, мы приводили рассказ о свидании его с одной дамой, которая предупреждала его о возможности убийства. Затем говорилось, что его сослали в монастырь, но сегодня это известие опровергнуто. И вдруг сегодня слух об его насильственной смерти. Если это справедливо, то это так же возмутительно, как все эти так называемые политические преступления, эти тайные судилища, напоминающие жестокие нравы средних веков».

Газетный сюжет развивался по нарастающей, преимущественно на страницах «Нового времени». 15 апреля на «ударной» первой полосе материал «К исчезновению Гапона»: «В четверг 10 апреля о. Гапон тайно повешен четырьмя русскими революционерами, принадлежащими к рабочим классам. <...> Фигурирует дача <...> А возможно, что все это комедия, или роман во вкусе “Воскресший Рокамболь”». На следующий день – информационный блок: аналитическая статья А.А. Столыпина и статья «К убийству о. Гапона», подписанная «Маска». Это был псевдоним И.Ф. Манасевича-Мануйлова, отчасти журналиста, отчасти сотрудника разведки и контрразведки. Статья, как теперь принято говорить, имела характер «слива» – вброса в общественное сознание достоверных, однако тенденциозно препарированных сведений. Например: «За несколько дней до рокового случая Гапон является к лицу, переговаривавшему с Мартыном (партийный псевдоним Рутенберга. – М. О.), и сообщил ему, что решительный разговор должен произойти на сих днях в окрестностях Петербурга, причем почти с уверенностью можно предсказать успех делу... Нет сомнения, что свидание состоялось, и тут-то Мартын решил покончить со своим “демоном искусителем”... Весьма возможно, что они виделись в Озерках <...> Знаменитый Мартын и его товарищи исчезли из Петербурга и находятся теперь за границей...» В статье «О Гапоне», помещенной в номере «Нового времени» от 18 апреля, «Маска»-Мануйлов дал развернутую характеристику Рутенберга: «Одним из таких типичных жуиров, между прочим, является некий Мартын (Рутенберг), для которого революция лишь одно сплошное гешефтмахерство. Под предлогом осуществлений разных предприятий революционного характера он выманивает немало денег и тратит их с легкостью гусарского корнета на первоклассные рестораны и девиц легкого поведения».

Наконец, сюжет убийства Гапона перестал быть эксклюзивом «Нового времени». 17 апреля информация дается в «Русском слове» (почти идентичный текст – в «Биржевых ведомостях»): «...вчера совершенно случайно сыскная полиция получила сведения, что в Териоках в одной из старых запущенных дач найден труп Гапона. Немедленно на место происшествия прибыли судебные власти, которыми и удостоверено убийство Гапона. Подробности убийства еще не выяснены, но достоверно известно, что Гапона заманили в Териоки на свидание с одной дамой». Как нетрудно заметить, вторичность сведений либеральной прессы привела к тому, что вместо Озерков фигурируют Териоки (возможно, по той причине, что там находилась дача Гапона).

Впрочем, «Новое время» удерживало первенство: 19 апреля убийству Гапона посвящен новый блок, в который входят эссе В.В. Розанова «Пегий человек»; разосланный в газеты текст «суда» рабочих; протесты жены Рутенберга против инсинуаций «Маски». Отсутствие тела, разноречивый характер информации, авантюризм Гапона наталкивали журналистов на странные подозрения: «В самом деле, люди убили человека и не говорят, где его убили. Повидимому, скрывать это нет никакой причины. Английский корреспондент назвал какую-то дачу в Озерках, где его повесили на лампе (так!). <...> Приходит даже мысль, не сам ли Гапон это проделывает, чтобы навек удалиться из России». 21 апреля некий «М.А.» также во всем усомнился, аргументируя выводы литературным анализом революционного «приговора»: «Приговор этот фальшив до очевидности. <...> Для революционного приговора он длинен и достаточно глуп. По своим ненужным подробностям о свидании с чиновниками, по фразам вроде “он осквернил память”, что-то женское. *Cherchez la femme*. <...> Но мертвого тела Гапона не существует».

Тем временем обеспокоенная отсутствием съемщиков хозяйка дачи в Озерках, Звержинская, стала наводить справки; в адресном столе выяснилось, что лже-Путилин отбыл из Петербурга; Звержинская обратилась в полицию; 30 апреля дача в присутствии урядника, дворников была вскрыта; труп обнаружили. Опознали Гапона. Было произведено вскрытие (в полицейском архиве сохранилась жутковатая фотография). Собралась пресса. Журналист Н.И. Кравченко сделал карандашный набросок убитого, который позднее был опубликован.

В номере «Нового времени» от 1 мая (отдел хроники) были расставлены точки над «i» – «Гапон найден»: «30 апреля в 5 ч. дня в Озерках нашли тело Гапона. Таинственная история его исчезновения раскрылась неожиданно. Правда, были слухи, циркулировавшие давно, что Гапон повешен в Озерках где-то в пустой даче. Слухи подтвердились буквально. <...> Страшно кончил этот человек, заставивший так много говорить о себе».

Ситуация была настолько одиозной, что 12 мая министр внутренних дел П.А. Столыпин отправил петербургскому генерал-губернатору А.Д. Зиновьеву гневное письмо-выговор: «В целом ряде сообщений, опубликованных в течение прошлого апреля в наиболее распространенных газетах, заключались самые настойчивые и подробные указания, со ссылкой на местные и заграничные источники и на свидетельства очевидцев, относительно убийства Гапона, при таких, именно, условиях места и времени, которые впоследствии в точности подтвердились обнаруженными фактами. <...> Не подлежит сомнению, что при большей заботливости достаточно было бы обратиться к своевременной беглой проверке Озерковских дач, и преступление было бы раскрыто, а не оставалось бы безгласным в продолжение целого месяца»²⁵. Генерал-губернатор трогательно оправдывался: в Озерках до 2000 дач, а полицейских участковых чинов двое, однако местного станового пристава уволил от должности²⁶.

4 мая «Русское слово» поведало об итоговых событиях предыдущего дня: «Сегодня на Успенском кладбище состоялись похороны Гапона. Присутствовали представители всех гапоновских организаций. Возложено много венков с красными лентами и надписями на них: “Герою 9-го января”, “Дорогому учителю”, “Истинному вождю всероссийской революции” и т. д. С госпожой Уздалевой, женой Гапона, несколько раз была истерика. Над могилой произнесено несколько речей». Могила Гапона также оказалась в пределах Петербургского дачного локуса: Успенское городское кладбище расположено недалеко от станции Парголово.

Сторонники Гапона продолжали чтить его могилу и даже совершали паломничество к озерковской даче – своего рода новой Голгофе. По сообщению «Русского слова» (номер от 18 августа), «15-го августа, в день празднования Успения Божией Матери, на

Успенское кладбище отправлялось много народа; три поезда были настолько переполнены, что некоторые пассажиры поместились на локомотив. Особенно много народа собралось около могилы Георгия Гапона, которую посетители буквально засыпали цветами. По окончании литургии отцом Захарием, товарищем Гапона по семинарии, была отслужена панихида, причем пел хор последователей Гапона. Тут же находилась г-жа Уздалева и горько рыдала. Один из последователей Гапона хотел произнести речь, но полиция не допустила этого. После этого многочисленная публика посетила могилу павших 9-го января. На обратном пути последователи Гапона посетили дачу в Озерках, на которой Гапон был убит».

Итак, апрель 1906 г. – это прогулки Блока по пригородам, по Озеркам, создание «Незнакомки» и это агрессивное обсуждение в газетах исчезновения Гапона, вероятного убийства, причем в качестве места совершения преступления упорно называются Озерки.

Разумеется, не исключено, что Блок – поэт-символист, к тому же выпускник, занятый университетскими экзаменами, и муж, подавленный семейными неурядицами, – мог попросту игнорировать газетную шумиху или, заметив ее, не обратить внимания на Озерки.

Однако Блок далеко не пренебрегал прессой²⁷. В 1905 г. он (наверное, подобно всем россиянам) увлекался Гапоном²⁸ и если собственно в апреле 1906 г. упустил газетный «сюжет», то спустя некоторое время должен был осознать невольный политико-профетический подтекст «Незнакомки». «Тревожно-будничная» природа дачного текста оказывалась мотивированной не только оппозицией «таинственное / пошное», но и, так сказать, *«внутренне чреватое катастрофами / наружно спокойное»*.

Возможно, этим объясняется внесение Блоком даты написания стихотворения при работе над «мусagetским» изданием «Собрания стихотворений» (1911): к пространственной локализации «Озерки» (как значилось в «Нечаянной радости», 1907 г.) он здесь добавил темпоральную – «апрель 1906». Судя по дате в беловом автографе, Блок написал «Незнакомку» 24 апреля²⁹, так что «апрель» в «мусagetском» издании, бесспорно, соответствует биографической летописи поэта (и, кстати, лишний раз доказывает, что стихотворение создано после шумихи с Гапоном). Но при учете формирующейся общей идеи трехтомника актуализация

даты открывает дополнительный метаисторический уровень в интерпретации стихотворения (ср. общее суждение З.Г. Минц: «Соотнесенность ранней лирики Блока с тем, что “реально” происходило в начале XX в., была очень важна для поэта, и чем дальше, тем больше осознавалась им»³⁰). Получается, что, хотя российское общество, не подозревая (буквально) о «скелете в шкафу», погружено во мнимо спокойное дачное существование, поэт-пророк в апреле 1906 г. провидит роковое преступление – убийство Гапона, обнаружившееся только 1 мая, и это убийство – симптом грядущих катастроф, того, «что никто не придет назад» (в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» (август 1905 г.) «...плакал ребенок / О том, что никто не придет назад», в «Незнакомке» «раздается детский плач»).

Похоже, история Гапона не прошла бесследно и для Андрея Белого, свидетеля гапоновской ажитации Блоков в январе 1905 г. Соблазнительно предположить, что заглавие его последнего романа «Маски» (заключительная часть эпопеи «Москва») среди прочих смыслов содержит аллюзию на псевдоним Манасевича-Мануйлова «Маска», «засвеченный» в апреле 1906 г. Действительно, роман посвящен в числе прочего коррумпированной политической жизни России, ее преступным тайнам, что эффектно обобщалось фигурой Манасевича-Мануйлова. Стоит напомнить, что в мемуарной книге «Между двух революций» Белый рассказал о встрече с Манасевичем-Мануйловым в Париже в конце 1906 – начале 1907 г. и дал ему нелестную характеристику: «темная личность, провокатор», «журналист, подозрительный делец и охранник»³¹. А по воспоминаниям П.Н. Зайцева, Манасевич-Мануйлов послужил прототипом Велес-Непещевича, правительственного чиновника, организовавшего в романе «Маски» кампанию по выслеживанию и убийству агента иностранных разведок Мандро³².

В качестве лирического постскриптума – номер «Нового времени» от 5 мая 1906 г., где в очередной раз манифестировалась двуприродность дачного текста. Газета сообщала, со ссылкой на «наших корреспондентов», что в Лондоне «появилась таинственная личность, выдающая себя за Гапона, которого хотела убить полиция, но ошиблась и убила другого. Многие поверили и стали созывать митинги, но самозванец скрылся». С этой информацией соседствовала драгая: «Дача, на которой был найден повешенным

Гапон, уже снята и ремонтируется. Сюда переселяется какое-то семейство, уже живущее в другом флигеле, в котором много молодежи. Они относятся к вещам без предубеждения и не находят ничего страшного прожить лето в квартире, где было совершено преступление». Замечательный пример отсутствия суеверия и в то же время той социальной и эсхатологической слепоты, с которой полемизировал Блок.

¹ См.: Lovell S. Summerfolk: A History of the Dacha, 1710–2000. Ithaka; L., 2003. Знаменательно, что автор этой основополагающей монографии апеллировал именно к заглавию пьесы Горького «Дачники».

² Горький А.М. Дачники // Горький А.М. Собр. соч.: В 17 т. М., 1963. Т. 16. С. 155.

³ Путилин И.Д. Преступления, раскрытые начальником С.-Петербургской сыскной полиции И.Д. Путилиным. М., 1990. С. 148.

⁴ Там же. С. 150.

⁵ Горький А.М. Дачники. С. 228; см. карикатуры в газетах «Петербургский листок» и «Шут», высмеивающие приобретение имени народным писателем Горьким: Русаков В. Максим Горький в карикатурах и анекдотах. СПб., 1903. С. 20–21.

⁶ Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 483.

⁷ Шкловский В.Б. К теории комического // Эпопея. 1922. № 3. С. 58.

⁸ Громов П.А. Блок, его предшественники и современники. Л., 1986. С. 159.

⁹ О благотворном аспекте прогулок Блока как бегства от «узости» и «ужаса» столицы «на острова, в Удельную, Шувалово, Озерки, Сосновку» см.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 243. См. также замечания о социально мотивированном страхе фабричных «Островов» у бюрократа Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого: Там же. С. 235–236.

¹⁰ Чулков Г. Покрывало Изиды: Критические очерки. М., 1909. С. 112–113.

¹¹ Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 12.

¹² Там же. С. 53.

¹³ Там же. С. 220.

¹⁴ Мочульский К.В. А. Блок. Андрей Белый. В. Брюсов. М., 1997. С. 84.

¹⁵ Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 375.

- ¹⁶ Цит. по: *Ксенофонт И.Н.* Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996. С. 245.
- ¹⁷ *Рутенберг П.* Убийство Гапона. М., 1990. С. 71–72.
- ¹⁸ Там же. С. 110.
- ¹⁹ *Ксенофонт И.Н.* Указ. соч. С. 250.
- ²⁰ Там же. С. 251.
- ²¹ *Рутенберг П.* Указ. соч. С. 72.
- ²² *Мстиславский С.* Смерть Гапона. М., 1928. С. 17.
- ²³ *Рутенберг П.* Указ. соч. С. 80.
- ²⁴ Благодарим Сергея Сокурено за доброжелательные консультации о прессе начала XX в.
- ²⁵ *Ксенофонт И.Н.* Указ. соч. С. 263.
- ²⁶ См. резко отрицательную оценку операции Рачковского по заагентуриванию Гапона и Рутенберга руководителем политической полиции: *Герасимов А.* На лезвии с террористами. М., 1991. С. 66–67.
- ²⁷ См., напр., упоминание «Нового времени» в записных книжках за май 1906 г.: *Блок А.* Записные книжки: 1901–1920 / Сост. В.Н. Орлов. М., 1965. С. 75.
- ²⁸ *Андрей Белый.* О Блоке / Сост. А.В. Лавров. М., 1997. С. 131–139.
- ²⁹ *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2: Стихотворения. Книга вторая (1904–1908). М., 1997. С. 759; в посмертном «Алконостовском» издании «Собрания сочинений» (1922) вместо «апрель 1906» поставлено «24 апреля», т. е. дата белого автографа, что с тех пор обрело статус публикационного «канона».
- ³⁰ *Миц З.Г.* Указ. соч. С. 390.
- ³¹ *Андрей Белый.* Между двух революций. М., 1990. С. 131, 155; ср. в записных книжках Блока за 1917 г.: «Омерзительный, малорослый, бритый; “журналист” – из нововременской пивной» (*Блок А.* Записные книжки. С. 338).
- ³² Цит. по: *Андрей Белый:* Проблемы творчества. М., 1988. С. 576.

2009 г.

Впервые: The Dacha Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area // Aleksanteri Series (Helsinki). 2009. № 3. С. 193–204 (совместно с М.Л. Спивак).

Что произошло 11 сентября?
Из газетного комментария
к роману «Двенадцать стульев»

В предпоследней главе романа И. Ильфа и Е. Петрова («Землетрясение») концессионеры чуть не пострадали от крымского землетрясения. Первый удар пришелся на 26 июня 1927 г., но катастрофическими были удары в ночь с 11 на 12 сентября. В романе идет речь именно об этой ночи – Ильф и Петров позаботились о точности, указав, что концессионеры прибыли в Ялту утром 11-го¹.

1

Крымское землетрясение, подобно многим другим эпизодам романа, – событие, имеющее «газетный» статус. Но 11 сентября в советской печати никаких сообщений не было, что и понятно: землетрясение произошло ночью. 12 сентября, в понедельник, «Правда» не выходила (как и «Гудок»), и первый отклик на землетрясение появился 13-го. Это было краткое сообщение, которое затем становится рубрикой «Землетрясение на Юге России». Приводились сведения о жертвах и материальном ущербе.

14 сентября печатается пространная подборка информационных материалов «Землетрясение на Юге России. Больше всего пострадали Ялта, Гурзуф и Алупка. В Ялте 13 убитых и 358 раненых, из которых 38 тяжело».

15 сентября в той же рубрике помещается статья корреспондента Ал. Никандрова «Что мы видели. Ночь в Ялте»:

...что-то душно было. Нехорошо <...> Пол заколыхался, вздрагивая, поднялся, заскрипел и будто готов был рухнуть вниз, комната

заговорила, звякая, дребезжа, осыпаясь. Я упал и почему-то вспомнил разбитую статуэтку Льва Толстого без головы. Я выскочил во двор, потом за ворота. <...>

– Который час? – спросил я у хозяина квартиры. Он стоял одетый, но в носках.

– Часы стали, – громко крикнул он, хотя гул уже прекратился, – у меня двадцать минут первого.

Но что представляла собой улица! Прямо на мостовой сидела плачущая женщина с ребенком. Около нее бегал завернутый в простыню мужчина и кричал:

– Ну, что же ты сидишь?

– Товарищи, не нужно паники! – почти сердито кричал кто-то в военной форме людям, завернутым в одеяла. Ах, это милиционер. Он на своем посту и так профессорски-уверенно говорит женщине:

– Больше ничего не будет.

<...> Теперь спокойнее. Как хорошо, что здесь оказался милиционер! Достали папиросы. Раздают друг другу. Но противно выла собака. Ее ударили, она легла у стены и опять завывала протяжно. Я бегу одеваться.

Нетрудно заметить, что корреспондент кроме изысканного изложения собственных впечатлений явно акцентировал значение милиции, ликвидирующей панику и наводящей порядок. Потому не следует удивляться, что 16 сентября объем рубрики принципиально уменьшается, а в ее заголовке возникает новая формула «Паника улеглась. На курортах образцовый порядок».

Впрочем, удары повторялись, бедствия множились. Только 24 сентября «Правда» поспешила оптимистически сообщить, что это «первый день без толчков», а катастрофические сведения и дальше продолжали печататься.

Сравнивая газетный материал (прежде всего статью Никандрова) с текстом романа², легко убедиться, что авторы точно следовали официальной схеме описания событий.

1. Днем 11 сентября, перед землетрясением: «От жары не было спасения».

2. Как и у Никандрова, сверхчеловеческая мощь катаклизма иллюстрируется ожившими предметами: «...стул сам собой

скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол. <...> Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью “Я хочу Подколесина”, подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю».

3. Точно установлено время: «Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в девять баллов, причинивший неисчислимы бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров».

4. Народ готов паниковать: «Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома, ожидая новых ударов».

5. Люди, вынужденные спасаться из помещений бегством, ходят полуодетыми: «Простоволосая женщина в нижней юбке бежала посреди улицы». Кстати, Ильф и Петров, хоть и освободили себя в романе от изображения преодоления паники, эту фразу, замыкающую в авторской редакции главу, при публикации все-таки сняли.

6. «Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. <...> Ипполит Матвеевич стал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл». Не исключено, что метафорически-собачий образ сходящего с ума Ипполита Матвеевича восходит к воющей собаке из «правдинской» статьи: бывший предводитель дворянства логично замещает пса, благодаря «Двенадцати» Блока привычно символизирующего «старый мир».

Как известно, крымское землетрясение описал другой советский классик, М.М. Зощенко, в рассказе «Землетрясение», напечатанном в 1929 г. Подобно Ильфу и Петрову, Зощенко воспроизводит уже узнаваемую схему³.

1. Указана точная дата (насколько возможно в поэтике Зощенко: день недели перепутан): «Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой».

2. Оживают предметы: «Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет». Впрочем, описание лишено особых подробностей, что мотивированно: герой спит пьяным сном.

3. Народ ходит в неподобающем одеянии: проспавшийся Снопков идет «по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами». Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет: «Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру, зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках». В результате пьяный забрел, если верить его случайному собеседнику, за «тридцать верст» от Ялты, во сне его обобрали и раздели, и Снопков вернулся в город в одних кальсонах. «Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения».

4. Собак у Зоценко нет, однако паникующий народ «стаями ходит», а Снопков исполнен опасений, что «собака может что-нибудь такое отгрызть».

2

Сюжетная функция землетрясения в романе Ильфа и Петрова проста и, по замечанию Ю.К. Щеглова, вполне литературно традиционна: оно, как, например, в «Кандиде» Вольтера, вмешивается в судьбу героев⁴.

Впрочем, вмешательство стихии оказывается отнюдь не роковым: несмотря на «удар в девять балов», стул найден и вскрыт. Препятствие – ложное. А потому соблазнительно предположить, что землетрясение выполняет дополнительную функцию, обусловленную политическим подтекстом романа. Этот подтекст образован борьбой руководства коммунистической партии (И.В. Сталин, Н.И. Бухарин) с левой оппозицией (Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев)⁵. Особенно политически значимы эпизоды романа, содержащие точные даты: само начало романа, приуроченное к середине апреля 1927 г., маркировано так называемой шанхайской резней (открытое выступление Чан Кайши против китайских коммунистов), в которой левая оппозиция увидела глобальный внешнеполитический просчет сталинского Политбюро и, воспользовавшись этим, пошла в решительную атаку. На конец года было назначено важнейшее партийное событие – XV съезд, потому руководство, в свою очередь, наносило оппозиционерам жес-

токие удары, стремясь заранее обеспечить полный контроль над ходом и решениями съезда. В частности, 11 сентября небольшая, но энергичная передовица «Правды», озаглавленная «О предсъездовской дискуссии» и подписанная литерой «Е», ясно дала понять оппозиции, партийной общественности и всем сообразительным гражданам, что партия не потерпит никакой принципиальной дискуссии и что судьба «фракционеро»в» predetermined.

Статья начиналась с того, что объединенный Пленум ЦК и ЦКК постановил «открыть за месяц до XV съезда партии дискуссию по вопросам повестки дня съезда». Однако далее отчетливо разъяснились правила и рамки возможной дискуссии: «Партии нужна *деловая* дискуссия, в которой тезисы ЦК получили бы внимательную критическую проверку со стороны партийных масс, под углом зрения практического опыта работы местных низовых организаций и членов партии. <...> Совершенно *другую* дискуссию пытается навязать партии оппозиция. Ее представители, выступая и на пленуме и после пленума, в ячейках и т. д., упорно пытаются *сорвать* установленный ЦК и ЦКК план деловой дискуссии и протащить свой *фракционный* план дискуссии. <...> Словом, вместо обсуждения деловых практических задач, стоящих перед XV съездом, оппозиция стремится навязать партии снова и снова обсуждение *оппозиционной программы*, которую изготовила на досуге оторвавшаяся от масс и обанкротившаяся группка “бывших вождей”, а теперь просто интеллигентов-одиночек. <...> Только наивные чудаки могут ожидать, что наша партия сейчас, перед XV съездом, допустит такую свободу фракций. <...> За оппозицией никого нет, кроме ничтожного количества одиночек, не пользующихся влиянием в партийных организациях, в партийной массе. <...> Уже один тон, одна “развязная” манера разговаривать с ленинской партией, которую усвоили себе авторы теории о нашем “термидорианском” и “кулацком перерождении”, доставляет несказанную радость врагам пролетариата». Финальный абзац был ясен и особенно агрессивен: «Терпение нашей партии не безгранично. Дальше выносить обман, лицемерие, неподчинение, интеллигентскую распущенность и барский анархизм в своей партии большевики не будут. Истинные перерожденцы и “термидорианцы” в нашей партии, сгруппировавшиеся в троцкистской оппозиции ...либо согнутся перед волей партии и сложат раскольническое фракционное оружие, либо пар-

тия перешагнет через них, твердой поступью идя к съезду по пути, указанному Лениным»⁶.

Статья товарища «Е» получила соответствующий отклик. Очень оперативно, 12 сентября, Троцкий и Зиновьев отправили в Политбюро, ЦКК и Коминтерн программную записку, в которой наряду с «международным положением», политической борьбой внутри Коминтерна, конфликтами партийного руководства и оппозиции отдельным пунктом обсуждалась «правдинская» передовица: «Партия ко всему привыкла в последнее время, но все же она несомненно надеялась на то, что партийный съезд, собираемый после почти двухлетнего перерыва, в очень сложной и трудной обстановке, при наличии внутри партии разногласий по крупнейшим вопросам, будет подготовлен так, как готовились всегда в нашей партии съезды в аналогичных условиях. <...> Возмутительная передовица “Правды” от 11 сентября кладет конец этим естественным надеждам широких масс партии. Передовица проводит совершенно неслыханное ограничение прав членов партии на сознательное участие в партсъезде»⁷.

Таким образом, официальная дата крымского землетрясения, 11 сентября, не ознаменовалась никакими официальными публикациями о стихийных бедствиях. Зато в «Правде» произошло политическое землетрясение: сталинцы обозначили свою позицию – никакой влиятельной оппозиции в партии нет и нечего ждать съезда, чтобы в этом убедиться. Соответственно эпизод в романе «Двенадцать стульев» можно упрощенно интерпретировать примерно так: оппозиция прогнозирует глобальный крах советского государства и мировой революции, но, несмотря на потрясения в верхах, обычные граждане СССР живут своими проблемами, ни о чем подобном не заботясь. И в конечном счете они правы.

«В чем дело? – восклицает Остап Бендер. – Заседание продолжается!»

3

Проверяя основательность политического толкования крымского землетрясения, можно повторно обратиться к рассказу Зощенко. Получается, что это рассказ о пьянице, не заметившем серьезных изменений, которые происходят в стране. И такого

рода прочтение подтверждается финальными размышлениями повествователя:

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи – землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: “Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!”

И очень даже просто.

Более того, шествие сапожника в кальсонах по Ялте считают источником эпизода романа «Мастер и Маргарита» (последняя редакция), где директор Театра варьете Степан Богданович Лиходеев переносится из Москвы в Ялту. В булгаковской Ялте, разумеется, никакого землетрясения нет, и действие романа разворачивается в 1929 г., а не в 1927 г. Но Лиходеев, подобно Снопкову, – пьяница, он оказывается жертвой высших сил и материализуется в курортном городе в исподнем и без сапог. По мнению исследователя, Лиходеев «наказан прежде всего за то, что занимает не свое место. В ранних редакциях С.Б.Л. был прямо назван “красным директором”. Так официально именовались назначенцы из числа партийных работников, которых ставили во главе театральных коллективов с целью осуществления административных функций и контроля, причем “красные директора”, как правило, никакого отношения к театральному искусству не имели. В эпилоге “Мастера и Маргариты” С.Б.Л. получает более подходящее при его страсти к выпивке и закуске назначение – директором большого гастронома в Ростове»⁸.

Если крымское землетрясение – символ политической встряски, а чудесное перемещение Лиходеева – превращенное приключение Снопкова, то Лиходеев – жертва политической перетасовки вроде той, которая в 1927 г. грозила участникам оппозиции (при сравнительно благоприятном для них обороте).

Подобная интерпретация землетрясения подтверждается и таким неожиданным источником, как политические анекдоты 1920-х годов. Их отважно фиксировал украинский филолог С.А. Ефремов (и поплатился за это арестом). В частности, он записал 4 октября 1927 г.: «Вопрос: кто терпеливее – люди или природа? Ответ: люди, ибо мы вот уж как десять лет терпим еврейскую силу

над собой, а Крым на второй уж год проваливается после того, как его евреями колонизировали»⁹. Ближайший контекст анекдота – антисемитская реакция на продюсируемую государством организацию еврейских сельскохозяйственных поселений в Крыму, но, с учетом прочной ассоциации евреев и левой оппозиции, это и симптом общего отношения к происходившему в СССР.

Наконец, Андрей Белый в письмах Р.В. Иванову-Разумнику предложил апокалиптическое толкование крымской катастрофы, которое благодаря отсылке к повести Булгакова «Роковые яйца» также имело политический оттенок: «...бывшие летом в Коктебеле рассказывали мне: перед землетрясением появились в огромном количестве сороконожки и сколопендры; из горных трещин спустились в долины прежде невиданные *гигантские ужи* (старожилы-одиночки рассказывали, что *де* видали таких, но им не верили); появились ужи до 10<-ти> и даже 12<-ти>... аршин (!!!) длины (и – соответственной толщины); т. е. не *ужи*, а – *удавы*, вместе с огромным количеством наводнивших местность змей; это уже... à la Булгаков...»¹⁰

Итак, землетрясение 1927 г. устойчиво фигурирует в советской литературе как знак борьбы в высших эшелонах власти, но если Булгаков в «Мастере и Маргарите» показывает эту борьбу, изображая озабоченность номенклатуры, то Ильф и Петров (равным образом Зоценко) – рядовых граждан советского государства.

¹ Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев / Первый полный вариант романа с комментариями М. Одесского, Д. Фельдмана. М., 2002. С. 368.

² Там же. С. 369–372.

³ Зоценко М. Собр. соч.: В 4 т. М., 2002. Т. 1. С. 455–458.

⁴ Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман. Шеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М., 1995. С. 640.

⁵ См. подробнее: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Легенда о великом комбинаторе: История создания, текстология и поэтика романа «Двенадцать стульев» // Очерки довоенной литературы / Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 185–187.

⁶ В том же номере «Правды» продолжалось детальное обсуждение китайских событий, печатался очередной фрагмент пространного доклада генерального секретаря Профинтерна Лозовского

«Революция и контрреволюция в Китае», а также были помещены «Литературные заметки» В.М. Фриче, озаглавленные «“Китайская повесть” о Б. Пильняке» (с. 6). Заголовок – с намеком. Маститый критик разносил «Китайскую повесть» за то, что Пильняк чрезмерно поглощен своими переживаниями писателя-путешественника: «Так из “Китайской повести” Б. Пильняка читатель узнает, когда он встает и обедает, как томится от жары, пьет шампанское и раскладывает пасьянс, а с другой стороны, как он обожает луну и пироги к празднику, как ощущает таинственность своего любезного “я” и спешит из “объаршиненной” действительности в некую ирреальность». Критик возмущен, что Пильняк не отразил сложной политической ситуации, сложившейся в Китае. Особенное возмущение вызвало финальное описание русского – не советского – пейзажа, символизирующего ностальгию автора: «Такой картиной России кончается “Китайская повесть”. Ночь, волк, луна! А читатель полагал, что Б. Пильняк затосковал в Китае по советской стране, где рабочему и крестьянину живется легче и лучше, нежели в драконном царстве феодальных князьков, компрадорской буржуазии и “цивилизаторской” деятельности английских и японских империалистов». Не исключено, что Фриче, постоянно поминая в связи с Пильняком образ луны, мстительно намекает на скандальную «Повесть непогашенной луны».

⁷ Архив Троцкого / Под ред. Ю.Г. Фельштинского, М.Г. Станчева. Харьков, 1999. Т. 1. С. 270–271.

⁸ Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. М., 1996. С. 452.

⁹ Ефремов С.О. Щоденники, 1923–1929. Київ, 1997. Цит. по: Любченко В. Евреи в городском политическом фольклоре Украины 1920-х годов: анализ дневниковых записей академика С.А. Ефремова // Тирош: Труды по иудаике. М., 2003. Вып. 6. С. 183.

¹⁰ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., коммент. А.В. Лаврова, Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 549.

2006 г.

Впервые: Эдиционная практика и проблемы текстологии. М.: РГГУ, 2006. С. 36–44.

Авангард и советская пресса Случай Даниила Хармса

Авангардную прозу Даниила Хармса продуктивно рассматривали как выражение логико-языкового абсурда, мистико-философских исканий, жанровых особенностей «смеховой» поэтики и т. п. Однако столь же оправдан ее анализ в контексте официальной периодики, хотя Хармс не скрывал враждебности ни к советскому обществу, ни собственно к навязчивому газетному дискурсу. В письме актрисе Клавдии Пугачевой (от 16 октября 1933 г.) он декларировал: «...слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге»¹.

Декларацию Хармса можно понимать буквально – в ряду заявлений разных писателей разных времен, которые дистанцировались от газетной пошлости. Но для советского гражданина эта декларация имеет скорее метафорический смысл. В условиях тоталитарного социума газеты – носитель официального послания всемогущей и всепроникающей власти, которое транслируется в центральной «Правде», а вслед за ней в других СМИ, которое обязательно повторяется в частных разговорах и т. д. Американский славист Джеффри Брукс, обозначая этот идеологический комплекс термином «публичная культура», включавшим «искусство, музыку, литературу, кино, драму, публичные чтения, радио и многое другое», выделял в качестве наиболее показательной формы именно прессу, «партийную газету “Правду”, которую коммунисты 20-х годов уподобляли по влиянию и авторитету Библии, правительственную газету “Известия”»² и т. п. При таком толковании советской ситуации «не читать газет» социологически невозможно. Остап Бендер в «Великом комбинаторе», первом

варианте «Золотого теленка» (1929), говорил: «Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны»³. И разъяснил экипажу «Антилопы» свое политкорректное мнение: «Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей. Начинаю думать, что никто из вас не получил высшего образования. Во всяком случае, газет вы не читаете. Между тем газеты читать нужно. Кроме общего развития, газеты часто подают гражданам идеи!»⁴

Другими словами, в советском социуме нечтение газет – не бытовой факт, но культурный манифест. Формула «не читаю газет» значит «читаю», однако «читаю критически», «читаю, но не принимаю ни в плане содержания, ни в плане выражения»⁵. Именно с этой точки зрения соблазнительно попытаться интерпретировать некоторые поздние авангардные опусы Хармса как критическое чтение газетного текста, в частности фиксировавшего (и диктовавшего) политико-юридическую картину мира.

1

Рассказ «Случаи» датирован автором 22 августа 1936 г. Заглавие вполне прозрачно и подразумевает описание ошеломительной череды «несчастных случаев»: «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы.

Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу»⁶.

При имманентном чтении рассказ производит впечатление, свойственное поздней прозе Хармса: сотворен мрачный абсурдный мир, населенный стремительно мелькающими марионетками, которые наделены двумя признаками – фамилией-ярлыком и способностью стать жертвой «несчастливого случая».

Однако, обратившись к газетам, нетрудно обнаружить хронологически близкий аналог хармсовскому авангарду, но официальный. В номере «Правды» от 15 августа 1936 г. на последней

информационной полосе в рубрике «Происшествия» помещена анонимная статья, озаглавленная «Жертвы неосторожности»:

Москвичи плохо соблюдают правила дорожного движения <...> В ночь на 13 августа на пл<ощади> Прямикова при попытке сесть на ходу в трамвай сорвалась, попала под вагон и была убита работница шарикоподшипникового завода О.Д. Зацепина. Прыгая в трамвай на Валовой ул<ище>, упала на мостовую, получив сотрясение мозга и ушибы тела, Е.С. Фомина. На Ленинградском шоссе при попытке сесть на ходу в трамвай отрезало ногу В.С. Белову, на Zubovском бульваре – И.В. Печникову. В этот день с ушибами головы, переломами и различными ранениями доставлены в больницы прыгавшие в трамвай С.И. Кобрин, И.С. Алексеев, А.А. Генералов, Н.И. Байков, Г.Т. Листкин, А.И. Гвоздев и Х. Ибрагимов.

Сходство – разительное: то же убыстренное чередование несчастных случаев, которые происходят с персонажами, презентированными фамилией. Кажется, что Хармс конспектировал газетное сообщение, придав ему авангардный характер при помощи жанрового переключения – снятия информационной рубрикации и превращения в самодостаточный художественный текст.

Более того, номер «Правды», с которым переключается текст Хармса, далеко не среднестатистический. Дело в том, что с 19 по 23 августа в Москве проходил грандиозный судебный процесс над Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым и другими бывшими руководителями государства⁷. Процесс освещался в прессе и заранее ею готовился. В частности, первая полоса того же номера «Правды» от 15 августа, где обсуждались «жертвы неосторожности», содержала передовицу «Враги народа пойманы с поличным». «Количественно они ничтожны, – успокаивал читателей аноним, чтобы потом не давать спуску «отщепенцам». – Это в полном смысле слова мразь. <...> Социальное обличье было потеряно давно. Утрачивалось и человеческое подобие. Осталась ненасытная остервенелая злоба фашистских гадов. Они охотно размазывали грязь на себе и на своих сообщниках, принимали на себя “моральную”, “политическую ответственность” за преступление. Но это была все та же маскировка...»

Стратегия официальной периодики в дни суда заключалась в контрастном монтаже: позитивная жизнь большинства /

отвратительные преступления злокозненного меньшинства. По словам Роберта Конквеста, «газеты вели злобную обвинительную кампанию против подсудимых, в то же время публикуя материалы, так сказать, противоположного свойства – например, почти ежедневно давая фотографии знаменитых летчиков <...> Таким путем симулировалась атмосфера молодости и прогресса, победа молодого сталинского поколения, а в то же время создавалось впечатление, что рассеивались темные силы, представленные на суде старыми большевиками»⁸. Дж. Брукс отмечает эту же установку медийного нарратива 1930-х годов. Реальное настоящее подменяется утопическим будущим: «Провалы между прошлым, настоящим и будущим испаряются в новом мистическом рассказе журналистов о советской жизни. Время становится путем сквозь настоящее, а не к настоящему, чем объясняется официальная одержимость мемориальными датами и “историческим”. Полеты, побивающие рекорды, были “историческими”; сталинская конституция была “историческим фактом”; советское вторжение в Польшу было “историческим решением” старой проблемы»⁹. В «вечной» перспективе зримы лишь достижения, недостатки же либо призрачны, либо сводимы к проискам врагов. Враги демонизируются: это не люди, имеющие определенные убеждения, но (на манихейский манер) хтонические чудовища, нечисть, нарушающая «гигиеническую» стерильность социума.

Идиллический вариант оппозиции «сталинское большинство / вражье меньшинство» реализован в статье «Казак-колхозники требуют расстрела убийц» («Правда», 21 августа):

Кубань поднялась. Кубань расцветает. <...> За один только год мы удвоили урожайность по всем колосовым культурам. <...> Полны колхозные амбары. Зерна столько, что ссыпать некуда. <...> Верите ли, птицы так много, что по улицам проехать нельзя. <...> И как после этих побед мы можем отнестись к гнусным замыслам подлой шайки убийц...

Вместе с тем именно на вторую половину августа 1936 г. приходится лихорадочный подъем творческой активности Хармса. Кроме «Случаев» в эти дни созданы такие хрестоматий-

ные рассказы, как «Что теперь продают в магазинах» (19 августа), «Судьба жены профессора» (21 августа), «Сон» (22 августа) и т. д. Августовская проза – своего рода дневник, фиксация впечатлений автора о московском процессе и медийном дискурсе. При подобном подходе финальное предложение рассказа «Случаи» – «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу» – может интерпретироваться как отклик на упомянутую пропагандистскую оппозицию «сталинское большинство / вражде меньшинство»: хармсовские персонажи фатально оступились и сошли с пути к всенародному счастью¹⁰.

Однако назначение «Случаев» едва ли сводится к экстравагантному дневнику. Имитируя рубрику «Происшествия» и одновременно фиксируя смертную энергию, которой питалась официальная пресса августа 1936 г., Хармс создал авангардный художественный текст.

В конце 1930-х автор включил рассказ «Случаи» в одноименный цикл, который представлял собой, по словам исследователя, «своеобразную попытку воссоздания картины мира с помощью особой логики искусства»¹¹. Цикл «Случаи» имеет собственную структуру, подчиненную выражению сквозных тем «обезличивания человека, автоматизированности бытия, замкнутости и ограниченности пространства и времени и др.»¹². Дневниковая функция совершенно отменена тем, что Хармс, реализуя новый обобщающий замысел, отказался от расположения рассказов в хронологической последовательности.

Любопытно, впрочем, что именно рассказ «Случаи» мотивировал заглавие всего цикла. А значит, к указывавшимся в научной литературе значениям заглавного слова¹³ – 1) «случившееся» (т. е. происшедшее, бывшее); 2) случайное (т. е. произвольно взятый срез жизни); 3) манифестация «хармсовской концепции времени, определяющейся оккультными воззрениями» – стоит добавить четвертое, газетное – несчастный случай.

2

Даниил Хармс датировал окончание работы над рассказом «Грязная личность» 21 ноября 1937 г. Этот рассказ – краткая биография злодея Федьки, а именно: 1) убийство им Сеньки

(посредством сахарницы) и бегство во Владивосток; 2) аморальная жизнь во Владивостоке; 3) убийство Николая (посредством пивной кружки) и бегство из Владивостока.

«Во Владивостоке Федька стал портным; собственно говоря, он стал не совсем портным, потому что шил только дамское белье, преимущественно панталоны и бюстхальтеры. Дамы не стеснялись Федьки, прямо при нем поднимали свои юбки, и Федька снимал с них мерку.

Федька, что называется, насмотрелся видов.

Федька – грязная личность.

Федька – убийца Сеньки.

Федька – сладострастник.

Федька – обжора, потому, что он каждый вечер съедал по двенадцати котлет. У Федьки вырос такой живот, что он сделал себе корсет и стал его носить.

Федька безсовестный человек; он отнимал на улице у встречных детей деньги, он подставлял старичкам подножку и пугал старух...»¹⁴

В комментариях к рассказу приведены небольшие фрагменты, зачеркнутые автором¹⁵: дополнительные подробности аморального поведения Федьки-портного там столь физиологичны, что цитировать их прямо-таки неудобно.

История «грязной личности» – сексуальная разнузданность Федьки и сама форма обвинительного перечня («Федька – грязная личность», «убийца Сеньки», «сладострастник», «обжора», «безсовестный человек») – неожиданно перекликается с газетным сюжетом того же 1937 г.

8 июня 1937 г. в газете «Правда» (на с. 3) был анонимно¹⁶ напечатан «огромный трехколонник под сенсационным заголовком»¹⁷ «Профессор – насильник, садист». Ее «антигероем» стал профессор Дмитрий Плетнев, 1872 г. рождения, ведущий терапевт, один из основателей кардиологии, до революции – кадет, затем беспартийный, заслуженный деятель науки РСФСР, официальный кремлевский врач «с первых лет революции»¹⁸, в том числе пользовавший Серго Орджоникидзе (который незадолго перед тем погиб при неясных обстоятельствах).

В статье утверждалось:

Д.Д. Плетнев преступно использовал доверие пациентки гражданки Б. (кстати, небезынтересное буквенное обозначение! – М. О.) После перенесенного тифа она обратилась к нему за помощью, жалуясь на упадок сердечной деятельности. 17 июля 1934 г. Плетнев принял ее у себя на дому около 12 часов ночи. Странными показались гражданке Б. неуместные комплименты Плетнева, подозрительными были приемы медицинского осмотра. Затем профессор учинил отвратительное насилие над пациенткой. Совершенно неожиданно Плетнев стал кусать ей грудь, прокусил ее до крови. Мы не станем приводить подробностей садистского надругательства Плетнева над пациенткой.

Гражданка Б. тяжело заболела, болезнь осложнилась и в настоящее время перешла в хроническую форму заболевания грудных желез (мастит и лимфаденит). Д.Д. Плетнев пытался деньгами откупиться от гражданки Б., когда следствием укусов явилась тяжелая болезнь груди. Он действовал исподтишка, трусливо и блудливо.

В статье цитируется, как выразился безымянный журналист, «потрясающий человеческий документ» – письмо гражданки Б.:

7 января 1937 г.

Д. Плетневу.

Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом! Будьте прокляты, садист, применивший на мне свои гнусные извращения. Будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобразивший мое тело. Пусть позор и унижения падут на вас, пусть ужас и скорь, плач и стенания станут вашим уделом, как они стали мои с тех пор, как вы, профессор-преступник, сделали меня жертвой вашей половой распущенности и преступных извращений. Я проклиная вас.

Б.

«Правдинский» журналист изложил детали борьбы, которую вел «садист, насильник» с оскорбленной гражданкой Б.: «Он предложил больной “отступные” в размере 3000 рублей, чтобы раз и навсегда избавиться от своей жертвы <...> Он заявлял, что

гражданка Б. доставляет ему “докуку” и мешает сосредоточиться на ученых трудах <...> Он угрожал своей жертве своими “высокими” связями. Не смея отрицать свое преступление, он пробовал скрыть его за завесой своего медицинского авторитета. <...> Шантажируя органы милиции своим званием профессора, он требовал административного преследования гражданки Б.»

Журналист предупреждал: «Одно дикое преступление нагромождается на другое. Есть основания думать, что гражданка Б. – не единственная жертва профессора-садиста».

Статья пестрела агрессивными дефинициями – как в рассказе Хармса – в форме обвинительного перечня: «Советские врачи и вся наша общественность, нет сомнения, вынесет свой суровый приговор – преступнику, злоупотребившему доверием гражданки, которая надеялась увидеть во враче человека, а увидела зверя, садиста, насильника <...> Профессор-насильник, садист, пытающийся избавиться от своей жертвы... Как мерзок профессор Плетнев, потерявший человеческий облик...»

Статья от 8 июня ознаменовала лишь начало сюжета. На следующий день (9 июня) «Правда» посвятила «садисту, насильнику» отдельную полосу. Общий заголовок – «Работники медицины клеймят преступление садиста Плетнева».

Негодовало Общество врачей-терапевтов. «Он поступил как враг народа, – говорил проф. Лурия. <...> Профессор Вовси говорит, что Плетнев осквернил лучшие заветы медицинской общественности». «Маска с врача сорвана» – это резолюция Всероссийского и Московского терапевтических обществ.

Внизу «правдинской» полосы в качестве следующего сюжетного хода помещена краткая информация «В Прокуратуре СССР»: «Сообщаю, что по моему распоряжению следователем по важнейшим делам прокуратуры Союза начато расследование фактов, изложенных в статье...» Скромная подпись – Прокурор Союза ССР А.Я. Вышинский.

«Работники медицины» клеймили «преступление садиста Плетнева» вплоть до 11 июня, 12 июня «Правда» переключила внимание читателей на другой судебный сюжет – масштабнее – процесс М.Н. Тухачевского и других военачальников-«шпионов». Однако нельзя сказать, что о Плетневе забыли: 19 июля 1937 г., в развитие сообщения Вышинского, «Правда» сообщила (на пос-

ледней странице, без пафосных заголовков), что 17–18 июля в Московском городском суде состоялось закрытое слушание дела: «Суд признал доказанным, что подсудимый Плетнев Д.Д. 17 июля 1934 года в своем врачебном кабинете попытался изнасиловать свою пациентку гр. Б., обратившуюся к нему за врачебной помощью, и, использовав беспомощное состояние гр. Б., совершил в отношении ее ряд сексуальных действий», Плетнев был приговорен к двум годам тюремного заключения, но, «учитывая признание Плетневым Д.Д. на предварительном и судебном слушании всей тяжести и аморальности совершенных им действий», суд постановил считать приговор условным.

В 1938 г. Плетнев – среди обвиняемых на процессе Бухарина. Троцкий размышлял в преддверии процесса: «В прошлом году он был арестован по обвинению в сексуальном преступлении. Об этом открыто писала вся советская печать. Сейчас Плетнев привлекается по процессу... политической оппозиции. Одно из двух: либо сексуальные обвинения выдвинуты против него только для того, чтобы вымогать у него необходимые признания; либо же Плетнев действительно повинен в садизме, но надеется заслужить милость “признаниями”, направленными против оппозиции. Эту гипотезу мы будем, может быть, иметь возможность проверить во время процесса»¹⁹. Высокопоставленный чекист-невозвращенец Александр Орлов впоследствии подтвердил обоснованность подозрений оппозиционера: «Чтобы деморализовать Плетнева еще до начала так называемого следствия, Ежов прибег к коварному приему. К профессору под видом пациентки была послана молодая женщина, обычно используемая НКВД для втягивания сотрудников иностранных миссий в пьяные кутежи. После одного или двух посещений профессора она подняла шум, бросилась в прокуратуру и заявила, что три года назад Плетнев, принимая ее у себя дома, в пароксизме сладострастия набросился на нее и укусил за грудь»²⁰. Историк Роберт Конквест, который специально анализировал политический аспект плетневской истории, подытожил: охота за кардиологом была инспирирована на самом высоком уровне – ежовским руководством НКВД²¹.

Бесспорно, официальная пропаганда зомбировавала, мягко говоря, не все население. В этом смысле характерна запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой (от 8 июня 1937 г.), которая

не содержит, разумеется, анализа политической подоплеки, но показательна в качестве эмоциональной реакции на происходящее: «Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым. В “Правде” статья без подписи: “Профессор – насильник-садист”. Будто бы в 1934-м году принял пациентку, укусил ее за грудь, развилась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка его преследует. Бред»²².

У Хармса – если согласиться со связью рассказа «Грязная личность» с плетневским сюжетом – также акцентирована не политика, а сама история и форма ее изложения. Лживое газетное слово «вымысливает» настолько абсурдную картину реального мира, что его практически протокольное воспроизведение в литературном тексте создает авангардный эффект сверхреальности.

3

Можно также предположить, что разные составляющие плетневской истории отразились не в одном, а в нескольких рассказах Хармса.

Если Федька получил «грязь» и «сладострастие» Плетнева, то необоримую тягу кусаться – персонажи рассказа «Швельпин: Удивительная история!». Эта миниатюра неопределенно и без объяснений датируется хронологическими рамками 1934–1937 гг., но сходство с преступлением Плетнева разительное.

«**Швельпин:** Удивительная история! Жена Ивана Ивановича Никифорова искусала жену Кораблева! Если бы жена Кораблева искусала бы жену Ивана Ивановича Никифорова, то все было бы понятно. Но то, что жена Ивана Ивановича Никифорова искусала жену Кораблева, это поистине удивительно!

Смухов: А я вот несколько не удивлен.

Ремарка. Варвара Семеновна кидается и кусает Антонину Антоновну»²³.

Наконец, плетневским соединением гуманной профессии с губительными наклонностями наделен «доктор» из рассказа «Всестороннее исследование» (21 июня 1937 г.). Он убедил пациента принять «исследовательскую пилюлю», тот умирает, а «доктор» невозмутимо констатирует: «Замолчал. И не дышит.

Значит, уже умер. Умер, не найдя на земле ответов на свои вопросы. Да, мы, врачи, должны всесторонне исследовать явление смерти»²⁴.

Поскольку «доктор», в отличие от «правдинского» Плетнева, не просто садист, а экспериментатор, постольку его деятельность необходимо соотнести с другими контекстами: традиционное культурное недоверие врачам²⁵; советские сюжеты 1920–1930-х годов о самоотверженной постановке учеными опытов на себе и окружающих (ср. деятельность А.А. Богданова до и в рамках Института переливания крови²⁶); медико-утопические проекты (Институт мозга, который на основе изучения мозга Ленина планировал «человека будущего»²⁷), в том числе открытия разнообразных всеисцеляющих препаратов. К примеру, Игнатий Николаевич Казаков (который позднее вместе с Плетневым предстанет в качестве врача-вредителя на бухаринском процессе) изобрел очередной вариант панацеи – «лизаты». Казакову было дозволено организовать Институт обмена веществ и эндокринных расстройств и рекламировать свою методику в статье «Новый метод лечения (Лизатотерапия)», занявшей четыре подвала в двух номерах (4, 5 ноября 1932 г.) авторитетнейшей газеты «Известия»²⁸.

Кроме того, не исключено, что воздействие плетневского сюжета на рассказы Хармса поддерживалось литературными источниками. Очевидно, что все три его составляющие – «сладострастие», «кусание», «медицина» – манифестированы в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»: Шарик еще в бытность собакой «насмотрелся видов» (как выразился Хармс) и компетентно оценивал сексапильность женского белья; в человеческом обличье Шариков укусил «даму», справедливо возмущенную тем, что он «ее за грудь ущипнул»; Шарик-Шариков – жертва медицинского эксперимента²⁹.

Однако и Булгаков, подобно Хармсу, не сочинял, но реагировал на послание советской прессы середины 1920-х годов (обсуждение медицинских идей «омолодителя» С.А. Воронова³⁰). Различие же здесь заключается в том, что Булгаков в «Собачьем сердце» преобразил названные составляющие при помощи «уэлловской» научно-фантастической мотивировки и парадоксально придал им статус «реалистичности», а Хармс путем укрупняюще-

го расчленения и почти протокольного репродуцирования акцентировал их абсурдность vs сверхреальность.

4

В рассказе «Реабилитация» (10 июня 1941 г.) патологически преступная личность произносит речь, хладнокровно повествуя о совершенных злодеяниях. Это «концентрация трагического ощущения мира, это монолог маньяка-убийцы, садиста, сумасшедшего, который выступает в свою защиту в суде»³¹.

Финальный пуант заключается в том, что подсудимый венчает описание отвратительных деяний невинным выражением надежды на «полное оправдание»: «Ну, хорошо: во всем этом (я могу согласиться) можно усмотреть некоторую жестокость с моей стороны. Но считать преступлением то, что я сел и испражнился на свои жертвы, – это уже, извините, абсурд. Испражняться – потребность естественная, а следовательно, и отнюдь не преступная. Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание»³².

Рассказ «Реабилитация» перспективно изучать, используя литературную традицию изображения суда как абсурдного топоса (от смеховых текстов XVII в. до драматической трилогии А.В. Сухова-Кобылина), с позиции философско-логической³³ и т. п. Однако жутковатый натурализм здесь таков, что, по замечанию А.А. Кобринского, «форма (судебный процесс) должна натолкнуть нас на мысль о десятках аналогичных публичных надругательствах над логикой и над человечностью...»³⁴.

Но и в данном случае между авангардным текстом Хармса и утверждением «хорошо в стране советской жить» посредничает официальная публичная культура, что выражается в юридическом термине, вынесенном автором в заглавие³⁵. Термин «реабилитация», которому была уготована столь блистательная будущность после смерти Сталина, в российском и советском праве влачил жалкое, маргинальное существование. Если, например, во Франции этот термин обозначал «восстановление в правах» или «официальное восстановление репутации», то в отечественной традиции он не был востребован и никогда не был ясно сформулирован. Термин «реабилитация» не фигурировал в Уголовном

кодексе, хотя в силу авторитетности французских аналогий толковался в общих справочных изданиях (Словарь Брокгауза и Ефрона, «Энциклопедия государства и права» 1924–1929 гг., Большая и Малая советские энциклопедии и т. п.) и в трудах правоведов. Толкование сводилось к отождествлению с официальными терминами: реабилитация обозначала «снятие судимости» или «отмену обвинительного приговора в результате возобновления уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам».

Как нетрудно убедиться, в рассказе Хармса термин «реабилитация», с одной стороны, используется именно в качестве аналога официального термина – ведь речь собственно идет о «полном оправдании», с другой стороны, термин используется некорректно: «реабилитация» никак не могла подразумевать «полного оправдания» в самый момент судебного разбирательства.

Случай с реабилитацией осложнялся тем, что этот термин (опять же по аналогии) ассоциировался с восстановлением репутации, а потому имел специфическое хождение в партийной среде. Подобное его понимание было актуализировано в начале 1938 г., когда Пленум ЦК ВКП(б) принял решение, доведенное до граждан в передовице «Правды» от 25 января. Передовица называлась «Реабилитировать неправильно исключенных, сурово наказать клеветников!». В ней констатировалось:

Партийные руководители, рядовые члены партии стараются осмыслить те ошибки, на которые с такой прямотой и резкостью указал в своем постановлении Пленум ЦК. Все мысли направлены к тому, чтобы в кратчайший срок исправить ошибки, допущенные при исключении коммунистов из партии, чтобы в кратчайший срок устранить формально-бюрократическое отношение к апелляциям исключенных.

Начинается практическая работа по осуществлению решений Пленума. Задача прежде всего в том, чтобы восстановить в партийных рядах товарищей, незаслуженно исключенных из партии стараниями карьеристов, усердствующих перестраховщиков и замаскированных врагов.

Передовица подчеркивала: «Пленум сурово осудил тех партийных руководителей, которые “наивно считают, что исправ-

ление ошибок в отношении неправильно исключенных может подорвать авторитет партии и повредить делу разоблачения врагов народа, не понимая, что каждый случай неправильного исключения из партии – на руку врагам партии”».

Полужирным шрифтом было выделено: **«Коммунист, неправильно исключенный, оклеветанный, а затем восстановленный, должен возвращаться в свою партийную семью как равноправный член партийной организации».**

Автор передовицы возмущался: «Во многих партийных организациях утвердилась неправильная, вредная практика, когда исключенных из ВКП(б) немедленно снимали с работы. Пленум ЦК подверг суровому осуждению такое отношение к исключенным».

В передовице содержался призыв к советским журналистам: «Наиболее ловкие карьеристы и пройдохи сумели использовать в клеветнических целях и газеты. Немало невинных людей оказались оклеветанными и на страницах газет. Подчас достаточно было оказаться партийцу исключенным по ложному доносу из партии, как его немедленно же безответственно шельмовали в газете. <...> Если человека неправильно, легкомысленно или ошибочно ошельмовали в газете, значит, надо столь же громогласно заявить о том, что человек не виновен».

Достоин внимания, что призыв к газетам «громогласно заявить о том, что человек не виновен» впрямь смутно напоминает о восстановлении репутации, т. е. о классическом понимании реабилитации.

Январский Пленум «Сталинского Центрального Комитета» и посвященная ему передовица примечательны тем, что это было время самого пика репрессий – позади пресловутый 1937 год, впереди уже маячил бухаринский процесс. Однако в политическом аспекте ничего удивительного здесь нет: Сталин и его соратники нередко прибегали к таким отвлекающим пропагандистским маневрам (вспомним ставшую знаменитой благодаря «Котловану» А. Платонова и «Поднятой целине» статью генсека «Головокружение от успехов», осудившую «перегибы» коллективизации в разгар коллективизации).

Кроме того, весьма вероятно, как считает, например, историк А. Антонов-Овсеенко, что Пленум готовил снятие наркома

Николая Ежова и его замену на Лаврентия Берию, тогдашнего первого секретаря ЦК КП(б) Грузии, Заккрайкома ВКП(б)³⁶.

С этой точки зрения замечателен еще один пассаж в передовице: «Партия очищала, очищает и будет очищать свои ряды от тайных и явных врагов и их приспешников. Однако к этой огромной очистительной работе поспешили примазаться шкурники и карьеристы, старавшиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, старавшиеся на этом прослыть бдительными партийцами. Рука об руку со шкурниками и карьеристами действовали и замаскированные враги, которые, крича о бдительности и требуя исключения ни в чем не повинных людей, заматали собственные следы, прикрывали показной, фальшивой бдительностью собственные преступления».

Допустив, что «шкурники и карьеристы» – намек на окружение Ежова, можно выдвинуть гипотезу о принципиальной важности тогдашней актуализации термина «реабилитация». Более того, похоже, что спустя годы Берия сознательно реанимировал термин сразу после сталинской смерти, напоминая тем самым о своем, как ныне ни странно, реноме «реабилитатора».

Но это – политические игры коммунистической номенклатуры. В рассказе же Хармса «Реабилитация» персонаж убежден, что считать преступлением его действия – «это уже, извините, абсурд» и что он заслуживает «полного оправдания». Автор, со своей стороны, приравняв «полное оправдание» к «реабилитации», охарактеризовал ситуацию посредством абсурдного термина. Термина, официально не принятого, но свободно функционирувавшего и обозначающего мнимую установку на милость посреди массовых судебных злоупотреблений и казней.

Очевидно, что сам факт отражения в произведениях Хармса жутковатой современности не нуждается в пространной аргументации. Это, как сказали бы марксисты, дано в ощущение. М.В. Панов, анализируя художественный мир Хармса, отметил, что у его творчества с «необычным образом пространства есть и социальные корни. Мир, в котором жил Хармс и его современники, был трагически пронизан. Каждого человека ждали постоянные вторжения, беспричинные с точки зрения этого человека результаты которых для него нередко оказывались трагичны. <...> Мучительный мир. Социально опасный мир»³⁷.

Сопоставление же прозы Хармса с «публичной культурой», газетным посланием позволяет описать конкретные приемы преобразования советской реальности в авангардный текст. В частности, мерцающая мнимость юридического термина «реабилитация» оборачивалась эффективным способом создания «вымышленного, а не созданного мира», который в качестве реального продуцировался официальной прессой и всей официальной пропагандой 1930-х годов.

- ¹ Хармс Д. Неизданный Хармс: Полн. собр. соч.: Трактаты и статьи. Письма. Дополнения / Сост., примеч. В.Н. Сажина. СПб., 2001. С. 80.
- ² Brooks J. Thank you, comrade Stalin!: Soviet public culture from Revolution to Cold War. Princeton, New Jersey, 2000. P. XIII–XIV. См. анализ концепции: Одесский М.П. Рец. на: Brooks J. Thank you, comrade Stalin!: Soviet public culture from Revolution to Cold War. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000. 319 p. // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 470–473.
- ³ Ильф И., Петров Е. Золотой теленок / Подг. текста М. Одесский, Д. Фельдман. М., 2006. С. 412.
- ⁴ Там же: С. 416–417.
- ⁵ Ср. утверждение А.А. Кобринского: «...известное высказывание Я.С. Друскина о том, что Хармс Канта не читал, – совершенно неверно», и доказательство противного тезиса (Кобринский А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда. М., 1999. Ч. I. С. 91).
- ⁶ Хармс Д.И. Полн. собр. соч. Т. 2: Проза. Драматические произведения. Авторские сборники. Незавершенное / Сост., примеч. В.Н. Сажина. СПб., 1997. С. 330.
- ⁷ Ср. замечание о связи рассказа «Случай» с общественной ситуацией репрессий 1930-х гг.: Weststeijn W.G. Daniil Charms: Absurdistisch schrijven voor de bureaula // Weststeijn W.G. Russische literatuur. Amsterdam, 2004. P. 312.
- ⁸ Конквест Р. Большой террор. Firenze, 1974. С. 208.
- ⁹ Brooks J. Op. cit. P. 79.
- ¹⁰ См. анализ лингвистического аспекта эпитета «хороший» в стихотворении Хармса «Некий Пантелей...»: по наблюдению Т.В. Цивьян,

персонажи «парадоксальным способом – дракой» объединяются в «коллектив» хороших людей» и слово «хороший» «играет роль определенного артикля» (*Цивьян Т.В.* Фольклорный текст и стихотворение Хармса: к поэтике именных цепей // *Антропология культуры.* М., 2004. Вып. 2. С. 141).

¹¹ *Кобринский А.А.* «Я участвую в сумрачной жизни» // Хармс Д. Горло бредит бритвою: Случаи, рассказы, дневниковые записи. М., 1991. С. 13.

¹² Там же.

¹³ См.: *Кобринский А.А.* Указ. соч. С. 13; *Хармс Д.И.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 477.

¹⁴ *Хармс Д.И.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 128.

¹⁵ Там же. С. 453.

¹⁶ Запись в неопубликованном дневнике одиозного «правдинского» фельетониста Д.И. Заславского свидетельствует, что он был автором анонимной статьи о Д.Д. Плетневе. См.: *Ефимов Е.* Сумбур вокруг «Сумбура» и одного «маленького журналиста». М., 2006. С. 63. Благодарю Л.Ф. Кациса за указание на источник.

¹⁷ *Конквест Р.* Большой террор. С. 753.

¹⁸ *Троцкий Л.Д.* Преступления Сталина / Под ред. Ю.Г. Фельштинского. М., 1994. С. 253.

¹⁹ Там же. С. 240.

²⁰ *Орлов А.* Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк; Иерусалим; Париж, 1983. С. 256. Ср. также рассказ мемуариста: «Я знал эту гр-ку Б. Она была репортером одной из московских газет (кажется, «Труд») и иногда приходила ко мне, как проректору по научной и учебной работе 2-го Московского медицинского института, за какой-нибудь информацией. Внешность ее отнюдь не вызывала никаких сексуальных эмоций и даже не ассоциировалась с такой возможностью. Это была женщина лет сорока, с удивительно непривлекательной и неопрятной внешностью. Длинная, какая-то затрепанная юбка, башмаки на низком топтанном каблуке; выше среднего роста, брюнетка сального вида, с неопрятными космами плохо причесанных волос; пухлое, смуглое лицо с толстыми губами. Один вид ее вызывал желание поскорее освободиться от ее присутствия. И вдруг оказалось, что она – это и есть г-ка Б., девственная жертва похоти профессора П., «насильника, садиста»! Узнав об этом, я говорил, что кусать ее можно было

только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или недоступны» (*Рапорт Я.Л.* На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года. СПб., 2003. С. 15). Благодарим М.Я. Вайскопфа за указание на источник.

²¹ *Конквест Р.* Указ. соч. С. 753.

²² *Дневник Елены Булгаковой / Сост. В. Лосев, Л. Яновская.* М., 1990. С. 153.

²³ *Хармс Д.И.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 397.

²⁴ Там же. С. 124.

²⁵ Ср., напр.: *Одесский М.П.* «Человек болеющий» в древнерусской литературе // *Древнерусская литература: Изображение природы и человека.* М., 1995.

²⁶ См.: *Одесский М.П.* «Физиологический коллективизм» А.А. Богданова: Наука – политика – вампирический миф // *Проектное мышление сталинской эпохи.* М., 2004.

²⁷ *Спивак М.* Посмертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, Владимир Маяковский в коллекции Института мозга (материалы из архива Г.И. Полякова). М., 2001.

²⁸ Ср. случай, показательный для отношений власти и медицины: по жалобе Н.А. Семашко 19 февраля 1932 г. был снят с поста ответственный редактор узкоспециального журнала «Невропатология и психиатрия» и исключена из коммунистической партии автор напечатанной в этом журнале статьи «Случай комбинации симптоматической эпилепсии и шизофренического процесса», которая содержала запись «бред сумасшедшей о т. Семашко и других наркоммах» (Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов: 1917–1956 / Сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 236–237).

²⁹ Повесть «Собачье сердце» (1925) не была напечатана при жизни автора, однако Булгаков устраивал ее публичные чтения, и повесть (по свидетельству литератора Иванова-Разумника) имела хождение в рукописном виде (см. сводку данных: *Соколов Б.* Булгаковская энциклопедия. М., 1996. С. 429–439; ср. также беглое указание на сходство «Собачьего сердца» с плетневским сюжетом: *Золотоносов М.* Мастурбанизация: «Эрогенные зоны» советской культуры 1910–1930-х годов // *Литературное обозрение.* 1991. № 11. С. 99).

³⁰ См., напр.: *Золотоносов М.* Указ. соч. С. 96.

³¹ *Кобринский А.А.* «Я участвую в сумрачной жизни». С. 15.

³² Хармс Д.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 161.

³³ См., напр., размышления о суде А.И. Введенского (в передаче Л.С. Липавского): «Это дурной театр. Странно, почему человек, которому грозит смерть, должен принимать участие в представлении. Очевидно, не только должен, но и хочет, иначе бы суд не удался. Да, этот сидящий на скамье уважает суд. Но можно представить себе и такого, который перестал уважать суд. Тогда все пойдет очень странно. Толстый человек, на котором сосредоточено внимание, вместо того чтобы выполнять свои обязанности по распорядку, не отвечает, потому что ему лень, говорит что и когда хочет и хохочет невпопад» (*Липавский Л.* Разговоры // «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: «Чинари» в тестах, документах и исследованиях: В 2 т. М., <1997>. Т. 1. С. 189–190; ср. также замечание Гегеля в «Энциклопедии философских наук»: «Будут ли соответствовать закону и праву три года, 10 талеров и т. д. или только $2\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{4}$, $2\frac{4}{5}$ и т. д. лет и далее до бесконечности, никоим образом нельзя решить посредством понятия, и все же это соответствие есть высшее, что принимается в качестве решения» (*Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1977. Т. 3. С. 345).

³⁴ Кобринский А.А. «Я участвую в сумрачной жизни». С. 15.

³⁵ См. подробнее о термине «реабилитация»: *Фельдман Д.М.* Пропагандистская схема XX съезда КПСС: к истории термина «реабилитация» в советской культуре // *Технология власти: источники, исследования, историография.* СПб., 2005.

³⁶ *Антонов-Овсеенко А.* Путь наверх // *Берия: Конец карьеры.* М., 1991. С. 60.

³⁷ *Панов М.В.* Даниил Хармс // *Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей.* М., 1995. С. 498–500.

2006 г.

Впервые: Дело авангарда / Ed. W.G. Weststeijn. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 2008. Pegasus Oost-Europese Studies 8. С. 69–80.

ЭКСПЕРТИЗА ПОЭТИКИ

Современное гуманитарное знание и статус научного слова Нетеоретические маргиналии

Научное слово российских гуманитариев явно переживает кризис. Оно и понятно: втянутое в процесс многоаспектной адаптации к непривычным социальным условиям, современное знание радикально меняется в сферах институциональной, аксиологической, источниковедческой и т. п. И в результате ученые как за письменным столом, так и на преподавательской кафедре оказываются обречены на «поиски жанра», обновление словесного инструментария.

Судя по всему, можно говорить и об интернациональном масштабе метаморфозы гуманитарного слова, в любом случае при отечественных обстоятельствах это дополнительно осложнено мировоззренческим коллапсом. И дело в отказе не столько от обязательного марксизма, сколько от отсылок к официальным терминологическим штампам, ранее политесно допускаемым в самых концептуально независимых научных работах типа «феодализм», «историзм», «реализм», периодизации с неременной привязкой к 1917-му и т. д. Разумеется, упомянутые категории несводимы к советской идеологии, но с исчезновением марксистской аксиоматики открывается возможность свободного с ними обращения. Соответствуют они социологическим или культурологическим представлениям исследователя – их используют, не соответствуют – что может стать! – не используют. Но сама подобная избирательность подхода ощущается как совершенно непривычная, причудливо воздействуя на научный аппарат.

Не следует также игнорировать некоторые преемственные связи с традициями российской науки второй половины XIX – начала XX в., достижения которой по праву вызывают восхищение

потомков, но которая, в свою очередь, основывалась на определенных историософских и т. п. идеологемах, не будучи исключительно научной, идейно нейтральной. Так, советские исторические науки (эпохи «зрелого социализма», а не «бури и натиска» 1920-х) унаследовали некритическое представление о «просвещенном» времени Петра I, якобы переломном во всех культурных областях, или пристрастие к оперированию абстрактными категориями вроде западного и восточного пути России.

Более того, смещение официальной точки отсчета сказалось на тех научных школах, которые формировались в качестве (с оговорками) оппозиционных, альтернативных. Снятие цензурных запретов повело к исчезновению полу- или вполне табуированных тем, маскированное или открытое исследование которых ранее могло целиком определять стратегию гуманитарного дискурса. Равным образом утратила маркированность позиция вне- и антиидеологизированности (ясно, «вне» и «анти» какой именно идеологии по причине ее единственности), манифестированная в эпатажно лингвистической и / или агрессивно математизированной форме литературоведческих, исторических штудий. Показательно, что мэтры отечественного структурализма все чаще экспериментируют с художественно-эссеистической (А.К. Жолковский, А.М. Пятигорский) или предельно эксплицитной (почти популяризаторской) манерой изложения (двухтомная монография В.Н. Топорова о святости в Древней Руси, закономерно получившая кроме академического еще и общественный резонанс).

* * *

Как первоочередную трудность, которую необходимо преодолевать, правомерно назвать инерцию советской терминологии и предполагаемых ее подходов к классическим авторам. В 1997 г. напечатаны (к читателю дошли, если не ошибаюсь, в 1998 г.) два тома «Литературного наследства» – «Герцен и Огарев в кругу родных и друзей» (редакторы Л.Р. Ланский и покойный С.А. Макашин)¹. Может, это наивно, но верилось, что в новой ситуации о знаменитом писателе и публицисте будут произнесены какие-то новые слова. Ничего подобного. Редакционный врез звучит триумфально: «Вместе с предыдущими герцено-огаревскими томами он (том. – М. О.) составляет монументальную серию из

девяти книг, общим объемом около семи тысяч страниц текста и иллюстраций. Это крупнейший вклад не только в науку о Герцене и Огареве, но и в историю литературы и в историю общественной мысли XIX–XX столетий» (1, 5).

Спешу уточнить. «По-новому» не означает обязательно «наоборот». Под «новым» имеются в виду хотя бы очень простые, «от здравого смысла» дефиниции, новизна которых обусловлена исключительно их несоответствием научно-идеологическим формулам «герценоведов». Герцен – типичный литератор (в ленинском употреблении слова) левого толка, который в России публиковался в маркированных журналах вроде «Отечественных записок» и «Современника», во Франции – в газете анархиста Прудона (которую финансировал), затем в собственных радикальных изданиях. Правда, среди единомышленников Герцен выделялся политической умеренностью, избегал крайностей. Тоже, кстати, не столько индивидуальная особенность, сколько характерный признак эмигрантов, которым удается материально адаптироваться к «иноземщине» и потому сохранять дистанцию по отношению к товарищам по несчастью. И у Герцена были постоянные конфликты со «своими», группы последователей вокруг него не образовалось. Так что умеренным и одиноким русский изгнанник был среди интернационального сообщества экстремистов, собиравшихся силой взять власть и в ряде случаев реализовавших эти намерения.

Как и подобает литератору-экстремисту, Герцен занимался политикой и теоретически, и практически. В частности, имел касательство к созданию заговорщических организаций, финансированию их деятельности. И учитывал трудности отечества, сотрудничая с его прямыми врагами. Не случайно первые издательские акции Герцена приходятся на годы Крымской войны, когда он жил в Англии, т. е. на территории враждебной державы. Кстати, тогда же – на фоне враждебного изображения России в прессе – он начинает публикацию «Былого и дум» не с I, но со II части, которая называлась «Тюрьма и ссылка»: Европа должна была знать, что сражается с монструозным русским самодержавием, а не с цивилизованным государством.

В «Литературном наследстве» ни о чем подобном речи нет. Конечно, книги начали собирать много лет назад: Н.Я. Эйдельман,

скончавшийся в 1989 г., там фигурирует в качестве автора и рецензента, фамилия Л.Я. Гинзбург напечатана в траурной рамке, словно умерла она в 1997-м, а не в 1990 г. Однако с некоторыми материалами явно работали и в последние годы, по крайней мере во врезе оговорить что-то было бы можно. Значит, верность прежним формулировкам – позиция. Причем позиция не собственно леворадикальная, не атакующая солидарность с герценовскими идеологемами, но благодарное приятие личности и творчества классика, чьи сочинения и богато документированная биография составляют предмет штудий. Приятие как атрибут профессии.

Симптоматичен с этой точки зрения состав книг. Двухтомник почти сплошь состоит из публикаций архивных документов (освещающих жизнь Герцена, Огарева, обеих жен Герцена, детей, близких). На обобщения решилась лишь Л.Я. Гинзбург. Ее пространная статья «Автобиографическое в творчестве Герцена» (открывающая книгу) особенно любопытна тем, что вносит коррективы в сорокалетней давности монографию о «Былом и думах». Гинзбург этой книгой была недовольна, в статье ею сняты, например, рассуждения о том, как в поэтике мемуаров Герцена ощущается неуклонное сближение с идеями Карла Маркса. Следовательно, статья приближена к тому, что автор и хотел выразить. Статья яркая, концептуальная, точная. Но тем занимательнее на ее примере взглянуть в современный литературоведческий тезаурус.

Если сразу формулировать основную претензию – это «филологический утопизм», при котором академическая постановка вопросов уводит разговор от конкретного текста. Так, обсуждение проблемы жанровой природы герценовских мемуаров оборачивается апологией права мемуариста на искажение действительности, причем в пропагандистских целях. «Действующие лица “Былого и дум” названы своими именами – и это момент принципиальный. <...> Герцен все время обращается к читателю, уверенному в подлинности его повествования. И в то же время он строит свое повествование, организует его единой обобщающей мыслью <...> И этот принцип строгой внутренней построенности (даже при внешней бесфабульности) настолько важен для Герцена, что он дает ему право свободной творческой обработки фактического материала. <...> Некритически, без тщательной проверки поль-

зоваться «Былым и думами» – в качестве фактического первоисточника – неправильно» (I, 39). Гинзбург приводит остроумные примеры, демонстрирующие «специфику» подхода Герцена-мемуариста к фактам: «Неверно, что у Натальи Александровны были преждевременные роды через несколько дней после того, как Герцена в начале декабря 1840 г. вызвали в III Отделение. Наталья Александровна родила в середине февраля 1841 г. (сын Иван через несколько дней умер). Но эта неточность сгущает атмосферу ненависти вокруг Николая I и его жандармов» (I, 44). Такая вот жанровая специфика.

Хорош и герценовский психологизм в «Былом и думах». «Философско-исторический замысел “Былого и дум” (борьба старого и нового мира) определяет трактовку действующих лиц эпопеи в разных оценочных планах». Во-первых, «существует идеальный план, план безусловно положительных исторических и моральных ценностей, в сущности, совершенно изъятый из области критики и анализа» (I, 47). В этом плане изображены Наталья Захарьина-Герцен, «жена, героиня “Былого и дум”, образ, представляющий собой смелую попытку сочетать идеальную женственность с идеалом новой женщины» (I, 48); Николай Огарев, «прелестный отрок, затем человек необычайной душевной чистоты и изящества, сочетающегося с силой и бесстрашием мысли»; «некоторые деятели мирового революционного движения», «преимущественно боевой революционной практики» (I, 49) вроде Гарибальди. Во-вторых, наличествует категория «носителей социального зла, людей враждебного, разоблачаемого мира» (I, 49), куда относятся Николай I, Бенкендорф, Аракчеев. И только в-третьих, «наряду с методом возвышающим и методом полемическим», обнаруживаются персонажи, на которых демонстрируется «метод аналитического построения характера» (I, 49).

Герцен, иными словами, очернил врагов, обелил жену и друзей, в остальных же случаях благосклонно допускал колористическое многоцветие. Едва ли столь заурядное в мемуаристике обстоятельство заслуживает особых теоретических изысканий. Кроме того, рискуя навлечь обвинения в бытовом фрейдизме, отмечу (разумеется, не в качестве откровения): при помощи «метода возвышающего» Герцен создает образы жены, в чьей смерти мог себя винить, и друга, жена которого Наталья Тучкова-Огарева

ушла к автору «Былого и дум» как раз во время написания мемуаров. Здесь явно действует механизм компенсаторного самооправдания.

Реферирование концепции герценовского психологизма будет неполным без анализа образа Георга Гервега. Влюбленность Натальи Захарьиной-Герцен в немецкого поэта и политического эмигранта стала началом «драмы», завершившейся смертью. «Вне исходной исторической концепции “Былого и дум” невозможно было бы противопоставление Герцена и Гервега, на котором строится рассказ о семейной драме <...> В чем виноват Гервег? В эгоизме? – но Герцен, как все революционные демократы 1840–1860 годов, упорно отстаивал “высокий” эгоизм против официальной и религиозно-аскетической морали; в необузданности страстей и жажде наслаждений? – но Герцен признал за человеком право на наслаждение; в том, что он обманывал друга? – но эту ложь и обман разделяла с Гервегом Наталья Александровна, идеальная героиня “Былого и дум”. <...> Участников семейной драмы Герцен превращает в представителей двух исторических формаций – молодой России и буржуазного Запада. Именно этим, а не запретами и предписаниями имеющей хождение морали определяется виновность одного и правота другого» (1, 52).

Иными словами, в реальности жена русского левого радикала, которая годами имела возможность знакомиться с эмансипационной (Жорж Санд) моделью поведения, увлеклась немецким левым радикалом, муж, однако (угрожая, в частности, разлукой с детьми), убедил жену сохранить семью. При таком идеологическом фоне остается винить Гервега лишь в том, что он – противник «буржуазного» Запада – есть духовный агент Запада... Это логика Герцена, его тактика самооправдания. Но, повторяя и рационализируя герценовские аргументы, исследователь солидаризируется со своим героем, тем самым убеждая читателя, что герценовская концепция тождественна объективной истине. Разумеется, никто не собирается сводить идеи «Былого и дум» к психологическим «уловкам». Однако игнорировать эту составляющую герценовских мемуаров, списывая все на поэтику или культурологию, легкомысленно. Герцен защитит себя сам.

Аналогичным – «утопическим» – образом интерпретируются в статье и другие аспекты «автобиографизма». Как известно,

историю своих семейных бедствий Герцен детально рассказывает в первых пяти частях мемуаров; последовательное повествование пресекается переездом в Лондон, где после смерти жены изгнанник-вдовец заново обрел смысл жизни, решив написать о «драме» (т. е. принявшись за воспоминания) и взявшись за организацию антиправительственной русской типографии. В последних же трех частях «Былого и дум» Герцен отказывается от изложения биографических подробностей, оставляя за собой, скорее, роль наблюдателя. Согласно Гинзбург, «автобиографического героя заменяет авторская точка зрения, система обобщений и оценок, сквозь которые Герцен непрерывно пропускает действительность. Причем это авторское сознание наделено вполне конкретными историческими, социальными, национальными чертами, присущими русскому революционеру» (I, 36).

Трансформация «автобиографического героя» в «авторскую точку зрения» дана в конкретно-историческом контексте. «Убывание автобиографизма имело причины внешние и внутренние. В 1860-х годах под влиянием массового крестьянского движения в России, отчасти рабочего движения на Западе Герцен пересматривает свое понимание личности в ее отношении к обществу, к народу» (I, 35). Про «внешние» причины, представленные таким образом, рассуждать неудобно, все-таки подозревая, что разговор о них сам обусловлен «внешними» причинами. «А наряду с этим, – продолжает исследователь, – крушение высокого строя личной жизни» (I, 35), поясняя, в чем видит «крушение высокого строя». В Лондон прибыл вырвавшийся из России Огарев с молодой женой. Теперь Герцен мог с удвоенными силами заниматься революционной агитацией. Но «1856 год – переломный год; в конце его Герцен сошелся с Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой. Сошелся, не любя ее по-настоящему, уступая ее страстному увлечению. Герцен дорого заплатил за этот шаг. Тучкова-Огарева внесла в его жизнь атмосферу тяжелой истерии, бесконечных, часто мелочных конфликтов и – самое мучительное для Герцена – непоправимого разлада с его детьми. Новые обстоятельства в корне разрушили образ личности <...> ставший прообразом героя первых пяти частей “Былого и дум”. Ослаблены теперь основные мотивы самосознания Герцена этих лет: мотив священной верности памяти Натальи Александровны, мотив

опустошенной жизни, в которой остались только две ценности – общее дело и дети...» (I, 33). Подобная подоплека привносит в изящную (теоретико-литературно плодотворную) оппозицию «герой / точка зрения» звучание почти фальшивое.

При помощи сходных операций анализируется материал в частях двухтомника, отведенных Натали Герцен и Наташе Тучковой-Огаревой. Действительно, отношения с ними образуют «зону риска» герценовского автобиографизма. В рамках разделов публикуются любопытнейшие эпистолярные циклы; обе женщины выговаривают то, что «герценоведение» долгие годы предпочитало развернуто не изъяснять. Тщательно и с любовью подготовленные, тексты, с одной стороны, производят сильное научное и эмоциональное впечатление, но с другой – снова возникает зазор между документом и «филолого-утопической» подачей.

Снова востребована концепция специфической художественности «Былого и дум». Письма Натали Герцен к интимной подруге (Т.А. Астраковой), например, – «живой комментарий к мемуарам Герцена, отчасти дополняющий, а отчасти и корректирующий их. Эта корректировка важна вовсе не для того, чтоб “уличить” Герцена-мемуариста в неточностях, а потому, что она зачастую помогает понять законы построения сюжета в сопоставлении с естественным ходом событий “эмпирического” бытия» (I, 589). Значит, художнику – в силу жанровой природы его классического текста? – делегировано право на преобразование (художественную корректировку?) «естественного хода событий».

Но делегировано исключительно художнику: прочим действующим лицам в этом праве отказано. Гневным комментарием сопровождается письмо Натали, отправленное ею Герцену на самом пике любовных отношений с «другим»: «Тот факт, что любовь к Гервегу привела ее к измене мужу, как бы не существует для нее в этом письме. “Чиста перед тобой и перед всем светом”, “во всем этом для тебя нет тени оскорбительного”, – восклицает она. Письмо это – странный психологический феномен (а не художественность, как у автора «Былого и дум»! – М. О.), и именно так, по-видимому, расценил его Герцен, пытаясь в ответном письме разъяснить жене грозную опасность именно данной ситуации: “Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота – он все же утянет тебя» (I, 541).

Большой вопрос ответственности Герцена-идеолога за эмансипированное «жизнестроительство» Натали, который Л.Я. Гинзбург разрешала рафинированно – путем привлечения культурологического конфликта Россия / Запад, сводится к женской интеллектуальной несостоятельности. «Вся эта трагическая история – пример того, как глубоко плодотворная и социально направленная, мужественная идея Герцена о свободе личности, о необходимости создания новой нравственности, попав в резко суженное и ограниченное в конечном счете лишь личными привязанностями поле зрения его жены, приняла искаженную форму, уведя ее от действительности в мир утопически неосуществимой мечты. Ее ненужное теоретизирование (! – М. О.) в ситуации, хоть и глубоко драматичной, но житейски все-таки не такой уж редкой (! – М. О.), могло бы вызвать своей наивностью лишь улыбку, если бы искренность высокого порыва ее души была хоть чуть меньше, а цена ошибки не была столь велика» (I, 589). Короче, сама виновата, а революционер-художник прав. И теоретизирование у него «нужное», и адюльтер, очевидно, «редкий».

Аксиоматика науки о Герцене заразительна и для иноземных специалистов. Печальная история отношений издателя «Колокола» с Тучковой-Огаревой, во многом омраченная нежеланием Герцена узаконить гражданский брак, дает французскому слависту М. Мерво повод для даже не культурологического, даже не гендерного, но моралистически-марксистского заключения: «Трагедия, назидательная в той же мере, в какой ее действующие лица – люди, явно стоящие выше обычного уровня, терзались противоречиями между словом и делом и не в состоянии были разрешить расхождения между желанием изменить социальные отношения и бессилием преодолеть в своей частной жизни прежние дворянски-помещичьи привычки» (II, 68). «Дворянски-помещичьи привычки» в данном случае, похоже, не оговорка. Тот же ученый, комментируя в двухтомнике стихотворения Огарева, отзывается об адресате его эпиграммы – Аполлоне Майкове – в терминах, которых избегали даже в последние советские десятилетия. Майков, оказывается, «виднейший сторонник искусства для искусства, либерал, превратившийся в панслависта и льстеца самодержавия» (I, 247). Пусть так полагал Огарев – от историка литература ожидает большей дистанцированности.

Герцен – замечательный литератор, независимый мыслитель, притягательная личность. Но это обязывает искать адекватные слова для описания его деятельности. Тем более что протекала она в рамках своеобразной – революционной – социальной группы. Нравы, царившие там, прекрасно иллюстрируются материалами из огаревской части.

Чудаковатый Огарев, злоупотреблявший алкоголем, интроверт, эпилептик, во многом подчинившийся Герцену, был в то же время самостоятельной общественной фигурой. Именно Огарев часто затевал всякого рода рискованные политические предприятия. Среди огаревских материалов помещена огромная (100 страниц формата «Литературного наследства») подборка документальных свидетельств о необыкновенных похождениях Н.А. Шевелева.

Эмигрант выглядит здесь чрезвычайно непривлекательно. Публикатор (Л.Р. Ланский) по возможности списывает это на личность героя публикации, омерзительность которой заявлена даже в темпераментном комментарии к фотоснимку: «Воспроизведенный мною фотографический снимок из следственного дела конкретизирует внешний облик этого “загадочного человека”. Печать нравственного цинизма проступает на его грубом лице» (I, 262). Но одновременно оказывается, что, «несмотря на крайнюю субъективность и грубую тенденциозность отдельных оценок, Шевелев, по-видимому, довольно верно передал их облик, отдельные черты характеров, мировоззрения, взаимоотношений, быта и т. п.» (I, 291). Этот человек произвел на современников шокирующее впечатление потому, что никто (похоже, включая самого Шевелева) не мог понять: мошенник он, революционер или правительственный агент.

Родившийся в состоятельной дворянской семье, Шевелев участвовал в Крымской войне, ранен при обороне Севастополя, уволен в отставку подпоручиком. Далее пошел по гражданской линии, украл казенные деньги, оклеветал поляка-сослуживца, попал в тюрьму. Пытался объяснить на следствии, что страдал от севастопольских ран, а когда это особого эффекта не возымело, объявил себя последователем Искандера-Герцена и участником покушения Каракозова на императора. Показания давал картинные: «...очень часто развезжая на пароходах по Волге, иногда по делам,

иногда просто для развлечения, нес всякий, по теперешнему моему взгляду, вздор, пропитанный искандеровским направлением; много молодежи и купцов, встречающихся на пароходе в минуты моего риторства, окружали меня, жадно слушали и внимали мне <...> Эту ахиною, созданную за морями и пересоздаваемую мною на свой лад, я изрыкал (так!), по обыкновению, во втором классе пассажирской каюты» (I, 267). По словам Шевелева, подпольщики его заметили, дали револьвер, звали убивать царя. Следствие, проведя дознание, пришло к неромантическому заключению, что «претензии Шевелева на причастность к делу Каракозова лишены оснований» (I, 268). Обыденный уголовник.

Вдруг Шевелев бежал. Агент представил в III Отделение колоритный отчет: «Шевелев содержался, вопреки распоряжений о нем, не отдельно, а вместе с каким-то евреем, и оба они пользовались совершенною свободою, отлучались, когда хотели, в разные места, каждый день ездили домой. За несколько времени до 4-го сего декабря Шевелев стал проситься съездить по какому-то будто-то бы делу в Царское Село дня на три. Его отсутствие, по обыкновению, прошло без всяких затруднений, но прошел срок; минуло еще 1–2 дня, а Шевелева все нет. Поднялась тревога по полиции; начали доискиваться, не скрывается ли беглец у жены, а та смеется и говорит, что ничего не знает. Полицейский бросился по всем трактирам, но, разумеется, и там не нашли ничего. Так Шевелев и пропал...» (I, 268).

Возник он в русской Швейцарии. Позже обнаружилось, что Шевелев путем мошеннической операции достал деньги, необходимые для бегства за границу и для того, чтобы предстать перед эмигрантами богатым человеком (по другой версии – удачно играл в рулетку). Он называл себя представителем сектантов-молокан, союз же с «духовно» гонимыми был одним из любимых революционных проектов. Потому Шевелева холили. Сверх того, он обещал финансовую поддержку русских единоверцев, спонсировал издание запрещенной литературы. И в результате оказался в центре конфликтов, раздиравших эмиграцию. Загадочный «молоканин» ситуацию излагал предельно отчетливо: «...я застал эмиграцию разделенную на два враждебных лагеря <...> партию денежную – партию более со средствами, сгруппированную вокруг Герцена, человека хотя и скупого, но все-таки денежного» (I,

269). «Молодые» же (М.К. Элпидин, А.А. Серно-Соловьевич) «составляли другую партию без средств и почти без дневного пропитания. Обе этих партии наперерыв друг перед другом старались во что бы то ни стало приобрести меня» (I, 269).

Огарев, по обыкновению, «молоканином» увлекся, Герцен же, подозревая происки правительства, уходил от контактов. И на этот раз друга переубедил, чему, судя по всему, невольно способствовал Шевелев, злоупотреблявший терпением поэта-эмигранта. Огарев даже набросал шуточный (они с Герценом это любили) скетч, где «нервный, старый русский эмигрант» выведен жертвой надоедливых преследований «Безмолокана, подозрительного господина, выдающего себя за раскольника» (I, 259). Публикатор, к слову сказать, недоумевает, «почему Огарев называет молокана “Безмолоканом”», полагая, что «это связано со следующей далее лаконичной характеристикой Шевелева: “выдающий себя за раскольника”» (I, 342). Правдоподобно, однако, видеть здесь «шутку юмора»: «молоканин», как известно, произносится с ударением на «а», у Огарева же ударение в прозвище «Безмо^ло^кан» поставлено на втором «о», что намекает на молоки, создавая ихтиологически-непристойный эффект.

Скетч открывается монологом «Нервного»: «Как сегодня хорошо посидеть у окна! Что за закат солнца, за горы; что за воздух! Просто можно отдохнуть под старость лет. Счастливо, что она («девушка в услужении». – М. О.) уж два раза не пустила ко мне этого дурака Безмолокана. Черт его знает, что он такое! Шпион, контрабандист или просто скотина, но все же его пускать опасно. Он же имеет привычку, раз взошел – его ничем не выгонишь. Положим, мне его жаль. Он сказывал, будто у него жена выкинула. Ну что ж мне с этим делать? Ведь я не повивальная бабка. Ну! а если он в самом деле акушер в доносах? Ну его! Если не совершенно вреден, так, наверно, ни на что не годен, кроме наведения неизмеримой скуки» (I, 259). Про «выкинувшую» жену, согласно комментарию, «факт подтверждается показаниями Шевелева на допросах» (I, 342): товарищеским отношениям среди эмигрантов не позавидуешь.

Шевелев вскоре исчез из жизни Герцена и Огарева, но не бросил «большую политику». Очень вкратце: печатал антирусские статьи в австро-венгерской прессе, встречался со знамени-

тым террористом С.Г. Нечаевым, проник в Россию, ставя цель выкрасть деньги на революцию, арестован, повторно бежал, показавшись у швейцарских эмигрантов при солидном состоянии, с неясным поручением попал в Париж коммунаров, вступил в войска повстанцев, приговорен коммунарами к расстрелу, задержан версальцами, выдан русскому правительству.

На родине Шевелеву выпали такие муки, что желание пощучивать над ним исчезает. Его осудили как уголовного преступника, затем поместили в больницу для умалишенных, чего Шевелев чрезвычайно страшился: «...мне наденут рукавицы, обреют голову и будут на тебя капать холодную воду. В виду этой ужасной пытки я намерен при отправлении меня защищаться, и лучше мне пасть мертвым, нежели выдерживать такие адские мучения» (I, 339). Тем не менее Шевелев пять лет провел в тюремных клиниках, был сослан в Туруханский край, «где, вероятно, и умер на поселении. Год его смерти не установлен. Так закончил свою жизнь нравственно несостоятельный и преступный человек, словно целиком вышедший из “Бесов” Достоевского. Его спутанное существование причудливо скрестилось с жизнью нескольких выдающихся личностей – Огарева, Герцена, Бакунина, Салтыкова-Щедрина, А.Ф. Кони – и навсегда закрепились в их произведениях, письмах, судебных речах... Вынырнув на некоторое время из тумана, Шевелев снова скрылся в нем, подобно призраку, порожденному большой фантазией...» (I, 339).

Это патетическое заключение истории вызывает на спор, заставляя вспомнить о терминологической инерции гуманитариев. Значат ли слова «нравственно несостоятельный и преступный человек, словно целиком вышедший из “Бесов” Достоевского», что Шевелев – аморальный революционер из тех, которые фигурируют в этом романе? Публикатора понять трудно, ясный ответ – или хотя бы ясная постановка вопроса – отсутствует. Текст как бы намекает поначалу, что Шевелев – правительственный шпион, но без причины же Герцен избегал встречаться с «Безмолоканом». Но свидетельства такого рода, судя по публикации, в деле отсутствуют. Остается нравственный критерий. Кони, который выступал прокурором на процессе Шевелева, предложил соответствующую формулировку: «...человек борется за самые крайние идеи, идущие вразрез с общественным строем, для торжества этих идей жертвует

жизнью на баррикадах Парижа, даже ранен при этом, и вместе с тем считает возможным, под предлогом, что для него цель оправдывает средства, написать ложное письмо, чтоб получить за это небольшие деньги, причем выражение “цель оправдывает средства” он понимает самым узким образом. Это не та возвышенная общая, широкая цель, для которой, по известному безнравственному правилу, всякое средство может быть возможным, а цель низкая, лично ему принадлежащая и не имеющая ничего общего с благом других» (I, 322).

С аккуратными оговорками – речь произносит прокурор императорского правительства – Кони, любимый интеллигентами до и после революции, отделяет «узкое» понимание допустимых средств, свойственное эгоисту Шевелеву, от «широкого», очевидно, присущего альтруистам – борцам за общее дело. Нечто подобное, если не ошибаюсь, имеет в виду и публикатор, вынося свой приговор Шевелеву. Хотя упоминание «Бесов» открывает возможность для другой интерпретации (табуируемой принципами «герценоведения»): Шевелев – революционер со всеми характерными «свычаями и обычаями». Профессиональный революционер – ремесло особенное, и тот же финансовый вопрос здесь один из принципиальнейших.

Как уже говорилось, в двухтомнике явно преобладают публикации. Это, может быть, в общем и горестно, поскольку выражает отсутствие стремления осмыслить миссию Герцена, зато отрадно в аспекте занимательности: публикационный жанр пространственно лимитирует возможности для демонстрации «филологического утопизма», исполнены же вступительные статьи и комментарии на высоком профессиональном уровне. К уже названным добавлю новую редакцию рассказа о семейной драме из «Былого и дум» (И.Г. Птушкина) или переписку отца Герцена Ивана Яковлева с историком А.И. Михайловским-Данилевским (А.П. Тартаковский).

Особого разговора заслуживают публикации, где ценность заключается не в собственно документах, а в их интерпретации. Здесь снова без сетований на инерцию официальных схем не обойтись. Вначале пример позитивный. Ю.В. Манн представляет записку Герцену Ивана Киреевского. Записка имеет бытовой характер и занимает пять строчек, но исследователь на этом матери-

але создает неожиданный этюд о контактах и интеллектуальных пересечениях двух представителей враждебных направлений отечественной мысли – закоренелого западника и идеолога славянофильства. Напротив того, комический эффект производит публикация инскрипта Герцена на экземпляре романа «Кто виноват?», подаренном прозаику Н.Ф. Павлову. Выясняется, что уважаемых людей Герцен почтил пространными надписями: «...он подарил другой экземпляр романа создателю “Философических писем”, написав на нем: “Петру Яковлевичу Чаадаеву в знак глубокого уважения от А. Герцена” (как пространно и содержательно! – М. О.). Обращение к Чаадаеву, как мы видим, заметно отличается от “павловского”. <...> Н.Ф. Павлов, несмотря на редкую по тем временам образованность и литературный талант, не пользовался симпатией современников, отзывы о нем как о человеке почти всегда холодны и пренебрежительны. Холодной кажется и надпись Герцена, но, справедливости ради, следует отметить, что точно такие же лаконичные дарственные надписи Герцен нередко делал на тех книгах, которые с теплым чувством преподносил и любимейшим друзьям» (I, 246). Никак не комментируя логику рассуждения (надписи «хорошим» людям лаконичны, следовательно, лаконичная надпись «плохому» означает негативное отношение), приведу, наконец, «холодный» инскрипт: «Николаю Филипповичу Павлову» (I, 246). О мере герценовского презрения можно догадаться лишь по официальной аксиоматике: Павлова в отечественном литературоведении принято недолюбливать.

* * *

Книги – бесспорно, занимательные – «Литературного наследства» снова напоминают, что «герценоведение» как частный случай официального отечественного литературоведения базируется на сомнительных основаниях непогрешимости классика. Это находит выражение в устоявшихся подходах и репутациях, жестких формулах, утративших связь с денотатом, а также в «филологическом утопизме», провоцирующем подмену здравого смысла отвлеченными теоретическими построениями.

Причиной тому прежде всего «мифологическая» удачливость Герцена, которая заслуживает специального разбора. Он принадлежал к мыслителям, которым повезло в изобретении

продуктивных социальных мифов: на его счету «антиправительственный пафос русской литературы», «мещанский характер западной / капиталистической цивилизации», «русский социализм» и т. п. Очевидно, мифы эти остаются мифами, сохраняя власть над умами, раз их конструктор по-прежнему ускользает от конкретно-исторической оценки.

Если же говорить обобщенно, пример с герценовскими томами «Литературного наследия» наглядно демонстрирует необходимость для современного гуманитария терминологического «трезвения», «очищения». Никто, разумеется, не дерзнет утверждать, что его слово и есть точное слово, которое ускользало от предшественников и вот теперь окончательно «найдено». Однако беречься научных штампов в порядке программы-минимум, как благое себе пожелание – задача вполне осуществимая. Более того, отталкивание от привычных терминов и идеологем не только похвально с точки зрения научной истины, но и выгодно. Ведь поиск точного неангажированного слова позволяет приобщиться к энергии преодоления, противостояния. А хорошо известно, как страдают и художники, и гуманитарии в тех случаях, когда им нечему противостоять.

Тезис о терминологическом самоотречении имеет преимущественно негативный характер, объясняя, «как не надо». Что же касается положительных замечаний («как надо»), можно с отрадой констатировать распространение (возрождение) в современных гуманитарных науках методики анализа базовых идеологем культуры. Такого рода штудии не новость, в форме лингвистического (семасиологического) описания значений слов-символов они вполне традиционны, но ныне лингвистическая стадия осознается как лишь начальная стадия исследовательского процесса, которая венчается филологической интерпретацией текстов и реконструкцией генеральных исторических схем.

Симптоматично, что к сходным выводам приходят историки, размышляя о пересмотре методологических посылок: «...именно язык создает миф, в котором живет человек. Не только человек прошлого, но и сам историк является носителем определенной языковой мифологемы. Контакт исследователя с историческим источником, в котором естественно выражается иной миф его автора, неизбежно ведет к диалогу разных культур. Способом,

при помощи которого осуществляется этот диалог, является источниковедение. Оно вооружает исследователя специальной техникой понимания текста; интерпретация текста – конкретное воплощение диалога. Именно диалога, потому что от вопросов исследователя зависят и “ответы” источника, от угла зрения – глубина взаимности»².

¹ Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. М., 1997. Кн. 1–2. Ссылки на это издание приводятся в тексте; латинской цифрой обозначается том, арабской – страница.

² Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 25.

2002 г.

Впервые: Достоверность и доказательство в исследованиях по теории и истории культуры: В 2 кн. М.: РГГУ, 2002. Кн. 1. С. 846–866.

«Жизнь Иисуса» Ренана Исторические метаморфозы книги

Памяти В.А. Грихина

«Жизнь Иисуса» (1863) – сочинение, которое принесло Жозефу Эрнесту Ренану (1823–1892) наибольшую известность, отчасти скандальную. Сам автор также особенно выделял это произведение. Ни один из замыслов не вынашивал он так долго (с 1840-х годов) и не воплощал так вдохновенно (в Палестине, где Ренан в 1860 г. оказался вместе с французской военной миссией, он имел под руками только две книги – Новый Завет и «Иудейские древности» Иосифа Флавия). Ни одно из его сочинений не выдержало столько прижизненных изданий, переводов, ни одно не вызвало столько критических откликов. Ни одна из его книг не проникнута таким пафосом, как эта, – болью, порожденной утратой самого близкого человека (старшей сестры Генриетты). Сестра сопровождала брата в ближневосточной экспедиции, вместе они работали, обсуждали будущую книгу. Вместе их настигла болезнь, которая для сестры оказалась роковой. Посвящением «чистой душе» Генриетты и открывается «Жизнь Иисуса».

Эта работа стала первым томом «Истории первых веков христианства». За ней последовали «Апостолы» (1866), «Апостол Павел» (1867), «Антихрист» (1873), «Евангелия и второе поколение христиан» (1877), «Христианская церковь» (1879), «Марк Аврелий и конец древнего мира» (1882). Безусловно, «История первых веков христианства» представляет собой единое целое, сцементированное концептуально и стилистически. Тем не менее первая книга разительно отличается от остальных своеобразной «романностью». Только «Жизнь Иисуса» Ренан специально об-

работал для широкой читательской аудитории. В популярном варианте опущены критика источников, научный аппарат ссылок и приложений, а также, по выражению автора, некоторые «темные» места.

«Жизнь Иисуса» была воспринята как произведение совершенно оригинальное и новаторское. Во многом это объяснялось неакадемичностью, яркостью и доходчивостью. Однако Ренану было очевидно, что он обращается к достаточно разработанной области библеистики – научной критике текстов Ветхого и Нового Завета (см. характеристики предшественников в «Этюдах по истории религии»¹, 1857). На связь с традицией указывало и само заглавие труда: так же назывались сочинения известных богословов Паулуса, Штрауса.

* * *

Средневековое христианство почитало не подлежащими сомнению и обсуждению две группы сакральных текстов – Священное Писание, т. е. Библию, и Священное Предание – признанные церковью толкования книг Ветхого и Нового Завета, жития святых. В период Реформации, ставившей перед собой цель вернуть христианство к его первоначальным апостольским временам и отказаться от позднейших «пагубных» нововведений, Священное Предание как одно из этих нововведений было подвергнуто сокрушительной идейной и текстологической критике. Католики, защищаясь от нападок протестантов, также стали использовать в полемике язык филологической науки.

В XVIII в. настал черед и текстам Священного Писания стать объектом строгого научного (с тогдашней точки зрения) разбора. Век Просвещения имел пристрастие к анализу² и ниспровержению социальных и государственных устроений, признанных авторитетов, верований. Тогда же в протестантской Германии образуется научное направление критики библейских текстов – школа богословского рационализма. Она основывалась на трудах И.Г. Эйхгорна (1752–1827), теолога, востоковеда, историка, который стремился доказать, что в канонических текстах присутствует совершенно невероятный вымысел. Его «разоблачения» направлены на чудесное или сверхъестественное, примешанное к чистой истине Писания примитивными и экзальтированными

ми людьми. Но если Эйхгорн все же не рисковал подступиться к критике Нового Завета, оставаясь в пределах Ветхого, то его последователь Г.Э.Г. Паулус (1761–1827) решился на этот шаг. Образчиком его анализа может служить трактовка сцены явления посланца Божия Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Само видение архангела Гавриила вызвано, по мнению ученого, световой галлюцинацией, а постигшая Захарию – за строптивное неверие в благую весть о будущем рождении сына – немота объясняется случившимся с ним апоплексическим ударом. Другая будущность была суждена основному тезису Паулуса о том, что евангельские «истории» рассказаны людьми простодушными, наивными и уже потому не могут претендовать на достоверность.

На смену рационалистическому направлению в библеистике приходит «мифологическое», представленное в трудах ученых так называемой новой Тюбингенской школы, основателем которой можно считать Ф.К. Баура (1792–1860). Если прежде «погрешности» в Священном Писании относились на счет манеры изложения, то теперь возникли сомнения в достоверности изложенных фактов: слишком очевидны были параллели между евангельскими событиями и мифами других народов.

Большое влияние на Тюбингенскую школу оказало учение Гегеля («Феноменология духа», 1807). Кстати, и он отдал дань веяниям времени, написав в 1795 г. концептуальное сочинение, которое было опубликовано после смерти философа и получило знаменательное название «Жизнь Иисуса». Гегель, для которого «чистый, не знающий пределов разум есть само божество», делает и своего Христа его воплощением, а вовсе не Сыном Божиим. А так как чистый разум не знает ошибок, то и Христос требует исполнения нравственного закона как строгого юридического установления. В трактовке Гегеля Иисус прежде всего моралист, усердно исправляющий людские пороки.

Сильный резонанс вызвали работы радикала-младогегельянца Бруно Бауэра (1809–1882), особенно темпераментное отрицание исторической реальности Христа, что в XX в. благодаря работам Маркса и Энгельса стало аксиоматикой официального советского атеизма. Следует учитывать, что в Германии профессорские сомнения в Священном Писании совершенно не подразумевали отрицания Бога. Как указал С.Н. Булгаков, «если задаться

вопросом, что представляет собой современный протестантизм в самой подлинной его религиозности, придется ответить, что это именно и есть богословская наука, служение Богу в верном и честном искании научной истины. Профессора богословия в протестантизме – высший, даже единственный церковный авторитет: они вероучители церковного предания, которое у всех на глазах превратилось в научную традицию или в историческую науку. Протестантизм есть в этом смысле профессорская религия...»³. И даже экстремистские выводы Бауэра еще не тождественны атеистической догме: лишь позднее «сделали эти идеи предметом страстной и фанатической агитации и бросили их в толпу»⁴.

Самым известным предшественником Ренана был другой младогегельянец – Давид Фридрих Штраус (1808–1874), автор обстоятельного труда «Жизнь Иисуса» (1835–1836). Не отрицая (в отличие от Бауэра) существования Христа, он разделил имеющиеся о Нем сведения на исторически достоверные и мифологические. Последние вычленены при сопоставлении с множеством мифов других народов. Что касается биографии исторического Христа, то она поневоле получилась неполной и отрывочной, поскольку была составлена лишь на основании тех немногих источников, подлинность которых у педантичного богослова не вызывала сомнений. А сомнения у Тюбингенской школы вызывали двадцать две из двадцати семи новозаветных книг. Но в намерения Штрауса входила не пропаганда безбожия, а выявление философского значения миссии Христа как синтеза бесконечного, божественного и конечного, человеческого. Одноименные произведения двух авторов-современников как бы конкурировали друг с другом. По читательскому успеху Ренан, безусловно, затмил Штрауса, но зато у людей сведущих заслужил обидную репутацию удачливого популяризатора немецкой учености. Без восторга отнесся к его труду и сам Штраус. Впрочем, у Ренана тоже имелись к коллеге серьезные научные претензии, изложенные в «Этюдах по истории религии». Ренан считал некорректным сведение Нового Завета к мифологической основе, потому что мифы характеризуют более раннюю стадию развития человеческого общества; применительно же к описываемой эпохе следует, по его мнению, говорить лишь о легендах, хоть и искаженно, но все-таки отражающих реально происходившие события. Ренан

настаивал на необходимости учитывать нравственную высоту, образцовость исторического Христа, с негодованием восставал против Его обезличивания под пером Штрауса, в этом отношении типичного представителя гегелевской школы. (Последним актом в противостоянии ученых стала их журнальная переписка в связи с Франко-прусской войной; француз и немец выступили здесь не представителями академической учености, а пламенными защитниками своих держав.)

Немалый интерес представляют суждения Ренана о «Сущности христианства» (1841) Людвига Фейербаха. Фейербах считал, что человек создал религию, дабы компенсировать, восстановить свою изначально прекрасную, но извращенную общественными отношениями природу. В противовес немецкому философу Ренан акцентирует внимание не на уродстве жизни, а на красоте. В соответствии с этим и христианство отражает не то, что в реальном человеке отсутствует, а то, что хоть редко, но присутствует и делает его природу возвышенной.

Библеистика по преимуществу была наукой немецкой и во Франции до Ренана особого распространения не получила. Зато Ренан многое почерпнул у французских мыслителей, пропагандировавших утопический и христианский социализм, Сен-Симона и Ламенне. В их трудах современный социализм отождествлялся с ранним христианством и осмыслялся как новая религия человечества. К социалистам Ренан относился в целом негативно, но, подобно им, привносил в трактовку раннего христианства полемическую «злобу дня»; модернизация была характерной чертой его исторического метода. Таким образом, когда Ренан дерзнул предложить свою версию жизни Христа и происхождения Церкви, ему было на что опереться и как библеисту, и как мыслителю.

* * *

Во введении к научному варианту «Жизни Иисуса» Ренан указывает на источники, послужившие основой исследования. Это, во-первых, Новый Завет, и прежде всего Евангелия. Как и представители Тюбингенской школы, Ренан отрицает традиционные представления о времени создания священных текстов, их авторстве и первоначальном виде. Но, допуская, что эти тексты написаны почти столетие спустя после жизни Иисуса и не всегда

очевидцами, он тем не менее полагал возможным пользоваться, с определенной осторожностью, изложенной в них информацией. В Евангелиях Ренан видел легендарные биографии, подобные тем, которые повествовали о жизни Будды, Сократа, Александра Македонского: все они содержали элемент вымысла и вместе с тем являлись бесспорными историческими свидетельствами. Такого рода соображения оправдывали подход ученого, который, свободно komponуя эпизоды из четырех Евангелий, выстраивал ту версию событий, что казалась ему правдоподобной. Вторая группа источников – апокрифы, сочинения, которые хотя и рассказывают о событиях Священной Истории, но не входят в Библию, а порой и запрещаются церковью. Такие ветхозаветные апокрифы, как Книга Еноха или Четвертая книга Ездры, вполне надежно отражали духовную жизнь еврейского народа эпохи Христа и потому использовались Ренаном. Кроме того, он опирался на трактаты современника Христа философа Филона Александрийского, «Иудейские древности» Иосифа Флавия и на Талмуд.

Сведения, почерпнутые Ренаном из источников и трудов предшественников, позволили ученому дать свой образ Христа. Прежде всего это не Богочеловек, не Мессия. И не было непорочного зачатия, не было и воскресения, т. е. ничего чудесного и сверхъестественного. Был сын плотника, явившийся на свет вполне обычным способом и в муках умерший на кресте, умерший раз и навсегда. В предисловии к 13-му изданию «Жизни Иисуса» (1867) Ренан оговаривал: «Если чудо и Богодухновенность каких-нибудь книг существуют в действительности, наш метод отвратителен. Если чудо и Богодухновенность суть лишь верования, не имеющие реального основания, наш метод хорош». Этим уточнением Ренан парировал возможные обвинения в кощунстве, но все же некоторые его пассажи шокируют. Сцена бичевания Христа становится поводом поразмышлять о том, сколь оскорбительно для достоинства римского солдата участие в подобной унижительной процедуре: вместо сострадания жертве своего рода сочувствие палачам.

Безусловно, Ренан не единственный, кто акцентировал человеческую природу Христа, отрицая Божественную, но он первым попытался представить версию, как человек стал в сознании современников и потомков Богом – совершенным воплощением

идеального и возвышенного. Согласно позитивистскому методу, любое событие причинно обусловлено. Явление Мессии было детерминировано духовной жизнью Израиля той поры. Примерно за 150 лет до рождения Иисуса еврейский народ, снова и снова поработаемый иноверцами, начинает мечтать о Нем, о грядущем Спасителе. Полтора века проходят в умственной и духовной горячке, чему способствуют непрекращающиеся политические неурядицы и кризис официального иудаизма. Приди Христос раньше или позже, трудно сказать, зажгли бы Его слова сердца слушателей. Но Он явился вовремя и, «очаровав» иудеев, невольно подтолкнул их к нехитрому силлогизму: «Мессия в нашем представлении должен вести себя так, как ведет себя этот галилеянин; следовательно, Иисус – Мессия».

Детерминировано было не только восприятие Христа современниками, сам Он тоже был детерминирован географической и социальной средой. Природу Галилеи Ренан назвал пятым евангелием: так много открылось ученому в личности Христа во время путешествия по святым местам. Горы, характерные для галилейского ландшафта, пробуждали тягу к возвышенному, но не суровостью, а мягкостью веяло от них, и даже животные там были кроткие. Люди, населявшие Галилею, особенно женщины, отличались красотой. Смешение народов и вер делало их терпимыми, бедность и простота жизненного уклада воспитывали презрение к роскоши. Всем своим нравственным и физическим обликом Христос был галилеянин; суровая, выжженная солнцем земля южной Древней Иудеи вряд ли могла породить человека подобного склада.

Отдав должное человеческой привлекательности Иисуса, Ренан не одобрил Его образования – скудного образования раввина. Ограниченность интеллектуального кругозора, например непонимание кризиса государственных институтов Римской империи, вызвали в ученом XIX в. недоумение и снисходительную жалость. Но совсем безжалостно бичует поклонник прогресса неразвитость и невежественный мистицизм учеников Мессии. Забавно, что исключение Ренан делает для женщин из окружения Христа: их необразованность искупается душевностью. Неспособные осознать глубины нового учения, они принимают Его сердцем – такова сила их любви к Учителю. Именно жен-

щины, в отличие от дрогнувших учеников, остались при Нем в смертный час.

Помня о пресловутой «женственности» Ренана, о той роли, какую женщины играли в его жизни, остается недоумевать: этот очевидный автобиографизм – мания величия или наивное наделение людей прошлого современной психикой? Вообще Ренанистик, вынужденный считаться с ограниченностью источников и упрямо не желающий видеть мистические скрепы событий, постоянно прибегает к помощи Ренана-литератора, к психологическим зарисовкам и цветистому слогу. Так, лаконичное моление в Гефсиманском саду: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42) – превращается Ренаном в многословное слезливое сожаление о загубленной молодой жизни. А установление на Тайной вечери Евхаристии, центрального таинства христианства, оказывается результатом недоразумения: по обыкновению непонятливые ученики перепутали прямое и переносное значения слов Учителя. Произведение Ренана многие критики обвиняли в слащавости. Но верно и другое. Чем ближе его Иисус к финалу своей жизни, тем почтительнее становится тон повествования. Ренан заставляет читателя преклониться перед Тем, Кто добровольной жертвой утвердил истинность своих нравственных заповедей. Сцена распятия получилась столь выразительной, столь проникнутой восхищением перед достоинством и благородством Иисуса, что даже убежденные противники Ренана, считавшие его безбожником, вынуждены были оценить ее достоинства. «Не изумительно ли, – писал Н.Ф. Федоров, – что Ренан, дошедший в своей “Жизни Иисуса” до момента Его смерти, не мог, очевидно, примириться с нею... Не значит ли это, что Христос даже и в этом неверующем Своєю смертью смерть попра!»⁵

В последующих за сценой распятия главах («Иисус во гробе», «Участь врагов Иисуса») Ренан скорбно констатирует контраст между величием жизни и смерти Учителя, с одной стороны, и равнодушием толпы, трусостью учеников, безнаказанностью Его врагов – с другой. Этот контраст был настолько шокирующим, что Ренан решил не оскорблять нравственное чувство читателя и исключил эти главы в популярном варианте книги: после описания смерти Иисуса сразу подводится основной итог Его деятельности.

По Ренану, Христос первым в истории человечества посвятил Себя служению идеальному и возвышенному, а это и есть святость и Божественность. Он не только стал образцом свободной духовности, но и сплотил во имя ее сообщество, которому предстояло превратиться во Вселенскую Церковь. Вот почему как Сократ создал Философию, Аристотель – Науку, так Иисус создал Религию. Представитель позитивизма, Ренан был убежден, что люди лишь постепенно осознают объективные законы, которые направляют движение мира от хаоса к гармонии. У истин нравственных есть свои первооткрыватели, как у истин математики и естествознания. Таким первооткрывателем видится ученому Иисус⁶.

Анализ учения Христа историк строит вокруг понятия Царства Божия, обетованного Учителем. Царство Божие – «не от мира сего», в нем другие ценности и другие мерки. Те, кто внял благой вести о Царстве Божием, приобщились к идеальному, постигли самоценность нравственности и добродетели. В Древнем мире человек целиком – телом и душой – принадлежал обществу и государству. Нравственным и добродетельным было то, что служило процветанию социума. Освободив нравственность и добродетель от этой зависимости, Христос открыл, что их значимость в них же самих. Совершать образцовые поступки, не ожидая за них материальной выгоды и не надеясь на прижизненное воздаяние, – главная заповедь Христа.

Царство Божие есть царство справедливости. Говоря так, Иисус отменил идею права, господствовавшую в обществе до Него. Идею права, столь значимую в истории цивилизации, открыла человечеству античность. Право, с точки зрения Ренана, есть узаконенное неравенство. Оно регламентирует обязанности и привилегии человека в соответствии с его местом в социальной иерархии. Неравенство – основа общества и государства, непреложный закон того земного царства, которое отрицал Христос. А вход в Царство Божие открыт каждому, вне зависимости от его социального статуса, – плотнику, рыбаку, словом, каждому, кто испытывает потребность в духовном поиске и свободной мысли. Так понимаемое Царство Божие подрывало не только государственную основу Римской империи, но и авторитет иудаизма, потому что спасительным оказывалось не внешнее соблюдение обря-

дов, а «святость» – укорененная в сердце нравственность и добродетель. Христос Ренана – больше чем церковный реформатор: отрицая иерархию вообще, Он отрицает не только Моисеев закон, но и позднейшее христианство, Церковь. Французский ученый не устает повторять, что благородный призыв Иисуса к свободной вере и толерантности был услышан лишь спустя 18 веков, и не католиками, которые в своем фанатизме доходили до пресловутых аутодафе во имя Его, а просвещенными людьми XIX столетия.

Идея Царства «не от мира сего» легко могла быть понята как идея ниспровержения существующих государственных форм, мысль о том, что вход туда открыт не только богатым, легко трансформировалась в воображаемое царство только для бедных. Но Ренан, к 1863 г. уже с опаской относившийся к движению низов, предусмотрительно предостерег против чисто социальной трактовки христианства. Он не без горечи признавал, что в начале Своего пути Иисус, подпав под обаяние могучей личности Иоанна Крестителя, верил в царство справедливости на земле, притом в ближайшее время. И позже в сознании Иисуса оставалась непроясненной связь Царства Божия и апокалиптического ожидания конца света, крушения недолжных общественно-государственных отношений. Ренан, однако, полагал, что Иисус нащупывал точную формулировку Своего идеала как принципиально внесоциального, духовного, не предполагающего осуществления во времени и пространстве, и лишь крестная смерть помешала Ему. Ренан считал себя носителем этого единственно правильного понимания христианского идеала. Некорректная же интерпретация Царства Божия как программы политического переворота была подхвачена и развита социалистическими партиями.

А.К. Толстой по горячим следам (письмо жене, 1863 г.) подвел иронический итог новаторству книги «Жизнь Иисуса»: «Я читаю с большим любопытством Ernest Renan, но он очень узенький и говорит про Христа с снисхождением, извиняя Его временем и средой, что Он, бедный, верил чудесам. Был Он, по его мнению, ума не слишком дальнего, довольно переменчивый в своих мнениях, но, впрочем, человек хороший. Много Ему повредило знакомство с Иоанном Крестителем, но, к счастью, Иоанну отрубили голову, и тогда опять все пошло хорошо. Более всего Он обязан Своим развитием галилейскому пейзажу»⁷.

Итак, Ренан предложил читателю оригинальную концепцию Христа и христианства. Она была плодом длительных размышлений ученого. Еще в статье «Историческая критика Иисуса», включенной в «Этюды по истории религии» (1857), он писал: «Философ, как и богослов, должен признать в Иисусе две природы, разделить человеческое и божественное и не смешивать в своем обожании реального героя с идеальным. Следует без колебаний обожать Христа, то есть Евангельский образ, потому что все возвышенное причастно Божественному, а Евангельский Христос – наиболее прекрасное воплощение Бога в наиболее прекрасной форме; Он действительно Сын Божий и Сын Человеческий, Бог в человеке... Что же касается галилеянина, который прямо на наших глазах утрачивает отблеск Божественности, то не стоит придавать значения тому, что Он от нас ускользает»⁸.

* * *

Как сочинение научного характера книга Ренана за полтора столетия в общем-то устарела. Существенно расширился круг источников. Протестантский теолог А. Гарнак (1851–1930), кстати, родившийся и учившийся в Дерпте (Тарту) и тесно связанный с русской богословской мыслью, тщательно проанализировал солидный корпус античных текстов и обнаружил в них множество надежных свидетельств, опровергающих сомнения тюбингенцев в подлинности новозаветных писаний и подтверждающих ряд легендарных преданий о начальной поре Церкви⁹. Но поистине эпохальными были археологические открытия на Ближнем Востоке, в основном в Египте. В 1897 г. в Оксиринхе среди множества записей, сделанных на папирусе, были обнаружены восемь речений на греческом языке, каждое из которых начиналось словами: «Говорит Иисус». Эти речения, или логики, расходились иногда по существу, иногда в деталях с текстом Нового Завета. После Второй мировой войны важные открытия были сделаны в Южном Египте. Феллахи, выполнявшие земляные работы у подножия горы Гебель-эль Тариф на левом берегу Нила, недалеко от древнего поселения Хенобоскион (совр. Наг-Хаммади), обнаружили тайник. В тайнике оказалась целая библиотека христиан-гностиков – более сорока текстов на коптском языке. Среди найденных в Хенобоскионе рукописей – три полных текста апокрифичес-

ких Евангелий: от Фомы, от Филиппа и Евангелие Истины¹⁰. Примерно в те же годы в местности Кумран на берегу Мертвого моря были открыты рукописи иудейской секты ессеев, чье учение оказало влияние на становление христианства. Наконец, обнаружение израильским ученым Ш. Пинесом (1971) средневековой арабской рукописи позволило подтвердить аутентичность свидетельства о Христе Иосифа Флавия.

Специалист по раннехристианской письменности И.С. Свенцицкая, правда, авторитетно замечает: «Основными источниками для реконструкции событий жизни проповедника Иисуса по-прежнему остаются новозаветные Евангелия – как и во времена, когда Ренан писал свою книгу»¹¹. Однако увеличение корпуса источников все-таки так значительно, что историко-филологическую актуальность «Жизнь Иисуса» практически утратила. Более того, ближневосточные открытия обусловили методологическую революцию, обеспечив возможность исследовать не только содержание, но и «форму» Евангелий («критика форм»). Прежде выявляли «достоверную» проповедь Христа, очищая первоначальную сердцевину от «искажающих» наслоений. Теперь же исходят из неразрывности связи Благой вести и «формы», в которой она осуществилась.

Оказывается, например, что некоторые логики в канонических и гностических Евангелиях тождественны, и «тот, кто впервые читает апокрифическое Евангелие от Фомы, полагает специалист по гностицизму М.К. Трофимова, обычно испытывает разочарование: столь знакомыми по канонической версии Нового Завета кажутся ему изречения Иисуса, собранные в этом произведении»¹². Зато «сюжет» – события земной жизни Христа – излагается принципиально иначе. В апокрифах из Наг-Хаммади Иисус – одолевший смерть Бог-победитель (просветление, по гностическому учению, единственно гарантирует знание Истины). Ни о рождении, ни о детстве, ни о муках речь не ведется: в Евангелии от Фомы (Наг-Хаммади, сб. 2, соч. 2) с учениками и слушателями собеседует воскресший, как можно судить на основании филологического анализа¹³, Учитель; в Книге Фомы (Наг-Хаммади, сб. 2, соч. 7) разговор происходит на пути в Эммаус, опять-таки по Воскресению. В новозаветных же Евангелиях Христос, в согласии с ветхозаветными пророчествами, страстотерпец, родившийся в Вифлееме, проповедовавший,

казненный позорной казнью. То есть логики не просто механически инкорпорированы в «легендарный» рассказ о деяниях Сына Божия – сам по себе «сюжет» знаменателен, обеспечивая «авторитетность» речений и притч. Если изложенная жизнь – жизнь Мессии, то все, что Им говорится, приобретает Божественный характер. С точки зрения «критики форм» «доевангельская» («бессюжетная») стадия бытования логий в христианской среде маловероятна: метод, оправдывавший снисходительное воззрение – в манере Ренана – на Евангелия как на сплошное искажение «первоначального» (совершенно гипотетического) христианства, воспринимается как анахронизм.

Основательные возражения были выдвинуты и против важной для Ренана-мыслителя идеи жесткой детерминированности учения Христа конкретно-историческими обстоятельствами. Жорж Сорель, теоретик анархизма, обвинил Ренана в том, что, «желая угодить фривольной публике» популярным рассказом о христианстве, он игнорировал смысл религии как таковой и ограничился недопустимо малым – анализом причин ее возникновения¹⁴. Князь С.Н. Трубецкой в монографии «Учение о Логосе в его истории» (1900) демонстрировал, что явление Христа не выводимо ни из античной, ни из иудейской традиции. «Прежде всего падает “мифологическая” теория, учившая, что евангельская “легенда” сложилась под влиянием народных чаяний и ходячих представлений о Мессии... Я разумею здесь те ученые сочинения, которые стремятся объяснить мессианическое “самосознание Иисуса Христа” из литературно-религиозных влияний Его эпохи, либо те, которые стремятся объяснить или оправдать Его “мессианизм” из таких толкований...»¹⁵ Историко-филологический материал, привлеченный Трубецким, позволял утверждать: «Прежде всего напомним уже сказанное нами отсутствие каких бы то ни было представлений о страданиях Мессии в раввинистической литературе времен Христа. Стало быть, уже по чисто эмпирическим основаниям не может быть речи о каких-либо внешних влияниях в этом отношении. Мы знаем, что крест Христа был впоследствии “безумием для эллинов и соблазном для иудеев” – чем он был вначале и для учеников. Отдельные места из псалмов и пророков стали толковаться в смысле предсказаний о страданиях Мессии лишь впоследствии – в церкви и синагоге. И если сам Он мог относить

к себе такие места, то потому, что Ему открылась необходимость Его страданий, а не потому, чтобы Он пришел к ее сознанию путем искусственной комбинации отдельных священных текстов»¹⁶.

* * *

Как бы ни обстояло дело с историческими и филологическими достоинствами и недостатками книги Ренана, влияние ее на европейскую мысль огромно. Поскольку «католическая Франция не знала другой научной богословской литературы, кроме чисто ортодоксальной, отмечает С.Н. Трубецкой, в импровизации Ренана на темы религиозной истории постоянно прокрадывается нотка сатиры, памфлета, эпиграммы, имеющей современный предмет и бьющей в определенную цель»¹⁷. В России же общественное сознание в 1860–1870-е годы настолько удалилось от церкви, что герой романа Достоевского «Бесы» Степан Трофимович Верховенский «не читал Евангелия по крайней мере лет тридцать и только разве лет семь назад припомнил из него капельку лишь по Ренановской книге»¹⁸.

Именно ренановская концепция Иисуса-человека послужила идеологическим обоснованием для русской живописи последней трети XIX в.: «Христос в пустыне» И.Н. Крамского, евангельские серии Н.Н. Ге и В.Д. Поленова. На этих полотнах, а также в скульптурном изображении М.М. Антокольского («Христос перед судом народа») Христос – благородный мученик, воплощение борца за великую идею. В тот самый год, когда во Франции увидела свет «Жизнь Иисуса» (1863), на выставке в Академии художеств была представлена картина Ге «Тайная вечеря». Она вызвала одобрительные отзывы Крамского, Салтыкова-Щедрина, ее хвалили, по позднему отзыву недоброжелательно настроенной мемуаристки, «за ее “реализм”, за то, что изображаемое в ней событие носит характер такой обыкновенности, как будто дело происходит в наши дни, в Петербурге, где-нибудь на Подьяческой, за ужином в складчину, тайком от полиции, в кухмистерской Митрофанова; за то, что все апостолы на картине – как будто современные “социалисты”, Христос – по-нынешнему – “хороший, добрый человек, с экстагическим темпераментом”, а Иуда – самый обыкновенный шпион...»¹⁹. Современники ясно ощущали новизну подхода Ге: изобразить евангельские события происходящими в

конкретное время и в конкретном месте и имеющими значение исключительно нравственно-политическое.

«Реабилитация» Священного Писания такой ценой устраивала, разумеется, далеко не всех. «Из своей “Тайной вечери”, – писал десятилетие спустя Достоевский, – наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательно: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, – но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Иисус, которого мы знаем. К Учителю бросились Его друзья утешать Его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное? ...Просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм»²⁰.

Достоевский вполне адекватно понимал, каковы идейные истоки отвергаемого им искусства. «Они все на Христа (Ренан, Ге), считают Его за обыкновенного человека и критикуют Его учение как несостоятельное для нашего времени. А там и учения-то нет, там только случайные слова, а главное, образ Христа, из которого исходит всякое учение»²¹. «Образ Христа» подразумевает здесь не исторического, «ренановского», пророка, проповедовавшего в Иудее два тысячелетия тому назад, а Богочеловека. «Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть. Вера это не одно умственное признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощающее слово, Бог воплотившийся»²². Иначе – с вызовом «ренанизму» – говоря, «нельзя остаться христианином, не веруя в *immaculee conception*»²³, т. е. непорочное зачатие.

Итак, всякое «новейшее» прочтение христианства, которое отказывается от догматической веры в Богочеловека, отменяет одновременно и христианство. Верно и обратное: собственно христианским – не атеистическим, не «ренановским» – богочувствование современной Европы (в противоположность, как надеялся Достоевский, России) вообще не может быть. «...Можно ли

веровать, быв цивилизованным, т. е. европейцем? – т. е. веровать безусловно в Божественность Сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит). На этот вопрос цивилизация отвечает фактами, что нет, нельзя (Ренан)...»²⁴ Однако при столь экстремальных обстоятельствах вдруг открываются достоинства автора «Жизни Иисуса». «Учение Христа он, – возмущается Достоевский, например, Белинским, – как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге “La vie de Jesus”, что Христос все-таки идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем»²⁵. Теперь уже в согласии со своим временем Достоевский указывает на «переходность» сочинения Ренана, с помощью которого иной неверующий – из «образованного сословия» – может обратиться и в дальнейшем прийти к истинному христианству. Не случайно Степан Трофимович Верховенский помянул «Жизнь Иисуса» в момент религиозного просветления.

«Оправдание» Ренана едва ли диктовалось исключительно рациональными, «тактическими» соображениями. Ровесник французского мыслителя, Достоевский прошел искусы сходными идейными искушениями. Поразительно, насколько «по Ренану», его еще не прочитав, формулирует писатель смысл пережитого на каторге духовного переворота: «...я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа...»²⁶ Против подобного понимания автору «Жизни Иисуса» не понадобилось бы возражать. «Избирательное сродство» Достоевского с Ренаном объясняет тот, казалось бы, невероятный факт, что русский религиозный писатель опирался на француза-атеиста, создавая роман «Идиот». Воздействие «Жизни Иисуса» не ограничивалось отдельными проблемами (совместимость ужасных предсмертных

страданий Христа и Божественности): центральный образ романа, «князь-Христос» Мышкин – это ренановский Иисус²⁷, наделенный всеми достоинствами, но не являющийся Сыном Божиим. И вот результат его деятельности – не основание великой религии (Религии как таковой), а безумие. Полемика очевидна, но столь же очевидно, что спорят люди, говорящие на одном языке.

Достоевского не отвращал «романный» слог Ренана, отвечавший стремлению дать возвышенный образ Христа. А вот Л.Н. Толстой, по воспоминаниям И.М. Ивакина, «очень не жаловал Ренана да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали свое внимание именно на фактическую сторону в Новом Завете, Ренана он не любил еще и за то... что Ренан называл Христа “*charmant docteur*” (очаровательный учитель. – М. О.), за то, что “в переводах его из Евангелия все так гладко, что не верится, что и в подлиннике так”»²⁸. Стилистическое неприятие Ренана было обусловлено претензиями принципиальными, парадоксально вытекавшими из укоренения «ренанизма» в русском общественном сознании. По мере того как утверждалось исключительно моральное толкование Нового Завета, сама «Жизнь Иисуса», тому способствовавшая, начинала восприниматься как уклончивая, подменяющая прямую нравственную проповедь «красивостями», «пустыми рассуждениями», «фактами». «Если у Ренана есть какие-нибудь свои мысли, – писал Толстой Н.Н. Страхову, знатоку Ренана, – то это две следующие: 1) что Христос не знал *l'evolution et l'progres*. <...> Христианская истина – т. е. наивысшее выражение абсолютного добра, есть выражение самой сущности – вне форм времени и др. <...> Другая новая мысль у Ренана – это то, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, и этот человек непременно потел и ходил на час. – Для нас из христианства все человеческие унижающие реалистические подробности исчезли потому же <...> почему все исчезает, что не вечно; осталось же вечное. То есть песок, который не нужен, промыт, осталось золото по неизменному закону. Кажется, что же делать людям, как не брать это золото. Нет, Ренан говорит: если есть золото, то был песок, и он старается найти, какой был песок»²⁹.

В богословском трактате «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880) Толстой отзывается о Ренане еще непримиримее: «Как только у человека своих мыслей нет, и он ничего не

знает, потому что ни во что не верит, а хочется помудрствовать, так он начинает писать историю религии»³⁰. Симптоматично, однако, что сказано это в связи с учением Ренана о Царстве Божием, понимание которого было центральным и в толстовской интерпретации Евангелия. Писателю, видевшему в Царстве Божием требование немедленного деяния на благо ближнего, рассуждения французского мыслителя о возвышенной области «идеального» казались злостным уходом от сути проблемы – определенное сходство только вызывало раздражение. Зато сходство это, естественно, было явственно оппонентам: в таком «специальном» журнале, как «Православное обозрение», полемическая статья могла иметь подзаголовок «Ответ Э. Ренану и Л. Толстому» (1889. № 4). Потому же «ренанизм» Ге («ренанизм» в социально-нравственном варианте) Толстого, в отличие от Достоевского, не отталкивал. В 1886 г. он охотно составил подписи к «Тайной вечери», когда картину предполагали напечатать большим тиражом, сделав доступной народу.

Продуманную концепцию творчества Ренана сформулировал собеседник Достоевского и Толстого критик-«почвенник» Н.Н. Страхов. В принципиальном труде «Борьба с Западом в нашей литературе» (1-е изд. 1882 г.) французскому сочинителю посвящена отдельная глава (правда, преимущественно скандальному трактату «Умственная и нравственная реформа»). «Неверующих раздражило то великое уважение, которое Ренан питает к религии: он ей приписывает главенствующую роль в развитии человечества, а в Иисусе Христе видит самого совершенного представителя религиозного чувства, – анализирует Страхов общественное отношение к «Жизни Иисуса». – Верующие оскорблены были еще более, так как Ренан отвергает религию в ее настоящем, объективном смысле... говорит о Христе как о простом человеке и вообще признает за религией только субъективное значение, видит все ее содержание только во внутреннем развитии человеческой души <...> Ренан заговорил о религиозных предметах таким тоном, который был более невыносим для людей, искренне верующих, чем самые резкие насмешки и богохульства»³¹. Причина здесь, утверждает Страхов, та, что Ренан «уважает всякую веру, но сам не имеет никакой»³². Отказываясь объяснять двойственность отношения к «Жизни Иисуса» «переходностью» фазы, которую переживает русское общество, критик все сводит к «противоре-

чивости» француза, обусловленной его осознанием ущербности западной цивилизации и одновременным нежеланием принять какой-либо позитивный идеал.

При втором издании «Борьбы с Западом» (1887) Страхов включает особое добавление об «Истории первых веков христианства». Общая оценка монументального труда Ренана – отрицательная, хотя и уважительная: «Внутреннее развитие христианского духа и христианской мысли представляет самую слабую, сухую и бессвязную сторону в этой книге. Зато внешние подробности, побочные предметы изображены иногда с истинным мастерством, со всей тонкостью нюансов»³³. «Назвать Иисуса Христа “*charmant docteur*”, “*une personne superieure*”. (выдающаяся личность. – М. О.) – на первый взгляд не значит ничего особенного, но в сущности есть глубочайшая фальшь, даже и для того, кто рассматривает Христа только как человека, – повторяет Страхов упреки Ренану, которые выдвигал ранее Толстой. – А Ренан доходит даже до того, что приписывает Ему возможность думать о *jeunes filles qui auraient peut être consent à l'aimer!* (девушках, которые, может быть, согласились бы его любить. – М. О.). Эти приемы, – в силу которых древние предметы получают слишком определенный и слишком современный вид и священное делается не только светским, но и пошлым, – чрезвычайно странны у такого ученого и многопонимающего человека, как Ренан»³⁴. Приговор, который Страхов выносит Ренану, прежний: «...ничего нет досаднее писателя, который как будто любит своим внутренним раздвоением, всячески им пользуется, чтобы дразнить и забавлять читателя»³⁵.

Статья С.Н. Трубецкого, в которой творческое наследие Ренана подвергается всестороннему рассмотрению, появилась спустя десять лет³⁶. Во многом повторяя ставшие общепринятыми суждения Страхова, но существенно их распространяя и детализируя, Трубецкой с пиететом и не без симпатии систематизирует воззрения французского мыслителя, делая, однако, исключение для «Жизни Иисуса». Русский философ резок и непримирим, когда речь заходит об этой книге, с его точки зрения «дилетантской», низменной и антиисторичной. Он, как и Страхов, пользуется приемом Толстого, цитируя Ренана по-французски и при помощи языкового контраста подчеркивая поверхностную высокопарность слога противника. На основной недостаток

«Жизни Иисуса» Трубецкой указывает по-своему. Это, так сказать, «редукционизм»: сведение религии целиком и полностью к другим культурным явлениям, объяснение, без остатка растворяющее этот феномен в его причинах (ср. мнение Сореля). Единомышленник В.С. Соловьева³⁷, представитель отечественной школы религиозной философии предчувствует (или выражает) чаяния нового этапа общественной жизни – эпохи духовного (и, в частности, церковного) возрождения. Для Ренана, впрочем, переворот в русской культуре оказался благоприятным: «Жизнь Иисуса», которую уже привыкли трактовать свысока, пришлось кстати времени духовных поисков.

Ренан – «вечный спутник» В.В. Розанова (что неудивительно для почитателя Страхова). Однако сформулировать отношение этого оригинальнейшего мыслителя Серебряного века к французскому мыслителю непросто. Характерной особенностью Розанова является то, что, будучи постоянен в интересе к определенному кругу проблем и текстов, он в то же время часто отказывается от собственных оценок. Например, если в «Темном Лике» и «Людах лунного света» бескровная жертва христиан противопоставляется витальности иудаизма с отрицательным знаком, то в публикациях, связанных с «делом Бейлиса», – с положительным. Сущность оппозиции остается прежней, но «плюс» и «минус» меняются местами. Ренан здесь не составил исключения.

Статья «Место христианства в истории», которая основывалась на актовой речи, прочитанной Розановым 1 октября 1888 г. в Елецкой гимназии, была напечатана в славянофильском «Русском вестнике» и засвидетельствовала выход на общественную арену нового яркого публициста. «Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана... – рассказывает об истории создания «Места христианства» П.Д. Первов, товарищ Розанова по учительству в Ельце. – Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю В.Н. Маракуеву, который и напечатал его (Место семитских народов в истории цивилизации. М., 1888). Розанов, чтобы дать ответ и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». При написании речи Розанов учитывал не только речь Ренана, но и книгу немца Рудольфа Фридриха Грау «Семиты и индо-германцы в их отношении к религии и науке. Апология христианства с точки зрения

этнической психологии” <Штутгарт, 1864>»³⁸. Если Ренан считал вкладом семитских народов в мировую цивилизацию создание религии как понятия об идеальном и возвышенном, а задачу арийцев видел в просветительски-либеральном, свободном от религиозной «ограниченности» развитии этого понятия; если Грау, представитель школы этнической психологии, обосновывал неизбежную противоположность семитов – служителей Бога и арийцев – их культу государства, философии и науки, то Розанов, прославляя в семитах верных носителей Откровения, связывал с новыми арийскими народами надежды на его вселенское распространение.

«Место христианства в истории» подразумевает полемику с Ренаном, но вполне пиететную. Прямо благожелательна характеристика в розановской заметке «Моммзен и Ренан»: «Ренан был выразителем просвещения Франции и вообще европейского просвещения XIX-го века... В самом деле, за исключением Пастера, едва ли можно назвать другое имя, в котором силы, здоровье и высота галльской крови сказались бы так полно и удачно, как в Ренане, так закругленно и универсально»³⁹. Впрочем, «Жизнь Иисуса» Розанов, как и Трубецкой, аттестует «книгой на всяческие взгляды стоящей гораздо ниже своей темы и заголовка»⁴⁰. Однако в скандальной статье «О Иисусе сладчайшем», входящей в «Темный Лик», Розанов высказывается совершенно иначе: «Я не читал “Жизни Иисуса” Ренана, но слышал, всегда в словах глубочайшего негодования, что дерзость этого французского вольнодумца простерлась до того, что которое-то из евангельских лиц он представляет влюбленным...»⁴¹ Розановское «я не читал» не должно скрывать самого главного: русский вольнодумец, вменявший в вину «исторической церкви» неприятие половой любви, брака и семьи, в самых заветных помыслах солидаризируется с вольнодумцем французским.

«Опавшие листья» – художественный шедевр позднего Розанова, который сжигает все, чему поклонялся в 1900-е. Среди отвергнутых кумиров и Ренан. «Никакого черного дня Государю...» – изображает Розанов желанную утопию. Церковь пусть «хранит, говорит, учит и распространяет Евангелие, Христа и Вечную Жизнь. <...> Что же тут трясутся <...> Ренан и Штраус: да их выдрать за уши, дать им под зад и послать к черту»⁴². Но и эта «смена вех» была не конечной: в предсмертном «Апокалипсисе нашего времени», возлагая на христианство и Христа ответ-

ственность за убывание жизненной силы в человечестве, русском народе, Розанов снова вспоминает о Ренане. «Нет: во всем христианстве, в христианской истории, – и вот как она сложена, вот как развивался ее спиритуализм, – лежит какое-то зло. И тут немощны и “цветочки” Франциска Ассизского, и Анатоль Франс, и Ренан»⁴³. Теперь Ренан – вместе со св. Франциском Ассизским! – бессилён придумать противоядие против отравы, содержащейся в христианстве. В какой-то мере Розанов повторяет – в эпатажной форме – предрасистский тезис Р.Ф. Грау о противопозанности новому человечеству (арийцам) христианства.

Итак, в отличие от Трубецкого, убежденного в том, что автор «Жизни Иисуса» бесповоротно устарел, Розанов – при всей причудливой переменчивости суждений – беседует с ним именно как с религиозным мыслителем, споря или соглашаясь при решении интимнейших и животрепещущих проблем.

* * *

Учение Ренана, которое для русских атеистов имело значение компромисса, снимавшего запрет с религиозной тематики, церковью, разумеется, совершенно отвергалось: идеи и тон «Жизни Иисуса» очевидно кощунственны. Вслед за Владимиром (Рене-Франсуа) Гетте, аббатом-французом, принявшим православие и переехавшим в Россию⁴⁴, опровержения составляли отечественные богословы М.Д. Муретов⁴⁵, Н.М. Боголюбов, соответствующие отделы включались в курсы апологетики. Наконец, в 1916 г. выходит сочинение «О книжке Ренана с новой точки зрения» архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого, 1863–1936), одного из виднейших церковных деятелей первой трети XX в., основанное на его публичных лекциях. Злободневность темы Антоний связывает не с серьезностью поставленных Ренаном научных или философских вопросов – «не только среди богословов, но и среди причастных науке светских кругов давно и окончательно утвердилось мнение о книжке Ренана как об изобретении свободной фантазии, а не научном исследовании»⁴⁶. Опасность заключается в другом: «Уже не предубеждение против веры, не слепое доверие к ее врагам, а совершенное безразличие ко лжи и правде стоит на пути-дороге проповедника веры и добродетели. Обществу нужна не наука, не правила жизни, обоснованные на разуме; ему нужны

только фразы, только популярные формулы, чтобы ими отталкиваться от всякого обличения, от всякого призыва к иной лучшей жизни, к борьбе со своими страстями»⁴⁷. Вот какой потребности, по мнению иерарха, отвечают теории Дарвина, Маркса, Ницше и Ренана, вот в чем согласны «эти нелепые тезисы», хотя они «не только непримиримы со здравым смыслом, но и между собой»⁴⁸.

Не ограничиваясь нравственными обличениями, архиепископ Харьковский переходит к детальному обсуждению исторической концепции французского автора. Более всего ученого иерарха возмущают текстологические установки Ренана, которым тот следует, изучая Евангелия – основной источник «Жизни Иисуса». Как демонстрирует Антоний, лишь при помощи произвольных интерпретаций, фантастических гипотез и выборочного цитирования возможно доказать такие, например, сомнительные тезисы, как наличие особого «первого» периода в проповеди Христа (предшествовавшего встрече с Иоанном Крестителем), или принципиальное неприятие Иисусом культа и догматов, или разобщение «истории Спасителя с пророчествами, даже в их субъективном понимании того времени»⁴⁹. «У лютеран, – скорбно замечает богослов, – Ренан пользуется общим презрением и пренебрежением, хотя причиной тому не избыток их религиозности <...> там всем присуща известная освоенность со Св. Писанием, полное невежество в котором есть печальное достояние католиков и общества русского. В этом-то невежестве заключается причина тому, что даже образованные читатели не замечают того бесцеремонного искажения истории и совершенно произвольных вымыслов, которые дозволяет себе автор “Жизни Иисуса”»⁵⁰.

Научную недобросовестность архиепископ Антоний объясняет основной задачей Ренана – «унизить» и «осмеять» Христа. Причем ненавистный ему автор, «имеющий все-таки в душе именно эту цель и не могущий ее вполне скрыть от более зоркого читателя, старается облечься в одежду друга Христа, чтобы успешнее достигнуть своей цели. Он вырабатывает из Христа самый популярный среди французов тип оппозиционно настроенного политического фрондера и, становясь под знамя последнего, как бы его верный последователь, уже не дает возможности поверхностному читателю укорить себя как врага Христова, когда он изобильно наделяет Назаретского Учителя всеми качествами оп-

позиционного лидера, настолько удаляющими последнего от типа идеального человека, настолько лишаящими Его даже качеств честного человека, что не заметить этого могли только французы, для которого умение общественного деятеля приобрести популярность заменяет собою все самые необходимые для порядочного человека, даже минимальные требования морали»⁵¹. Превращая Бога в либерала-вольнодумца, пользующегося успехом у женщин, Ренан, продолжает Антоний, «угождает и современным ему революционерам, и благодушной буржуазии, и великосветским дамам, показывая одним красное знамя, а другим сладкий лимонад»⁵².

Обвинения автора «Жизни Иисуса» в сознательном стремлении посредством идеализации очернить Христа – угождая при том иудаизму – едва ли справедливы. Но не одно лишь отвращение от ренановского легкомыслия и позитивизма руководило архиепископом Антонием. Россия на рубеже XIX и XX вв. переживала церковное возрождение, и в этих условиях в сочинениях Ренана вызывало протест как раз то, что так притягивало в предыдущие десятилетия: попытка создать образ Христа, свободный от традиционной (католической, православной, протестантской) «лжи». «Словом, – недвусмысленно подводит итог богослов, – вы не найдете ни одной страницы в Евангелии, которая не вынуждала бы вас к такой дилемме: Иисус был либо самолюбивый обманщик, тщеславный и хитрый гордец, – либо милосердный Сын Божий, принявший человеческое естество для спасения мира... Ни Ренан, ни другие писатели не могут и никогда не смогут избежать такого выбора: *tertium non datur!*»⁵³. Третьего не дано.

* * *

К началу XX в. страстные споры вокруг имени Ренана в католическом мире утихли. Папа Пий IX «на вопрос, к нему обращенный, что он думает о Ренане, будто бы ответил, – писал академик А.Н. Веселовский: – “Ренан? – это чудная звезда, упавшая с неба”»⁵⁴. А в предисловии к «Жизни Иисуса» Ренан выражал уверенность, что книга его когда-нибудь придется по сердцу религиозным людям; и в известной мере его ожидания оправдались. «Меня уверяли, – писал в 1876 г. историк церкви Газе, – что “Жизнь Иисуса”, легкомысленная в глазах строгих христиан, пробудила христианские интересы в людях, бывших дотоле рав-

нодушными; и в самом деле, в ней есть поэзия, есть и благоговение»⁵⁵. В России злободневность книги дополнительно обуславливалась ее связью со свободомыслием политическим. Она и ей подобные «ходко шли по рукам гимназистов и гимназисток в 1906 и следующих годах, – негодовал архиепископ Антоний, – и вместе с “лигами свободной любви” ... делали свое дело»⁵⁶.

На русский язык «Жизнь Иисуса» была впервые переведена за границей – в Германии (1864–1865) – и в страну ввозилась тайно, как крамола. Либерализация начала XX в. открыла Россию для Ренана: в 1900-е годы было издано 12-томное собрание сочинений, семь томов «Истории первых веков христианства»⁵⁷ и т. д. В каталогах издательств социалистической ориентации «Жизнь Иисуса» красуется наряду с работами Каутского, Парвуса, Троцкого; Ленин цитирует Ренана как специалиста. Но в Серебряном веке Ренан – бесспорный авторитет не только для религиозных и политических оппозиционеров, он – в моде. Увлечение интерпретациями евангельских событий на ренановский манер, очевидно, испытал такой популярный прозаик, как Л.Н. Андреев («Елеазар», 1906; «Иуда Искариот», 1907).

После 1917 г. положение снова изменилось. «Мифологическое» отрицание исторической реальности Христа, в самом воинствующем и вульгарном варианте взятое на вооружение государственной идеологией атеизма, делало републикации «Жизни Иисуса» невозможными, к тому же у автора была репутация реакционера – врага Парижской Коммуны. Именно с «мифологической» точки зрения отрицает существование Сатаны, с ним как раз и беседуя, атеист Берлиоз в «Мастере и Маргарите». Высмеивая официальную идеологию, М.А. Булгаков отстаивает «историчность» Христа не столько по Новому Завету, сколько по Ренану. «Мастер и Маргарита» – еще одно классическое произведение русской литературы, обязанное «Жизни Иисуса», и показательное: в 60–80-е годы XX столетия роман Булгакова сыграл ту же роль, что Ренан в России XIX в. Примирив обезбоженное общество с религиозной тематикой, булгаковский роман с ортодоксально-религиозных позиций подвергся нападкам, когда, «перестроившись», страна вступила в период разрешенного возрождения духовных запросов.

В начале 1990-х опять пришло время Ренана: «Жизнь Иисуса» была напечатана десятками издательств. Правда, осталь-

ные шесть томов «Истории первых веков христианства» выпустила одна лишь «Терра» (насколько известно); о прочих сочинениях Ренана никто и подавно не вспомнил. Что касается «Жизни Иисуса», поражает отсутствие каких-либо попыток ее осмыслить – в принципе ли, применительно к современности ли. Не случайно в качестве сопроводительных текстов к публикациям помещаются коротенькие информационные заметки, а еще охотнее – старая статья (А.Н. Веселовский в «политиздатовской» «Жизни Иисуса», 1991 г.). Напрашивается невеселое умозаключение. Если учесть, что, например, журнал «В мире книг» (нынешнее «Слово») публиковал «Жизнь Иисуса» в одном ряду с комментированным Евангелием от Матфея, то получается: теперь Ренан – эрзац популярно-религиозного чтения. Трудно сказать, чем определяется – в отличие хотя бы от «Мастера и Маргариты» – подобный индифферентизм, сводящийся к информационному потребительству. Может, Ренан безвозвратно устарел. А может, апатия, выказываемая обществом всякий раз, когда требуется интеллектуальная, духовная определенность и самостоятельность, – печальное свидетельство надрывной «стилизованности» современного религиозного возрождения.

¹ Статьи «M. Feuerbach et la nouvelle école Hegelienne», «Les historiens critiques de Jesus» в кн.: *Renan E. Études d'histoire religieuse*. P., 1857. P. 133–215, 405–419.

² См.: *Cassirer E. Die Philosophie der Aufklärung*. Tübingen, 1932.

³ *Булгаков С.Н.* Тихие думы. М., 1918. С. 146.

⁴ Там же. С. 164.

⁵ *Федоров Н.Ф.* Философия общего дела. Верный, 1913. Т. 2. С. 32–33.

⁶ *Faguet E. Politiques et moralistes du XIX-me siècle*. P., 1899. P. 345.

⁷ *Толстой А.К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1963–1964. Т. 4. С. 158.

⁸ *Renan E. Études d'histoire religieuse*. P. 213–214.

⁹ Впрочем, по мнению русского философа В.Ф. Эрна, «книгу Гарнака можно назвать классической только в том смысле, в каком можно назвать классической “La vie de Jesus” Ренана или “Das Leben Jesu” Штрауса» (*Эрн В.Ф.* Сочинения. М., 1991. С. 246).

¹⁰ *Свенцицкая И.С.* Раннее христианство: Страницы истории. М., 1987.

¹¹ *Свенцицкая И.С.* Э. Ренан и его «Жизнь Иисуса» // Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 387.

- ¹² Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М., 1989. С. 219.
- ¹³ Grant R.M., Freedman D. The Secret Sayings of Jesus. L., 1960. P. 112.
- ¹⁴ Цит. по: From George Sorel: Essays in Socialism and Philosophy / Ed. by J. Stanley. N.Y., 1976. P. 17.
- ¹⁵ Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1906. С. 301–302.
- ¹⁶ Там же. С. 445.
- ¹⁷ Трубецкой С.Н. Ренан и его философия // Литературное обозрение. 1993. № 3/4. С. 77.
- ¹⁸ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 10. С. 487.
- ¹⁹ Тимофеева В.В. <Починковская О.>. Год работы с знаменитым писателем // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 144.
- ²⁰ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 76–77.
- ²¹ Там же. Т. 11. С. 192.
- ²² Там же. С. 188.
- ²³ Там же. С. 180.
- ²⁴ Там же. С. 178.
- ²⁵ Там же. Т. 21. С. 10–11.
- ²⁶ Там же. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
- ²⁷ О «ренановских» источниках романа «Идиот» см.: Сорокина Д.Л. Об одном из источников образа Льва Николаевича Мышкина // Учен. зап. Томского гос. ун-та: Вопросы художественного метода и стиля. 1964. № 48. С. 145–151; Кийко Е.И. Достоевский и Ренан // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 106–122; Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 396–399.
- ²⁸ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928–1958. Т. 24. С. 980.
- ²⁹ Там же. Т. 62. С. 413–414.
- ³⁰ Там же. Т. 24. С. 407.
- ³¹ Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1887. Т. 1. С. 291–292.
- ³² Там же. С. 295.
- ³³ Там же. С. 421.
- ³⁴ Там же. С. 402.
- ³⁵ Там же. С. 405.
- ³⁶ Трубецкой С.Н. Ренан и его философия // Русская мысль. 1898. Кн. 3.
- ³⁷ В.С. Соловьев относился к Ренану с неприязнью, унаследовав от отца-историка пренебрежительный взгляд на французского сочините-

ля. «Когда С.М. Соловьев увидел, что его сын Владимир читает Ренана, то не стал поднимать скандала и не запретил сыну читать Ренана, считая, что всему свое время и что скоро Владимир сам поймет пустоту исторических методов этого автора. Он только сказал: “Вот нашел, с кем возиться... У Ренана не только мысли, но и цитаты все фальшивые”. И действительно, в ближайшие же годы, еще 23-летним молодым человеком Вл. Соловьев... был в Париже и посетил Ренана. 9 мая 1876 г. он писал И.И. Янжулу: “Познакомился я с известным Ренаном – пустейший болтун с дурными манерами”» (*Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 8). В статье «Еврейство и христианский вопрос» (1884) В.С. Соловьев писал, что отрицание «христианства и борьба против него со стороны некоторых мыслителей иудейского происхождения имеет более честный и более религиозный характер, чем со стороны писателей, вышедших из христианской среды», и в качестве примера указывал на Ренана.

³⁸ Цит. по: *Розанов В.В.* Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 586–587.

³⁹ Мир искусств. 1903. Т. 10. Хроника № 13. С. 138–139.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ *Розанов В.В.* Указ. соч. М., 1990. Т. 1. С. 562.

⁴² *Розанов В.В.* Уединенное. М., 1990. С. 336.

⁴³ Там же. С. 431.

⁴⁴ По мнению Гетте, единственная цель Ренана – «осквернить нечистым дыханием божественный образ, пред которым подобает склониться и ангелам, и людям» (*Guettée R.F.* Refutation de la pretendue Vie de Jesus de m. E. Renan. P., 1863. V. 1. P. 121).

⁴⁵ «Блестящая книга московского профессора М.Д. Муретова против Ренана была остановлена цензурой, так как для опровержения ему нужно было “изложить” опровергаемое “лжеучение”, что не представлялось благонадежным. Ренана продолжали читать втайне, а книга против Ренана опоздала лет на 15» (*Флоровский Г.* Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 427).

⁴⁶ *Антоний (Храповицкий), митр.* Нравственное учение православной Церкви. Нью-Йорк, 1967. С. 368.

⁴⁷ Там же. С. 369.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Там же. С. 408.

⁵⁰ Там же. С. 372.

⁵¹ Там же. С. 375.

⁵² Там же.

⁵³ Там же. С. 423.

⁵⁴ *Веселовский А.Н.* Предисловие научного редактора перевода // Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 14.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ *Антоний (Храповицкий), митр.* Указ. соч. С. 370.

⁵⁷ На русское издание «Жизни Иисуса» откликнулся В.Ф. Эрн. Отметив литературные и научные недостатки книги, философ подчеркнул, что она имеет значение психологического документа эпохи позитивизма, «в котором зафиксирован (и в типичной форме) такой любопытный факт, как суждение человека 19 столетия о Христе» (*Эрн В.Ф.* Значение «Жизни Иисуса» // Аггеев К., Эрн В.Ф. О Ренане. СПб., 1907). Как позднее архиепископ Антоний, Эрн указывал, что книга Ренана «содействовала... окончательной дифференциации сознания на два полюса, на добро и зло, на Христа и Антихриста» – процессу, чреватому опасностями, но необходимому. В том, что Россия отстала здесь на полвека от Европы, Эрн – в духе революционного времени – обвинял государство и церковь. Под одной обложкой с Эрном вышла уже однозначно обличительная статья священника Константина Аггеева, который упрекнул Ренана за то, что его метод есть «апология лжи как нормального закона мировой жизни» (*Аггеев К.* Ложь – исторический закон // Аггеев К., Эрн В.Ф. О Ренане. СПб., 1907). В качестве примера усвоения Ренана русской интеллигенцией можно привести суждение М. Горького, известное со слов М.С. Володиной: «Тут надо мной начали смеяться: “Что же, ты веришь, что Христос действительно воскрес? Так вышел из могилы и ушел?” Это говорил Горький. И потом, обращаясь ко мне, прибавил: “Ведь это все сказки. Это сочинили. Прочти Ренана”» (*Волошин М.* Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991. С. 312).

1993 г.

Впервые: Литературное обозрение. 1993. № 314 (совместно с М.Л. Спивак). С. 89–100.

Историк и герой (С.М. Соловьев и Петр I)

Соловьев и Петр I – эффектное, «искросыпительное» сочетание. Великий историк и великий монарх. Оба пытались не упустить ни дня, ни часа, оба – западники по мировоззрению и очень русские люди по натуре, требовательные, строго судящие ближних. Даже умерли примерно в одном возрасте: Петр (1672–1725) – в 53 года, Соловьев (1820–1879) – в 59 лет.

Сергей Михайлович Соловьев родился в Москве, в семье священника – законоучителя в престижном московском Коммерческом училище, блистательно показал себя в гимназии и в университете, потом возглавил кафедру русской истории, потом – декан факультета и ректор. Образцовая карьера. В качестве преподавателя воспитал несколько поколений московских историков. В.О. Ключевский – его ученик и соперник в ряду великих историков – вспоминал: «С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать...»¹ И дальше: «Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло размышлять»².

Многолетняя преподавательская деятельность никак не препятствовала литературной активности. «Разумеется, я мог бы ограничиться чтением, выписыванием, составлением хороших лекций, – рассказывал сам Соловьев, – но кроме общего людям стремления заявлять свою умственную деятельность у меня были еще и другие побуждения печататься как можно скорее и как

можно больше. Во-первых, отличительной чертой моего характера была торопливость: я спешил во всем – скоро ел, скоро ходил, всегда являлся первый; называли это аккуратностью, но это была торопливость; мне не сиделось дома, я не мог ничем заняться, когда нужно было куда-нибудь ехать; понятно, что я точно так же торопился писать и издавать. Во-вторых, и без этой врожденной торопливости я побуждался как можно больше и скорее издавать: я добыл себе место с бою и должен был удерживать его боем, должен был в короткое время сделать столько, чтобы не смели сказать, что университет проиграл <...> Наконец, к сильному труду побуждали меня семейные обстоятельства: я женился в начале 1848 года, и каждый год у меня пошли дети: профессорского жалованья было мало»³.

Соловьев написал множество статей и специальных монографий, но его «труд небывалый» – это история России в двадцати девяти томах, доведенная до 1774 г. (для сравнения напомним, что история Н.М. Карамзина оканчивается Смутой). Петру I посвящены пять томов – с 14-го по 18-й. Последний том, 29-й, автор успел сдать в печать, но не дожил до публикации. Грандиозная история Соловьева уникальна и амбициозна: она основана не на пересказе предшественников (что допустимо в подобном жанре), а на первоисточниках – летописях, архивных документах и т. п. Благодаря поразительному фактическому богатству она до сих пор сохраняет фундаментальное значение в русской культуре. Однако – по тем же причинам – читатель соловьевского многотомника, подавленный обилием сведений, не всегда способен оценить мысль автора, оригинальную, упорную, эпатазирующую.

Наоборот, в «Публичных чтениях о Петре Великом» эта мысль концептуализирует деятельность царя-преобразователя и всю русскую историю и выступает «весомо, грубо, зримо».

В 1872 г. (с 6 февраля по 14 мая) при помпезном праздновании 200-летнего юбилея Петра Великого Соловьев в зале Благородного собрания произнес 12 публичных лекций-«чтений», которые немедленно вышли отдельным изданием. Соловьев в ту пору – ректор университета, авторитетный эксперт, профессор русской истории. Адресуясь к неспециалистам, он не излагал, а скорее напоминал события (любопытствующие имели возможность обратиться к «петровским» томам его истории). Потому

«Чтения» компактны, их композиция – в отличие от истории – отчетлива: логика текста подчинена ясному развертыванию теории (неразрывно связанной с мировоззрением автора), и путеводитель, аннотирующий содержание лекций, – одновременно ключ к концепции.

1. Петр Великий – воплощение исторической закономерности

Начиная «Чтения», Соловьев пренебрежительно отмечает мнения тех, кто «неисторически»⁴ обожествлял царя-реформатора (подобно М.В. Ломоносову, вычеканившему одическую формулу «Он бог, он бог твой был, Россия») или его демонизировал (старообрядцы, славянофилы). «Неисторически» – бранное слово. Последователь Гегеля, Соловьев преклонялся перед властной манифестацией законов истории. Вместе с тем великий деятель не есть марионетка, механически послушная предписанной роли. Великий деятель должен быть достоин своей исторической миссии. С этой точки зрения Соловьев противопоставлял Петра I своему современнику Александру II (разумеется, в мемуарах, а не в «Публичных чтениях»): «Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователи вроде Петра Великого при самом крутом спуске держат лошадей в сильной руке – и экипаж безопасен, но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель»⁵.

2. Петр I – народный вождь

Соловьев верил в прогрессивный ход истории (хотя постулировал недостижимость абсолютной цели в земной фазе развития человечества). Соответственно Петр I предстает носителем прогресса. Доказательству этого тезиса Соловьев посвятил три вступительные лекции (¼ от всего цикла), где сжато изложил собственное понимание смысла русской истории и места Петра I в ней.

Исходя из убеждения в органическом характере развития народа, историк заключил, что жизнь народа подобна жизни человека, народ так же возникает, так же проходит юный и зрелый возраст, дряхлеет и гибнет: «...в первом возрасте народ живет преимущественно под влиянием чувства», затем «наступает вторая половина народной жизни: народ мужает, и господствовавшее до

сих пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли»⁶. Ограничься Соловьев подобным определением, это выглядело бы примитивно и пустовато. Однако у него была продуманная концепция того, что значит в истории «юность» и что – «зрелость» (см. таблицу).

Юность народа	Зрелость народа
Влияние чувства	Господство мысли
Крепостной труд	Вольнонаемный труд
Военное сословие	Постоянное войско
Земледелие	Торговля и промышленность
Географическая изоляция	Стремление к морю
Религия	Наука

«Юность» – земледелие, военное сословие, закрепощенное крестьянство; «зрелость» – результат экономического переворота, т. е. торговля и промышленность, постоянное войско, вольнонаемный труд. Здесь историк запальчиво – его труд написан в эпоху реформ и отмены крепостной системы – доказывает историческую оправданность крепостничества, неизбежность его возникновения, можно сказать, патриотизм. Ведь Россия в силу особых географических условий должна была вести «тяжелую борьбу с соседями – борьбу не наступательную, но оборонительную, причем отстаивалось не материальное благосостояние (не избалованы были им наши предки), но независимость страны, свобода жителей. <...> Главная потребность государства – иметь наготове войско; но воин отказывается служить, не выходит в поход, потому что ему нечем жить, нечем вооружиться, у него есть земля, но нет работников. И вот единственным средством удовлетворения этой главной потребности страны найдено прикрепление крестьян, чтоб они не уходили с земель бедных помещиков, не переманивались богатыми; чтоб служилый человек имел всегда работника на своей земле, всегда имел средство быть готовым к выступлению в поход»⁷. Знаменитый вывод Соловьева должен был скандализовать современников: «Прикрепление крестьян – это вопль от-

чаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении»⁸.

Однако так дальше жить нельзя. Экономический переворот неотделим от преобразования быта, потому «юность» – замкнутое существование народа в исторических пределах, а «зрелость» – общение с передовым человечеством. «Отсюда для русского человека представление моря как силы, которая дает богатство, отсюда страстное желание, стремление к морю, чтоб посредством него стать таким же богатым и умным народом, как народы поморские»⁹. Отсюда непосредственная задача – «добыть себе уголок у северного Средиземного (Балтийско-немецкого) моря, к которому прилила торговля, отхлынув от берегов древнего южного Средиземного моря»¹⁰. Наконец, реформа экономики и народного быта немыслима без современного знания, без усвоения «науки» (включающей искусство, культуру и т. п.), некогда заимствованной Западом из античности.

Итак, «необходимость движения на новый путь была создана; обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился»¹¹.

3. Петр I – «работник»

Рассказав в 4-й и 5-й лекциях о перипетиях восшествия Петра I на престол, борьбы с царевной Софьей и т. д. вплоть до взятия Азова (1696), Соловьев словно презентует своего героя. В первых же поступках и речениях молодого царя историк вычленяет идею, центральную в наследии реформатора – «в работе пребывающий», царь-работник, царь с мозольными руками»¹². Как видно, это не столько идея, сколько наглядный образ, почти эмблема. Великий человек, по убеждению Соловьева, «первый подставляет свои могучие плечи под тяжесть, отдает всю свою чрезвычайную силу в общее дело, и дело, благодаря этому вкладу, начинается, идет, народ получает помощь. И вот подле значения великого учителя народного другое значение – великого помощника народного, а образ все тот же – образ царя-работника»¹³.

Заметка на полях: читая патетические рассуждения Соловьева о царе-труженике, ощущаешь их автобиографичность – великому историку (как и великому царю) было свойственно чуть ли не суицидальное трудолюбие (по собственному скромному определению – «торопливость»).

4. Петр I – «человек в высшей степени страстный»

Описав (в 6-й лекции) Великое посольство – поездку государя инкогнито в Европу, где тот заключил союз против Швеции (в рамках подготовки к Северной войне) и лично ознакомился с западной «наукой», Соловьев приводит отзыв одной немецкой принцессы о молодом Петре: «...государь очень хороший и вместе очень дурной...»¹⁴ Этот отзыв, который историк призывает не квалифицировать как «странный» и «оскорбительный», риторически мотивирует возможность внимательно обсудить характер и нравственный облик реформатора. Апелляция Соловьева к объективности заставляет ожидать, что историк нарисует впечатляющую картину «кричащих противоречий». К примеру, современный философ Андре Глюксман, анализируя идею «Медного всадника» Фальконе, впадает в гневную декларацию: «Это создатель, он возвел город над водами и нарек его своим именем. Его подвиг идет впереди общества, он противоборствует природе, воздуху, морю, противостоит наводнению, давит змия. Только потом появляются люди и заселяют завоеванную им территорию. Забыто то, что он заставил претерпеть ближнего. Забыты бедные, принесенные в жертву горемыки, сгинувшие сотнями тысяч»¹⁵. Напротив того, Соловьев вопреки ожиданиям снисходителен к любимому труженику: «Необыкновенное нравственное величие Петра выражалось в способности уважать нравственное величие в других и сдерживаться им <...> Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный, и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, становился свиреп, употребляя материальные средства для прекращения зла, и верил в их действительность...»¹⁶

5. Петр I – воитель

Фактическая сторона правления Петра Великого пунктирно изложена в лекциях 7–11. Историк использует в качестве повествовательной основы события Северной войны (1700–1721), перемежая их «сюжетами» о внутривосточных реформах. Государственник Соловьев был далек от сентиментального пацифизма, восхищался Полтавской победой, но он, безусловно, не оценивал Северную войну как важнейшее достижение Петра. Он едва ли согласился бы с теми позднейшими интерпретаторами, которые полагали, что генеральной целью государя была «славная

виктория», а реформы должны были лишь обеспечивать технический потенциал воюющей державы¹⁷, или видели в нем удачливого имитатора европейской модели «государя-героя», «государя-воина»¹⁸. Выдвижение в «Публичных чтениях» на первый план военной темы – не идеология, а риторическая дань удобству повествования о кипучей и многогранной деятельности Петра I. Петр Соловьева – отнюдь не воин и не завоеватель. Как уже указывалось, для историка здесь принципиально «стремление к морю» и преобразование народной жизни, принципиален четкий и заранее продуманный план перехода к исторической зрелости, война же – способ осуществления реформ: «...Петр начинает войну со шведами за Балтийское море, смотря на нее только как на средство этого преобразования, исполняя завещание предков, соединяя древнюю и новую Россию правильным историческим движением...»¹⁹

6. Петр I – преобразователь народной жизни

В 9-й и 10-й лекциях Соловьев, прервав хронику Северной войны, анализирует внутреннюю политику, реформирование общества, обновление наук и художеств. Великий преобразователь придал европейский характер школе, литературному языку, прессе, театру и т. д. Например, театр утратил статус придворной потехи и был введен в «народное употребление», «для всех», когда немецкой труппе Кунста повелели устраивать публичные представления в деревянной «храмине» на Красной площади²⁰. При этом историк игнорирует кратковременность немецкой антрепризы (1702–1706), случайность и заведомую непонятность репертуара («Сципион Африканский» немецкого драматурга Лознштейна, «Амфитрион» Мольера), капризы царя, вначале увлекшегося идеей театра, потом совершенно забросившего проект, и т. п. Историк, как бы соединяя начальную точку (театральная «храмина» рядом с Кремлем) с конечной (возникновение спустя полвека русского театра), отвлекает внимание от того, что «между» начальной и конечной точками театральная традиция прервалась, антреприза распалась, спектакли прекратились, а Петр, судя по документам, ни разу не посетил представления комедиантов и демонстрировал полное равнодушие к уместности новшеств, шокирующих русское общество. Самодержец, законный обладатель престола, Петр I не имел надобности кого-либо убеждать. Это определило его генеральный

подход к решению конкретных задач культуры. Реформатор не осторожничал и не адаптировал, жестко реализуя то, что стихийно попадало в сферу его внимания. Петр I убеждал не столько в чем-то, сколько в необходимости самого прецедента убеждения как принципа общения монарха с подданными²¹.

Вообще Соловьев при рассмотрении конфликтов народного вождя с народом неизменно принимал сторону вождя. Без колебаний, без оговорок поддержал императора в суровом подавлении мятежей. Согласно логике «Чтений», поскольку казаки и другие повстанцы противились исторической закономерности, постольку они служили не справедливости, а собственной корысти и реакции, не позитивной Европе, но негативной Азии: «...поднималась степь, поднималась Азия, Скифия на великорусские города, против европейской России, которая, несмотря на все препятствия, создала из себя крепкое государство и теперь с величайшим трудом, с страшным напряжением сил стремилась дать ему решительный европейский характер. Скифия была побеждена...»²²

7. Петр I – борец со взятками, или одиночество

В финальной 12-й лекции Соловьев рассматривает последние годы Петра I и подводит итоги. Интонация получилась неожиданно грустной, а итоги – двойственными. С одной стороны, Россия добилась очевидных успехов на пути превращения в государство нового типа, с другой – государь-преобразователь столкнулся с непониманием, пропасть отделила его не только от мятежных казаков, но и от наследника-сына, Петра также извредило необоримое, извечное взяточничество – «тупая сила законченного зла». Историк сочувствует и раздражается: «Пример кровавой борьбы Петра со взяточничеством и казнокрадством, с неуважением к обязательной одинаково для всех силе закона показывает все затруднительное положение правительства, не встречающего пособия в обществе, когда правительство, самое сильное и благонамеренное, связано какою-нибудь неправильностью в общественном развитии, встречает около себя немой заговор, все по-видимому слушается, преклоняется, трепещет, а на деле делается свое: наставления, угрозы, наказания пропадают даром. Для силы нет ничего тягостнее, чем сознание бессилия, что никакими средствами нельзя ничего сделать, надобно ждать, предоставить времени лечение болезни. Понятно, что на Петра

находили черные тучи...»²³ Отчаявшись в попытках укротить взяточничество, великий Петр предоставляет «времени лечение болезни» и тоскует.

Впрочем, Соловьев отбрасывает тягостные мысли и мажорно венчает «Чтения»: «Да не будет праздник наш только воспоминанием прошедшего; вспомнив, будем исполнять завещание Петра: “И впредь надлежит трудиться и все заранее изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратимой подобно”»²⁴. Похоже, историк (вольнo или невольнo идентифицируя себя с Петром Великим) призывает (не столько слушателей, сколько себя) не впадать в уныние от общественных и частных неурядиц, но трудиться. Таково завещание двух «торопливых». Автора и его героя.

¹ *Ключевский В.О.* С.М. Соловьев как преподаватель // Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 516.

² Там же. С. 517.

³ *Соловьев С.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С. Наблюдения над исторической жизнью народов. М., 2003. С. 379.

⁴ *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 417.

⁵ *Соловьев С.* Мои записки для детей моих... С. 409.

⁶ *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 421.

⁷ Там же. С. 430–431.

⁸ Там же. С. 432.

⁹ Там же. С. 440.

¹⁰ Там же. С. 442.

¹¹ Там же. С. 451.

¹² Там же. С. 468.

¹³ Там же. С. 469.

¹⁴ Там же. С. 479.

¹⁵ *Глюксман А.* Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 2006. С. 167.

¹⁶ *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 483.

¹⁷ *Павленко Н.И.* Петр I: К изучению социально-политических взглядов // Россия в период реформ Петра I. М., 1973.

- ¹⁸ *Уортман Р.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002.
- ¹⁹ Там же. С. 500.
- ²⁰ Там же. С. 530–531.
- ²¹ *Одесский М.П.* Поэтика русской драмы: Последняя треть XVII – первая треть XVIII в. М., 2004. С. 44.
- ²² *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 545.
- ²³ Там же. С. 567–568.
- ²⁴ Там же. С. 583.

2007 г.

«...Краткий дискурс в нынешний день
представим»

Г.О. Винокур о языковой политике
Петровской эпохи

Фраза, избранная в качестве заглавия, символизирует «странные сближенья», что возникают порой в языке. С одной стороны, она выглядит ссылкой на новейший словарь терминов «зарубежного литературоведения» («дискурс»), а с другой – есть цитата из проповеди Гавриила Бужинского.

Слова этого церковного деятеля, вместе с Феодосием Яновским и Феофаном Прокоповичем наиболее рьяно реализовавшего политику Петра I в Церкви, а значит, в области языка и культуры, блестящий представитель отечественной филологической мысли Григорий Осипович Винокур (1896–1947) привел в очерке «Русский литературный язык в первой половине XVIII в.», предназначенном для соответствующего тома монументальной (отчасти и поныне в своем роде непревзойденной) «Истории русской литературы» (т. 3, 1941).

Излагая языковую программу Петра I, Винокур, без сомнения, учитывал актуально-политический контекст тех отвлеченных историко-филологических вопросов, которые ему приходилось решать. Аналогия «эпоха Петра Великого / эпоха Сталина» была очевидной, а чуткость Винокура к аналогиям известна¹.

Грех жаловаться: внутренняя логика научной концепции Винокура, как и других филологов этого поколения, изучена далеко не худшим образом. Чего, к сожалению, не скажешь о его философских и социальных воззрениях, о том, как он осмыслял опыт тоталитаризма XX в.

Никто, разумеется, не призывает применять в данном случае категориальный аппарат типа «слуга / противник системы». Для личности масштаба Винокура это унижительное упрощение.

Но забывать о «серьезном», метафизическом измерении при подходе значительного ученого к узкоспециальным предметам, игнорировать, что он дает свой ответ эпохе, такое же губительное упрощение.

* * *

Суждения Винокура о языковой политике Петра I, которые содержатся преимущественно в очерках «Русский литературный язык в первой половине XVIII в.», «Русский литературный язык во второй половине XVIII в.» (История русской литературы. Т. 4. 1947), в небольшой работе «Русский язык. Исторический очерк» (1945) и т. д., можно свести к нескольким основным тезисам.

1. «Основное событие» в XVIII в. – «начавшееся разрушение прежней системы письменного двуязычия и зарождение национального языка, пока еще, разумеется, в его первоначальных, примитивных формах». В приведенной формулировке сразу обращают на себя внимание разнообразные оговорки типа «начавшееся», «зарождение», «первоначальных, примитивных», благодаря которым происходит существенная коррекция исходного определения, и «основное событие» сводится к возникновению возможности, потенции, которой еще только предстоит актуализироваться, причем актуализироваться в общем-то нескоро – во времена А.С. Пушкина.

2. Из двух языков, ранее составлявших письменное двуязычие – церковнославянского и приказного, базовым привычно признается последний, «деловой язык петровского времени», просторечие. «Уже самый склад традиционного литературного языка делал его малопригодным для целей популяризации, которую постоянно имел в виду главный заказчик переводов Петр I. Этим объясняются его постоянные напоминания переводчикам о том, что переводы должны быть удобопонятны». Но в результате пресловутое пристрастие петровских идеологов к просторечию оценивается как по преимуществу декларативное. «Литераторы этой эпохи не раз заявляют о своем намерении пользоваться в своем изложении “просторечием”, которое они противопоставляют “славянскому высокому диалекту”. Но ... фактически в их письменных трудах гораздо больше второго, чем первого». Цитируя гротескно-витиеватый фрагмент из «Юности честного

зеркала», Винокур замечает: «Таково просторечие петровского времени, даже при сознательном к нему стремлении. Но (словно бы утешает он обескураженного читателя. – М. О.) ведь не всегда существовало самое это стремление». Следовательно, культ просторечия в петровской языковой программе имеет скорее идеологически-знаковый, чем фактический характер. А потому установка на просторечие практически могла реализовываться весьма неожиданно: к примеру, чудовищными скоплениями варваризмов, которые, однако, самим фактом своей противопоставленности славянизмам создавали искомый эффект «некнижности». Здесь, кстати, Винокур и приводит выразительнейший отрывок из «Слова о победе у Ангута» Гавриила Бужинского: «Но понеже в мимошедшем месяце благодарствующе Богу Триипостасному при воспоминании Полтавской виктории Богодарственной, елико по силе нашей, а не по достоинству о благодарении слышахом, ныне за благо сотворим, слышателие, паче же во всех тех баталиях подвизавшиися трудники и доблии победоносцы, егда о матери всех побед и родительнице всех торжеств, не слово, или рассуждение, но краткий дискурс в нынешний день представим». Поскольку «просторечие» знаково, постольку неудивительно, что оно выражается в текстах при помощи «минус-приема», в данном случае варваризмов.

3. Благодаря прозорливости царя-реформатора как «организатора русской государственной жизни» установка на просторечие (будучи декларативной) подразумевала в действительности ориентацию не на специфическое, а на общий фонд приказного и церковнославянского языка. «Для писателей начала XVIII в., как и вообще для культурных деятелей этой эпохи, церковнославянский язык целиком сохранял ореол языка “правильного”, “грамматического”, и это необходимо постоянно иметь в виду при изучении судеб литературной речи в петровскую эпоху и даже в более позднее время». А это прежде всего означало ориентацию на «регламентированную грамматической схоластической традицией» орфографию. «Вопрос, таким образом, упирается в принципиальное значение орфографии как основы грамотного книжного письма. Сам Петр, – примирительно констатирует Винокур, – писал так, как говорил, “без всякой орфографии”, но это тем не менее не вызывало с его стороны никаких попыток

реформировать орфографию». Итак, установка на просторечие обернулась установкой на языковой традиционализм, что доказывается отсутствием какой-либо реформы в области орфографии (и даже проектов такого рода).

4. Винокур, как известно, тщательно изучал воздействие на национальный язык беллетристики, но применительно к Петровской эпохе это воздействие – в отличие, например, от пушкинского, карамзинского, даже ломоносовского периода – он оценивал как минимальное: «...это была роль не руководящая, а подчиненная», что иллюстрируется посредством анализа проповеди, виршевой поэзии, авантюрно-любовной повести и драмы.

Авторитетная концепция Петровской эпохи в аспекте языковой политики изложена также В.В. Виноградовым в соответствующих главах монографии «Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков», которая как раз в то время вышла двумя изданиями (1934, 1938). Сопоставление суждений двух филологов тем более продуктивно, что Винокур явно учитывал сочинение предшественника, заимствуя оттуда многие примеры.

Общее содержание эпохи, как позднее у Винокура, – формирование нового литературного языка. Аналогичным образом выясняется, что формирование не закончилось и «традиции феодальной эпохи (!) в литературном языке еще не были преодолены».

Церковнославянскому языку – опять же как у Винокура – отказано в праве осознаваться в качестве базы национального языка. «Процесс образования новых литературных стилей посредством смешения элементов церковнославянской речи с формами светско-делового языка, живой разговорной русской речи с западноевропейскими заимствованиями ускоряется и регулируется правительственными инструкциями. Этот процесс был симптомом национализации русского литературного языка, отделения его от профессионально-церковных диалектов и сближения с общественно-бытовыми стилями устной речи». Однако, в отличие от Винокура, Виноградов описывает петровское просторечие как лингвистическую реальность (пусть с оговорками). И избирает метафорические термины, мягко говоря, рискованные с точки зрения вкуса и филологической корректности, зато показательные для идеологического и научного климата 1930-х.

Например, «отжившие формы церковнославянского языка <...> должны были постепенно выветриться из литературного языка»; «новая система русской национально-литературной речи, сохранившая связь с церковнославянской традицией, но полуосвобожденная (!) от профессионально-церковного гнета (!)».

Соответственно Виноградов, стремясь говорить о языковой реальности, в большей степени, чем Винокур, останавливается на контрастах и несообразностях, характерных для первой половины XVIII в. Отсюда – постоянные указания на «зыбкость системы», «широту и свободу колебаний», «пестроту и неорганизованность», «брожение и смешение», «пестрое, неорганическое смешение», «беспорядочное столкновение и механическое сцепление» и т. п.

Наконец, Виноградов констатирует ощутимость в области беллетристики общих для эпохи языковых процессов, но никаких специальных выводов не формулирует: «Вирши, драмы, повесть усложняют процесс смещения церковнославянского языка со стилями деловой речи и ориентирующимися на нее светски-литературными стилями».

Разумеется, обоих ученых многое объединяет.

Для обоих литературный язык Петровской эпохи – академический объект, в подходе к которому сказываются подобающая беспристрастность и возможная адекватность.

Оба признают прогрессивный характер петровского этапа истории языка. Вместе с тем губительность (если угодно, неблагоприятность) Петровских реформ для культуры была достаточно очевидной. Правительство, озабоченное исключительно «содержательными» нуждами (пропаганда реформ), использовало без разбору все, что могли предоставить культура и искусство, тем самым провоцируя – даже при доброжелательном отношении – разрушительное равнодушие к форме, реабилитировать которую удалось позднее только отцам-основателям русского классицизма. Потому и Винокур, и Виноградов акцентируют преимущественно перспективность, потенциальные (про запас) достоинства тогдашних инициатив: их реальное функционирование в первой трети XVIII в. слишком явно противоречило оптимистическим суждениям. Впрочем, это, как представляется, дань аксиологии отечественной гуманитарной науки, в частности дореволюционной.

И тем яснее, что Винокур и Виноградов создали полярные концептуальные образы. У Виноградова доминирует впечатление чудовищной языковой какофонии эпохи Петра I, что сопровождается, впрочем, нарастанием государственных (прогрессивных) начал за счет церковных, у Винокура же – параллельно косвенным замечаниям о «гротескных соединениях» – видение неуклонной манифестации генеральных языковых закономерностей, где временными неудачами и зигзагами стоит в определенной мере пренебречь.

* * *

С этой точки зрения забавно обратить внимание на то, чего в очерках Винокура прямо-таки демонстративно нет. Имеются в виду цитаты из записок дипломата князя Б.И. Куракина, в лингвистических обзорах дежурно иллюстрирующих дисгармонию литературного языка «птенцов гнезда Петрова». Виноградов их, естественно, приводит: «В ту свою бытность был инаморат славную хорошеством одною читадинку (горожанку), назывался Signora Franceska Rota, и так был inamorato, что не мог ни часу без нее быть, и расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амог не может выдти и, чаю, не выдет, и взял на меморию ее персону и обещал к ней опять возвратиться». Или: «В то время названной Франц Яковлевич Лефорт пришел в крайнюю милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутый Лефорт был человек забавной и роскошной или, назвать, дебошан французский. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы». (У Виноградова отсутствует куракинская зарисовка князя Ф.Ю. Ромодановского, похоже, из уважения к должности начальника Преображенского приказа, текст ведь во всех отношениях выразительнейший: «...характеру партикулярного; собою видом, как монстра; нравом злой тиран; превеликий нежелатель добра никому; пьян по вся дни»².)

* * *

В позднейшей характеристике «Очерков» Виноградова Винокур сформулировал основные претензии к коллеге: «В них не просто русский литературный язык образует особую традицию языкового употребления, но чуть ли не каждый индивидуальный носитель литературного языка, каждый отдельный, во всяком

случае крупный, писатель. Это ведет к недостаточному различию литературного языка, общенационального и языка специально художественной литературы, иногда даже в его собственных художественных функциях, как он может быть наблюдаем в стиле отдельных художников слова»³.

Критикуя чрезмерно, по его убеждению, жесткое разграничение национального языка, литературного языка и языка отдельных писателей, Винокур явно отстаивает интегральность языка. И здесь уже не уйти от разговора об общем мировоззренческом контексте, казалось бы, специфически профессиональных построений ученого.

Гармонизирующая концепция Винокура консервативна. Это проще всего списать на «политическую корректность», которая с середины 1930-х диктовала, инициировала – с соответствующими идеологическими поправками – своего рода традиционализм в сфере гуманитарных наук. Впрочем, как уже говорилось, ограничиваться такого рода оценками применительно к Винокуру по меньшей мере непродуктивно. Целесообразно избрать иной подход. Взгляды Винокура на лингвистическую ситуацию другого сложного для русской культуры времени – советской эпохи – претерпели в середине 1920-х годов заметные изменения⁴. В частности, он отказался от слишком оптимистического представления о поэтах-авангардистах как носителях языковой динамики, сформулированного в «лефовской» статье «Футуристы – строители языка» (1923). Подразумевалось, что динамизм – существенный элемент языка, что элемент этот (при квалифицированном подходе) – во благо и что созвучные революционной эпохе футуристы – *строители* языка. Перерабатывая статью для книги «Культура языка» (1925), Винокур проявил уже строгость к былым фаворитам: «Самопародированием и кончается эта новая попытка футуризма выйти за пределы исторически данной традиционной языковой схемы»⁵. Акценты ставятся по-новому, хотя Винокур принадлежал к тем мыслителям, чей диалог с эпохой выражался в изменении не объектов изучения (и даже не их системных отношений), но оценки⁶. И в поздней (1943) монографии, посвященной В.В. Маяковскому, Винокур увидел достоинство футуриста-лефовца в том, что он не строит язык, но реализует языковые потенции. Не углубляясь в детальные изыскания и

следуя общему впечатлению, можно сказать, что это монография о Маяковском – новаторе *языка*.

Получается, что при большевиках, как и при Петре I, язык испытывал давление, будучи объектом «языковой политики», но в результате, по Винокуру, хозяином оставался язык, а не те, кто мнил, что, управляя страной и народом, контролирует культуру. То же самое допустимо сформулировать в политически более нейтральном (философски более общем) виде. Ученый и в последние годы по-прежнему был готов оценить стилистическую одаренность поэтов (или политиков), способных в своих инициативах изящно манифестировать языковую закономерность. Но, похоже, социальные (и лингвистические) пертурбации, очевидцем и аналитиком которых довелось ему оказаться, обусловили трепетное уважение Винокура к этой закономерности.

¹ Независимо от того, принимал ли Винокур данную аналогию (ср.: «...мы снова встречаемся с такой попыткой осознать поэзию как социальный стилистический образец, хотя в условиях совершенно отличных и существенно иных, чем во времена Пушкина. Этот второй культурно-лингвистический момент в истории русской поэзии есть время русского футуризма» (*Винокур Г.О. Культура языка: Очерки лингвистической технологии. М., 1925. С. 178*) или отвергал («Мы все стали решать историческими аналогиями. Одна из таких аналогий гласит, что время наше предпушкинское, ибо символизм, футуризм и пр. есть факт параллельный тому богатству поэтических традиций, воспитавшись на которых Пушкин создал русский поэтический канон». См.: *Винокур Г.О. Поэзия и наука // Чет и нечет: Альманах поэзии и критики. М., 1925. С. 30*).

² *Куракин Б.И. История о царе Петре Алексеевиче // Архив кн. Ф.А. Куракина. СПб., 1890. Т. 1. С. 65.*

³ Текст наброска предисловия (1946) к книге «Лекции по истории русского литературного языка» цит. по: *Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Сост. Т.Г. Винокур. М., 1991. С. 439.*

⁴ См., напр.: «...при пересмотре собранных для книги статей оказалось, что в ряде пунктов они не соответствуют теперешней моей точке зрения» (*Винокур Г.О. Культура языка. С. 3*).

⁵ *Винокур Г.О. Культура языка. С. 199.*

⁶ Здесь показателен – от обратного – пример Л. Шпитцера, о работах которого Винокуру, кстати, случалось специально писать (см.: *Винокур Г.О. Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике // Вопросы языкознания. 1957. № 1*). Научная система Шпитцера не понятна вне учета характерной эволюции, им испытанной: от лингвостилистики к традиционному литературоведению, от фрейдизма к культурно-историческому методу, от «модернизма» научных интересов к анализу творчества писателей более отдаленных эпох (см.: *Одесский М.П. К вопросу о литературоведческом методе Л. Шпитцера // Теория и практика литературоведческих и лингвистических исследований. М., 1988. С. 56–58*).

1997 г.

Впервые: Литературное обозрение. 1997. № 3. С. 78–80.

Лингвист и тоталитаризм Вокруг полемики Г.О. Винокура и А.М. Селищева

Авторитетный французский семиотик эпатажно заявлял, что во времена абсолютной монархии «власть централизованной не была», так как «она не выражалась в глобальных стратегиях – одновременно тонких, гибких и связных. В XIX в., напротив, через всякого рода механизмы или институты – парламентаризм, распространение информации, издательское дело, всемирные выставки, университет и т. д. – “буржуазная власть” смогла выработать глобальные стратегии...»¹. Несколько адаптируя эти соображения к российскому XX в., правомерно отметить, что в советском социуме «власть рабочих и крестьян» выработала сходные «глобальные стратегии». Простоватые, жестко ориентированные на политическую злобу дня, но бесспорно глобальные. Прямым следствием (или внятным сигналом) какой-либо очередной «подковерной» интриги «в высших эшелонах» мог оказаться специфический вопрос в любой области, хотя бы вопрос языкознания.

* * *

В 1928 г. вышла в свет книга А.М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)». А в мартовском номере влиятельного журнала «Печать и революция» (главный редактор В.П. Полонский, один из бесспорных советских литературных вождей) на нее была помещена отрицательная рецензия Г.О. Винокура².

О книге, изучающей современный язык, пишет признанный знаток темы, автор монографии «Культура языка» (1925). «Особенно ценными представляются мне: обзор продуктивных аффиксов (§§ 124–130), описание элементов блатной речи в

некоторых речевых жанрах современности (§§ 46–58), наблюдения над языковыми новшествами на фабрике (гл. VII), дающие интересную картину проникновения культурных терминов в обиходную речь рабочего, к сожалению, неполная по охвату материала глава о руссизмах в языках национальных меньшинств <...> Много данных собрано автором и в области того, что можно назвать фразеологией революции, т. е. в области словесных “клише”, возникающих из экспрессивных речений по мере того, как те становятся традиционными».

Оспорив затем утверждения коллеги по ряду вопросов – от общих (правомерность выделения тех или иных основных функций языка) до частных (справедливость отдельных толкований – таких, например, как зачисление слова «солдафон» в иноязычные заимствования), Винокур завершает лингвистическую часть рецензии неутешительным выводом: «...книге Селищева можно предъявить обвинения более принципиального характера. Книга эта написана в манере столь крайнего и ригористического эмпиризма, что значение ее, собственно, и исчерпывается тем, что она есть “собрание” соответствующих “материалов”. От научного труда, тем более труда лингвистического, мы вправе требовать большего».

Постепенно полемика переходит с филологического на «национальный» уровень: «Некоторые разрозненные и бессистемные попытки интерпретации в книге, правда, попадаются. Но они очень далеки от подлинного грамматического анализа и почти без исключения относятся к области генетических догадок относительно происхождения того или иного факта языка. Убедительность этих догадок, не говоря уже о несколько болезненной склонности автора во всем усматривать влияние “представителей Юго-западного края”, по большей части очень не высока».

Словосочетание «представители Юго-западного края» Винокур, как и многие его современники, воспринимал однозначно: «Юго-западный край» – Одесса, т. е. речь идет о евреях.

Винокур не преувеличивает значение «представителей Юго-западного края» для концепции рецензируемой монографии. Прямо во введении Селищев, сведя «язык революционной эпохи» к дореволюционным навыкам партийных лидеров, напоминает: «Живя за границей, они продолжали обсуждать и развивать про-

граммы своих организаций. Связи с местными, заграничными, единомышленниками, пользование их языком, преимущественно немецким, отражалось и на языке русских революционеров. Необходимо также отметить, что в среде русских деятелей немало было лиц, связанных по своему происхождению с Юго-западным краем прежней России. На русском языке их отражались некоторые черты речи их местностей»³.

С особенной неприязнью рецензент отозвался о «неожиданной и анекдотически звучащей попытке объяснить современные сокращения как аналогию или подражание аббревиатурам, известным из еврейской традиции». Действительно, Селищев, выдвигая свою гипотезу, сопровождает ее специфическим экскурсом в историю, не лишенным брезгливости: «...многие революционные деятели Польши и Юго-западного края происходили из еврейской среды. А в еврейской среде издавна употребляются образования названий по начальным буквам слов. Еврейские аббревиатуры восходят к первой поре еврейской письменности. <...> В начале нашей эры и в особенности в средние века пользование аббревиатурами получило весьма широкое распространение. <...> Способ аббревиатур весьма часто применялся и в позднее время. В конце XVIII и в XIX в. много еврейских прозвищ и фамилий было образовано посредством начальных согласных имен, входивших в состав названия лица. <...> Лет семнадцать тому назад один из моих друзей-евреев (знакомый топос! – М. О.) объяснял мне свою фамилию «Стам» таким образом. Его дедушка знал хорошо *три книги* (– *забыл я их название*) (курсив мой. – М. О.); по начальным согласным названий этих книг и дали ему прозвище «СТам»»⁴.

В полемике двух лингвистов был и личный аспект. Селищев, с одной стороны, сочувственно ссылается на винокуровскую монографию, а с другой – прозрачно намекает читателю, что Винокур сам часто отступает от литературной нормы. В частности, иллюстрируя современное засилье «канцеляризмов и архаизмов», Селищев среди прочих примеров приводит фразу Винокура: «Субъект, *коему* пришла в голову идея...»⁵ (курсив Селищева. – М. О.). Учитывая заглавие цитируемой монографии – «Культура языка», это со стороны Селищева звучит как вызов.

Столь же пикантен случай с формулой вежливости «извиняюсь». Как известно, в советской печати ее азартно обсуждали:

по мнению одних специалистов, это – невежественное, «революционное» искажение классической нормы «извините», по мнению других – вполне допустимый для литературного языка вариант⁶. К последним принадлежал Винокур, который считал отталкивание от «извиняюсь» лингвистически необоснованным пуристическим капризом, да еще с антисоветским подтекстом: «Один из друзей моих литераторов пробовал объяснить мне свое отвращение к слову “извиняюсь” весьма грамматически. Неприятно это слово, оказывается, потому, что свидетельствует о невежливости говорящего. Свою просьбу извинить он излагает не в повелительном наклонении (имеющем также смысл просительный), а в форме декларативной: я, мол, извиняюсь, и basta; а вы уж как хотите. Но вряд ли нужно доказывать, что мы имеем здесь дело с чистойшей грамматической иллюзией»⁷.

Селищев, оценивая в своей монографии «извиняюсь», цитирует – вроде бы невинно, с научной точки зрения корректно – соображения Винокура. Но последнюю фразу (выделенную здесь наглядности ради курсивом) он опустил, добавив: «Такое же отношение к “извиняюсь” приходилось наблюдать и мне»⁸. Иными словами, Селищев солидаризировался с теми, кого Винокур упрекает в приверженности «чистойшей грамматической иллюзии», значит, автор книги «Культура языка» сам уличается в некомпетентности. Этот выпад приобретает дополнительный смысл, будучи помещен в параграфе, посвященном «представителям Юго-западного края». В научной критике Селищевым Винокура словно бы просматривается паранаучный подтекст: «представители Юго-западного края» вначале испортили русский язык, а потом судят и рядят, как порусски культурно говорить. Соответственно этот подтекст Винокур и эксплицировал, превратив текст оппонента в заведомо одиозный.

* * *

Юдофобский подтекст в книге «Язык революционной эпохи» прослеживается легко. И у Винокура были немалые основания полагать, что тут проявились не только личные этнические антипатии Селищева. Книга вышла в издательстве «Работник просвещения», контролируемом Народным комиссариатом просвещения, а это придавало лингвистической полемике характер политический, общегосударственный.

В 1926–1927 гг. партийное руководство в лице И.В. Сталина и Н.И. Бухарина разгромило так называемую левую оппозицию. При этом в ход пустили «национальный» аргумент. Маневр предсказуемый, учитывая «этническую принадлежность» оппозиционных лидеров – Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. И в начале 1926 г. Троцкий на заседании Политбюро отправил Бухарину тревожную записку, где обращал внимание противника на то, что среди московских рабочих-партийцев прямо (санкционированно?) поговаривают относительно оппозиционеров: «В Политбюро бузят жида»⁹. Троцкий имел в виду, что антисемитские настроения в массах провоцируются исполнительными пропагандистами с санкции политического руководства страны.

Разыграв антисемитскую карту, Сталин тут же счел нужным подчеркнуть, что вовсе не намерен отступать от идеологии интернационализма. На исходе 1927 г., после ликвидации «левых», наличие эксцессов в «национальной» области даже осудили официально. Теперь было можно. Следовало только акцентировать, что юдофобские настроения вызваны деятельностью оппозиционеров, – сами же виноваты, партия тут ни при чем. Дежурный пропагандист (и – удачно – еврей) Е. Ярославский на XV партсъезде заявил: «Я знаю, что борьба с оппозицией развязала очень много всяких нездоровых явлений. Тов. Сталин совершенно правильно подчеркнул необходимость обратить самое серьезное внимание на борьбу с антисемитизмом, который кое-где имеет корешки»¹⁰.

Примерно в 1926–1928 гг. сложилась уникальная ситуация. Интеллектуалы в СССР получили возможность высказать накопившиеся антисоветские соображения (включая национальный вопрос), прикрываясь тем, что речь идет лишь об оппозиционерах-«перегибщиках». Прочтению в подобном ключе поддается и Селищев.

Однако и те, у кого апелляция к национальному фактору вызывала протест, не хуже Селищева умели изъясняться на «языке революционной эпохи». Образцовую схему предложил здесь влиятельный публицист Ю. Ларин в книге «Евреи и антисемитизм в СССР». Предисловие датировано 15 апреля 1929 г., но «работа эта была сделана весной и летом 1928 г. для трех инструктивных докладов, прочтенных мной при кабинете партработы МК ВКП(б)».

«Наличие антисемитизма в рабочей среде СССР в начале 1929 г. ни в ком не вызывает сомнения», – с места в карьер начинает Ларин главу «Антисемитизм в рабочей среде». А далее он – очевидно, для «высокого» читателя – намечает негативные перспективы, которые открываются при использовании «национального» фактора: «Говорят как будто против евреев, а поворачивают против всей советской власти. Белогвардейцы считают агитацию против евреев самой легкой и удобной подготовкой для *ослабления поддержки рабочим классом советского строя* (курсив автора. – М. О.) и для восстановления таким путем власти помещиков и капиталистов. <...> Почему эта белогвардейская агитация не была так широко поставлена девять-восемь лет тому назад? Ведь тогда, казалось, в наших условиях было больше внешних благоприятных моментов для этого: тогда в Политбюро сидел ряд евреев, ряд наркомов были евреями и т. д. Теперь, по случайному стечению (! – М. О.), у нас в Политбюро евреев нет. По такой же случайности нет теперь евреев и среди наркомов. А тем не менее раньше противоеврейская агитация была меньше, чем теперь <...> теперь условия для агитации стали более благоприятными, так как в состав рабочего класса влился широкий круг новых людей, не знакомых с евреями, теперь это дело можно поставить. <...> Понятно поэтому, какова должна быть задача сознательных рабочих и крестьян в борьбе с антисемитизмом. *Они должны уяснить рабочей массе, что под видом противоеврейской агитации рабочую и крестьянскую массу хотят поднять, по существу, против советской власти* (курсив автора. – М. О.)»¹¹.

Оставив без обсуждения «белогвардейцев» и «демографическое» объяснение причин рабочего антисемитизма, остается привести вывод Ларина: «Говорят о евреях, а думают о Рыкове и Калинин»¹². Что значит: продолжение полемики с «левыми» подрывает основы советской власти. (Кстати, А.И. Рыков и М.И. Калинин были не только русскими членами Политбюро, но и придерживались «правой», по тем временам, ориентации, а потому у слов Ларина может быть еще одно толкование, небезразличное для партийного руководства: кто говорит о «левой» оппозиции, уже думает о «правой».)

Сходным образом В.П. Полонский, возможно, счел своевременной публикацию рецензии, в которой книга с «национальным»

подтекстом оценивалась как контрреволюционная пропаганда дореволюционной «русской» традиции.

Винокур, как и Ларин, не донос писал. Он спорил с Селищевым, одновременно стремясь убедить власть аргументами, которые полагал ей понятными: «Все свое изложение он обставляет повторными указаниями на так называемые неправильности в языке революционного времени и на желательность возвращения к русской классической традиции в нашей повседневной речи. В той мере, в какой здесь предполагается необходимость грамотности, уважения к прошлому и лингвистической – и следовательно, и общей – культурности, эти указания следует всемерно приветствовать. Но ведь тем более, в таком случае, следовало бы автору показать, *почему* неправильно или нехорошо то или иное явление современной речи. <...> Эта тенденция автора и приводит к тому, что книга его превращается в своего рода сборник материала по отклонениям от старого русского литературного языка за время революции, и что сам язык революции как обладающий собственным содержанием культурный феномен, совершенно ускользает от его исследовательского понимания». Значит, антисемитизм селищевского типа нельзя трактовать как проявление лояльности – подобного рода настроения свидетельствуют прежде всего о приверженности имперскому прошлому.

* * *

Рецензия Винокура венчалась словами: «В итоге, радуясь долгожданному появлению книги Селищева, которая займет по праву принадлежащее ей место в русской лингвистической литературе, мы должны все же сказать, что необходимы новые работы по языку революции. Просто будет жаль, если будущему историку придется восстанавливать картину наших языковых переживаний на основании только такого неадекватного изображения, какое он найдет в рецензируемом труде».

Дискуссия как бы возвращается к «нормальной» шкале ценностей – к «месту в русской лингвистической литературе». С этой точки зрения в полемике двух знаменитых филологов выразилось противостояние двух универсальных «картин» истории «языка революционной эпохи», которые с полным правом могут квалифицироваться как фило- и историсофские, а не только филологические.

По Селищеву, воздействие социального катаклизма сводится преимущественно к деградации, к разрушению. По Винокуру же, речевая практика «революционной эпохи» активизирует творческие возможности языка¹³.

Здесь можно было бы остановиться. Но симптоматично, что в поздних обобщающих работах – монографии «Русский язык. Исторический очерк» (1945) и др. – Винокур поправляет свою прежнюю «картину». Его концепция становится более консервативной, т. е. на первое место выдвигается закономерно развивающийся язык, а не лингвистические революционеры и «строители». Это просто свести к требованиям «политической корректности», которая с середины 1930-х годов диктовала, инициировала – с соответствующей идеологической перекодировкой – новый консерватизм в гуманитарных науках. Впрочем, ограничиться такого рода суждениями применительно к Винокуру по меньшей мере непродуктивно.

Воззрения позднего Винокура вписываются в рамки особой метафизической доктрины – так сказать, «оптимистического историзма» (на марксистской основе), который исповедовался (по всей видимости, искренне) многими советскими интеллектуалами 1930–1950-х годов. Однако если «оптимистический историзм» большинства его современников оправдывал ущемление индивидуальности коллективом и всемогущим государством, у версии Винокура на общем фоне неожиданно симпатичное «лицо». В его работах напрашивается вывод, что, вопреки постоянным попыткам «языковой политики», победителем останется язык.

¹ Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 366–367.

² Винокур Г.О. [Рецензия] // Печать и революция. 1928. Кн. 2. С. 181–183. Рец. на кн.: Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928.

³ Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928. С. 26.

⁴ Там же. С. 45.

⁵ Там же. С. 52.

- ⁶ См. контекст полемики: *Гаспаров Б.М.* «Извиняюсь» // Культура русского модернизма: Статьи, эссе и публикации / UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. 1.
- ⁷ *Винокур Г.О.* Культура языка: Опыт лингвистической технологии. М., 1925. С. 43–44.
- ⁸ *Селищев А.М.* Указ. соч. С. 26.
- ⁹ *Троцкий Л.* Портреты революционеров. М., 1991. С. 189.
- ¹⁰ Пятнадцатый съезд ВКП(б). М., 1965. Ч. 1. С. 397–398. Ср. также: *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris, 1980.
- ¹¹ *Ларин Ю.* Евреи и антисемитизм в СССР. М., 1929. С. 238, 253–257.
- ¹² Там же.
- ¹³ Ср.: *Одесский М.П.* «...Краткий дискурс в нынешний день представим»: Г.О. Винокур о языковой политике петровской эпохи // Литературное обозрение. 1997. № 3.

1999 г.

Впервые: Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г.О. Винокура и современность. М.: Научный мир, 1999. С. 382–389.

Ю.Н. Тынянов и проблема «барокко и авангард»

Изучение проблемы «барокко и авангард» имеет солидную историю в отечественном литературоведении. При этом «барокко» и «авангард» как два равноценных «литературных факта» сопоставляются в порядке парадокса, ведь авангард манифестировал претензии на небывалое новаторство, барокко же относилось к далекому прошлому. Именно такой подход к проблеме в 1970-х годах сформулировал И.П. Смирнов, работы которого оказали значительное влияние на филологическое сообщество¹.

Разрабатывая предложенную им парадигму, специалисты занимались преимущественно анализом прямых заимствований авангардистами отдельных приемов барокко, а также сравнительно-типологическим изучением.

Равным образом специалисты постоянно расширяли список своих предшественников – в частности, как оказалось, в России концепция схождения барокко и авангарда была создана преимущественно усилиями представителей формальной школы².

* * *

Прием сопоставления творчества современного писателя с барокко по мере распространения теории Г. Вельфлина проникал в критический аппарат русских литераторов и спонтанно, вне какой-либо продуманной программы, в качестве модного интеллектуально-образного термина «барокко» и поныне широко применяется рецензентами при оценке новых произведений в разных искусствах). Так, Н.Н. Пунин (близкий к авангарду) в 1922 г. обсуждал «барочность» сборника О.Э. Мандельштама: «“Tristia” очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы»³ и т. д.

Пунин играл «странными сближениями». Напротив того, формалисты предложили историософскую концепцию. Ясно и акцентированно поставил вопрос о барокко и авангарде В.Б. Шкловский в ряде критических эссе конца 1920 – начала 1930-х годов. По-видимому, впервые Шкловский использовал термин «барокко» в 1929 г., назвав фильм Эйзенштейна «Октябрь» «лентой стиля “советского барокко”»⁴. В статье 1931 г. «Золотой край», связанной с мемориальными размышлениями о смерти Маяковского, Шкловский относит погибшего поэта – вместе с Эйзенштейном – к современному «барокко»:

Люди нашего времени, люди интенсивной детали – люди барокко. Сергей Михайлович Эйзенштейн, автор замечательных кусков картин, вместе со мной осознал это, ввел в теорию.

<...>

Барокко, жизнь интенсивной детали, не порок, а свойство нашего времени. Наши лучшие живые поэты борются с этим свойством⁵.

В 1932 г. Шкловский развил концепцию, опираясь на анализ творчества Эйзенштейна и Мейерхольда (а значит, и Маяковского). Новая статья была броско озаглавлена «Конец барокко» (1932), а выводы были таковы: «Время барокко прошло. Наступает непрерывное искусство»⁶.

Теоретик устойчиво понимает под барокко монтажное искусство, фрагментарность, находя ее далеко не только у заведомых авангардистов, но также у Мандельштама, Бабеля, Олеси. Однако при общности подхода в статье 1932 г. употребление термина несколько деформируется, очевидно, под воздействием новых идеологических установок: Шкловский готов отнести близких ему Мейерхольда и Эйзенштейна (и Маяковского) к барокко, преодолеваемому во имя грядущего «непрерывного искусства». Учитывая, что статья была опубликована в пору формирования Союза писателей и подготовки Первого съезда, нетрудно уловить, где Шкловский рассчитывал обрести «непрерывное искусство».

Р.О. Якобсон в статье «О поколении, растратившем своих поэтов» (1931) изложил сходную концепцию, но без «советских» конвенций Шкловского. Давая общую характеристику творчества Маяковского, Якобсон обратился к категории «средневековый

театр», что в данном случае тождественно «барокко» (в качестве синонимических обозначений доклассицистической драмы): «Первоначально юмористически осмысленный образ потом подается вне такой мотивировки, или же напротив, мотив, развернутый патетически, повторяется в пародийном аспекте. Это не надругательство над вчерашней верой, это два плана единой символики трагический и комедийный, как в средневековом театре»⁷.

Современный исследователь ссылаясь именно на статью Якобсона, когда отважился на рискованное обобщение: «Быть может, в своей поэтике сталкивания контрастов Маяковский “через голову 18-го века” подает руку средневековой? Быть может, XVIII век сродни русскому футуризму уже потому, что то была наиболее архаичная, начальная стадия русской светской литературы, сохранявшая зависимость от средневековой культуры...»⁸

Никак не принижая ценность высказываний Шкловского и Якобсона, необходимо, однако, констатировать, что они не столько формулируют концепцию, сколько апеллируют к ней. Действительно, термин «барокко» (или «средневековый театр») актуализирован Шкловским и Якобсоном, но концептуальное сопоставление барокко и авангарда – правда, без слова «барокко» – было предложено раньше, причем в рамках той же литературоведческой школы.

* * *

Фундамент «барочной» парадигмы объяснения авангардной литературы заложил Ю.Н. Тынянов в статье «Промежуток» (1924).

Надо сказать, что для своего времени Тынянов представлял не академическую традицию, но тип ученого постреволюционного периода. Закономерно, к примеру, что в 1924 г. монографию «Проблемы стихотворного языка» он напечатал в «научном» издательстве «Academia», статью «О литературном факте» – в журнале авангардистов «Леф», а статьи «Литературное сегодня» и «Промежуток» – в журнале «Русский современник», который находился под патронажем тогдашнего эмигранта А.М. Горького и воспринимался как «правый». Такой выбор печатных органов характерен не столько для университетского филолога, сколько для литератора, который близок как научным, так и художественным кругам, который принимает участие в культурных проектах

советской власти. По определению М.О. Чудаковой, «опоязовцы были не только научной школой, но и литературной группой»⁹.

Как представитель науки нового типа Тынянов подчеркнuto применял единый метод к истории литературы и к актуальной литературе, идентифицируя писателей прошлого с современниками и наоборот. В статье «Промежуток» он писал: «Русский футуризм был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову. Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века. Но мы все-таки не XVIII век, и поэтому приходится говорить раньше о нашем Державине, а потом уже о Ломоносове»¹⁰.

Тынянов, в свою очередь, опирался на предшественников.

Еще в программной статье «Розанов» (1921) Шкловский, нанизывая афоризмы, формулировал опоязовскую интерпретацию литературной эволюции: «В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, причем одна из них представляет ее канонизированный гребень. Другие существуют не канонизированно, глухо, как существовала, например, при Пушкине державинская традиция в стихах Кюхельбекера и Грибоедова...»¹¹

Кроме того, цепочка бегло упомянутых Тыняновым литературных имен явно восходит к знаменитым статьям Андрея Белого о стихе. В статье «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба» (книга «Символизм», 1910) Андрей Белый констатировал (на примере ямбических строк с пропуском метрического ударения на второй стопе): «Приведенная строка весьма обычна у поэтов XVIII столетия и начала XIX до Жуковского. Начиная с Жуковского и Пушкина она встречается реже <...> особенно часта у Ломоносова и Державина (далее у поэтов до Жуковского), у Жуковского, Павловой, Тютчева, Блока и у меня»¹².

В той же статье Андрей Белый прочертил эволюционную линию <Ломоносов –> Державин – Тютчев – <модернизм>: «У Тютчева мы наблюдаем тенденцию отчасти вернуть стих к пышности ритма XVIII века, не теряя быстроты и легкости языкового стиха. Тютчев – единственный поэт по богатству и разно-

образию ритма; он соединяет особенности ритмов державинской эпохи с особенностями ритмов Пушкина и Баратынского...»¹³

Линия Андрея Белого оказалась очень продуктивной для истории русской поэзии¹⁴. В статье «Вопрос о Тютчеве» (1923) Тынянов вслед за Андреем Белым отнес Тютчева к запоздалым продолжателям монументальной одической традиции Ломоносова / Державина и одновременно акцентировал принципиальное отличие Тютчева от одописцев XVIII в. – его ориентацию на «фрагментарность, малую форму»¹⁵.

Внимание Тынянова к фрагментарности, похоже, объяснимо контекстом идей, популяризированных в установочной работе Л.Д. Троцкого «Литература и революция» (книжное издание 1923 г.). Революционный вождь утверждал (причем возводя фрагментарность к древнерусской традиции): «Отягощенные образы Маяковского, часто прекрасные сами по себе, столь же часто разлагают целое и парализуют движение. <...> Думается, что самодовлеющая образность <...> корни свои имеет все в той же деревенской подоплеке нашей культуры. В ней неизмеримо больше от Василия Блаженного, чем от железобетонного моста. <...> У Маяковского каждая фраза, каждый оборот, каждый образ хочет быть максимумом, пределом, вершиной. Оттого “вещь” в целом не имеет максимума. <...> Части не хотят подчиняться целому. Каждая хочет быть собою»¹⁶.

Соответственно в итоговой формуле «Промежутка» Тынянов, с одной стороны, присоединил Хлебникова и Маяковского к линии Ломоносова и Державина и, с другой – указал на тяготение поэтов-авангардистов к фрагментарности. По замечанию критика-опоязовца, стихия слова Маяковского «враждебна сюжетному эпосу, что своеобразие его большой формы как раз в том и состоит, что она не “эпос”, а “большая ода”»¹⁷.

В 1928 г. Л.В. Пумпянский подробно развил гипотезу формалистов о родственности поэтики Тютчева с Державиным (статья «Поэзия Ф.И. Тютчева», альманах «Урания»). Пумпянский признает приоритет формалистов, их заслугу в том, что «имя Державина в связи с Тютчевым впервые отчетливо произнесено»¹⁸, однако, будучи представителем оппонировавшей формализму филологической школы, приводит другие параметры схождения двух поэтов. Пумпянский предсказуемо не обращается к обсуж-

дению фрагментарности (которая, естественно, не фигурировала в базовых сочинениях Вельфлина), детально останавливается на колоризме, пейзаже, архитектурной образности в стихотворном тексте и, наконец, произносит радикальный терминологический «диагноз»: «Это все поздний след целой культуры, целого мира до-пушкинской поэзии. Имя этому миру – барокко»¹⁹.

Преобразив эволюционную концепцию формалистов, Пумпянский представил оппозицию «Державин / Тютчев vs. Пушкин» как оппозицию разных «культур», т. е. – в современной терминологии – разных литературных направлений. И закономерно, что в 1939 г. Л.В. Пумпянский выступил соавтором Г.А. Гуковского при составлении «классического» учебника русской литературы XVIII в., где идея о сосуществовании и борьбе барокко и классицизма получила доктринальную форму.

Напротив того, Тынянов в 1926 г. в статье «Архаисты и Пушкин» агрессивно отрицал продуктивность таких обозначений литературных направлений, как «классицизм» и «романтизм»: «...большинство попыток определить романтизм и классицизм были не суждением о реальных направлениях литературы, а стремлением подвести под эти понятия никак не укладывавшиеся в них многообразные явления»²⁰.

Во вполне академической статье 1927 г. «Ода как ораторский жанр» Тынянов вернулся к «линии» Андрея Белого, противопоставив Ломоносова /Державина Сумарокову / Мерзлякову / карамзинистам и в финальном примечании отнеся Маяковского к традиции Ломоносова /Державина²¹. Однако ученый истолковал расхождения Ломоносова и Сумарокова не как борьбу литературных направлений, а скорее как борьбу альтернативных стилистических программ – установки Ломоносова на «витийство», на высокий стиль и установки Сумарокова на ясность, на средний стиль (ср. в «Промежутке»: «Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилева напоминает борьбу Ломоносова и Сумарокова»²²). Согласно Тынянову, лишь на позднейших стадиях истории литературы борьба стилистических программ трансформировалась в борьбу жанров, что, так сказать, находится «посередине» борьбы стилистических программ и борьбы литературных направлений²³.

Принципиальное отличие толкования Тынянова от толкования Пумпянского приобретает отчетливость в истори-

ческой перспективе. По авторитетной позднейшей концепции Э.Р. Курциуса, на протяжении 25 веков – «от Гомера до Гёте»²⁴ – развитие европейской культуры определялось доминированием риторики, что порождает чередование стилистических фаз аттицизма / азианизма (в статье Тынянова – ясного / «витийственного») или классики / маньеризма (как результат подчиненности / самодостаточности формы), но проблематизирует специальную необходимость барокко в качестве литературного направления²⁵. Пафос Курциуса заключался в том, что литературную революционность барокко следует связывать не с новым литературным направлением (и тем самым с новым мировосприятием), а с вечной борьбой двух формальных установок.

* * *

Апеллируя к научной ситуации 1920-х, Шкловский произвел синтез, объединив:

- 1) цепочку поэтов, обведенных линией Андрея Белого;
- 2) историсофскую систематизацию этой линии в работах Тынянова;
- 3) тыняновское учение о фрагментарности, которое, не будучи актуализировано в работах Вельфлина о барокко, тем не менее ассоциировалось с названными поэтами;
- 4) термин «барокко», примененный к линии Андрея Белого Пумпянским;
- 5) представление о барокко как «культуре», литературном направлении, заявленное Пумпянским;
- 6) социальный заказ.

Такого рода синтез едва ли представим в системе изобретателя линии Андрея Белого. С одной стороны, он и придумал эту линию, и активно использовал термин «барокко» для описания фактов западноевропейской культуры²⁶. С другой стороны, апокалиптик Андрей Белый с его верой в утопическое искусство будущего первоначально вообще не проводил никаких историсофских параллелей между барокко и модернизмом²⁷. Когда же он отчасти солидаризировался с этой концепцией, то фактически цитировал Тынянова. В предисловии к роману «Маски» (1933) из трилогии «Москва» Андрей Белый характеризовал собственную литературную деятельность при помощи положений статьи «Ода

как ораторский жанр»: «...я, как Ломоносов, культивирую – риторику, звук, интонацию, жест...»²⁸

Случай с Пумпянским – противоположный. Закономерно, что он фигурировал в «романе-с-ключом» своего приятеля К.И. Вагинова «Козлиная песнь» (журнальный вариант 1927 г.), где целенаправленно реализована концепция современного барокко. В частности, один из персонажей романа характеризовал как «барокко» литературное творчество другого персонажа – автобиографического «неизвестного поэта»: «Удивительные стихи пишете вы, – обратился он к неизвестному поэту, – истинное барокко»; «...вы стремитесь не к совершенству и законченности, а к движущемуся и становящемуся, не к ограниченному и осязаемому, а к бесконечному и колоссальному»²⁹. Вагинов, в отличие от Шкловского, терминологически точно (согласно с Вельфлином) связывает с барокко не фрагментарность, а усложненное искусство гипертрофированной формы, «бесконечное и колоссальное». Кроме того, Вагинов, исключивший себя из официальной литературы, отваживается применить к собственному творчеству термин «барокко»: рискованный, «реакционный», окрашенный католической контрреформацией, этот термин адекватно выражал вагиновский пассаизм, тоску по «до без царя». Это соображение, кстати, позволяет уточнить шестой компонент концепции Шкловского: в 1932 г. лидер формализма, используя термин «барокко» и явно причисляя себя к «людям барокко», придал советскому барокко статус прошлого, т. е. ответил на «социальный заказ», в очередной раз покаявшись перед властью.

На таком фоне уясняется специфика тыняновского понимания проблемы барокко и авангарда.

Во-первых, Тынянов, в отличие от Андрея Белого, совершенно не склонен постулировать какую-либо цель поступательного развития искусства и в перманентной борьбе разных литературных позиций видит, очевидно, вечный (внеисторический) закон, а не этап, который должно преодолеть. Таково кредо Тынянова, манифестированное в статье «Промежуток»: «...каждый новатор трудится для инерции, каждая революция производится для канона»³⁰. Отсюда правомерность параллелей Ломоносова и Державина с Хлебниковым и Маяковским. Более того, для Тынянова история постольку помогает интерпретировать современную литературу

(от Ломоносова к Хлебникову), поскольку современность провоцирует конструирование образа истории (от Хлебникова к Ломоносову)³¹. Другими словами, схождения барокко и авангарда не «парадоксальны», но закономерны: открытие барокко в прошлом и есть результат формирования авангарда в настоящем.

Во-вторых, Тынянов, в отличие от Пумпянского, понимает «людей барокко» не как оппонентов другой «культуре», другому литературному направлению, а как приверженцев определенных стилистических исканий (например, фрагментарности), что сближает их с одними предшественниками или продолжателями (линия «Ломоносов – Державин – Тютчев – Хлебников – Маяковский») и противопоставляет другим (линия «Сумароков – Мерзляков – карамзинисты – Гумилев – Есенин»).

Наконец, в-третьих, хотя Тынянов был готов и умел играть по правилам тоталитарного социума, но он, в отличие от Шкловского рубежа 1920–1930-х, не адаптировал концепцию «архаистов и новаторов» к официальному заказу. Это справедливо и для 1924 г., когда был опубликован «Промежуток»³², и, похоже, для более позднего времени.

По крайней мере в личном письме Тынянов упрекнул Шкловского за его «барочные» статьи: «Ты требуешь, чтобы все было деловее, не писали кусками, etc., etc. (Кусками-то ты сам пишешь.) <...> Ты, милый, желаешь кому-то, какому-то новому времени или грядущему рококо – уступить твоих знакомых под именем барокко»³³.

Обвиняя Шкловского в конформизме, Тынянов одновременно развил его идею-метафору: если Эйзенштейн, Мейерхольд, Маяковский – люди барокко, то Шкловский пропагандирует стиль, альтернативный барокко, – рококо, развратное и ничтожное искусство придворного официоза. Здесь примечательны и социальный аспект позиции Тынянова, и историко-литературный: по-видимому, барокко для него, как и ранее, соотносится не с другими литературными направлениями (типа «ренессанс – барокко – классицизм»), а со стилистической оппозицией, напоминающей идею Курциуса о «классике»/«маньеризме», т. е. с оппозицией «стиль в фазе расцвета»/«стиль в фазе вырождения».

- ¹ *Смирнов И.П.* Барокко и опыт поэтической культуры начала XX в. // Славянское барокко. М., 1979.
- ² *Одесский М.П.* Поэтика русской драмы: Последняя треть XVII – первая треть XVIII в. М., 2004. С. 323–332.
- ³ Цит. по: *Мандельштам О.* Полн. собр. соч. СПб., 1995. С. 540. См. также о родственности барокко и экспрессионизма: *Жирмунский В.М.* Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981. С. 117.
- ⁴ *Шкловский В.Б.* За 60 лет: Работы о кино. М., 1985. С. 115; ср. комментарии А.Ю. Галушкина в изд.: *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. М., 1990. С. 535.
- ⁵ *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. С. 443–444.
- ⁶ Там же. С. 449.
- ⁷ *Якобсон Р.* О поколении, растратившем своих поэтов // Хрестоматия критических материалов: Русская литература рубежа XIX–XX веков / Сост. Л.Ю. Алиева, Т.В. Торкунова. М., 1999. С. 207.
- ⁸ *Вайскопф М.* Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 11.
- ⁹ *Чудакова М.О.* Утопия Тынянова-критика // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые – Седьмые – Восьмые тыняновские чтения. М., 1998. С. 395.
- ¹⁰ *Тынянов Ю.Н.* Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 176–177.
- ¹¹ *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. С. 121.
- ¹² *Андрей Белый.* Символизм: Книга статей. М., 1910. С. 291.
- ¹³ Там же. С. 300.
- ¹⁴ См. о сопоставлении Тютчев–Державин: *Жирмунский В.М.* Введение в метрику: Теория стиха // *Жирмунский В.М.* Теория стиха. Л., 1975. С. 34.
- ¹⁵ *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. С. 46.
- ¹⁶ *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. М., 1991. С. 120–121; о сходстве «маяковской» концепции Троцкого и формалистов см.: *Вайскопф М.* Указ. соч. С. 12–13.
- ¹⁷ *Тынянов Ю.Н.* Промежуток. С. 177–178.
- ¹⁸ *Пумпянский Л.В.* Поэзия Ф.И. Тютчева // *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 241.
- ¹⁹ Там же. С. 249.

- ²⁰ Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 24.
- ²¹ Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 252.
- ²² Тынянов Ю.Н. Промежуток. С. 180.
- ²³ Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр. С. 244–245.
- ²⁴ Curtius E.R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1954. S. 22.
- ²⁵ Ibid. S. 78, 235; ср. также в отечественной науке теорию об архаическом, риторическом и индивидуалистическом этапах мировой поэтики: Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3–14; Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 3–38. Ср. также доступное Тынянову изложение теории об аттицизме и азианизме применительно к истории современной литературы: Зелинский Ф.Ф. Художественная проза и ее судьба // Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей. СПб., 1911. Т. 2: Древний мир и мы. С. 222–284.
- ²⁶ См. воспоминания о жене, которая «переживала ярко средневековые и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко; ей был чужд ренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее» (Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 366); ср. также примеры использования термина «барокко»: Кацис Л.Ф., Одесский М.П. Андрей Белый: Стихование – историософия – барокко // A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky-Hughes and Robert P. Hughes. Stanford, 2006. С. 186–187.
- ²⁷ Кацис Л.Ф., Одесский М.П. Там же. С. 178.
- ²⁸ Андрей Белый. Москва. М., 1989. С. 762. Ср. также сопоставление «барочного» Гоголя с Маяковским и снова с самим собой в позднем исследовании «Мастерство Гоголя» (1934).
- ²⁹ Вагинов К. Козлиная песнь: Романы. М., 1991. С. 37, 60.
- ³⁰ Тынянов Ю.Н. Промежуток. С. 169.
- ³¹ Ср., впрочем, мнение М.Л. Гаспарова: «Петроградские формалисты, опоязовцы переносили на восприятие старой литературы опыт восприятия новейшей...» (Гаспаров М.Л. Первочтение и перечтение: К тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной речи // Тыняновский сборник: Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 20).

³² *Галушкин А.Ю.* Неудавшийся диалог: (Из истории взаимоотношений формальной школы и власти) // Шестые тыняновские чтения. Рига; М., 1992.

³³ *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. С. 535.

2009 г.

К вопросу о литературоведческом методе Л. Шпитцера

Лингвист и специалист в романской филологии, «историк литературы с вызывающей благоговейный ужас широтой горизонта, человек, осведомленный и в истории литературоведения, и в истории идей вообще»¹ – так характеризовал Р. Уэллек облик гипотетического исследователя научного творчества австрийского, немецкого и американского ученого Лео Шпитцера (1887–1960).

Несмотря на «широту горизонта», Шпитцер настойчиво декларировал постоянство своего научного метода, однако коллеги-эксперты столь же настойчиво давали ему различные определения, а некоторые отрицали существование подобного метода.

В.М. Жирмунский неоднократно называл Шпитцера в числе представителей лингвистической стилистики, которую сближал с формализмом². Принадлежность Шпитцера к формалистам безоговорочно утверждалась в статье о формальном методе, включенной в Краткую литературную энциклопедию³.

Другое воззрение отражено в работах Г.О. Винокура⁴, В.Н. Волошинова⁵, из последних трудов – в книге Т.А. Амировой, Б.А. Ольховникова, Ю.В. Рождественского⁶, где, основываясь на его симпатиях к фоссерианству, Шпитцера характеризовали как приверженца «прямолинейного идеализма с уклоном в субъективизм»⁷.

Сам Шпитцер не раз подчеркивал свою принадлежность – наряду с Э. Ауэрбахом, Э.Р. Курциусом, В. Клемперером и другими – к *explications des texts* (или, как принято в российской традиции, к «методу интерпретации текста»)⁸. Согласно Э. Ауэрбаху, данный метод генетически связан с античными и средневековыми комментариями, с практикой интерпретации классиков во фран-

цузской школе, с философскими системами Б. Кроче (высокая оценка роли личности в эстетической и языковой деятельности) и Э. Гуссерля (феноменологический подход), с искусствоведческими штудиями Вельфлина в области типологии⁹. Шпитцер добавлял, кроме того, влияние З. Фрейда, учившего поиску побудительных источников, не осознанных самим творящим художником¹⁰.

Литературоведы Н. Миллер¹¹ и А. Пейр¹² вообще говорят об отсутствии единой системы. «Он никогда не был пленником какой-либо системы, и он до конца сохранил – несмотря на глоссы, примечания, отступления – и восхитительно ясный стиль, и восторженное упоение жизнью и чувством, которые сохраняли от педантизма»¹³.

Равным образом В.В. Иванов, автор статьи о Шпитцере в Краткой литературной энциклопедии¹⁴, отказывается от дефиниций и лишь излагает методологические принципы «филологического круга» (термин Ф. Шлейермахера), непременно которых Шпитцер всегда отстаивал.

На первый взгляд все просто: суть «филологического круга» объяснялась Шпитцером не раз¹⁵ и представляется достаточно очевидной. А именно: (1) выделение некоторой детали, как правило, нарушающей языковую или стилистическую норму; (2) восхождение от данной детали к толкованию целого и (3) новое обращение к деталям, должно подкрепить намеченную гипотезу. Например, анализ парадоксального словообразования у Ф. Рабле позволил Шпитцеру сделать вывод о гротескном мировоззрении писателя¹⁶, употребление же французским романистом Ш.-Л. Филиппом предлога «roug» в необычном причинно-следственном значении служит, по мнению Шпитцера, для иронического разграничения сознания персонажа и автора, что, в свою очередь, принимается за признак натурализма¹⁷.

Однако, как было отмечено Р. Уэллеком¹⁸ и А. Пейром¹⁹, метод Шпитцера только кажется простым и прозрачным. «В методе интерпретации текста наличествует своего рода обманчивость, даже, вероятно, некоторый элемент трюкачества <...> Легко для преподавателя, демонстрирующего на семинаре плодотворность его (Шпитцера. – М. О.) изошренного метода, предполагать, что он (Шпитцер. – М. О.) просто извлекает из любой совершенно безразличной детали несказанные богатства. Но, разумеется, за

подобной установкой объективного наблюдателя скрывается еще и необъятная культура Шпитцера»²⁰.

При внимательном рассмотрении оказывается, что ряд очень серьезных внутренних несоответствий все-таки имеется. И несоответствия, о которых идет речь, – отнюдь не те возражения, которые могли быть сделаны Шпитцеру с иных методологических позиций и сформулированы, например, в работах В.Н. Волошинова или Г.О. Винокура, но несоответствия внутрисистемные. Более того, возникает впечатление, что они осознавались (пусть лишь отчасти) Шпитцером и в какой-то степени определяли его эволюцию как филолога.

Во-первых, в работах 1910–1920-х годов Шпитцер уделял внимание преимущественно стилистическим моментам, выбирая при этом такие, которые ближе всего подходили к сфере лингвистики. В «Стилистических исследованиях», центральной работе 1920-х годов, Шпитцер, исходя из тезиса, что «речь, употребленная как искусство, называется стилем»²¹, объединяет статьи как лингвистические (1-й том), так и литературоведческие (2-й том). А среди последних возможны статьи, в которых в качестве симптома натурализма рассмотрено увеличение частотности употребления наречий в роли определений²². Эта особенность метода Шпитцера вызвала, в частности, критику В.В. Виноградова: «Следует избежать в своих изучениях стиля писателя бессистемного смешения и комбинирования лингвистического подхода с литературоведческим, что, например, характерно для работ Л. Шпитцера <...> Но разделение труда и задач между лингвистом и литературоведом в этой сфере очень существенно даже с принципиальной, методологической точки зрения»²³. Напротив того, поздний Шпитцер предпринимает рассмотрение других литературоведческих категорий, как, например, авторская точка зрения в драме²⁴ или соотношение биографического и вымышленного в образе автора²⁵.

Во-вторых, если на раннем этапе лингвостилистические отклонения от нормы понимались как выражение психических отклонений автора, то позднее ученый стремился найти их культурно-историческое объяснение. Так, в статье о Барбюсе анализ словесных лейтмотивов настолько диагностичен для психики писателя, что ее предлагали считать фрейдистской²⁶, в то время

как желание Сервантеса давать в «Дон-Кихоте» двойное языковое именование реалиям уже трактуется в качестве специфической черты сознания, пребывающего на пересечении традиций Средневековья и Возрождения²⁷. Знаменательно, что Шпитцер упрекал Р. Уэллека и О. Уоррена в том, что они «рассматривали лишь мои ранние фрейдистские работы, в которых языковые отклонения и новации объяснялись психическими отклонениями от нормы у современных душевно больных писателей, а не мои зрелые исследования в духе метода интерпретации текстов, в которых изучаются писатели разнообразнейших периодов и в которых сделана попытка интерпретировать частные стилистические черты через их историческую или культурную основу...»²⁸.

Наконец, в-третьих, если в «Стилистических исследованиях» новой литературе посвящено семь из десяти историко-литературных статей, то в «Романских литературоведческих исследованиях»²⁹ – последней и, пожалуй, основной книге Шпитцера – восемь из сорока девяти. Это свидетельствует об эволюции филолога от «модернизма» (по выражению В.М. Жирмунского³⁰) научных интересов к анализу творчества писателей отдаленных эпох.

Первая установка («модернистская») тесно связана с ранее преобладавшим исключительным вниманием Шпитцера к стилистическим деталям, иллюстрирующим отклонение от нормы, которая, естественно, надежно определяется у писателей-современников и нарушение которой провоцирует психическое толкование. Вторая установка, в свою очередь, связана с позднее проявившимся у Шпитцера стремлением оперировать различными литературоведческими категориями, что позволяет существенно увеличить временную дистанцию и снимает запрет на внепсихологическую мотивацию, т. е. ведет к культурно-исторической интерпретации.

Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть другие факты, свидетельствующие о принципиальном непостоянстве филологического метода Шпитцера. К примеру, он декларирует отказ от эстетической оценки (филологическое изучение «должно быть апологией, теодицией, по существу»³¹) и вместе с тем к ней прибегает³². Он критикует философствующее литературоведение в лице М. Хайдеггера³³ и одновременно структурализм³⁴, эмпиризм³⁵, формализм³⁶, представляющие антитезу предыдущему

течению. Даже в адрес К. Фосслера, небезосновательно называемого учителем Шпитцера, строптивый ученик сделал немало резких замечаний³⁷.

В свете изложенных наблюдений возникает правомерный вопрос: коль скоро внутренние несоответствия филологического метода столь очевидны, почему Шпитцер был так предан идее его незыблемости? По-видимому, основная причина заключалась в присущем ему стремлении представлять гуманитарно-гуманистическую европейскую традицию единой и непрерывной. И это стремление закономерно возникло как противовес многим невзгодам, выпавшим на долю ученого, эмигранта и антифашиста. В среде, чужой для немецкого филолога-романиста – в Стамбуле, в университетах США, – Шпитцер темпераментно развивал лучшие традиции европейской науки, и, к счастью, его деятельность получила завидный общественный резонанс.

¹ *Wellek R. Leo Spitzer // Comparative Literature. 1960. Vol. 12. P. 311–312.*

² См.: *Жирмунский В.М. К вопросу о «формальном методе» // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 94; ср. также: Жирмунский В.М. Новейшие течения историко-литературной мысли в Германии // Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981; Жирмунский В.М. Предисловие // Проблемы литературной формы. Л., 1928.*

³ *Лидов В., Соскребышев П. Формальный метод // Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8.*

⁴ *Винокур Г.О. Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике // Вопросы языкознания. 1957. № 2.*

⁵ *Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929.*

⁶ *Амирова Т.А., Ольховников Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.*

⁷ *Винокур Г.О. Указ. соч. С. 59.*

⁸ *Фридлиндер Г.М. Предисловие // Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976. С. 13.*

⁹ *Spitzer L. Essays on English and American Literature. Princeton, 1962.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Miller N. Nachbemerkungen // Spitzer L. Texterklärungen. München, 1969.*

¹² *Peyre H. Foreword // Spitzer L. Essays on English and American Literature.*

¹³ *Ibid. P. VIII.*

- ¹⁴ Иванов В.В. Шпитцер // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8.
¹⁵ Шпитцер Л. Словесное искусство и наука о языке // Проблемы литературной формы. Л., 1928.
¹⁶ Spitzer L. Linguistics and Literary History. Princeton, 1948.
¹⁷ Ibid.
¹⁸ Wellek R. Op. cit.
¹⁹ Peyre H. Op. cit.
²⁰ Ibid. P. VII.
²¹ Spitzer L. Stilstudien. München, 1928. Bd. 2. S. 4.
²² Spitzer L. Linguistics and Literary History.
²³ Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. С. 158.
²⁴ Spitzer L. Linguistics and Literary History.
²⁵ Spitzer L. Essays on English and American Literature.
²⁶ Wellek R. Op. cit.
²⁷ Spitzer L. Linguistics and Literary History.
²⁸ Spitzer L. Essays on English and American Literature.
²⁹ Spitzer L. Romanische Literaturstudien. Tübingen, 1958.
³⁰ Жирмунский В.М. Предисловие. С. XIII.
³¹ Spitzer L. Linguistics and Literary History. P. 128.
³² Wellek R. Op. cit.
³³ Ibid.
³⁴ Spitzer L. Essays on English and American Literature.
³⁵ Ibid.
³⁶ Wellek R. Op. cit.
³⁷ Spitzer L. Romanische Literaturstudien; ср. также: Wellek R. Op. cit.

1988 г.

Впервые: Теория и практика литературоведческих и лингвистических исследований. М.: МГУ, 1988. С. 54–60.

Contents

<i>Introduction</i>	7
The epistolary poetics of love	
The Countess and the Prince	15
Countess S.Fersen to Prince A.B.Kurakin (1776–1777)	66
Poetics of Culture	
The Sick Person in Old Russian Literature	147
“The Beginnings of the Slavs” and the Pentateuch.	
The Biblical Context of Pagan Legends in <i>The Primary Chronicle</i>	185
The Phantom of “the Third Rome”. The Fate of the Formula	194
Moscow as St. Peter’s City. The Myth of the Capital in the 16 th and 17 th Century Russian Literature	219
The Capital and Province in Russian Hagiography	239
The Concept of Scandal and Temptation in Russian Culture	249,
The Poetics of Occultism	
On “the Explicit” and “Implicit”. Sophia in V.I. Lukin’s Comedies	263
The Topic of Vampire in A.K. Tolstoy’s Early Prose	275

Dostoyevsky and the Fourth Dimension	317
Alexei Kruchenykh and the Myth: the Return of the Ancient Gods	325
The Fight of Magicians. Gurdshiev's Extraordinary Adventures in Erenburg's Novel	338
Plutonic Moscow	351
A.A. Bogdanov's "Physiological Collectivism". Science – Politics – Myth of Vampires	367
The Topic of Vampires and Present-Day Antisemitism	378

The poetics of literature versus the poetics
of the mass media

Russian newspapers and A.Blok's <i>Unknown Woman</i> . Gapon's Assassination	389
What happened on September 11? From a Newspaper Comment to <i>The Twelve Chairs</i>	401
Avant-garde and the Soviet Press. Daniil Kharm's Case	410

The Appraisal of Poetics

Knowledge in Modern Humanities and the Status of the Academic Word Non-theoretical Marginal Notes	431
Renan's <i>Life of Jesus</i> . The Historical Transformation of the Book	448
The Historian and the Hero (S.M. Solovyev and Peter I)	477
"... Short Discourse is Conceivable Now". G.O. Vinokur on the Linguistic Policies during Peter I's reign	487
The Linguist and Totalitarianism. On the Debate between G.O. Vinokur and A.M. Selishchev	496
Yu.N. Tynyanov and the Problem of "Baroque and Avant-garde"	505
About L. Spitzer's Method of Literary Studies	517

Odessky M.P.

The Fourth Dimension of Literature: the Article on Poetics

This book by M.P. Odessky, Doctor of the Philological Sciences, is a compilation of articles on Russian literature poetics written by him at different times. But the book also includes papers on those spheres of culture where the methodologies of poetics are usually not used. These are private letters, cultural mythologemes and occultism. One part of the book is devoted to the articles about “the experts” of culture, philologists and historians. This approach to literature and culture is defined by the author as the search for “the fourth dimension” – a new reality which is visible beyond the habitual.

The book is intended for graduate and postgraduate students and university lecturers.

- О41 **Одесский М.П.**
Четвертое измерение литературы: Статьи о поэтике. М.:
РГГУ, 2011. 522 с.
ISBN 978-5-7281-1202-0

Книгу доктора филологических наук М.П. Одесского, которому в 2011 г. исполняется 50 лет, составляют статьи по поэтике, написанные им в разные годы и посвященные преимущественно русской литературе. Вместе с тем в нее включены работы, относящиеся к той области культуры, к которой методы поэтики, как правило, не применяются. Это частная переписка, культурные мифологемы, оккультизм. В отдельный раздел включены статьи об «экспертах» культуры, филологах, историках. Такого рода подход к литературе и культуре обозначен автором как поиск «четвертого измерения» – новой реальности, которая просматривается за пределами привычного.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов.

УДК 82-1
ББК 83

Научное издание

Одесский Михаил Павлович

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Статьи о поэтике

Редактор *Е.К. Солоухина*

Корректор *Л.П. Бурцева*

Художественный редактор
М.К. Гуров

Технический редактор
Г.П. Каренина

Компьютерная верстка
Н.В. Москвина

Подписано в печать 25.02.2011.

Формат 60×84^{1/16}

Уч.-изд. л. 31,2. Усл. печ. л. 30,7.

Тираж 500 экз. Заказ № 68

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел.: 8-499-973-43-06

РГГУ

9 785728 112020